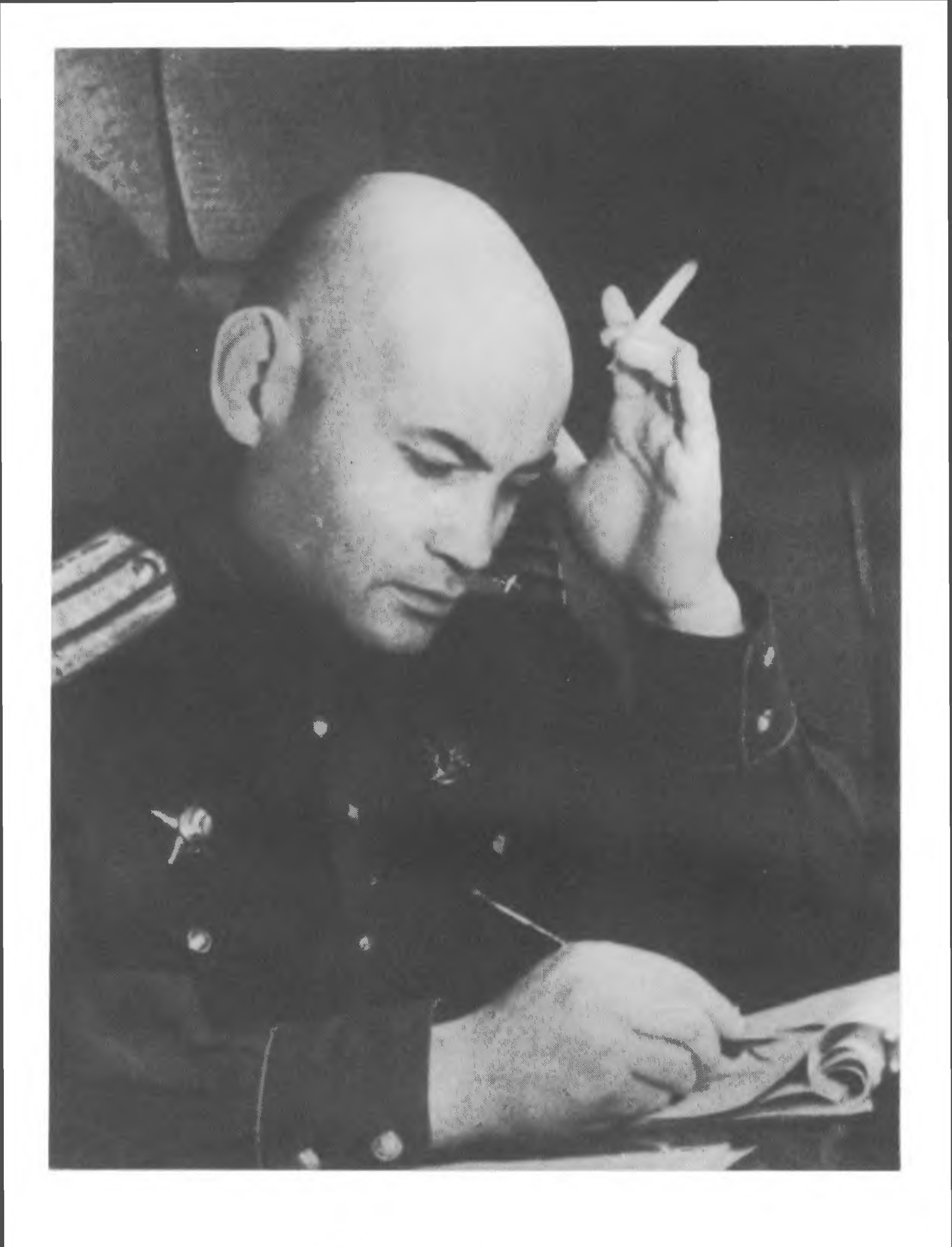

Борис
Горбатов
1





Бор. Горбатов

БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ТОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Гор 67

Составление
и
общая редакция
А. В. Терновского

Иллюстрации художника
О. К. Буколова

Гор $\frac{4702010200-1725}{080(02)-88}$ 1725—88

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ-БОЙЦА

«Я никогда не был беспартийным. Мне было двенадцать лет, когда я впервые пришел в комсомольский клуб записываться в детскую коммунистическую группу. Мне было четырнадцать лет, когда комсомольский военорг впервые послал меня в чоновский караул к вещевому складу. Мне было восемнадцать лет, когда собрание ячейки приняло меня в кандидаты партии. Я не успел быть беспартийным...

С детства я ощущаю себя патроном, зажатым в обойме и ожидающим нажима курка. Я не умею иначе жить».

Подобное признание, принадлежащее герою-повествователю в романе «Мое поколение», с полным основанием мог бы сделать и сам автор книги Борис Горбатов. Да он и сделал его позже, в начальных строках своей автобиографии. Более того, ту же самохарактеристику повторяет молодой журналист Сергей Бажанов, автобиографический герой последнего произведения писателя — романа «Донбасс».

Чем объяснить это постоянство? Да только тем, что Борис Горбатов считает необходимым подчеркнуть самое главное, самое заветное, определившее его жизненную позицию, его человеческую и писательскую судьбу.

Вся его жизнь, все его творчество от начала и до конца были посвящены комсомолу, партии, народу, великому делу строительства социализма. Его путь — от мальчишки-рабкора, простого рабочего паренька до известного советского писателя — типичен для нашей действительности предвоенных десятилетий. Его книги — живая летопись, созданная не просто заинтересованным очевидцем, но и нередко прямым участником важнейших событий истории советского государства. В них нашли отражение и первые ощутимые успехи восстановительного периода (роман «Мое поколение»), и индустриальное строительство в годы первых пятилеток (книга очерков «Мастера»), и зарождение стахановского движения (роман «Донбасс»), и освоение Крайнего Севера (книга рассказов «Обыкновенная Арктика»), и беспримерный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны («Письма к товарищу», «Алексей Куликов, боец», повесть «Непокоренные»).

В его лучших произведениях отчетливо выявляется та линия в развитии социалистического реализма 1930—1940 годов, где реалистическая основа повествования органически сочетается с лирико-романтическим началом. Перед нами не просто правдивая картина жизни современников. Симпатии автора открыто отданы людям, сердцевину характера которых составляет творческая устремленность, активная гражданская позиция — это партийные и комсомольские работники, шахтеры-забойщики и рабочие-доменщики, зимовщики и полярные летчики, офицеры и рядовые бойцы. Рассказывая о красоте их помыслов и дел, писатель выражает отношение к этим героям в многочисленных лирических отступлениях.

Достоверность изображения, убежденная идейность, лирико-романтический пафос, присущие лучшим произведениям писателя-коммуниста, и обеспечили ему видное место в истории советской литературы и интерес широкого круга читателей к его произведениям.

Родина Бориса Горбатова — Донбасс. «...Никогда за многие годы его душевная связь с родной донбасской землей не слабела, не туманилась,— писал К. Симонов.— Горбатов всегда оставался сыном этого края, донбассовцем, человеком с корнями, которых не вывернет никакой ветер, никакая буря».

Борис Леонтьевич Горбатов родился на Петромарьевском (теперь Первомайском) руднике 15 июля 1908 года в семье служащего. Здесь и прошли его детские годы.

В 1917 году семья Горбатовых перебирается в Бахмут (ныне Артемовск). Учась в городской школе, Борис уже с первых классов увлекается литературой, а затем и театром, принимает самое деятельное участие в литературных диспутах, сочиняет тексты для выступлений школьного коллектива синеблузников.

Он учился в шестом классе, ему не исполнилось еще и четырнадцати лет, когда в газете «Всероссийская кочегарка» был напечатан первый его рассказ «Сытые и голодные». Это произошло 31 мая 1922 года. Юношу пригласили работать в газету.

Предложение он принял, но и школы не бросил: около двух лет совмещал ученье с работой секретаря рабочего отдела газеты. Звание рабкора обязывало. Приходилось бывать на рудниках и заводах, знакомиться с их жизнью, вникать в нужды трудовых коллективов.

Для того, чтобы по-настоящему, изнутри, постичь сущность рабочего человека, юный журналист расстается с газетой и определяется на Краматорский металлургический завод учеииком строгальщика. Вместе с другими заводскими ребятами он живет в общежитии одной коммуной — «коммуной номер раз». Однако ни работа на заводе, ни комсомольские дела не увели его от главного — литературного творчества. В это время он увлекся поэзией и пишет свои первые стихи.

Забегая вперед, скажем, что стихотворения молодого поэта получили известный резонанс и публиковались не только в местных газетах и альманахах, но и в центральной прессе (в газете «Правда», журналах «Октябрь» и «Огонек»). Издательство «Московский рабочий» подготовило к печати сборник его стихов. И вдруг неожиданная просьба автора — рассыпать набор. Восемнадцатилетний юноша сумел трезво, по-взрослому оценить свои поэтические возможности. И больше к стихам Горбатов никогда не возвращался.

Из Краматорска по мобилизации партии он направлен снова в Артемовск, на этот раз на должность заместителя редактора газеты «Молодой шахтер». Здесь в 1925 году Горбатов печатает остросюжетный, но художественно весьма несовершенный роман «Шахта № 8». Положительные герои романа — шахтер Васька и его друзья-комсомольцы разоблачают орудующих на руднике вредителей. Тема бдительности была в ту пору весьма актуальной, однако, чтобы раскрыть ее достаточно убедительно, семнадцатилетнему автору не хватало ни глубокого знания жизни, ни литературного мастерства. Роман так и остался на страницах газетных номеров — писатель впоследствии не возвращался к нему.

В это же время Горбатов вошел в руководящую пятерку Союза пролетарских писателей Донбасса «Забой». Вскоре он направлен в Москву делегатом на Первый всероссийский съезд пролетарских писателей. Его заметили: он был избран одним из секретарей правления Российской ассоциации пролетарских писателей и оставлен в Москве.

Однако административная деятельность, казалось бы престижная для молодого литератора, не пришлась по душе Горбатову. Его тянуло в гущу жизни, к людям труда, туда, где строятся не только новые шахты, но и новые человеческие отношения. Ему страстно хотелось писать, создавать по-настоящему «социально ценные вещи». И он принимает два важных решения. Об одном из них мы уже говорили: бросить писать стихи. Второе — вернуться в Донбасс. Эти решения, по словам самого Горбатова, спасли его творческую жизнь.

Возвратившись домой, Горбатов становится ответственным секретарем иллюстрированного двухнедельника «Забой» — органа местной организации пролетарских писателей. Московские встречи, особенно общение с автором «Железного потока» А. С. Серафимовичем, многому его научили. Горбатову стало ясным, что ни он сам, ни его товарищи по «Забою» не могут еще считать себя настоящими писателями. Чтобы войти в большую литературу, им надо серьезно учиться.

Избрав своим героем человека, увлеченного делом, активно включившегося в строительство новой жизни, Горбатов находит его черты в первую очередь в молодых комсомольцах Донбасса. В 1928 году в издательстве «Московский рабочий» в серии «Новинки пролетарской литературы» выходит его повесть

«Ячейка». Она заняла заметное место среди произведений так называемой комсомольской прозы конца 20-х годов, таких, например, как «Прыжок» И. Бражнина, «Первая девушка» Н. Богданова, «Натка Мичурина» В. Кетлинской, рассказы М. Колосова.

Писатели-комсомольцы ставили в своих книгах самые животрепещущие для молодежи вопросы: личность и коллектив, труд в новых условиях, борьба с мещанством, любовь и дружба в жизни молодежи и т. д. Со всеми этими проблемами мы встречаемся и в «Ячейке».

В центре повести — секретарь рудничной комсомольской ячейки Максим Бондаренко. Это одна из первых попыток в нашей литературе обобщить черты молодого героя-современника, беззаветно преданного идеям коммунизма, готового и к труду, и к борьбе, принципиального и в больших делах, и в мелочах. Заботясь об идейной нравственной чистоте комсомольских рядов, он голосует за исключение из комсомола своего родного брата Петра, выступает против мещанских настроений в комсомольской среде.

«Ячейка», живо и во многом достоверно показавшая быт и дела рудничного комсомола, была встречена молодыми читателями с большим интересом. За короткое время вышло несколько изданий повести, в том числе и в Германии. Вскоре, о чем впоследствии с гордостью вспоминает ее автор, вместе со многими другими «опасными» книгами она горит на кострах в фашистском Берлине.

Однако испытания временем это произведение Горбатова не выдержало. Его злободневность была преходящей, а подлинной глубины изображения жизни, человеческих характеров двадцатилетнему автору достичь не удалось.

Через два года, в 1930 году, под тем же грифом «Новинки пролетарской литературы» выходит роман Горбатова «Нашгород». На этот раз в центре внимания молодого писателя проблемы партийной жизни. Определяя основную направленность романа, критик А. Селивановский в предисловии к нему писал: «Победа партийности, мобилизация масс во имя великих задач, стоящих перед партией и пролетариатом, удар по перерожденцам, бюрократам, агентуре классового врага, по цеховщине, благодушию и успокоенности — таков боевой политический вывод романа».

Тем не менее новая вещь Горбатова была единодушно раскритикована в печати. На это имелись серьезные основания. Несмотря на заметный рост литературного уровня, Горбатову, как отмечали критики, не удалось верно соотнести светлые и теневые стороны жизни. Безотрадные картины развала партийной работы, извращенных методов руководства, отрыва его от масс, круговой поруки и многих других порочных явлений заслонили то положительное, что, по замыслу автора, должно было выйти в произведении на первый план. Отдав

дань рапповской теории «живого человека», согласно которой следовало в каждом индивидууме искать внутренние противоречия, Горбатов не сумел по-настоящему убедительно раскрыть психологию своих положительных героев. Порой они выглядят беспомощными, растерявшимися. И становится непонятным, как им удается в конце концов сокрушить «сильных мира сего». Линии некоторых персонажей (Ксении, Трегуба) остаются незавершенными. По признанию Горбатова, критика была для него «полезным уроком».

В 1930 году в Днепропетровском театре была поставлена пьеса о заводских комсомольцах «Жажда» — первый и еще весьма несовершенный драматургический опыт писателя. В том же году Горбатов был призван в армию.

Два года службы на турецкой границе, во 2-м Кавказском горнострелковом полку, не прошли даром. Совершив путь от рядового красноармейца до командира взвода, Горбатов был участником высокогорного похода, состоял членом полкового партийного бюро, редактировал полковую газету. Армейская закалка, военная подготовка очень пригодились писателю впоследствии. Творческим же результатом его военной службы явилась книга очерков «Горный поход» (1932 год).

Первое десятилетие литературной работы Горбатова — это годы ученичества, годы напряженных поисков. Он пробует себя в самых разных жанрах — от газетных заметок, очерков, стихов до повестей, романов и даже пьес. И если художественная ценность его произведений этих лет, как правило, невысока (писателю не удается преодолеть прямолинейность и схематизм в построении сюжета, раскрытии характеров), то это не значит, что начальный этап его творчества был бесплодным. Напротив, он дал молодому автору много. Именно в это время Горбатов нашел главную тему своего творчества, своих героев. Становление нового в жизни, повседневный подвиг людей труда, стоящих в авангарде строителей будущего,— этому и посвятит писатель свои последующие произведения.

Тридцатые годы — новый этап в творчестве Горбатова.

Демобилизовавшись, он становится специальным корреспондентом газеты «Правда». Работа в «Правде» — замечательная школа для писателя. Он побывал на многих больших стройках, заводах, шахтах страны. Среди них — Днепрогэс, Магнитострой, Соликамский комбинат, шахта «Центральная-Ирмино», где зародилось стахановское движение, и многие другие. Результат этих поездок — многочисленные корреспонденции в «Правде» и две книги очерков: «Коминтерн» (1932) и «Мастера» (1933). Журналист встречается со многими замечательными людьми, глубоко изучает материал. «На мой взгляд, работа в газете для писателя незаменима,— утверждал он.— Во всяком случае, лично я обязан газете всем, что я знаю и умею».

Одновременно Горбатов усиленно работает над новым романом — «Мое поколение». Замысел книги возник у писателя еще в 1928 году, когда была завершена повесть «Ячейка». Однако серьезно он взялся за роман только после возвращения из армии, летом 1932 года. Роман был напечатан в журнале «Октябрь» в конце 1933 года. В 1934 году он вышел отдельной книгой и после этого неоднократно переиздавался.

Новое произведение Горбатова сразу же привлекло внимание читателей и получило положительные отзывы в критике. Это было правдивое, живое повествование о судьбах молодых людей, чье детство совпало с событиями Октябрьской революции и гражданской войны, а дальнейшее формирование проходило в нелегких условиях восстановительного периода 20-х годов.

Писатель и здесь не изменяет своим привязанностям. Его герои — ребята с Заводской улицы одного из донецких городов. Многое пришлось им увидеть и пережить. «Мы привыкли просто говорить о страшном — о смерти, о голоде, о человеческих муках»,— признается Сергей, от лица которого ведется повествование. И в то же время эти парни оставались детьми. Однако даже в их играх на пустыре отражалось то новое мироощущение, которое они впитывали вместе с воздухом фабричных окраин.

В своей новой книге Горбатов во многом преодолел прямолинейность в раскрытии характеров, которая ощущалась в его ранних вещах. Ему удалось создать ряд запоминающихся образов с психологически достоверными индивидуальными чертами, выявляющими сущность персонажа. Таков, например, Алеша Гайдаш, признанный коновод среди своих сверстников. Он жаждет деятельности на благо революции, на благо советской власти. Присвоив себе кличку «боевик», он командует «Первым советским железным батальоном», сражавшимся с «буржуйскими сынками» — скаутами, поставлявшими пополнение деникинцам. Вместе со своим другом Сергеем он мечтает о создании «Детской коммунистической партии». Алеша полон энергии, но слишком горяч и самолюбив. Он ищет применения своим силам, вступая в борьбу со всеми, кто не хочет перестраивать жизнь по-новому. Это и его одноклассник, сын казачьего есаула Никита Ковалев, и «мелкий буржуй», хозяин «лимонадного завода». Это и отставший от жизни секретарь горкома комсомола Глеб Кружан. Однако честолюбивые мечты Алексея о «будущности государственного деятеля, которому подвластны судьбы стран и народов», таят в себе опасность эгоцентризма. В конце романа его единодушно избирают ответственным секретарем заводской ячейки комсомола, а затем и секретарем райкома. И не случайно, напутствуя Алексея, его товарищ, молодой коммунист Степан Рябинин, и радуется его взлету, и одновременно предостерегает его: «Все отлично. Смотри теперь не зарвись». Опасность зарваться реальна, она заложена в характере Гайдаша.

В этом мы убедимся, когда во второй половине 30-х годов Горбатов вернется к полюбившимся ему героям. На широком фоне жизни страны от Юга до Севера он собирался отразить героику трудовых будней начала 30-х годов, показать, как «угловатые, нескладные подростки превратились в сильных, здоровых мужчин». Книга, к сожалению, осталась незавершенной, и только после смерти писателя была обнаружена и опубликована первая часть романа, получившая название «Алексей Гайдаш».

Показательно, что, раскрывая новый виток в судьбе Алексея, автор начинает его с серьезного срыва своего героя. Став секретарем окружкома комсомола, он уверился в своей непогрешимости и зазнался. Недаром старые друзья прозвали его «вождиком». Гайдаш отстранен от высокой должности и мучительно переживает свое крушение. Преодолеть кризис ему помогает призыв в армию, смертельно опасное столкновение со старым недругом Никитой Ковалевым, троцкистом, укрывшимся под личиной красного командира, и сплоченный коллектив товарищей по службе.

Образ Гайдаша не единственная удача писателя. Запоминаются и многие другие герои «Моего поколения»: выступающий в роли рассказчика «политик» и будущий журналист Сережа Бажанов, отчаянный Мотька, вихрем умчавшийся от друзей на красноармейской тачанке, восторженный Сёмчик — курьер уездного комитета комсомола, молодой коммунист Степан Рябинин, взявший шефство над школьной ячейкой, и первая комсомолка этой ячейки Юля Сиверцева... Но в первую очередь — Павел Гамаюн. Скромный, сосредоточенный «тихоня» Павлик как бы дополняет импульсивного, горячего «боевика» Алешу. (Впоследствии в романе «Донбасс» мы снова встретимся с такой же парой: взрывным Виктором Абросимовым и уравновешенным Андреем Воронько.) Писатель открыто любуется своим героем. В Павле Гамаюне нашли воплощение дорогие Горбатову человеческие качества. И главное из них — любовь к своему делу, способность самоотверженно, упорно и творчески трудиться.

Павлик родился в потомственной рабочей семье. Ему хотелось стать слесарем на заводе, где работал его отец — большевик, погибший от рук белогвардейцев. «Хорошо бы открыть «детский завод»,— делится он своей заветной мечтой с друзьями. Рано начинается его трудовой путь. Рано и не легко. Попав на выучку к родному дяде, мастеру Абраму Павловичу, он вместе с друзьями-рабочими участвует в восстановлении полуразрушенного завода. Всякую, даже самую черную работу он выполняет «усердно и споро». А уж когда ему поручили нагревать заклепки для возрождающейся домны, он ликует, гордясь тем, что вносит свой, пусть пока что небольшой, вклад в общее большое дело. Шаг за шагом формируется в Павлике понимание того, что он не просто рабочий, но и один из

хозяев своего завода, отвечающий вместе с другими за его судьбу.

Павлик еще очень юн. Его представления о будущем трогают своей скромностью. Подружившись с дочерью старого рабочего Баглия — Галей, заменившей в семье умершую мать, он видит себя хозяином маленького домика, в котором живет вместе с Галей, такой же спокойной и трудолюбивой, как он сам.

Мы расстаемся с Павликом на пороге новых и важных событий в его судьбе. Он начинает учиться в школе фабзавуча и вступает в комсомол. Впрочем, расстаемся на время. В романе «Алексей Гайдаш» Павлик появляется снова. Он по-прежнему самозабвенно трудится. Восстанавливается очередная домна, и он работает несколько смен подряд. Принципиально важным представляется эпизод, в котором Горбатов сводит своих героев вместе. Алексей, еще секретарь окружкома, присутствует на комсомольском техническом совещании, где обсуждается вопрос о том, как наладить технологический процесс в связи с переходом на непрерывную рабочую неделю. Гайдашу становится страшно: он убеждается, что отстал от жизни, ибо не понимает, о чем идет речь. И когда его просят выступить, он ничего не может сказать по существу, отделываясь общими фразами. Но вот выступает Павлик. Он неопытный оратор и говорит сначала тихо, путаясь в словах, потом все уверенней и громче. «Он рос на глазах Алеши. Удивительная ясность была в речи молодого слесаря. Завод дышал в его словах, мерно и непрерывно, бесперебойно работали цехи». «Умница!» — оценивает его один из слушателей, старый инженер.

«Мое поколение» — книга, написанная от всего сердца. Лирико-романтическое начало придает авторскому повествованию особую задушевность и приподнятость. Нельзя сказать, что книга свободна от недостатков. Горбатов не смог добиться в ней композиционной стройности. Отдельным персонажам (например, «актеру» Вальке Бакинскому) присуща некоторая заданность, но писателю удалось главное: рассказать о людях своего поколения, о том нелегком и прекрасном времени, которое формировало их.

В конце 30-х годов Горбатов работает над своей самой любимой, по его признанию, книгой — «Обыкновенная Арктика».

30-е годы — годы бурного освоения советского Севера. Прокладывался Северный морской путь, сооружались новые порты, разведывались подземные богатства, строились поселки для зимовщиков. Полярные летчики своими рейсами сокращали расстояния между отдаленными точками Крайнего Севера.

В 1935 году по заданию «Правды» Горбатов на самолете Героя Советского Союза В. Молокова летит на далекий Диксон. Высадив пассажира, Молоков полетел дальше. Предполагалось, что он заберет корреспондента на обратном пути. Но на соседней зимовке заболел человек, и его требовалось доста-

вить на Большую землю. Место же на самолете было только одно. Горбатов без колебаний уступил его больному, а сам остался на Диксоне.

Шесть месяцев, с марта по сентябрь, прожил писатель вместе с зимовщиками как равноправный член их коллектива, деля с ними все тяготы и радости. Его корреспонденции, передававшиеся по радио, регулярно появлялись на страницах «Правды». В собрании сочинений Горбатова они объединены под общим заголовком «Зимовка на Диксоне. 1935 год».

В следующем году писатель принимает участие в уникальном перелете того же Молокова по трассе Северного морского пути. Перелет длился два месяца. Подводя его итоги, Горбатов пишет: «...нельзя придумать такого вида деятельности на Севере, который не открылся бы перед нами во время перелета».

Увиденное и пережитое требовало художественного воплощения, и в 1937—1939 годах Горбатов публикует в периодической печати цикл рассказов о людях, осваивавших наш Север. В 1940 году эти рассказы составили книгу «Обыкновенная Арктика». Само название книги — острополемическое. Какой представлялась Арктика человеку, знавшему о ней понаслышке или по книгам писателей начала века? Примерно такой, как ее описывает молодой инструктор Таймыртреста в рассказе «Карпухин с Полыньи»: «...страшной, цынготной, бредовой, с волчьими законами, драмами на зимовках, испуганными выстрелами, глухими убийствами в ночи, с безумием одиночества, с одинокой гибелью среди белого безмолвия пустыни, с мрачным произволом торговца, с пьяными оргиями на факториях, с издевательствами над беспомощными мирными чукчами, с грабежом, насилием, бездельем, одурением и отупением...» Да ведь она и была совсем недавно на самом деле такой. Среди персонажей «Обыкновенной Арктики» нет-нет да и попадаются люди, пытающиеся жить по старым законам. Это злобствующий старик Карпухин, нещадно эксплуатирующий своего напарника Сёмку, ненавидящий все новое, что преображает облик патриархального Севера («Карпухин с Полыньи»). Это бывший председатель исполкома, а ныне заведующий далекой факторией Тихон Петрович, бездельник и пьяница с замашками старорежимного купца, бессовестно обирающий ненцев («Торговец Лобас»). Это анархиствующий, своевольный Степан Грохот, бродяга и авантюрист, равнодушный к общему делу, противопоставляющий себя коллективу («Суд над Степаном Грохотом»).

Крайний Север издавна славился своей экзотикой. «Я за экзотику, но понимаю ее иначе,— пишет Горбатов.— Льды и белые медведи в Арктике — разве это экзотика? Кто же не знает, что в Арктике водятся медведи? А вот что там есть трактор, дойная корова, свиная ферма,— об этой экзотике, пожалуй, многие не знают». «Обыкновенная Арктика», в понимании Горбатова,— это новый, преображающийся на глазах край. И пер-

вая примета его обновления — люди: обыкновенные и в то же время такие необычные.

Какие же качества являются в них определяющими? Сознание своей причастности к трудному, но необходимому для Родины делу, чувство коллективизма, душевная щедрость. Герой рассказа «Большая вода», открывающего книгу, бобыль дядя Терень скромно считает себя на Севере «человеком пришлым, временным», хоть и живет здесь уже тринадцать лет. И каждый год ранней весной, до наступления большой воды, он совершает долгий и нелегкий путь в полтораста километров, чтобы по дороге навестить живущих в тундре людей и, придя на Диксон, выполнить их поручения — отправить радиограммы родным и близким, сделать необходимые покупки, узнать новости. И все это — совершенно бескорыстно, по велению сердца.

Сродни дяде Тереню и старый боцман из рассказа «Боцман с «Громобоя». Ему уже за шестьдесят. Он свое отплавал. Весельчак и балагур, он становится добровольной «медсестрой» в больнице на Диксоне, потому что его шутки поднимают настроение больным и помогают им выздороветь.

Сорокасемилетний Федор, в прошлом золотоискатель, перекати-поле, став одним из строителей Северного порта, впервые задумывается всерьез над своей жизнью и принимает непростое для себя решение: во имя интересов коллектива строителей порвать со своим старым другом, которому наплевать на все, кроме собственной амбиции. («Суд над Степаном Грохотом»).

Нельзя не восхищаться профессиональным мастерством и человеческим мужеством доктора Сергея Матвеевича («Роды на Огуречной Земле»). Рисуя его внешний облик, его повседневное поведение, писатель подчеркивает его кажущуюся заурядность. Но этот «обыкновенный, прозаический врач» «с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и йода» вырастает едва ли не в сказочного героя, когда по радио уверенно руководит своим молодым и недостаточно опытным коллегой, принимающим трудные роды на далеком полярном острове.

Голубоглазая «учителка» Таня («Поединок») не хочет оставить своих учеников на далеком чукотском стойбище и еще на год откладывает свою свадьбу с любимым человеком.

Бывший беспризорник Костя Лобас («Торговец Лобас»), нанявшийся приказчиком на факторию, заброшенную в Хатангской тундре, не может мириться с беззастенчивым ограблением ненецких охотников, которое учиняет заведующий факторией. Костя вступает в единоборство с ним и, рискуя жизнью, добивается восстановления справедливости.

Новое властно вторгается в жизнь советского Севера. В ряде рассказов Горбатов показывает, как разительно изменились условия существования, а вместе с ними и психология коренно-

го населения Арктики. Программным среди них является рассказ «Возвращение Сатанау». Напомнив читателям содержание известного рассказа Джека Лондона «Нам-Бок — лжец», Горбатов далее как бы переосмысливает ситуацию этого произведения в новых условиях. Так же, как эскимос Нам-Бок, чукча Сатанау после долгих скитаний по Америке возвращается в родное селение и рассказывает землякам о чудесах, которые он видел на чужбине. И если слушатели Нам-Бока никак не могут поверить в существование железного дома без весел, плывущего по морю, или зверя, которого кормят камнями, а он за это возит людей по земле, объявляют рассказчика лжецом и изгоняют с позором из своего селения, то реакция земляков на аналогичный рассказ Сатанау совсем другая. За десять лет его отсутствия жизнь чукчей настолько изменилась, что его описания самолета, паровоза, кино, радио, патефона никого не удивляют. Все это в той или иной степени уже вошло в быт его народа. Зато никто не может поверить тому, что в краю, где скитался их земляк, «здоровому нет работы». И Сатанау, прослыв лжецом, вынужден покинуть свой народ.

Подлинные факты легли в основу рассказа «Таян-начальник». Это история освоения острова Врангеля и одновременно история молодого эскимоса Таяна, который вместе со своим племенем согласился переселиться из бухты Провидения на неведомый остров и там обрел свое счастье. Выступая на торжестве в честь десятилетия со дня высадки на остров, Таян с уважением говорит о русских большевиках, которые сделали из него человека: «Был темный Таян и всего боялся... Теперь никого не боится Таян...»

Да, в Арктике многое изменилось усилиями советских людей. Дикий некогда край стремительно преображается. Возрождаются к жизни малые северные народы, спасенные Советской властью от неизбежного вымирания. Писатель рассказывает об этом с нескрываемым восхищением.

И в то же время он постоянно подчеркивает, что освоение Арктики — дело нелегкое, требующее огромных усилий и незаурядного мужества. Видимо, не случайно Горбатов завершает свою книгу рассказом об испытании, выпавшем на долю геологоразведочной партии профессора Старова. Группа из трех человек попадает в отчаянное положение. Нет горючего, вездеход стал. Кончилось и продовольствие. Однако ни старый профессор, ни его молодые спутники не падают духом. Они из последних сил идут вперед и бережно хранят бутылочку с нефтью, богатое месторождение которой только что открыли. Они не знают, вернутся ли на базу, но твердо верят, что их усилия не пропадут даром: «Здесь будут шуметь города...» Так и озаглавил Горбатов рассказ, завершающий книгу.

«Обыкновенная Арктика» — этапное произведение в творческом развитии писателя. Разнообразие и психологическая достоверность представленных в нем характеров, запоминаю-

щиеся картины суровой северной природы, обращение к различным формам повествования при ясно выраженной авторской позиции, свободное использование различных стилевых приемов — все это говорит о дальнейшем развитии его таланта. Написав свою книгу, Горбатов стал одним из первопроходцев в разработке темы советского Севера и шире — жизни советских окраин. Успешно начатое им продолжили уже после войны Т. Семушкин, Н. Шундик, Ю. Рытхэу, В. Санги и другие писатели.

Война не застала Б. Горбатова врасплох. После службы в горнострелковом полку, где он получил первоначальную армейскую закалку и звание командира взвода, он систематически совершенствовал свою военную выучку. Летом 1938 года он с отличием окончил курсы командиров запаса и был аттестован на должность командира батальона. Через год в качестве помощника начальника штаба полка по разведке совершил поход в Западную Белоруссию. Зимой 1939 года участвовал в боях на Карельском перешейке и в прорыве линии Маннергейма.

Нужно ли удивляться, что армейская тема широко представлена в его творчестве конца 30-х годов. Кроме упоминавшегося незавершенного романа «Алексей Гайдаш», это ряд газетных очерков и киносценарии «Политрук Колыванов» (написан в соавторстве с И. Вершининым) и «Три дня». Их общее настроение, которое было характерно и для многих произведений писателей предвоенного времени, можно выразить словами известной песни тех лет:

Если завтра война, если завтра в поход,—
Будь сегодня к походу готов.

С первых дней Великой Отечественной войны Горбатов на фронте. Его боевой путь прошел сначала от Черновиц до Туапсе, а затем от Туапсе до самого Берлина. Начал войну он в редакции армейской газеты Южного фронта «Во славу Родины», а закончил корреспондентом «Правды». Его очерки, статьи, корреспонденции, публиковавшиеся во фронтовой и центральной печати, представляют сегодня живую летопись подвига народа. Но особое место в литературе военных лет заняли его «Письма к товарищу», «Рассказы о солдатской душе», повести «Алексей Куликов, боец» и «Непокоренные».

В этих произведениях реализуется сложившееся у Горбатова перед самой войной представление о том, какой должна быть наша литература. «Это — как патроны, как хлеб, как знамя в бою».

«Я принадлежу к числу людей, считающих вершиной публицистики военных лет «Письма к товарищу» Бориса Горбатова»,— признавался К. Симонов. И с ним нельзя не согласить-

ся. Большинство из них написано до июля 1942 года, в самое трудное для нас время. Первые четыре письма под общим заголовком «Родина» датированы сентябрем 1941 года, последнее — сентябрем 1944 года. 20 писем — это лирико-публицистические монологи, обращенные к сердцу каждого воина. Секрет их огромной популярности на фронте раскрыл тот же К. Симонов: «Эти письма написаны с тою самой большой мерою любви к Родине, когда человек начинает говорить о ней очень просто, совсем просто... Они написаны с той предельной верой в силу и мужество человека, когда можно заплакать с горя, не стыдясь слез и не чувствуя себя слабым, когда глубокая тень скорби не лишает солдатские лица выражения бесповоротной решимости.

«Письма к товарищу» искренни до предела в их горьком раздумье над трагичностью всего происходящего, но они также искренни до предела в своей безоговорочной вере в победу».

Наряду с «Письмами к товарищу» широкое признание читателей-фронтовиков получила и небольшая повесть Горбатова «Алексей Куликов, боец». Осенью 1942 года она была напечатана в «Правде» и после этого неоднократно переиздавалась.

Повесть состоит из шести главок-рассказов, каждая из которых раскрывает очередной этап эволюции героя, пензенского крестьянина: «Алексей Куликов побеждает смерть в своей душе», «Алексей Куликов приходит в ярость», «Алексей Куликов становится воином», «Алексей Куликов убивает предателя», «Алексей Куликов вступает в партию», «Алексей Куликов дерется на перевале». Адресуя повесть в первую очередь рядовому солдату, Горбатов старается писать предельно просто, обращается к народному языку, при случае использует приемы сказовой речи. При этом простота не переходит у писателя в упрощенность. Патетика не выглядит ходульной. Сочетание драматического и комического не просто оживляет повествование, но способствует более глубокому и точному раскрытию характеров.

Алексей Куликов — одна из первых в советской литературе попыток создания образа солдата Великой Отечественной войны. И попытка удачная прежде всего потому, что писатель сумел органически соединить черты русского национального характера с теми замечательными качествами, которые были сформированы в нем в условиях советской действительности. Конечно, Василий Теркин А. Твардовского, Егор Дремов А. Толстого, Лопахин М. Шолохова — образы более значительные. «Но не нужно забывать,— справедливо замечает исследователь творчества Горбатова Г. Колесникова,— что Алексей Куликов был их предшественником» [1].

---

[1] Г. Колесникова. Борис Горбатов. Творческая биография. Советский писатель, Москва, 1957, с. 142.

«Рассказы о солдатской душе» создавались также в трудные месяцы отступления. Написанные по горячим следам событий, не все они художественно равноценны. Иные («Лейтенант Леонтий Дергач и его рота», «Дезертир») страдают декларативностью, шаблонны. Но в лучших — перед нами воины, не растерявшие в суровых испытаниях богатство своей души. Таков хмурый, молчаливый командир казачьего полка Дорошенко («Возвращение»), который не может избавиться от чувства вины за поражения и неудачи, пережитые армией в первые месяцы войны. Таковы Никита Шандор и Иван Винокуров («Партийный билет»). Попав в окружение, «они сохранили жизнь и не потеряли чести... Сквозь огонь, воду и вражье кольцо они пронесли свои партийные билеты, не запятнав их изменой».

Комиссар батальона Алексей («Власть») живо напоминает нам Алешу Гайдаша. В ребяческие годы он так же, как и Алеша, собирал друзей на пустыре и кричал: «Митинг открыт! Пролетарские дети всех стран, объединяйтесь!» Он прошел путь «профессионального революционера» от пионервожатого до секретаря горкома партии. И вот, привыкший руководить людьми, знающий свою власть над ними, он не может поднять бойцов в атаку. Не может до тех пор, пока не находит единственно верного решения:

«Он поднялся во весь рост и закричал:

— Вперед! В ком совесть есть, вперед! За Родину!

И, не оглядываясь, побежал вперед. Один».

Алексей ощутил в этот момент и высоту своей власти, и ее пределы. Он понял, что власть действенна лишь тогда, когда она выражает чаяния народа.

И все-таки главной книгой Горбатова военных лет стала повесть «Непокоренные». Она появилась в 1943 году, тогда, когда наступил коренной перелом в ходе войны, когда, после победы под Сталинградом, наши войска, начав свое неудержимое наступление, освободили Северный Кавказ, а затем и родину писателя — Донбасс. Среди воинов-освободителей был и Горбатов.

Первая часть «Непокоренных» опубликована в майских номерах «Правды», а вторая — в сентябрьских. В этом же году повесть вышла полумиллионным тиражом в Гослитиздате. С тех пор она многократно переиздавалась не только у нас, но и за рубежом.

Сам Горбатов не был доволен своей книгой: «Я написал ее быстро, и поэтому вышла она «сырой». Действительно, повесть была написана быстро, но вызревала в сознании писателя исподволь, постепенно. Мотивы и образы, получившие развитие в ней, мы находим и в «Письмах к товарищу» (образ Игната Несогласного), и в «Рассказах о солдатской душе» («Дезертир»). После освобождения Ворошиловграда, в феврале 1943 года, Горбатов, потрясенный увиденным, ходил по зна-

комым домам, расспрашивая, как жил город «под немцем». Многое рассказал ему и руководитель ворошиловградского подполья Степан Емельянович Стеценко, ставший прототипом одного из героев «Непокоренных».

Название повести с предельной точностью выражает ее идею. Это книга о духовной силе, несгибаемости, непобедимости народа. В первых вариантах повесть называлась «Семья Тараса». Это название, на первый взгляд описательное, тоже имеет свой глубинный смысл. В центре внимания писателя семья старого рабочего-донбассовца Тараса Андреевича Яценко. Но семья Тараса не одинока в своем активном протесте против фашистских оккупантов. Их единомышленники — и сосед Назар Горовой, и другие старые рабочие, отказывающиеся работать на немцев, и обеспечивающий партизан продовольствием староста Иван Несогласный и многие-многие другие честные, непокорившиеся люди, члены большой «советской семьи».

Образ Тараса Яценко — бесспорная удача писателя. Мы встречаемся со старым Тарасом уже на первой ее странице. И сразу же ощущаем эпический размах повествования, его романтическую приподнятость, трагическую напряженность происходящего: «...Все вокруг было объято тревогой, наполнено криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раненых, плачем детей, и, казалось, сама дорога скрипит и стонет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...» Таким же масштабным, значительным предстает перед нами и старый Тарас: «Он стоял, грузно опершись на палку, и тяжелым, неподвижным взглядом смотрел на все, что творилось вокруг. Ни слова не произнес он за целый день. Потухшими глазами из-под седых насупленных бровей глядел он, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороны казалось — был этот каменный человек равнодушно чужд всему, что совершалось».

Поначалу Тарас думает «отсидеться», пережить оккупацию за закрытыми ставнями и массивными запорами. «Нас это не касается»,— пытается внушить он и себе, и домочадцам.

Но не помогли запоры, коснулось. Вынуждена идти на работу в городскую управу невестка Антонина. И вот уже Тараса вместе с такими же, как он, старыми рабочими-мастерами ведут под конвоем восстанавливать их родной разрушенный завод. Теперь Тарас приходит к единственно возможному для него решению: «Не покоряться». Так же думают и его друзья. Рискуя жизнью, они саботируют приказания оккупантов.

Тяжелым ударом для Тараса стало возвращение сына Андрея. Бежав из плена, он остается дома и, судя по всему, не собирается возвращаться в армию. Однако пример отца, его мужественное поведение, его «непокоренность» пробуждают в сыне совесть, он переходит линию фронта и вторично входит в родной дом уже воином-освободителем.

Во второй части повести география действия расширяется. С самодельной тачкой, нагруженной немудрящими домашними вещами, Тарас пускается в дальний путь в поисках «земли неразоренной», надеясь добыть для семьи муки и картошки.

Рассказывая о его скитаниях от Днепра до Дона, писатель получает возможность показать огромные размеры народного бедствия: «Тачки, тачки, тачки — насколько хватало глаз, одни тачки да спины, согбенные над ними. Спины и тачки — больше ничего не было, словно то была дорога каторжников».

Много хороших, но бесконечно страдающих людей встретил на своем скорбном пути Тарас. Только не нашел он «земли неразоренной». Зато, уже собираясь возвращаться восвояси, неожиданно лицом к лицу столкнулся со своим старшим сыном Степаном.

Встреча Тараса со Степаном — один из важнейших эпизодов повести. Нет на оккупированной территории «земли неразоренной», но есть много людских «неразоренных душ». Их-то и собирает руководитель партийного подполья Степан Яценко. Нелегко приходится ему. Смерть подстерегает на каждом шагу. Но его делает неуязвимым нерушимая связь с родной землей, с народом. Говоря об этом, писатель снова обращается к предельно эмоциональным приемам изображения, нередко отталкиваясь от Гоголя: «Больше не был он ей (родной земле.— *А. Т.)* хозяином,— что ж, остался ей верным сыном. И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда открылась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звенела она, и пела, и ластилась к его ногам». И далее: «Ему вручили свою душу люди, его приказов слушались, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожаком, а чаще всего — приказчиком народной души. Душеприказчиком. Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверяли свои надежды. Качающиеся на виселицах товарищи поручили ему месть за них».

Многое открылось Степану за долгие месяцы его подпольной жизни. И то, что не знал он по-настоящему людей, с которыми вместе работал до войны: иные из тех, кому он привык доверять, оказались предателями. Открылось и то, что «сейчас беспартийных нет», а есть честные, преданные люди, которые бок о бок с коммунистами самоотверженно борются с фашистскими захватчиками.

От Степана Тарас узнает о том, что его дочь Настя тоже подпольщица, и она свяжет его с «верными людьми». Он торопится домой, но не застает дочери в живых: фашисты расправились с ней.

Линия Насти не получила в произведении достаточного развития, однако с нею (и здесь Горбатов предваряет «Молодую гвардию» А. Фадеева) вошла в повесть тема непокоренной советской молодежи. Читатель запомнит эту скромную,

молчаливую, но бесстрашную девушку, убежденную комсомолку, отдавшую свою жизнь за общее дело, и поставит ее в один ряд с Зоей Космодемьянской, Лизой Чайкиной, героями Краснодона.

Концовка книги устремлена в будущее. Город освобожден. Домой из госпиталя на костылях возвращается младший сын Тараса Никифор. Он чувствует себя не усталым, больным солдатом, а жадным, нетерпеливым строителем: «Эх, работы сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, будьте любезны!»

Летом 1943 года, работая над «Непокоренными», Горбатов написал также пьесу «Юность отцов». Это единственная из его пьес, завоевавшая популярность и поставленная на сценах профессиональных театров и коллективами самодеятельности.

Пьеса привлекала актеров и зрителей остротой сюжета, героическими характерами, романтической устремленностью. Действие пролога и эпилога происходит осенью 1942 года. Основные же события вызваны к жизни воспоминаниями одного из героев пьесы и происходят в годы гражданской войны.

Горбатов нередко возвращался к своим любимым героям и в последующих произведениях. В «Непокоренных», например, мы вновь встречаемся с Алексеем Куликовым, который на этот раз находится на излечении в госпитале вместе с Никифором Яценко. Журналиста Сергея Бажанова (кстати, Бажанов — ранний псевдоним самого Горбатова) мы находим в «Нашгороде», «Моем поколении» и в последнем произведении писателя — романе «Донбасс». В пьесе «Юность отцов» главным героем является Степан Рябинин, тот самый Рябинин, который в «Моем поколении», вернувшись с гражданской войны, помогал создать в школе комсомольскую ячейку и был безнадежно влюблен в юную комсомолку Юлю Сиверцеву. В прологе и эпилоге пьесы он полковник, командир казачьей дивизии. В основном ее тексте — один из членов комсомольской коммуны, а затем подпольщик, безответно любящий Наташу Логинову, комсомолку, казненную белогвардейцами. И вот через двадцать два года полковник Рябинин узнает в одной из присланных к нему разведчиц дочь Наташи — Елену. В пьесе таким образом утверждается неразрывная связь поколений, юность отцов является светлым примером для их детей.

В 1944 году Горбатов завершает пьесу «Одна ночь». Это уже не романтическая, а психологическая драма. Писатель исследует сложную природу человеческого характера, проверяя его экстремальными обстоятельствами: в город должны войти оккупанты. Действие длится одну ночь. И за это недолгое время обитатели дома старого мастера Максима Богатырева, его родные и жильцы, полностью, но часто совсем не так, как того можно было ожидать, раскрывают свою сущность.

В последние месяцы войны Горбатов продолжает публиковать очерки и корреспонденции, в которых отражен победоносный путь Советской Армии на Берлин. Потрясающее впечатление оставляет его большой очерк «Лагерь на Майданеке», раскрывающий страшную правду о чудовищных злодеяниях, совершенных фашистскими извергами.

И, наконец, штурм Берлина. Ему посвящены очерки «В Берлине», «В районах Берлина» и заключительный, датированный «Берлин. В ночь на 9 мая 1945 г.»,— «Капитуляция». Горбатов был очевидцем взятия рейхстага, присутствовал при подписании акта безоговорочной капитуляции Германии. Войну он завершил в звании подполковника, был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За взятие Берлина».

Вернувшись с фронта, Горбатов живет в Москве, активно включается в общественную и литературную жизнь. Он член секретариата Союза писателей, член художественного совета по кинематографии, депутат Верховного Совета РСФСР. В качестве корреспондента он побывал в Болгарии, Венгрии, Югославии и Чехословакии. Зимой 1945—1946 годов вместе с группой советских писателей и журналистов едет в Японию и на Филиппины. Результатом его пребывания в Азии стал цикл очерков «В Японии и на Филиппинах». Писателя не увлекает восточная экзотика. Его очерки посвящены «обыкновенной» Японии, жизни ее народа. К. Симонов, который был в этой поездке вместе с Горбатовым, вспоминает: «...на окраине разрушенного Токио, посреди пустой холодной японской комнаты стоял очень сердитый рабочий русский человек из Донбасса и сокрушался о том, как трудно и скудно живет пролетариат Японии...» Его очерки рассказали читателю о сословном неравенстве, о полицейском произволе, о тяжелой судьбе японских бедняков.

Выступая перед своими избирателями в Брянске в феврале 1947 года, Горбатов подвел итог своим впечатлениям: «Я объездил много стран и убедился, что нет в мире лучше нашей страны, нет лучше нашего советского человека».

После войны начинает, наконец, писатель и работу над своей главной книгой, о которой мечтал всю жизнь. Эта книга, конечно, о Донбассе — родном крае, жизнь и судьба которого всегда волновали Горбатова, проходили через его сердце.

Нет нужды доказывать, сколь многие стороны жизни советских людей первых послевоенных лет сопрягались с тем, что происходило в 30-е годы. Страна жила нелегко, внутриполитический курс был достаточно жестким, люди работали с предельным напряжением сил, так как нужно было многое

восстановить, отстроить заново и совершить грандиозный рывок вперед, чтобы поднять и экономику, и военный потенциал на иной, значительно более высокий уровень.

Все это находило отражение в особенностях развития литературы, в ее тематическом содержании и пафосе, в частности, и в так называемой «производственной» прозе, представленной в конце 40-х — начале 50-х годов достаточно известными в ту пору романами и повестями «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Кружилиха» В. Пановой, «Высота» Е. Воробьева, «Журбины» В. Кочетова и др.

Новая книга Горбатова, хотя и была обращена к 30-м годам, без всяких оговорок вписывалась в названный ряд, оказавшись и своевременной, и современной.

В процессе работы в первоначальный замысел вносились все новые и новые изменения. «Сперва думалось,— писал сам Горбатов,— что это будет небольшая повесть — просто история двух товарищей. Сейчас уже ясно, что получится многотомное произведение. Ничего не поделаешь! Нельзя рассказать историю двух донецких ребят, не рассказав истории Донбасса. А история Донбасса — славной всесоюзной кочегарки — это огромная и прекрасная часть истории нашей дорогой Родины». В конце концов, по воспоминаниям К. Симонова, работа предстала в планах писателя как будущая трилогия, в которой действие первой книги должно было охватить первую половину тридцатых годов, второй — предвоенные и военные годы и третьей — современность. После долгих колебаний первая книга получила название «Донбасс», по словам самого писателя, ко многому его обязывавшее. Этим, видимо, объясняется то, что он — далеко не новичок на шахтах — подолгу живет в Сталино (Донецке) и его окраинном поселке Гладовке, вновь и вновь спускается в штреки, подолгу наблюдая за тем, как идет работа, постоянно бывает в «нарядной», присутствует на собраниях, ведет нескончаемые беседы с самыми разными людьми. Его письменный стол завален книгами по горному делу.

Новый роман Горбатова при общем лирико-романтическом тоне отличает обилие и точность социально-бытовых реалий, конкретность сцен, которые позволяют читателю увидеть, как и чем жил Донбасс 30-х годов. Но задача писателя шире: через призму донецкой действительности осмыслить существенные процессы, зарождавшиеся в стране, приступившей к строительству социализма, ответить на множество вопросов, которые иногда вполне конкретно формулируют и сами персонажи (Виктор Абросимов, Андрей Воронько, Сергей Бажанов, Николай Нечаенко и другие). Где истоки новаторского движения 30-х годов? Как приобщается человек к общественной жизни? Какие моральные ценности возникают на этом этапе, каким новым содержанием наполняются такие категории, как дружба, товарищество, любовь? Какой смысл вкладывается в понятия «слава», «подвиг», «герой»? Какие требования должны быть

предъявлены к руководителю, партийному и комсомольскому вожаку? И т. д.

События, которые разворачиваются в книге, имеют точную датировку — 1930—1935 годы — время, «когда с грохотом рушились старые порядки», когда было поднято знамя технического прогресса и в промышленность, движимая невиданным энтузиазмом, огромным потоком хлынула молодежь.

К молодежи, будущему страны, в который уже раз обращает свой взор и Горбатов. Герои романа Виктор Абросимов и Андрей Воронько — вчерашние школьники из маленького поселка Чибиряки. Захваченные поистине беспредельными возможностями, открытыми перед ними временем, они никак не могут справиться с вопросом «Кем быть?», стремятся понять, где окажутся всего нужнее, где место их счастью, их подвигам, их славе.

Однако кажущиеся им столь привлекательными профессии летчиков, моряков, верхолазов и т. п. не становятся их судьбой. Откликаясь на призыв партии, оба они с комсомольскими путевками в кармане едут добывать уголь в Донбасс. Самая обычная шахта с необычным, правда, именем «Крутая Мария» становится главным местом действия романа. Общая атмосфера книги приподнятая, радостная. Но, рисуя жизнь типичного донецкого поселка, писатель, вопреки бытовавшей в послевоенную пору «теории бесконфликтности», смотрит на эту жизнь не через розовые очки. Шахта работает пока еще по старинке. На ней немало лодырей, пьяниц, шатунов, тех, кто цепко держится за изжившие себя порядки и иногда даже старается активно помешать новому; есть и карьеристы, очковтиратели. Таким образом в романе возникают свои полюсы, свои противоречия. Впрочем, нельзя не заметить, что социальные конфликты представлены в несколько приглушенном, облегченном виде.

В этих условиях и начинается трудовой путь двух друзей. Нелегок он поначалу. Каждый из них по-своему овладевает новым делом и, наконец, не только занимает место среди лучших забойщиков «Крутой Марии», но и начинает испытывать смутную неудовлетворенность: сложившиеся методы добычи угля сковывают молодую энергию, не дают работать в полную силу, увеличить добычу. В нестерпимой тесноте забоя и начинает оформляться в сознании Андрея, поддержанного мастером Прокопом Лесняком и парторгом Николаем Нечаенко, перспективнейшая идея: «...лаву спрямить, уступы ликвидировать и дать всю лаву забойщику. Пусть он в полную силу рубает, а за ним крепильщики пускай крепят». Так готовится рекорд.

Победа Виктора — кульминация романа, праздник всей шахты, событие, вовлекающее в соревнование множество людей самых разных шахтерских профессий. И то, что рекорд

Виктора буквально накануне предварен Стахановым, по сути, не меняет дела и даже подливает масла в огонь.

Писатель напряженно раздумывает над тем, что же в возникшем движении объединило людей, даже таких разных, как главные герои — красавец Виктор с его молодецкой удалью, нетерпеливый, гордый, честолюбивый, и Андрей, скромный, внешне неприметный, медлительный, но наделенный светлым умом и не по летам серьезный. Ответ один: воспитанные временем, советской школой, комсомолом, они обладают гражданским сознанием. Виктора, Андрея, как и многих других представителей молодежи «Крутой Марии» (Митю Закорко, Сергея Очеретина, Дашу) и старшего поколения (не только коммуниста Прокопа Лесняка, но даже и вчера еще отсталого Кондрата), волнует мысль «о пользе родной шахты», о том, как «вытянуть Донбасс из прорыва», как, по словам одного из них, сделать, чтобы «и себе хорошо было и для государства выгодно». Вот почему лирический герой романа журналист Сергей Бажанов, слушая ребят, думает: «Я таких раньше не знал. У них были золотые руки мастеровых, и гордость пролетариев, и энтузиазм ударников. Но они уже не были ни пролетариями, ни мастеровыми, ни вчерашними ударниками. Это были совсем новые люди».

Чувство локтя, умение с одинаковой радостью отнестись и к своим, и к чужим победам, наконец, та открытость и легкость, с какой люди делились друг с другом секретами своего мастерства,— ценнейшие качества, обретенные в новых условиях.

От единичных рекордов к массовому новаторскому движению — вот путь «Крутой Марии», путь всей страны. И ведущая роль в решении проблемы технического перевооружения промышленности, роста производительности труда, воспитания широких масс в духе социализма принадлежала партии. Коммунисты разных рангов от генсека до рядового парторга шахты занимают большое место в романе. Среди коммунистов, непосредственно связанных с работой шахтеров «Крутой Марии», особое внимание уделено Николаю Нечаенко, который всемерно поддерживает Андрея и Виктора в их почине. Писатель называет его «организатором и заводилой», отмечает его бескорыстие, умение всегда поставить на первое место интересы дела, его горячее «любопытство» к людям, стремление постоянно быть среди них, способность помогать им справляться с ошибками и слабостями, сохраняя при этом жесткую принципиальность в главном. Таковы качества, которые автор считает в рядовом партийном руководителе эталонными.

Похожими чертами наделен и Андрей Воронько, который постепенно вырастает в партийного вожака. Андрей, так же как и Нечаенко, бескомпромиссно честен и одновременно внимателен и чуток к людям, так же всегда на первое место готов поставить интересы другого человека, коллектива, государст-

ва. Не случайно, явившись, по существу, инициатором и организатором первого на «Крутой Марии» рекорда по суточной добыче угля, он без колебаний уступает отбойный молоток более «проворному», по его мнению, Виктору, освещая тому путь в забое своей лампочкой. Сцена эта, несомненно, имеет символическое значение.

Первая книга романа завершается триумфом ее героев. Знаменитые люди Донбасса приезжают в Москву на Октябрьские праздники. Венец этой поездки — Красная площадь, прием в Кремле.

В сохранившихся главах второй книги «Перед войной» герои предстают перед нами в новом качестве. Андрей Воронько уже секретарь горкома партии. Он по-прежнему пользуется уважением и авторитетом среди шахтеров. Виктор Абросимов — управляющий угольным трестом. Однако в соответствии с логикой своего характера он совершает в романе ряд серьезных ошибок. Его горячность, честолюбие, самонадеянность, которые и раньше приводили к срывам, снова толкают его на неверный путь. Стремясь к немедленному успеху, он пытается решить сложные производственные проблемы волюнтаристскими методами, не считаясь с интересами дела и с людьми. Таковы причины, порождающие конфликт между старыми друзьями, Виктором и Андреем. Как писатель предполагал его разрешить, судить трудно. Важно, однако, что ситуация, возникшая в романе, отражала существенные болезни времени, последствия которых дают себя знать и в наши дни.

Перечитывая роман сегодня, видишь и неполноту картины эпохи, и недостаточную глубину исследования жизни, особенно очевидные сейчас, когда мы стремимся внести коррективы в осмысление нашей истории, и в частности такого важного, многое определившего в ней периода, как 30-е годы.

В то же время изображение энтузиазма и лучших качеств советских людей, которым выпало в эти годы работать, решая огромной важности и трудности задачи, помогает современному читателю избежать ненужных перекосов и крайностей в оценках прошлого и настоящего.

Борису Горбатову не удалось завершить свою главную книгу. Он ушел из жизни 20 января 1954 года, молодым еще человеком. Однако и за свои сорок шесть лет писатель сумел сделать много и остался в нашей памяти писателем-тружеником, писателем-бойцом. В его книгах отразилось время, в которое он жил. Пусть не все он успел и смог сказать. Но сказал немало. С любовью и ненавистью. Искренне.

А. В. Терновский

Автобиография

Я родился в 1908 году в Донбассе на Петромарьевском (ныне Первомайском) руднике. Это — в полукилометре от шахты «Центральная Ирмино», где Стаханов поставил свой рекорд.

Мое детство провел я на руднике, всю молодость — в Донбассе. Мне было двенадцать лет, когда вместе с другими мальчиками мы организовали первую на Украине детскую коммунистическую группу (ныне это пионеры). Мне не было четырнадцати лет, когда меня приняли в комсомол. Мне было девятнадцать лет, когда меня приняли кандидатом в ВКП(б). С 1930 года я член партии. Как и герой моей книги «Мое поколение», «я никогда не был беспартийным».

В детстве я работал на Краматорском заводе в Донбассе учеником строгальщика. Но очень рано увлекся литературой. Стал рабкором. В мае 1922 года в губернской газете Донбасса «Всесоюзная кочегарка» был напечатан мой первый рассказ «Сытые и голодные». Меня пригласили работать в газете. Я стал журналистом,— и уже на всю жизнь.

В 1924 году мы организовали Союз пролетарских писателей Донбасса «Забой». Я работал в нем. В 1925 году был делегатом первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей и был избран в правление ВАПП.

В марте 1926 года на очередном съезде я был избран одним из секретарей ВАПП и переехал в Москву. В это время я писал стихи, они печатались в центральных газетах и журналах. Должна была выйти книга моих стихов.

Но осенью того же года я принял два важных для меня решения: я понял, что я не поэт, бросил писать стихи и решил вернуться в Донбасс. Это были, ей-богу, мудрые решения! По-моему, они спасли мою творческую жизнь.

Там я написал мою первую книгу «Ячейка» — о комсомольцах Донбасса. Неожиданно для меня и издательства эта книга имела успех, вышла десятью изданиями. Ее перевели на немецкий язык, и она впоследствии горела на гитлеровском костре в Берлине. Следующая моя книга «Наш город» была жестоко раскритикована нашей печатью — и эта критика была полезным для меня уроком.

В 1928 году ЦК ВЛКСМ послал меня представителем ЦК в Госиздат. Я переехал в Москву.

В 1930 году пришел мой срок призываться в армию.

Как и всякий комсомолец, я мечтал получить военную подготовку. Пригодится! И пригодилось.

Я служил красноармейцем на Кавказе, на турецкой границе, во 2-м Кавказском горно-стрелковом полку. Участвовал в высокогорном походе, был членом полкового партийного бюро, редактировал полковую газету и стажировал на командира взвода. Затем стал командиром взвода.

Демобилизовавшись из армии, вернулся в Москву и стал специальным корреспондентом «Правды». С тех пор моя жизнь навсегда связана с «Правдой».

Я много поездил по стране. Был на новостройках, заводах, шахтах. При мне задули первую, а затем вторую домну Магнитки, пустили Днепрогэс, Соликамский комбинат, Макеевский блюминг. Я был на всех металлургических заводах СССР, на участках, рудных, соляных, калийных и золотых шахтах. Обо всем этом я писал очерки в «Правду». Вышло несколько книжек моих очерков: «Мастера», «Коминтерн» и т. д. Почти два года я прожил на Урале.

В 1934 году вышла моя новая книга «Мое поколение».

В это время я увлекся авиацией. Как командир запаса отбывал переподготовку в авиации. Был затем по-

мощником командира по политической части в перелете легких самолетов конструкции Яковлева по маршруту Москва — Иркутск — Москва. За этот рекордный в то время перелет маленьких машин я был награжден почетным оружием Осоавиахима.

Затем полетел с В. С. Молоковым в Арктику: Москва — о. Диксон.

На о. Диксон мне пришлось остаться, так как Молоков должен был вывезти больных. Я зазимовал. Зимовал около года, о чем ни разу не пожалел. Полюбил Арктику.

В 1936 году, опять же в составе экипажа Молокова, я участвовал в арктическом перелете через всю Арктику. Мы пролетели тридцать тысяч километров на летающей лодке, побывали на всех зимовках, на Камчатке, на Чукотке, на Командорских островах, на Охотском море — и окончили перелет на Москве-реке, где нас встречали руководители партии и правительства.

За этот перелет я был награжден орденом «Знак Почета».

В 1937 году продолжал летать на Север. Был на Ленских приисках, в Сибири и т. д. В результате этого увлечения Севером вышла моя книга «Обыкновенная Арктика» — самая любимая моя книга.

Мне хочется здесь подчеркнуть, что жизненный опыт, знание жизни приобретаются не случайными, «творческими командировками». Вся жизнь писателя есть непрерывное, ежедневное наблюдение и изучение. Что касается меня — то я только за письменным столом вспоминаю, что я — писатель. Я стараюсь забыть об этом, когда живу среди людей, хочу жить просто, как люди живут, не думая о том, как я потом опишу это облако или бородку этого человека, но невольно запоминаю и это облако и эту бородку. К сожалению, я редко записываю что-либо в записную книжку, но все увиденное, услышанное, узнанное прочно откладывается в памяти, словно в закрома. И чем эти душевные закрома полнее, тем легче писать.

Огромную службу сослужила мне моя долголетняя работа в газете в качестве специального корреспонден-

та. Газета дала мне возможность исколесить всю нашу страну, встретиться со многими замечательными людьми и, главное, встретиться с ними *по-деловому*. Для советского журналиста обязательно *ответственное*, строгое и именно деловое изучение материала; журналист по необходимости дотошно вникает в технику дела, он недоверчиво слушает всякие реляции, он все должен прощупать собственными руками, если не хочет подвести свою редакцию и обмануть своих читателей. На мой взгляд, для писателя работа в газете незаменима. Во всяком случае, лично я обязан газете всем, что я знаю и умею.

Газета научила меня разговаривать с людьми и по душам и «по существу». Я, например, никогда не беседовал с человеком, держа перед собой блокнот. Из опыта я знаю, что, заметив блокнот, ваш будущий герой невольно и из самых лучших побуждений начнет рассказывать вам не то, что есть на самом деле. Он будет «чуть-чуть» приукрашивать, присочинять, ведь он говорит уже не просто, а для печати, для литературы.

Процесс наполнения «закромо́в» я считаю первым и, может быть, самым важным процессом в жизни писателя.

Но вот задумана новая книга. Кажется, что твои закрома достаточно полны для того, чтобы ее написать. Теперь только — садись за стол и катай! Прекращается ли теперь изучение жизни? Разумеется, нет. Напротив, именно теперь оно становится наиболее активным, творческим, сознательным. Теперь уже не просто живешь, теперь ищешь. Ищешь людей, которые тебе нужны. Ищешь осмысленно, требовательно, придирчиво...

Иногда из рассказов писателей о прототипах своих героев может сложиться представление, что писателю просто везло: счастливо встретил интересного человека и написал о нем. А не встретил бы — и не было бы в литературе этого героя.

Но эти счастливые встречи, как правило, случаются именно у тех писателей, которые активно ищут и хорошо знают, чего ищут. Писатель — не золотоискатель старого типа, мечтающий о «фарте», о самородке, кото-

рый вдруг сам собой дается тебе в руки. Писатель скорее сродни горняку-проходчику, который пробирается к новым пластам, отлично зная, где и как они лежат.

Чтобы найти и увидеть в жизни новое, надо самому многое об этой жизни знать. Тут, как мне представляется, действует «закон расширенного воспроизводства». Мне вспоминается один старичок, писатель, который в те дни, когда строилась Магнитка, приехал туда, бродил по улицам с блокнотом в руках, останавливал людей, представлялся им и просил: «Не можете ли вы мне рассказать что-либо, что я мог бы использовать в беллетристической форме?» Что могли рассказать ему люди? О чем он мог расспросить их? Он приехал на Магнитку, как на охоту, как на золотую россыпь и, разумеется, уехал ни с чем. А «самородки» действительно лежали повсюду, но он их не мог увидеть.

Я хочу особенно подчеркнуть необходимость именно активного, осмысленного, делового изучения жизни. Процесс обдумывания будущей книги есть необыкновенно важный процесс. Собственно, в этот период и решается: получится книга или не получится. Вот тут-то и начинаешь ворошить свои закрома. Начинаешь отбирать драгоценное, важное, нужное. Начинаешь еще только в мозгу своем — *организовывать*, строить будущую книгу из хаоса впечатлений и образов, как дом из строительного материала.

Часто у нас, говоря о мастерстве писателя, имеют в виду главным образом работу над словом, над образом, над эпитетом, точно все мастерство писателя состоит в том, чтобы написать хорошую фразу. Между тем этап создания книги еще *до письменного стола*, на мой взгляд, есть этап куда более решающий. В это время нужно прежде всего привести в ясность идеи и мысли, которые ты хочешь сообщить читателю; нужно привести в порядок то, что ты в жизни увидел, ибо материал огромный и в нем легко потонуть. И здесь я стою за план. Я знаю, что наши классики никогда без плана не работали.

Я не боюсь употребить — на этом этапе — слово «схема». Да, надо построить схему, чертеж будущей книги. Расположить людей, выяснить их взаимоотноше-

ния. Определить их судьбы. Ибо, по-моему, нет ничего интереснее в книге, чем судьба человека-героя. А эти судьбы — в руках писателя. Как можно писать о человеке, не зная его? Прежде всего надо завести у себя свой «отдел кадров». О каждом из своих героев надо знать абсолютно все, начиная с того, когда он родился и что с ним было до того, как он пришел на страницы книги, и кончая тем, что с ним будет потом, после того, как он ушел из книги.

Для современных произведений характерно изобилие героев. Но о каждом — о каждом появляющемся на страницах книги человеке — автор обязан знать все. Не важно, войдет ли все это в роман или нет. А знать — надо! Тогда одной меткой фразой можно будет охарактеризовать человека, и будут люди, а не персонажи, книги, а не штатное расписание.

Нельзя пренебрегать и точностью в отношении времени действия... Вспомним, как обычно начиналось повествование у классиков: «Теплым июньским вечером 1858 года...» — и т. д. Из их книг всегда ясно, *когда* и *где* происходит действие. А в наше время, когда не то, что год, а каждый день неповторим, не похож на предыдущий, это особенно важно. Знаю это из собственного печального опыта. Неудача моей пьесы «Закон зимовки» во многом объяснялась тем, что я произвольно «сдвинул время», и получилась неправда, фальшь: то, что было возможно в Арктике 1935 года, когда я там был, стало уже невозможным в Арктике 1941 года... Шагнула вперед жизнь.

Вообще точность во всем — это закон для писателя. Тем из нас, кто работает над индустриальными темами, особенно необходимо знать, и хорошо, дотошно знать технику, технологию, производство. Человека труда невозможно показать без этого.

Мне довелось как-то присутствовать при обсуждении пьесы одного молодого драматурга. Пьесу все дружно критиковали. В ней были выведены два сталевара. Один — «консерватор», другой — «новатор», но оба они были одинаково бледны и неинтересны. Тогда мы попросили автора, чтобы он рассказал нам уже не «худо-

жественно», а своими словами, просто, чего хочет новатор и против чего спорит консерватор, и вдруг выяснилось, что автор сам не только не знает этого, а и вообще о мартеновском деле имеет смутное понятие. Стоит ли после этого удивляться, что пьеса не вышла?

Писатель должен до тонкости знать технику дела, даже не для того, чтобы ее описать, а чтобы самому все понять и увидеть, а увидев — найти в этом образное, то есть человеческое и поэтическое. Никто не требует от писателя, чтобы он описывал все эти винты и болты, — он пишет не прейскурант, но он должен все эти болты и винты знать, иначе для него и машина будет только железным хаосом, и человек — творец машины — останется непонятным. Скажу опять же из опыта. Только изучая техническую литературу, учебники горного дела, беседуя с мастерами и бывая в шахтах, смог я написать те страницы в своей книге «Донбасс», которые я люблю. И есть в этой книге несколько неточностей, за которые я мучительно краснею: значит, не все изучил, как надо!.. Я исправлю их в первом же издании. И опять поеду в Донбасс — смотреть, наблюдать, учиться...

Много, очень много должен знать писатель! Помимо главного, основного, ради чего пишется книга, он также должен знать и массу второстепенного. Я имею в виду «второй план» в книге.

Сценарий законно не требует такого изобилия подробностей, как роман. И это понятно. Не нужно подробно описывать внешность героя — будет живой актер. Не нужно писать пейзаж — будет оператор. Будет живая натура. Будут режиссер, художники и т. д., и т. д. Кино имеет много изобразительных средств.

У писателя же, когда он пишет роман, только одно оружие — слово. Словом должен он обрисовать и героя, и натуру, и жизнь, которая идет там, на «втором плане». Да нужен ли вообще этот второй план? Необходимо нужен. Не ради украшения, озеленения книги, бог с ним. А для того, чтобы читатель видел в нашей книге не сочинение автора по разграфленной схеме, а самое жизнь. Жизнь со всеми ее красками, запахами, переливами, подробностями. Для этого и пейзаж нужен,

и описания необходимы, и вся эта масса подробностей, которая как будто ничего и не решает в книге, а на самом деле и создает то очарование правды жизни, которое так покоряет нас в романах Шолохова, Фадеева, Федина, Катаева.

И писателю, когда он умеет это писать и знает жизнь, легче работать. Для меня, например, мучительно трудно сочинять «сцены в кабинете», заседания, камерные эпизоды. Понимаю, что надо эти сцены «расцветить». Вот и начинаешь: «он улыбнулся», или «ухмыльнувшись, сказал он», или «сдвинув мохнатые брови, проговорил он»... Самому скучно писать!.. А все оттого, что не представлял я себе зримо ни этого кабинета, ни зала заседаний, где идет горячий, интересный спор; не описал я стола, на который мой герой мог бы опереться, не написал окна, в которое он посмотрел бы, не дал жизни за этим окном...

Здесь я говорю уже, как видите, о непосредственной работе писателя за письменным столом. Это — самый радостный и самый трудный этап рождения книги. Это — страда писательская. Тут решается, созрели ли твои замыслы, хватит ли силенок наполнить чертеж живой и горячей кровью.

Нас не раз учили наши большие мастера: побольше трудитесь над своим произведением, переделывайте, переписывайте!.. И это — золотые слова. Нет ничего радостнее, как работать, работать, работать над книгой!.. Переделывать, переписывать, видеть, как на твоих глазах зреет и хорошеет твое детище. Процесс творчества — самое дорогое в нашей работе.

Летом 1938 года я был призван на курсы командиров запаса. Я окончил курсы с отличием и был аттестован на должность командира батальона.

С тех пор я крепко связан с армией. Вскоре меня призвали снова, уже в мой полк (229-й стрелковый), где я последовательно был начальником штаба батальона, заменял комбата и, наконец, помощником начальника штаба полка по разведке. В этом качестве я участвовал в 1939 году в походе в Западную Белоруссию.

Затем в том же 1939 году был переброшен на Финский фронт. Участвовал в боях на Карельском перешейке. Имел неосторожность написать статью в армейскую газету, и тотчас же приказом ПУарма был возвращен в «первобытное состояние», в газету. После окончания финской кампании всех нас, литераторов, перевели в резерв ПУР.

Когда началась Отечественная война, я был назначен во фронтовую газету Южного фронта. С первого до последнего дня войны был военным корреспондентом. Путь этот кратко можно описать так: от Черновиц до Туапсе — на восток, а от Туапсе до Берлина — на запад.

За это время я написал «Письма товарищу», «Рассказы о солдатской душе», «Алексей Куликов, боец» и т. д.

Так случилось, что мне много пришлось воевать в Донбассе, дома.

В результате этого вышла моя книга «Непокоренные». Я написал ее очень быстро, и поэтому вышла она «сырой». Жалею, что не смог сделать все, что хотел. Но она вышла вовремя, я доволен и этим. Ее тираж уже перевалил за миллион экземпляров. Она переведена и издана в двадцати трех странах мира.

За эту книгу мне была присуждена Сталинская премия второй степени (за 1943—1944 гг.).

Войну я окончил в Берлине. Я присутствовал при взятии рейхстага, был на том заседании, где подписывалась капитуляция Германии, видел дохлого Геббельса и т. д., и т. д. Но об этом еще не успел написать. За время войны награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями за Одессу, Кавказ, Варшаву, Берлин. Всего имею девять правительственных наград.

После войны редакция «Правды» командировала меня на Балканы. Я объездил Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию и Чехословакию. Из Чехословакии меня по решению ЦК ВКП(б) вызвали и командировали в Японию. Я пробыл в Японии три с половиной месяца. Побывал и на Филиппинах. Об этом написал несколько очерков в «Правду».

Кроме перечисленных выше книг, написал еще пьесы «Юность отцов», «Закон зимовки» и сценарии для фильмов «Это было в Донбассе», «Непокоренные», «Суд народов».

Осенью 1946 года после исторического решения ЦК ВКП(б) о журналах, при смене руководства Союза писателей, я был избран секретарем партийной группы президиума ССП и членом секретариата Союза писателей. Был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

За сценарий «Донецкие шахтеры» мне была присуждена Сталинская премия II степени за 1951 год (совместно с Алексеевым Владимиром Абрамовичем).

1952


Мое поколение
РОМАН

Скорей! Скорей!
На шее паруса сидит уж ветер.

Шекспир.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Большое любопытство мучает меня иногда,— иногда, в свободную минутку, когда, например, поезд застрянет на полустанке, забитом грузами для новостройки — оборудованием, лесом, огнеупорным кирпичом,— и пассажиры нетерпеливо маются на полках.

Или когда лениво ползут от колхоза к колхозу дровни по хрусткому сибирскому тракту, а кругом стынут прозрачные, словно стеклянные, березняки да синие ельники.

Большое любопытство мучает меня тогда.

Пятьдесят два года было нам всем вместе — мне, Алешке, Тоське, Павлику и Вальке, когда чей-то отец сказал нам:

— Случилась революция.

Даже самые старшие из нас не поняли, что же это произошло — горе или радость?

Но, должно быть, радость, скоро решили мы, потому что люди — веселые, шумные, счастливые — толпами ходили по улицам с красными флагами и пели. И мы ходили. И мы пели. И мы кричали: «Мир хижинам, война дворцам!» И, падающие от усталости, изнемогая от беготни, от шума, от впечатлений, переполненные до краев событиями, брели вечером домой, валились в кровать и беспокойно засыпали.

Мой отец был маляр. Он любил свое ремесло так же, как любил бы всякое другое, дававшее ему хлеб и водку. Но и он был болен профессиональной гордостью и в пьяном виде говорил мне часто:

— Серега! Каждый колер свою душу имеет. Охру взять — она веселая более, а уж желтая мумия — это женщина пожилая, сурьезная, ее купцы любят; или сурик — он парень беспокойный, броской.

Он ничего не читал: ни газет, ни дешевых изданий «для народа». С революционерами он не связывался. Перед подрядчиком шапку ломал, шею гнул. Глаза у него тогда делались узкими, слезящимися и только левая бровь хитро вздрагивала.

В пьяном виде он куражился:

— Я мастеровой человек, мне и море по колено!

Трезвый, он был кроток, тих, даже печален — тупо, похмельно.

И вот я, большевик и рабочий, иногда думаю, меня беспокоит иногда (когда поезд застрянет на перегруженном полустанке), беспокоит любопытство, беспокоит желание узнать: а не случись революция в годы, когда я был малышом, как сложилась бы моя жизнь?

Я, быть может, ходил бы с отцом мазать крыши, и в отеках красок всех цветов бесцветною прошла бы моя молодость. Швырял бы лихо на кабацкую стойку потную, стертую медь, носил бы в праздники рубаху с «разговорами», картуз с широкими, негнущимися полями и лакированным козырьком и сапоги бутылками. А может, выбился бы «в люди»: в приказчики, в писцы, в чиновники даже, и пыль стояла бы столбом над моею усердною лысиной. Или, может, выбрав из всех отцовских колеров самый яростный — красный, большевистский цвет, пошел бы топтать Владимирку, и отец говорил бы обо мне приятелям с удивлением и восхищением:

— И в кого он пошел такой беспокойный? — И тихо, доверительно добавлял бы: — Социалист! И даже водку не пьет.

Никогда мне не удовлетворить моего любопытства! Жалеть ли об этом?

Вот и поезд мой, наконец, тронулся. Затряслись люди на полках. В окне закачались столбы. Чей-то ласковый бас произнес удовлетворенно:

— Значит, поехали! — И добавил: — А в Магнитке, глядишь, и ужинать будем.

Кончились мои праздные размышления. Стал думать о Магнитке, о деле, по которому еду.

Но на полустанке, где мы опять задержались, у двери сторожки стоял малыш лет девяти. Он восторженно

глядел на поезд, а на его кудрявой головке лежал золотой, как корона, подсолнух.

В тысяча девятьсот двадцать третьем году, не раньше, увидел этот малыш свет. Я уже... Да, я уж был тогда секретарем комсомольской ячейки!

Недавно ко мне пришел Вовка-пионер. Он смущенно остановился в дверях и протянул смятые листки: заявление о вступлении в комсомол и анкету.

Я посмотрел в нее и ахнул:

— Вовка! Да ты что?.. Ты... в семнадцатом, в тысяча девятьсот семнадцатом году родился? Да? В семнадцатом?

Я хлопал его по плечу, хохотал, вертел во все стороны, а он только краснел да бормотал смущенно:

— Ну что ж тут такого? Ну, в семнадцатом!..

Товарищи! Он не знал городового, не видел даже! Завидую ли я ему? Пустое! Я и сам-то помню городового смутно.

Завидую ли я Вовкиному брату, обезоруживавшему городовых в семнадцатом году? Нет, и ему не завидую.

Между Вовкой и его старшим братом идет мое поколение. Я знаю его, как рыбак знает берега своей речушки.

Когда я говорю — «старая гвардия», мне представляется ряд крепких седых людей, а за ним — море человеческих голов.

Когда я говорю — «наша смена», мне представляется пионерский отряд: паренек, закинув вихрастую голову, трубит в хриплую трубу, девочка бьет в барабан.

Когда я говорю — «мое поколение», я говорю об Алеше, Павлике, Вальке, Тоське.

Я хочу увидеть эти слова — и вижу Алешку, Сёмчика, Вальку, Павлика.

Я хочу написать эти слова — и пишу об Алеше, о Павлике, о Вальке, о Тоське, о Моте.

Мотя пристал к нашей пятерке во время четырехдневных больших пожаров: горели склады спирта и водочный завод. Зарево полыхало над городом, неугасимое, ровное, словно гигантская лампада колыхалась в небе. Спирт тек по улицам,— он был в лужах и канавах, и люди черпали его ведрами, котелками, кастрюльками или, лежа на животе, втягивали растрескавшими-

ся губами и, опьяненные, полубезумные, засыпали тут же.

Весь город был пьян. Ветер, раздувавший пожар, был напоен спиртом. Тяжелый и пьяный, он волочился над тлеющими стенами склада. Там бушевал запасный пехотный полк, разбивал не сгоревшие еще двери, вытаскивал баки, четверти, бутылки.

С любопытством и страхом смотрели мы на пьяную, корчившуюся в безумии улицу, на зеленый ужас, охвативший город, на людей, ставших сразу непохожими на себя. Мы встретили нашего друга — полкового сапожника Углова. Круглый, румяный, он часто баловал нас разными рассказами, когда мы приходили в казарму. Сейчас он шел, спотыкаясь, дикий, всклокоченный, с вытаращенными, словно оловянными, глазами. Он не узнал нас, оттолкнул и пошел дальше.

На этих-то пожарах и пристал к нам Мотя. Он свалился к нашим ногам с полуобгоревшей крыши.

Мы бросились на помощь, но он быстро поднялся, перепачканный золой и сажей; рубаха его тлела в разных местах, и от нее шел сладковатый запах гари. Мотя понюхал воздух, посмотрел на крышу, с которой свалился, и произнес нерешительно:

— Чудеса-а!

Рука его была вывихнута. Он потрогал ее, поморщился от боли, но, выдавив измученную улыбку, сказал, стараясь быть бодрым:

— Заживет, как на собаке! — и сплюнул набок, словно взрослый.

Сначала мы просто шатались по пожарищу, любуясь, как синим пламенем горит спирт, но уже к концу второго дня, когда в городе пошли погромы, нашлось дело и нам.

И тут, в августе семнадцатого года, я впервые увидел настоящего большевика. Правда, говорили, что и отец Павлика, слесарь с машиностроительного завода, тоже большевик. «Но какой же он большевик? — думалось мне.— Он здешний!»

Степан Нагорный — председатель солдатского полкового комитета — был, по-моему, настоящий большевик: у него были очки и маузер.

Властей не было в городе. Разве городской голова, старичок с розовой лысиной,— власть?

Солдатский комитет сам взялся потушить пожар. Патрули ходили по городу, останавливали пьяных, от-

бирали водку и тут же били бутылки о камни мостовой. Пьяные тоскливо смотрели, как, мутясь в пыли, ползла драгоценная влага.

Мы помогали комитетчикам. Рыскали по улицам, указывали:

— Дяденька, а дядь! Вот у этого во какая четверть! Под полой.— А потом просили: — Дядь, дай разобью!

Крепко обхватывали четверть, высоко поднимали над головой и — гак! — яростно били об острые каменья.

На самом пожарище возле спиртных складов стояла охрана. Солдаты несли караул хмуро, неохотно, около них в толпы собирались темные люди с голодным блеском в глазах. Они смотрели сквозь штыки, как лопаются в огне бутылки: синее пламя дразнило их своим языком. Солдаты иногда покрикивали на толпу:

— Ну, расходись, расходись, чего там!

Но толпа все густела, темнела, наливалась силой:

— Почему добро пропадает?

— Чего бережете?

— Для кого?

Степан Нагорный пришел, когда уже завязалась руготня между толпой и охраной. Он сразу увидел, что охрана отругивается неохотно и зло — злость эта не к толпе, а к комитету, к нему, к Нагорному. Очки его поблескивали: пламя вспыхивало в стеклах.

Был вечер, душный и пьяный,— третий вечер пожаров.

— Вот он! — закричал кто-то, указывая на Нагорного, и вся толпа ринулась к нему.

Он вскочил на какую-то бочку и что-то крикнул толпе. Мы лежали с Алешей на крыше, нам не было слышно.

Толпа стихла. Теперь до нас долетали слова Нагорного. Из них я запомнил только одно новое и поразившее меня слово. Указывая на толпу, беснующуюся вокруг него, Нагорный несколько раз прокричал:

— Стихия! — В его голосе мне послышалась острая ненависть и жалость, но к кому — не понял.— Стихия!

Он упал под напором толпы, опрокинувшей бочку. Толпа сомкнулась над ним и скрыла от нас большевика. А когда, вдруг притихшая и обессиленная, раздалась, отступила, мы увидели: около опрокинутой бочки

лежит, разметав руки, Степан Нагорный, лицо черное: его топтали сапогами. Во двор торопливо входила группа вооруженных солдат во главе с комитетчиками.

На другой день погасло над городом зарево, словно свернулось и приникло к земле огневое крыло схваченной за горло птицы.

А через месяц в городе единственной властью уже был Совет рабочих и крестьянских депутатов.

Самый старший из нас — тощий четырнадцатилетний Мотя — метался по улицам и площадям города, глядя на все несытыми глазами.

Вчера — трехцветный, утром сегодня — красный, или «жовто-блакитный», или черный, махновский, или зеленый, дезертирский, колебался над зданием бывшей городской управы трепетный и беспокойный флаг.

И, как этот флаг, непрочной, тревожной была и жизнь города, людей, страны.

Улица корчилась в судорогах событий, происшествий, боев и драк, кричала плакатами, приказами, манифестами, размахивала столбами, на которых — синие и распухшие — качались удавленники. Улица жила тревожной жизнью — в выстрелах, в дыму, в звоне бьющихся стекол, в топоте тысяч солдатских ног, проходящих через город, чтобы драться и умирать.

Вечером Мотя шептал нам таинственно:

— Царя, слышь, с царицей шлепнули, а Распутин убег. Чудеса-а!

Начитанный Валька спорил:

— Распутина-то давно убили.

Мотька бросал на него сердитый взгляд.

— Тоже, знаешь ты,— бормотал он недовольно.— Ну и говори сам, если знаешь, а я помолчу.

Но молчать он никогда не мог и опять сыпал восторженно и неуемно:

— Заваруха идет, ребята, кака-ая! Чудеса-а!

«Чудеса» — это было его любимое слово. Оно хорошо выражало всего Мотю, его безграничное удивление перед огромным, сложным и непонятным ему миром.

Считалось, что он жил у тетки. Сухая, костлявая прачка, тетка его квартировала в подвале углового дома на Заводской улице. Этот дом прямо подступал к Миллионной, отсюда мы шли «улица на улицу».

Злая своей нищетой, болезнью и пьянством, угловатая, с острыми плечами, Моткина тетка частенько шпыняла нас и грозилась поколотить:

— Я вам, бездельники!..— и нехорошо ругалась.

Но Мотька ее не боялся, а даже жалел, покровительствовал ей:

— Она горе знает, ребята!

Считалось только, что он живет у тетки. Жил же он везде: в казармах, на площадях, на рынке, на вокзале. Раз даже неделю околачивался в помещении тюремной охраны.

— Знакомый там у меня,— объяснял он нам.— Хорошие рассказы рассказывает. Жизнь видал.

Он первый сообщил нам о том, что красным придется отступать.

— Никогда! — горячо закричал Алеша, а Павлик грустно опустил голову: он тоже кое-что слышал дома от отца.

— Уходят красные,— повторил Мотя и грустно, некстати, добавил свое любимое: — Чудеса-а!

Красные текли через город, торопясь выбраться из мешка. К ним присоединялись отряды местных рабочих, часто с семьями и всем скарбом,— уже горели южные заводские поселки, в дыму и крови шел Деникин.

— Мы еще вернемся! — говорили, уходя, красноармейцы.— Мы еще вернемся!

Мы стояли на перекрестке, провожая последние отряды красных, и Мотя задумчиво говорил им вслед:

— Как река текет... Как река!

Уже прошли последние тачанки обоза, а мы все стояли, пасмурные и тихие.

Вдруг, рассыпая по камням частую, беспорядочную дробь, откуда-то вынеслась запоздалая тачанка. Рыжий, безбровый парень с испуганным бабьим лицом погонял лошадей — он словно бежал от смертельной опасности.

На перекрестке тачанка вдруг остановилась: соскочило колесо.

Парень всплеснул руками.

— И-их, беда какая! — закричал он тонким, бабьим голосом.— Чего делать теперя?

Он соскочил с тачанки и стоял, беспомощно и пугливо озираясь.

Мотя вдруг сорвался с места и побежал куда-то. Через несколько минут, с молотком в руках, он уже помо-

гал парню. Когда колесо было поставлено на место, Мотя вскочил на тачанку и крикнул нам:

— Тетке скажите, нехай она моих голубей не продает. Нехай сама съест. Они вкусные. Прощай, ребята!

Рыжий парень удивленно посмотрел на удобно устраивавшегося в тачанке Матвея, потом засмеялся и дернул поводья. Тачанка застучала по мостовой, и до нас долетело последнее Мотино:

— Чудеса-а!

Отец Павлика — Василий Павлович — не успел уйти. До самого последнего момента он надеялся увезти с собой семью: больную жену и Павлика. Но жене стало так плохо, что об отъезде нечего было и думать. Тогда он решил уйти один.

Конный разъезд белых, ворвавшийся в город на тяжело храпящих конях, захватил Василия Павловича у вокзала. До него донеслись только последние гудки уходящего красного бронепоезда.

Кто-то из наших видел, как вели Василия Павловича. Он шел между конями белых кавалеристов в разорванной рубахе, избитый и безоружный. Лошади наезжали на него; и тогда он ускорял шаги, задыхаясь и истекая кровью.

Через день он раскачивался на столбе на Миллионной, рубаха полыхала, как флаг, а на груди болталась дощечка: «Так будет со всеми, кто...»

Пять трупов лежали на площади около собора. Двух из этих пятерых мы знали: кровельщики-соседи. Они отступали с местным отрядом красных.

Грузовик шел тяжело и медленно, полный трупов. Шел, покачиваясь на плохой мостовой,— ноги и руки мертвецов тряслись в сумасшедшей пляске.

Мы видели: люди шли по улице, потом падали,— тиф, холера, голод, пуля,— конец был один: смерть. Мы видели ее. Мы привыкли к ней.

На наших глазах просто и некрасиво умирали люди. Трупы валялись на вокзалах, на улицах, разлагающиеся, гниющие, черные. Их хоронили без попов, без речей, без таинств — просто свалив кучей на грузовик. И мы знали: они превратятся в прах, их съедят черви, нет никакой загробной жизни, нет и не может ее быть.

Еще тогда, когда в школах шло учение, а не валялись, как сейчас, на заплеванных полах пулеметные лен-

ты и уздечки, однажды на уроке естествознания учитель торжественно развернул таблицу.

— Вот строение человеческого тела, дети,— сказал он.— Может ли мне кто-нибудь сказать, дети, где у человека ребра?

Все молчали. Поднялся одиннадцатилетний Тосик и уверенно сказал:

— Я могу. У моего папы на войне перебили левое ребро. Вот тут! — И он показал.

В каждом доме побывала смерть. Старшего брата Алеши убили на фронте, где-то в Пинских болотах. Неизвестный солдат по простому солдатскому милосердию прислал родным письмо об этом, деньги и вещи покойного. Среди вещей была шинель. Алеше сделали из нее костюмчик.

Теперь смерть пришла в семью Павлика. Он лежал среди нас, уткнувшись лицом в землю, плечи его вздрагивали.

Мы прокричали над ним все, что могли, чтобы вылить нашу злость к белым и утешить Павлика.

Худощавый, нервный Алеша, потрясая кулачишком, грозил городу:

— Погодите, сволочи!

А я лежал рядом с Павликом и утешал его.

— Ну, что ж! Ну, ничего! — бормотал я и ничего больше не мог придумать.

Павлик был волосом белокур, глаза у него были голубоватые, чуть очерченные бесприметными бровями, нос курносый, но не такой, о котором говорят «задорно вздернутый», а честно курносый, простодушный, в дружных веснушках.

Он мечтал стать, как отец, слесарем, носил отцу еду на завод, и когда шел по цеху, по фрезерным, токарным, строгальным дорожкам, окруженный ровным гудением станков, он был по-настоящему счастлив.

— Самоточка? — говорил он, подходя к станку, и вопросительно смотрел на рабочего.

— Верно, сынок! — улыбался рабочий, и Павлик, осчастливленный, шел дальше.

Завод был маленький. Впрочем, это теперь, когда я еду на Магнитку, он мне кажется маленьким.

Бывало, старики рабочие приходили к Василию Павловичу.

— Будет ли разрухе конец? — спрашивали они.—

Будет ли раздору конец? Будет ли, скажи, Василь Палыч?

— Это только начало,— спокойно улыбался отец Павлика.— Но конец будет,— он гладил белокурую голову сына.

— Он-то хоть доживет? — донимали старики.— Доживет до хорошей жизни?

— Мы доживем,— отвечал Василий Павлович.— Если людьми будем, а не зайцами.

Он раскачивался на столбе на Миллионной,— не дожил. И я, вместо того чтоб утешать Павлика, сам, плача, никну в траву.

В больших окнах книжного магазина «Знание» при большевиках было «окно Роста», при белых — «окно Освага». Алеша подолгу простаивал перед окном. Мрачный, темный, весь в шрамах, первый наш драчун и коновод, он всматривался долгим, мучительным, недетским взглядом в портреты Корнилова и Деникина, в карикатуры на большевиков и красноармейцев.

После ухода Моти с красными Алеша изменился: помрачнел, вытянулся. Он ходил по улицам, как голодный волчонок, бессильно ляскающий не острыми еще зубами.

Я думаю, он мучился своей розовой юностью,— ему хотелось быстрее расти, он реже участвовал в наших детских играх: должно быть, болел горькой завистью к Матвею.

Молчаливое стояние его перед «окном Освага» кончалось обычно так: он круто, решительно, остро поворачивался к нам и глухо говорил:

— Пойдем бить скаутов!

Раньше мы ходили «улицей на улицу», или «школой на школу», или всем скопом на гимназистов. Тогда тоже случались жестокие драки, но теперь было не то: мы помнили, что скауты послали Деникину пополнение.

И мы сформировались в «Первый советский железный батальон», командиром которого был Алеша, одетый в костюм, сшитый из шинели убитого в Пинских болотах брата, комиссаром — я, а писаря мы взяли со стороны: никто из нас не хотел этой чести. Пошел в писаря хромой Ерка. Впрочем, для количества на поверку становился и он.

Как же мы вооружились? Просто! Оружие валялось всюду.

Так у Павлика оказался испорченный отцов маузер — патронов к нему не было. Павлик по доброте своей отдал маузер командиру батальона — Алеше, а тот, тронутый и счастливый, в свою очередь, подарил Павлику ржавый тесак, найденный где-то около казарм.

— Хороший тесак! — убеждал Алеша Павлика.— Его почистить — куда хошь иди! Правда!

У остальных были пращи, самострелы и палки. Мы пережили большую войну и жили в еще бо́льшую. Мудрено ли, что мы знали и понимали оружие так же, как теперешняя детвора знает автомобильные марки?

— Японская винтовка? — насмешливо спрашивал Алеша.— Паршивый винтарь! В нем никакого боя нет.

Или:

— Бердан я на нашу не променяю. Что в нем? Что патроны толстые, так это еще хуже!

И решали:

— Против нашей русской — другой винтовки нет.

И мечтали о ней, настоящей, трехлинейной, с сизым штыком, сверкающим на солнце.

Однажды я дрался со скаутом. Он был ниже меня ростом, но увертливей и ловчей, в скаутской шляпе с большими полями. Он сшиб меня каким-то ловким ударом и горделиво сказал:

— Джиу-джитсу!

Я не знал, что это такое, но быстро вскочил на ноги и стал перед ним петухом.

— А ну, вдарь! А ну, вдарь! — крикнул я не то для того, чтобы противника напугать, не то чтоб себя ободрить.

Вокруг нас уже затихла драка. Наши погнались за убегающими скаутами, а мы остались одни.

Воинственный пыл прошел. Я кричал еще: «А ну, вдарь! А ну, вдарь!», но никаких активных действий не предпринимал. Противник мой тоже повторял для приличия: «И ударю! И ударю!», но тоже, видно, не решался выполнить угрозу.

Тогда я поднял сбитую шапку, отряхнул ее и сказал удовлетворенно и победоносно:

— То-то!

Обоим стало неловко.

Скаут, как более вежливый, решил начать разговор.

— Я вас не очень? — спросил он корректно.

— Ничего! — пробурчал я.— Ну и я тебе тоже дал.

Скаут (*сдержанно*). Значит, мы квиты.

Я (*ворчливо*). Погоди-ка еще! (*Плюю на землю.*)

Скаут нерешительно насвистывает.

Я начинаю громко свистеть.

Скаут. А я в Америку собираюсь. (Замечая мое удивление, говорит небрежно, думая этим окончательно уничтожить меня.) Да... очень скоро!

Я (*насмешливо*). Это зачем же?

Скаут (*с превосходством*). А к индейцам. Там веселая жизнь, полная опасностей и приключений. Вы читали Майн-Рида?

Я ни в чем не хотел уступить этому щеголю и важно кивнул головой.

Но я не читал Майн-Рида. Я читал расклеенные по улицам стихи Демьяна, знал их наизусть, и когда Тоська сдрейфил в бою со скаутами, мы долго называли его «Митькой-бегунцом». В Америку я не собирался.

Но я ничего этого не сказал скауту и ушел прочь. Америка? Нет, мне незачем туда ехать!

Рассказывая потом Алеше о моей драке с бойскаутом, я добавил:

— А он в Америку уезжать собирается. Чуда-ак!

Алеша подозрительно насупил брови.

— Это он от рабочих убежать хочет,— догадался он.— Врет, собака, не убежит!

У него на все был готов убежденный ответ. Мотино излюбленное «чудеса-а» было чуждо и непонятно ему. В сложном и трудном мире он разбирался легко и уверенно: буржуи — сволочи, рабочие — наши.

Алешин отец тоже работал на заводе, но это был совсем другой человек, чем Василий Павлович. Сутуловатый, тихий, удрученный нуждой, заботами и семейством, он чуждался митингов, собраний, партий.

К сыну он относился странно: словно стеснялся, может быть, даже боялся его.

— Ты бы, Алеша, дома посидел,— говорил он, как всегда, тихо, с пришептыванием.— Стреляют!

Алеша вскидывал упрямую голову, рука его уже лежала на дверной щеколде.

— Пойду. Не убьют! — И он широко, размашисто

распахивал дверь, выходил на шаткое, скрипучее крыльцо и угрюмо осматривал улицу.

— От рабочих убежать хочет! — повторил он уверенно.

Развевались над зданиями трехцветные флаги. Застыл на железнодорожных путях броневик «Единая неделимая». Бряцая кривыми, в серебре, шашками, шли по тротуару дроздовские офицеры, а Алеша, насупив брови, снова повторял свое:

— Врет, собака! От нас никуда не уйдет!

Раньше, еще до революции, в горькие минуты похмелья или безработицы говорил мне отец ласково:

— А вот возьмем и уедем с тобой, Серега. У нас с тобой, брат, дядька есть. Богатый дядька. Мужик в Таврике. К нему поедем. Земля там хоро-шая! Таврическая...

А я смотрел, как тряслись его тощие руки, и знал, что никуда мы не уедем. Но, разыскав в школе на карте Таврию, долго смотрел на нее завистливо и безнадежно.

Откатились белые. Как мутный поток, поползли к морю, спешно, торопливо, в суете откатывались обозы, наскоро грабя и теряя награбленное.

Я ночевал у Вальки — окно выходило в магазин чистильщика сапог: вакса, щетки, шнурки.

Ночью, не разобравшись второпях, белые взломали дверь магазина. К нам отчетливо доносились голоса:

— Ну, что там? — резкий, командный.

— Так что вакса, вашблагородь!

— А, черт! Тащи ваксу, пригодится. Еще чего?

— Щетки, вашбродь!

— Бери и щетки!

И бежали, драпали, торопясь и сжигая за собою мосты, села и города.

Бородатые, в рваных, потных рубахах, входят в город красноармейцы. Переночуют — и дальше, вперед.

— Куда?

— На Таврию! На Крым!

Только пыль за ними вьется.

И я видел: Таврия — вот она, на этих сизых, пыльных штыках, близкая и простая.

Посреди площади поставили тумбу, на ней — большая карта. Красной ленточкой — путь красных.

Утром мы прибегали сюда. Глядели, толкаясь и мешая друг другу. За ночь ленточка продвинулась вперед: Ростов взят!

— Ростов взят! — кричим мы навстречу опоздавшим ребятам.— Ростов взят!

Иногда ленточка замирала на месте. Так замерла она у Перекопа.

— Не возьмут! — сказал тихо Валька.

— А этого не хочешь? — ему показали кулак.

Но все ходили хмурые. Прислушивались к разговорам взрослых.

— Крепок вал, голыми руками не возьмешь.

— Мужик там плохой: от него поддержки нет.

И я вспомнил: «Стихия». Часто задумывался над картой. Таврия! Таврия! Хорошая таврическая земля, сколько крови впитала ты! Может, Мотина кровь там?

От него не было ни писем, ни вестей.

Приезжали раненые — под Ростовом, под Перекопом,— бандитской пулей на Украине. Проходили эшелоны с войсками, с беженцами, с мешочниками, белорусами, чувашами, татарами, русскими. Приходили вести из дальних стран — о Востоке, о Мильеране, об Антанте,— географический прибой бился вокруг нашего городка. В сумятице имен и лиц, в путанице говоров, обычаев, ухваток, характеров, в сутолоке людских толп проходило наше детство, и мы ждали: вот мелькнет среди этого потока вихрастая Моткина голова и удивленные глаза.

Но катились через город части, проходили эшелоны — не было Мотьки.

А я не забыл его. После, когда нежданно-негаданно встретились мы с ним, взрослые и такие несхожие с виду, мы все припомнили: и тачанку, и голубей, и все эти великолепные годы, о которых я не жалею, но которые я люблю.

Да, хорошая была встреча!

Но что же я?

Ведь все это я опишу в свое время.

2

Нас было шестеро ребят, корешей. Только двое — Валька Бакинский и Алешка Гайдаш — имели полный комплект родителей: отца и мать. У Павлика осталась

только мать, отца белые повесили. У меня — отец, матери не помню. У Тоськи — отец и мачеха. У Моти — ни отца, ни матери.

В тревожной и суматошной, неуверенной жизни родителям было не до нас, и мы росли сами.

Артиллерийский снаряд, выпущенный немцами, оккупировавшими юг, выбил стекла в нашей школе. Учение кончилось. Дальнейшее образование получали мы в казармах запасного пехотного полка, куда бегали в гости к Углову, в полковую сапожную мастерскую.

Углов угощал нас крутым кондером, табачком и солдатскими забавными и горькими рассказами.

Он рассказывал о доме, о детях, о бабе, которая тоскует по нем, по мужике.

— А может, уж спуталась с другим! — Он говорил это незлобиво, просто. И незлобиво же добавлял, вколачивая гвоздь в подметку: — Приеду — убью! — И сам хорошо знал, что не убьет. А мы гадали: убьет или нет?

Забегала в мастерскую веселая солдатня, грохотала плоскими шутками, материлась, учила материться и нас, и мы привыкли к этому грубому, неприкрытому быту. Мы привыкли просто говорить о страшном — о смерти, о голоде, о человеческих муках.

Может быть, поэтому так легко волочили мы свои собственные муки: и смерть, посещавшую наши семьи, и голод, и неустройство.

Полковой сапожник Углов много рассказывал нам и о женщине. Острой, покорной, извечной жалостью были проникнуты угловские рассказы. С тех пор и живет во мне бережное уважение к женщине.

Много ремесел узнал Углов.

— Руки у меня золотые,— говаривал он без похвальбы,— а голова дурная, темная.

Но это было неверно.

Когда запасный пехотный полк перестал быть запасным и отправился на фронт, исчез и Углов. Больше я его не видел.

Другой взрослый, который занимался нами, детворой, был матрос Трофим Хворост. По ордеру жилотдела он поселился в квартире Бакинских. Там мы его увидели впервые.

Матрос для нас всегда означал большевика. Поэтому первый вопрос, который Валька задал постояльцу, был:

— Вы комиссар?

Хворост удивленно посмотрел на него, потом засмеялся в длинные хохлацкие усы.

— Верно! Комиссар я.— И, хлопая Вальку по плечу, добавил: — Комиссар... А ты кто, шкет?

Скоро Хворост стал нашим общим другом. Не знаю, что заставляло его все свое свободное время отдавать детворе. Он ходил с нами по городу, в поле, на реку. Это было замечательное зрелище: огромный, усатый матрос в бескозырке, обвешанный ручными гранатами, маузером, финским ножом и патронташем (зачем у него все это было — не знаю!), он шел во главе шумной орды босых и растрепанных мальчишек, которые вприпрыжку бежали около него или висели на его руках.

Его истории отличались от угловских. Ни о доме, ни о жене он не говорил нам никогда: мы даже не знали, есть ли у него они. Спросили раз. Он подумал-подумал и с грустным юмором ответил:

— Була у собаки хата!

Рассказывал же он нам о флоте, о войне, о революции. У этих историй никогда не было конца, да и начала не было: начинал он как-то неожиданно, с ходу:

— ...Вот и говорит нам наш командир: «Братишки, что же мы, а?»

Где происходило, когда, с чего пошло — этого из его рассказов нельзя было узнать.

Истории свои он вдруг обрывал на самом, по нашему мнению, интересном месте и говорил нехотя:

— Ну, а дальше — мура! — и вытаскивал длинный ситцевый кисет.

Он любил рассказывать о будущем. Рисовал его ярко, сочно, не жалея красок.

— Ну а как там кушать будут — это нам без надобности,— объяснял он.— Не для жратвы мы этот огород городим.

— Каждому по дому достанется, а? — спрашивал матроса Валька.

Хворост сердито смотрел на него:

— Тебе зачем дом? Тю, скаженный!

И мы смеялись над Валькой, потому что никому из нас домов не нужно было.

— По-людски будут люди жить,— добавил Хворост.— И сыто, и светло, и весело! И точка об этом.

Случайно узнали мы, что Хворост работает в Чека.

— Ну да, в Чека! — равнодушно подтвердил он сам, когда мы возбужденно спросили его об этом.

Алеша подвинулся к нему и, глядя на него блестящими глазами, спросил:

— Товарищ Хворост...— Он замялся и вдруг докончил шепотом: — А расстреливать вам приходилось?

Хворост кончил свертывать цигарку и теперь прикуривал.

— Приходилось,— ответил он.

— Как же так?! — закричал Валька в ужасе.— Людей?

Хворост посмотрел на него удивленно, потом просто ответил:

— А ты б как думал? Ведь они ж нам вредные.

Через несколько дней кто-то спросил:

— А при коммунизме будут расстреливать?

Хворост поднял голову и, не думая, убежденно ответил:

— Не будут! Нипочем не будут!

Он уехал из города как-то неожиданно, стремглав, ни с кем из наших, кроме Вальки, не простившись.

— Ну, прощай, скаженный! — сказал он Вальке на расставанье.— Может, свидимся еще.

Валька клялся нам, что в глазах у Хвороста блеснула слеза.

— Слеза? — недоверчиво протянули мы и подняли Вальку на смех.

— Чекист не будет нюнить,— отрезал Алексей и презрительно посмотрел на Вальку.

А Валька уверял, что была слеза.

Так прошел сквозь наше детство этот усатый, рябой моряк с «Авроры», плотно увешанный ручными гранатами, не знавший ни семьи, ни хаты и отдавший всю неистраченную свою любовь босоногой детворе с Заводской улицы.

Хорошо пел из нас, пожалуй, только один Тоська. Только этим он и был хорош. А так — трусоват, жаден, сварлив. Но пел хорошо. Закидывал голову, упирался руками в бока и начинал медленно и тонко тянуть одну ноту: «Э-о-о-о!»

Мы знали: это — вступление, подход к песне, ухватка Тоськина, а песня впереди. Он разом срывал ноту, еще выше закидывал голову, и вот уже песня взлетала — хорошая, украинская, печальная песня.

А мы стояли вокруг него или лежали, приникши к траве, и, затаив дыхание, слушали. Шумели над нашими головами казацкие битвы, буйно гудела Сечь, плакал казак в турецкой неволе, шел долиною батька Дорошенко с войском,— эх, песни!

Горький запах полыни подымался над пустырем, запах горькой могильной травы. Почему так много сложено песен о смерти?

У красноармейцев учились мы другим песням: строевым. Они пели их в строю или на митингах. Наш «батальон» тоже пел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

Приходили белые. По внешнему виду белые солдаты мало отличались от красных: такие же бородатые, рваные, в смушковых шапках и плохих шинелях, только синие потеки на плечах от нарисованных погон.

Хрипло и мерно пели они:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую...

Мотив был схож. Это ошарашивало меня.

Приходили красные, располагались в казармах, жгли костры, били вшей, чинили рубахи и негромко пели. Дым стоял над кострами, едкий, ползучий. От развешанных над кострами портянок шел тяжелый запах пота. Песни были печальные и тягучие.

Приходили белые. Офицеры уходили по квартирам, солдаты располагались в тех же казармах, жгли костры, били вшей, чинили рубахи и пели. И пели те же песни, что и красные, о том, как казак копал криниченьку, о том, как мать не дала казаку доли, о субботе — дне ненастном.

Разговаривали мы с ними:

— Откуда?

— Полтавский.

— Давно воюешь?

— Давно.

— Надоело?

— Ох, господи! — Посмотрев на нас, добавлял: — Ото и у меня такой хлопча дома, як ты.

— А чего ж вы воюете,— мы озирались,— против красных?

Солдат сердито подтягивал к себе рубаху, которую чинил.

— Киш, цуценята! — кричал он на нас и тоже озирался.— Ох, господи!

Почему они воюют? Красные идут за правильное дело, почему же они против них? Почему толпа растерзала Нагорного? Ведь он хотел, чтобы не было погромов в городе. Почему в песнях так много поется о смерти? Почему стоит над страной горький запах полыни, могильной травы? Кончится ли это? Скоро ли?

И иногда казалось, что это всегда будет так: заколоченные окна школ и магазинов, обыватели, прячущиеся по подвалам, шальная стрельба на улицах, хлеб пополам с кукурузой и мякиной, потушенный завод, деньги — миллионы, за которые ничего не купишь.

Я делился этими думами с Алешей. Он обрывал меня и говорил убежденно:

— Недолго так будет. Вот кончится война, все будет иначе.

А как — иначе, он не умел объяснить.

Всей кожей, розовой, детской кожей, по которой пошел уже дружный загар, ощущали мы свое время. Бесстрашные и верткие дети улицы, воробьи на вздыбленной мостовой, с жадно разинутыми ртами и глазами, бегали мы смотреть все, что смотрится, слышать все, что слышится. Пролезали всюду: к новому танку, под брюхо бронепоезда, на нечаянный митинг.

Величайшее из всех учений в истории — ленинское учение — было взметено миллионами знамен и плакатов, и в них, в этих лозунгах, броских и динамитных, познавали мы то, за что боролись и умирали люди. Познавали легко, без труда, без борьбы,— щедра была эпоха, богатая гением величайшего из вождей, и мы, смутно помнившие городового, плевали в глаза царскому портрету, орали: «Нет бога ни на земле, ни в небесах!» Еще не работая сами, мы уже знали величайшую справедливость на земле: «Не работающий да не ест»,— и все это сокровище досталось нам даром, здесь, на нечаянных митингах.

Мы и сами устраивали свои митинги. Они похожи были на грачиный грай. Но неподдельные страсти бушевали здесь.

Собирались на пустыре за заводом.

Пустырь цвел лопухами и репейником; в бурьяне валялся и ржавел железный хлам, выброшенный с завода. Посреди пустыря растекалась никогда не высы-

хающая лужа: утки-качки приходили сюда пить, крякали, вытягивая шею. Рассохшаяся бочка валялась тут же. Ржавые обручи еще скрепляли ее рыхлые бока. По пустырю шел легкий ветерок, ворошивший пыль на лопухах.

— Товарищи рабочие и крестьяне! — хрипло кричал Алеша, главный оратор, обращаясь к сбежавшейся детворе.— И вы, товарищи красноармейцы! — поворачивался он к нашему «железному батальону».

Но мы не только перепевали взрослых. Было и свое.

— Пролетарские дети всех стран, соединяйтесь! — бросил как-то Алеша на митинге в девятнадцатом году и выдал свое, заветное.

У него был великолепный план: план всемирной детской организации; цели ее были неясны. Тут царила полная путаница. Алеше мерещились детские роты, батальоны, полки, сам он на белом коне, рев фанфар и колыхание рядов: ать, два, ать, два!

Это сначала нравилось всем. Но насмешливый Валька подрезал крылья.

— А воевать с кем?

— Хо! Ясно! С белыми.

— А кто нас на войну пустит?

— Пустят. Сами пойдем.

— А где оружие для всех возьмем?

Заминка и неуверенный ответ:

— Должна власть дать.

Но у Вальки последний сильный довод:

— А войне скоро конец. И большевики против войны. Что мы, скауты, что ли?

У меня была другая мечта: детская партия, комитеты, съезды.

— И круглая печать! Обязательно! — подхватывал Алеша.— Здание хорошее и вывеска: «Детская коммунистическая партия».

Но Валька качал насмешливо головой:

— Так вам здание и дали!

— И дадут.

— Дадут?

— Дадут!

— Вот вам что дадут! — он показывал фигу.

Закипала драка. Я, как комиссар, вступал в свои права:

— Что вы, как дети, ссоритесь? Стыдитесь!

Валька обиженно поводил плечами:

— А что они глупости порют? Партия-я! Партийцы тоже!

— А ты чего хочешь?

— Взяли бы лучше пьеску детскую поставили, вон как в городе.

Действительно, в городе появились детские драмкружки: «Путеводная звезда», «Детский мир», «Юные артисты».

— Так то ж гимназисты! — с невыразимым презрением возражал Алеша.— Вот дура! То ж гимназисты! — И грозился: — Ох, пойду я на этот спектакль! Ох, руки у меня чешутся!

Павлик, как всегда, молчал. Он даже словно не слышал. Присев на корточки, ласково гладил облезшую, всю в репьях шерсть Шарика.

— Ну, а ты как думаешь? — обратился я к нему в упор.

Павлик смутился, пролепетал что-то, но потом вдруг застенчиво и тихо сказал свое:

— Детский завод надо. Детский завод!

Митинги наши часто кончались драками, воем, ревом; мы уходили с расцарапанными лицами, но непримиримые, убежденные, упорные.

И вместе с этой горячей стремительностью, ртутностью, буйной, оголтелой юностью в каждом из нас уже жила холодная, прищуренная недоверчивость.

Приходил в нашу компанию новый. На него смотрели с воинственной настороженностью.

— А ты не буржуй? — сердито спрашивал Алеша, командир «железного батальона».

Мальчик божился, что нет, не буржуй.

— А чего ж ты божишься? — злорадно подхватывали мы.— Бога ведь нет!

А Алеша объяснял:

— Бога нет! — и тыкал в небо пальцем.— Там пустота и звезды...

Откуда мы узнали, что бога нет? Проникли в тайну мироздания? Прочитали антирелигиозную книжку? Прослушали лекцию? Ничего подобного! Надуло в уши, подслушали на митингах, увидели на плакатах, узнали от знакомых красноармейцев. Ведь недаром же ходила среди бойцов лихая поговорка: «Крой, бога нет».

3

Знойное, сухое и голодное пришло лето тысяча девятьсот двадцать первого года.

Из Поволжья двинулись в наши места голодные люди; они несли с собой ужас. Он дрожал в их воспаленных, ищущих, тоскливых глазах, и рядом с ним теплилась покорная, тихая и тоже тоскливая надежда. Они умирали на вокзалах, на улицах, в пыльных, запущенных скверах, потому что и в наших домах был голод.

С шахт приходили тревожные слухи: говорили о шахтере, убившем своих детей и бросившемся в шахту, чтобы не умереть голодной смертью.

У Алеши умер брат, маленький кудрявый Василек, Васятка,— мы любили нянчиться с ним.

— Тиф? — спросила у доктора Алешина мать, вытирая сухие глаза.

— Тиф?! — пожал плечами доктор.— Да, голодный тиф.

Алеша стоял, склонившись над маленьким почерневшим трупиком. Он хотел плакать и не мог. Алешин отец сидел, сгорбившись, беспомощный и жалкий. Наконец, он поднял голову и посмотрел на Алешу.

«Вот,— говорил тоскливый этот взгляд.— Вот! Я не виноват. Я один тянусь. Вставай, сынок, в лямку».

И Алеша съежился под этим взглядом.

Потом мы хоронили Васятку — хоронили наше детство. А на следующий день Алеша пошел в большое учреждение, где, говорят, давали хорошие пайки.

— Я хочу... работу...— сказал он робко.— Я писать могу, переписывать. Я учился в школе.

Его смерили взглядом: он был высок для своих лет, худощав, задумчив; в глазах у него металась голодная тоска и отчаяние. Его пожалели, дали пробу.

— Пишите,— и начали диктовать.

Дрожащими руками, старательно выводя буквы, писал Алеша.

— Неважный у вас почерк, молодой товарищ,— сказали, посмотрев его писание.— И ошибок много. Слово «лучше» вы написали «лутше».

Алеша слушал молча. Он хотел сказать, что немецкие снаряды, разорвавшиеся над его школой, помешали ему узнать, как пишется слово «лучше», но ничего не сказал и, опустив голову, направился к двери.

«А дома пайка ждут»,— подумал он, взявшись уже за дверную ручку, и вернулся.

— Я курьером могу,— пролепетал он в отчаянии.

Его взяли курьером.

Остальные ребята бродили по городу скучные, злые, ленивые. Митинги кончились. Казармы переделывали в школы; война стихла, только чоновские[1] часовые мерзли по ночам у складов.

Что-то новое происходило в стране, новое, непонятное нам. Дома стояли с выбитыми стеклами,— их еще не ремонтировали, но из них уже и не стреляли.

По улицам бегали ребятишки с лотками: ирисы, папиросы; они задирали нас, а мы, огрызаясь, кричали:

— Буржуйчики!

Но ребятишки эти делали что-то — Алеша тоже делал что-то: разносил пакеты по городу. Люди расписывались в его книге.

А мы бродили злые, неприкаянные, вырастающие из детской одежды, и не знали, где наше место в том новом, что происходит вокруг.

Нужно было начинать работать: дома голодно. Но где работать? Завод стоял притихший, еле дышал: кадровикам нечего было делать. Тоськин отец бродил по базару, продавал зажигалки. Тоську на лето отдали в деревню в подпаски.

Я не знаю, что было бы со мной, если бы я родился задолго до революции. Но мы — я, Павлик, Валька, Алеша,— мы росли в те дни, когда в крови и радости строилась новая жизнь, и казалось нам, что родились мы для дел необычайных.

Мы знали уже отраву мечтаний: каждый из нас видел себя командиром, трибуном, вождем. Душные, беспокойные снились нам сны: мы куда-то бежали, что-то кричали, падали, летели — в дыму, в зареве, в звоне и гуле.

Однажды мы лежали за городом на бугре. Солнце, расплавленное и белое, как литье, растекалось по небу. Мы лежали молча,— до этого Павлик говорил о том, что дома жрать нечего и мать опять плакала.

Валька ковырял палкой в земле,— земля была сухая, растрескавшаяся, горячая. Потом он отбросил палку и спросил:

---

[1] ЧОН — коммунистические части особого назначения.

— А что с нами будет, ребята?

На наших глазах в эти годы происходили необычайные вещи. Люди схватили в горсть огромную страну и вытрясли ее, выбили из нее пыль, как из старого половика.

Мы сами видели: знакомые рабочие с гвоздильного завода волокли пристава, он дрожал и просил не убивать. Мы сами видели: изменилась жизнь. Люди изменили, перекроили ее, отменили твердый знак и букву ять, объявили свободу.

Человек все может: построить, разрушить, убить, возвеличить, сделать большое, геройское, красивое. Человек все может.

И вот вопрос:

— Что же с нами будет, ребята?

Городок лежал внизу — маленький, беленький, с чахоточной зеленью. Солнце стекало ему за шиворот, белое, как песок.

Мы могли стать всем: вождями, инженерами, механиками, милиционерами, писателями, комиссарами, железнодорожниками.

Жизнь раскрывалась перед нами большая, податливая. Человек, люди все могут. Мы уже знали слова: класс, рабочий класс.

— Мать говорит — на заработки ехать надо,— произнес Павлик. В нем появилась уже солидность, как у крестьянского парнишки, впервые взявшего в руки вожжи.

— Надо учиться! — вздохнул Валька.

На его лице выступили красные капли прыщей. Волосы он зачесывал назад.

Можно было идти на заработки. Можно было учиться, можно было встать и пойти куда глаза глядят, и идти, идти,— никто не удержит, не спросит: куда идешь, зачем идешь?

Неожиданно из деревни приехал Тоська. Из пастухов его прогнали за леность и обжорство.

Он пришел к нам, краснощекий, пахнущий полем и стадом, теплым запахом навоза и травы, посмотрел на нас узкими своими щелками и сказал удивленно:

— Шкелеты вы! Пра слово, шкелеты.

Через несколько дней вечером он пригласил нас в кино.

— Всех вас кином угощаю. Пошли.

Мы прониклись к нему уважением: у парня есть свои лишние деньги.

Но скоро стало известно, откуда у Тоськи деньги, Валька видел: на Миллионной Тоська торговал с лотка папиросами.

— Вот она, «Ира», только с Каира,— покурим, гражданин?

— Торгуешь? — в упор спросили мы вечером Тоську.

Он испуганно посмотрел на нас, потом опустил голову.

— Отец заставляет.— И взглянул исподлобья.— Шамать надо, а?

Мы пожалели его: торговать — это хуже, чем воровать. Воровать что? Лихая штука. Смелость нужна. Наши понятия о собственности были условные: твое — мое — богово,— и лазали по чужие яблоки. Но торговать — это уж никуда! И мы пожалели Тоську. Стали думать, как горю помочь.

— В курьеры хочешь? — спросил Алеша, хотя мало верил, что дело выйдет.

— Больной я,— прошептал Тоська,— ноги у меня ревматизные. За это меня из пастухов выгнали.

Мы удивились: краснощек, а поди ж ты — ревматизные ноги! Ломали головы: как помочь парню? А Тоська стоял на Миллионной и кричал:

— Закурим, гражданин?

Ему тоже сначала было неловко торговать. Стыдно и скучно. Конкуренты грозились побить. Но потом он втянулся, сдружился с ними, стал так же, как и они, бойко выкрикивать названия папирос и лихо спасаться от милиционера.

У него теперь водились деньжонки. Он чуть набивал цену на папиросы (все ребята делали так) и разницу не отдавал отцу, а оставлял себе. Теперь он мог ходить в кино, покупать ириски, а иногда и выпивать с товарищами. Самогон ему сначала показался противным. Потом обтерпелся, даже понравился. Нас он избегал, и мы поняли, что Тоське — конец.

Скоро отделился от нас и Валька. В нашу компанию он вообще попал случайно. Кажется, Алеша привел

его — выручил из какой-то драки. Мы сначала недоверчиво встретили гимназиста, но он оказался свойским парнем. Его отец был бухгалтером в банке, и жили они на Миллионной, но Валька от зари до зари пропадал у нас на Заводской. Он рассказывал нам замечательные вещи, давал читать книги, придумывал сюжеты для наших длинных игр с массой приключений и событий. А потом его гимназическая фуражка поистрепалась, он выбросил ее. Время, которое треплет фуражки, стерло и различие между нами: Валька стал равноправным членом нашей группы.

У нас каждый имел кличку: Алеша — «Боевик» (он сам себе придумал), я — «Политик», Павлик — «Тихоня».

Вальку мы сразу прозвали «Актером». Он замечательно «представлял».

Вот идем мы гурьбой по улице. Вдруг он выскочит вперед — и вот перед нами старичок, прихрамывающий, худенький, жалконький. Идет старичок получать свою пенсию. Руки у него трясутся, глаза слезятся:

— Пропустите, добрые граждане. Собес закроют.

Но часто он «представлял» незаметно даже для себя. И верил в себя такого, каким представлялся. Вдруг он начнет хромать, и я уже знаю — это красный командир приехал домой раненый. И Валька искренне был уверен, что он действительно красный командир. Он выпрямлялся, становился медлительным, солидным. Какая-то грусть в его прихрамывающей походке, и снисходительность к штатским, и извинение всем, кто не ранен, и скромная гордость бойца.

Очевидно, в эти минуты в Валькиной голове разворачивались увлекательнейшие эпопеи, героем которых был он, он сам, раненый командир. А если вблизи были девочки, он «представлял» еще лучше. И я тогда был еще больше уверен, что он верит в то, что это не «представление», а правда, жизнь, что все это с ним, с Валькой Бакинским, происходит.

Девочки редко бывали в нашей компании. Девчонок мы презирали. Алеша даже поколачивал их. Своей сестре Любаше он строго-настрого запретил путаться в наши игры. И единственным защитником и рыцарем девочек был Валька.

Однажды он даже принес Любаше розу. Я заметил, что он отдал ее с церемонным поклоном и, не обращая

внимания на смущение девочки, поцеловал ей руку. Потом одернул борт куртки, как если бы это были лацканы фрака, сунул в кармашек платок, опять церемонно поклонился, изящно наклоняя вихрастую голову, на которой он «представлял» тончайший пробор, и удалился. Не ушел, не убежал, а именно — удалился. И я знаю, кого он «представлял» на этот раз: еще вчера он мне объяснял значение слова «денди».

Он таскал нас на все театральные представления в город.

Вы помните эти дни девятнадцатого-двадцатого годов? Каждый подив возил за собой труппы актеров. Каждый госпиталь имел театр. Там, где было три чахлых дерева, объявлялся «сад», и в этом саду давался бесплатный концерт.

С эстрад, составленных из канцелярских столов, неслась к нам безыменная музыка (возможно, это был Бетховен), непонятные, но звучные стихи (Маяковский?), исполнялись отрывки из каких-то пьес,— мы ничего не понимали, но впитывали и музыку и стихи...

Но Валька вдруг перестал ходить к нам на Заводскую. Алеша встретил его в городе и узнал, что Валька записался в детский драматический кружок, есть у них режиссер, готовят они большой спектакль, нашей братии будут контрамарки.

Мы решили: контрамарки не брать, Вальку считать дезертиром, объявить вне закона, в случае поимки — без полевого суда расстрелять на месте.

Скоро ушел от нас и Павлик. Он поехал к дядьке, мастеру завода в Белокриничной. Мать собрала ему мешок: хлеб, бельишко, полотенце с петухами. Мы с Алешей провожали Павлика. Втроем грустно бродили по усыпанному багряными листьями перрону, потом подсаживали Павлика в теплушку, кричали вдогонку поезду и махали фуражками.

Как-то сразу, быстро, в одно лето, распалась наша тесная группа, словно вышел наш «железный батальон» с большими потерями из боя.

Что же! Это верно: это бой. Это жизнь разбросала нас. К лучшему ли? К худшему? Увидим. Земля движется вокруг солнца, облака плывут по небу, утята разбивают скорлупу яйца клювами.

Молча шли мы с Алешей с вокзала.

— Значит, уехал Павлик? — наконец, произнес он.

— Уехал.

И опять легло молчание. Пыльная улица, трава между камнями тротуара.

— Как думаешь, Матвей жив?

— Кто его знает!

На перекрестке мы разошлись, крепко пожав друг другу руки.

Через несколько дней я поступил учеником наборщика в организовавшуюся при типографии школу фабзавуча. Там вступил в комсомол, а потом, когда умер отец, я и вовсе перебрался с Заводской улицы в центр, в коммуну, которую ребята называли «коммуна номер раз».

Но об этом потом. Вот захлебываюсь я, как щенок в весеннем паводке, в потоке воспоминаний. Вынырнет лицо,— где ты, браток, теперь? Какой ветер раздувает твои паруса? Или сценка какая вспомнится, грустная ли, веселая, мрачная,— вот и не знаю я, с чего начать, как подойти к ней, как развязать этот длинный, как чумацкий шлях, моток моих воспоминаний.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Тогда впервые научились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Н. Тихонов

1

Рыженький худенький парнишка лет четырнадцати в ватной солдатской фуфайке сидел на лестнице и навертывал обмотки.

Обмотки были цвета хаки, грязные и помятые,— они, должно быть, давно не стирались.

Парнишка с торжественной тщательностью расправлял их, потом резким рывком натягивал, как струну,— казалось даже, что обмотки звенели,— потом уверенно и осторожно бинтовал ногу.

Детвора столпилась около него в благоговейном молчании. Она ходила в стоптанных башмаках, рваных са-

погах, бегала босиком, летом щеголяла в деревянных колодяшках. Но обмоток ни у кого не было.

Парнишке, видно, льстило почтительное молчание детворы, однако на веснушчатом его лице не выражалось ничего, кроме деловой озабоченности.

И когда паренек кончил свою работу и звонко хлопнул себя по затянутой донельзя ноге, он вдруг сказал серьезно и строго, не обращаясь собственно ни к кому:

— А у моего брата еще и наган есть,— и снова хлопнул себя по обмоткам.

Его звали товарищем Семеном,— так он сообщил ребятам,— а жил он с отцом и братом, по ордеру вселился.

— Жилотдел ордер дал,— охотно рассказывал он и со смехом добавлял: — Мы вашу буржуйку уплотнили.

Речь шла о хозяйке дома.

— А я сам в комитете работаю.— Он хмуро насупил брови и прижал к боку брезентовый грязный портфелишко.— Ка-эс-эм! В уездном масштабе.

Лицо его вдруг омрачилось. Он вспомнил вчерашний спор с курьером губкомола Гольдиным, приехавшим сюда в отпуск. Тот убедительно доказывал Семчику, что он, Гольдин, выше его по чину.

— Я курьер губкома, в губернском масштабе работаю,— говорил Гольдин,— а ты — курьер укома, работаешь только в уездном масштабе.

Кончилось дело тем, что Семчик двинул губернского работника в ухо, и его пристыдил за это сам Жихарь, секретарь укомола.

Это воспоминание и омрачило лицо Семчика.

— Ну и в уездном масштабе! — примирился, наконец, он.— Разве мало?

Он пожалел, что по бедности комсомольского бюджета в волостях нет курьеров,— они были бы по чину ниже его. Потом он грустно вздохнул: почему курьерам не выдают оружия?

Опять вздохнул и пошел со двора, сопровождаемый восхищенным детским роем.

Уже много дней слышит Семчик это новое, непонятное слово «нэп», а значения его все же понять не может.

«Учреждение новое появилось, что ли? — тревожно думает он.— Где же оно помещается? Еще с пакетом пошлют».

А спросить у других стыдно. «Старый комсомолец,— скажут про него другие,— а такой вещи не знает!»

И опять омрачается лицо Семчика.

Но вот он уже, оказывается, и не старый комсомолец.

— Как же так? — горячился он в укоме и чуть не плакал, доказывая свое.

В восемнадцатом году отец, старший брат и он, втроем, пришли в комячейку. Семчику шел двенадцатый год,— он глазел по сторонам: у Карла Маркса на портрете была огромная борода.

— «Ну и борода!» — подумал он тогда.

Он так и ходил всегда за отцом и братом. Матери не было — жили в эшелонах, комитетских комнатах, во временных общежитиях. Семчик называл себя сначала коммунистом, потом комсомольцем (комсомольцем даже лучше, чем коммунистом! — решил он) и откликался, только когда его звали товарищем Семеном.

Когда они приехали, наконец, после эшелонных странствий в этот городок, получили по ордеру комнату в уплотненной квартире буржуйки и Семчик определился курьером в укомол, к нему подошла курносая дивчина в такой же, как и у него, заячьей ушанке и сказала ему строго:

— На учет в ячейке встал? Билет давай.

Дивчина оказалась секретарем ячейки.

— А билета у меня нет. Какой билет? — растерялся Семчик.

— Какой, какой! Комсомольский!

Но комсомольского билета у Семчика не было, никогда не было.

— Может, у папаньки билет мой? — совсем робко предположил он.

Тут уж и строгая дивчина не выдержала: хохот пошел по гулким коридорам укома. Смеялись все: укомовцы, заехавшие из районов ребята, случившиеся здесь городские комсомольцы.

Кончилось тем, что Семчику дали комсомольский билет, но стаж поставили с этого исторического дня.

Долго ходил неутешным Семчик. Огромная несправедливость — вот как называлось то, что сделали с ним.

Разве не бегал Семчик в восемнадцатом году по темным коридорам епархиального училища, превращенного в общежитие, звонко крича: «На собрание, товарищи, на комячейку!» Разве не он это на своей спине перетаскивал из типографии в подив горы листовок, еще остро пахнущих невысохшей краской? Разве не исколесил он с отцом все маршруты и направления, по которым то отливала, то вновь приливала революционная кровь страны? Разве не кричал он до хрипоты «ура» на походных митингах, где выступал отец?

Он любил, когда кончались собрания. Все вставали и дружно так, согласно пели «Интернационал». И разве он не пел со всеми? Детский, дрожащий дискант его вырывался часто из хора, и тогда Семчик испуганно замолкал, оглядывался и, убедившись, что все поют попрежнему, лукаво улыбался и снова присоединялся к хору.

Он плохо понимал то, о чем говорилось на собраниях, но зато отец часто разговаривал с ним. А отец умел объяснять даже самое непонятное. И, трясясь на нарах в теплушке, Семчик иногда, закрыв глаза, картинно представлял слова, которые говорил ему отец.

Слово «Интернационал» он представлял себе так: люди, обнявшись, поют — русский, китаец, негр и австриец (Семчик видел, как гнали по городу пленных австрийцев во время германской войны, и тогда еще жалел их). Слово «буржуазия» он тоже ярко видел: толстое, пузатое слово, паучье. Когда они уплотнили буржуйку, Семчик разочаровался: буржуйка была худенькая, куталась в пуховый платок, только глаза злющие. Но больше всего любил Семчик представлять слово «будущее». Тут была масса картин, солнечных, светлых. Они менялись в зависимости от того, что происходило днем: если днем голодали и мокли под проливным дождем, то «будущее» представлялось ему городом, залитым ласковым, горячим солнцем, а на зеленых улицах—обеденные столы.

Но все это было раньше, в детстве. Теперь Семчик — взрослый. Ему четырнадцать с половиной лет.

Кончилось тем, что Семчик, как всегда, спросил у отца о нэпе.

Отец торопился на собрание и ответил коротко:

— Новая экономическая политика... нэп... Линия партии в области экономики. Понял? — и побежал на собрание.

Он всегда такой занятой, и брат тоже.

Из этого объяснения Семчик все-таки понял, что нэп не учреждение, и успокоился.

Потом открылось первое в городе кафе. Открыл его Мерлис, толстый, багровый сосед Семчика по квартире. Еще недавно Семчик отлупил его золотушного сынишку.

— Буржуенок, ну, как его не бить? Контра,— объяснял Семчик.

Это кафе, вывеска над ним, сначала робкая, скромная, под цвет вывесок государственных учреждений, потом обнаглевшая, усмехающаяся золотыми буквами — «Мерлис»,— удивили Семчика.

— Ишь ты,— почесал в затылке, но выводов никаких не сделал.

Потом густо стали возникать магазины, кафе, рестораны. Для такого маленького городка их стало непомерно много: «Ампир», «Аркадия», «Европа», «Прочь скука» и один, который назывался современно,— «Красная».

Худая буржуйка, которую уплотнили отец с Семчиком, тоже засуетилась: быстро шмыгала по коридору, огромная связка ключей звенела при каждом ее движении.

Семчику сказали ребята, что это и есть нэп. Он не поверил. Отец не мог соврать, а он говорил не о магазинах, а о политике.

Потом Семчик понял, что есть какая-то связь между политикой, о которой говорил отец, и открывшимся кафе Мерлиса.

Но этого он не одобрял.

— Я за сэп! — убежденно говорил он дворовой детворе.— За старую экономическую политику.

Дома между отцом и старшим братом шли горячие споры: брат был тоже против нэпа. Семчик вслушивался с мучительным интересом.

Он хотел поддержать брата в споре с отцом, но ничего не мог объяснить и с ужасом видел, как железная отцовская логика побеждает суматошные мысли брата.

А затем, на партийном собрании, куда специально пригласили и комсомольцев, Семчик услышал рассказы вернувшихся из поездки в село для смычки рабочих-большевиков о том, как встретила нэп деревня.

— Совсем другая жизнь пошла с отменой продразверстки, и кипение в умах другое,— восхищенно говорил худой и высокий гвоздильщик в буденовке и кожаной куртке.— Люди сеять хотят, люди в хлеб поверили... В один голос говорят: спасибо Владимиру Ильичу, подумал он о нас!

Рассказывали они о первых колхозах; это Семчику особенно понравилось. Слово «коллектив» всегда было святым для него. Коллектив — это когда все свои вместе. Это дружба, и это сила. Он знал это с самых ранних лет: когда отец-подпольщик сидел в тюрьме, коллектив его товарищей поддерживал семью Семчика.

Разумеется, Семчик не мог еще понять во всем многообразии и величии тот сложный и увлекательный процесс, который свершался сейчас в деревне: от военного коммунизма через нэп к социализму! — но теперь он был всей душою за нэп. Он вспоминал гордые слова отца: «А мы еще посмотрим, кто кого!», он узнал с радостью, что это слова Ленина, и ему вдруг страстно захотелось отпроситься на работу в деревню и там самому ввязаться в драку с кулачьем. Он не понимал еще, что эта «драка» будет необычной, особенной, долгой, что солдатами в ней станут сельские кооператоры, первые колхозники, деревенские большевики, а потом — рабочие-двадцатипятитысячники. Он не понимал еще, что вопрос «кто кого?» решается не только в деревне, а и здесь, в городе — в промышленности, в торговле, в государственном учреждении, в школе,— везде. Он многого еще не понимал, но всем ребячьим сердцем своим был он со взрослыми, с отцом, с партией, с Лениным. Он был счастлив и горд, что его допустили — даже пригласили! — на серьезное, партийное собрание, и, слушая речи большевиков, он взволнованно клялся себе, что никогда, никогда он «не сдрейфит», никогда не изменит партийному делу. «Мы еще посмотрим, кто кого!» — шептал он, сжимая рукой воображаемый наган. Славный хлопчик! Он и не знал, что в свое время придет и его черед ценою жизни доказать свою верность этой клятве на партийном собрании.

В общем он был только четырнадцатилетним веснушчатым парнем. Лихо бегал с пакетами по городу, стойко голодал, любил крепко отца, брата и всех товарищей-комсомольцев. Простаивая ночи в чоновском карауле, мечтал умереть от бандитской пули. Ничего не читал,

зато жадно слушал. Утром уходил в уком, а ночью, еле волоча от усталости ноги, брел домой, спал, широко разметав руки, причмокивая губами и посапывая.

Мальчик гонял голубей. Сизые, серые, дымчатые, чуть не синие или почти коричневые, с хохолками и без хохолков, всяких мастей и пород, голуби взлетали над крышей веселым, шумным табором, рассыпались в небе, как брызги, и стекали вниз, обратно на крышу, к мальчику.

Семчик бежал по делу. Увидев голубей, он остановился, задрал голову и с восторгом стал глядеть на голубиные игры. Голуби кувыркались в чистом авустовском небе, их крылья иногда вспыхивали под солнцем. Мальчик на крыше счастливо улыбался и кричал голубям:

— Гуль-гуль-гуль! Такие вы этакие!

Около себя Семчик вдруг заметил худенького чернявого парнишку. У него под мышкой тоже была разносная книга. Он тоже глядел на голубей, но глядел хмуро, завистливо.

— Делать нечего,— пробормотал он,— голубей гоняет. Небось буржуйский сынок!

Он скользнул взглядом по брезентовому Семчикову портфелю и спросил безучастно:

— Где служишь?

Они познакомились и быстро, как всегда бывает у ребят, подружились. Звали черного парнишку Алешей. Он служил в совнархозе курьером.

— Невысокая должность! — засмеялся он невесело.— Да жить ведь надо.

Семчик не думал так: должность курьера не казалась ему ничтожной. Мрачность нового приятеля ему понравилась: сам он был весел и беззаботен, как птица небесная.

— Ты партейный? — спросил он Алешу.

— Нет.

— Как же так? — удивился Семчик и гордо добавил: — А я партиец: член РКСМ.

Алеша посмотрел на него недоверчиво.

— Не врешь? — И добавил: — Ты не обижайся. Потому я не знал, что таких, как мы, малышей принимают в партийцы.

— Мне шестнадцать лет,— храбро солгал Семчик.— Я очень старый комсомолец. Ты тоже записывайся.

— Меня не возьмут,— безнадежно покачал головой Алеша.— У меня почерк плохой. Я неученый. Вот учиться б пойти...— жадно добавил он.

Семчик вспомнил: вчера, уходя куда-то, отец задержался в дверях, скользнул по нему внимательным взглядом и сказал задумчиво:

— Учиться тебя определить надо. Чего растешь неучем?

Потом почесал небритую щеку и заторопился, ушел: он занятой!

— Учиться? Да...— неопределенно поддержал Семчик разговор с Алешей. Потом вдруг оживился: — А у нас в комсомол и с плохим почерком принимают. Не в почерке дело: был бы ты сознательным и жизнь не побоялся б за революцию отдать. У тебя оружие есть? У моего брата есть, и у меня будет.

Он долго пропагандировал Алешу, рассказывал о комсомоле, уговаривал идти записываться. Это в первый раз он выступил агитатором, ему нравилось, что Алеша внимательно слушает его.

Потом оба вдруг вспомнили, что их ведь послали по делу, и, как испуганные воробьи, разлетелись в стороны. Но разлетелись друзьями.

Ночью, укладываясь спать, Семчик вспомнил Алешу и решил с ним чаще встречаться и окончательно распропагандировать его. Потом он подумал, что хорошо б целую ячейку организовать — ячейку курьеров, например.

Вспомнились почему-то голуби: сизый турман камнем падал на залитую солнцем крышу.

«Учиться?» — мелькнул в его уже сонной голове вопрос отца, и Семчик, засыпая, решил, что ему все равно: можно и учиться, хотя ему и так живется не скучно и забот полон рот.

2

Уже давно болел Алеша тоской по школе, по учению. С болезненной остротой вспоминал он школьные парты, забрызганные чернилами учебники, монотонную речь учителя, ответы у классной доски.

Еще и другое влекло его в школу.

В большом учреждении, среди массы взрослых и властных людей, Алеша совсем потерялся, утратил свою самоуверенность. Самолюбивый, он говорил себе, что пакет, который он несет в разносной книге, ценнее для всех, чем весь он, Алеша. Он тоже помнил, как раскритиковали здесь его почерк.

— Учиться надо,— сквозь зубы говорил он себе и не знал, где учиться, чему учиться.

Он спросил однажды, набравшись духу, у своего начальника — управляющего делами совнархоза:

— Как там, хочу спросить, нет ли набора на курсы?

— На какие курсы?

— На какие-нибудь. Курсы комиссаров, или шоферов, или бухгалтеров? А? — И добавил с голодной тоской: — Учиться охота.

В августе совнархоз спешно был переброшен в другое помещение. Алеша деловито помогал грузить подводы, волочил ящики, корзинки, связки бумаг. Когда последняя подвода, нагруженная этим всем канцелярским скарбом, наконец, тронулась, Алеша увидел: к помещению, занимаемому ими раньше, подъехала чужая телега. На ней были школьные парты. Алеша заметил даже, что на одной криво вырезано ножом: «Коля Вас.».

«Васильев, должно быть»,— мелькнуло в Алешиной голове, и он грустно побрел по тротуару.

Он слышал: школами распоряжается наробраз. Иногда он заносил туда пакеты. Пойти похлопотать?

«Отец? — Алеша усмехнулся.— Нет, отец не пойдет. Его самого пристраивать нужно. Он за себя слова не скажет. Надо самому идти».

Он встретил на улице Вальку Бакинского, которого давненько не видал. Сначала обрадованно бросился навстречу, потом остановился, вспомнив, как однажды Валька шел по улице с какими-то вертлявыми девчонками и, заметив босого Алешку, «не узнал» его.

«Ну и я тебя не знаю!» — подумал сейчас Алеша, заложил руки глубоко в карманы и задрал кверху облупленный нос.

— Здорово, Алеша! — радостно протянул ему руку Валька.— Какая встреча! Как в опере!

Алеша подумал-подумал и тоже протянул руку.

— Ну, здравствуй! Как ваше ничего?

Они пошли рядом, дружно постукивая деревянными колодяшками.

Алешины колодяшки смастерил отец. Вместо ремешков у них тесемки, вся нога от этого в синеватых полосах.

Когда Алеша стоял на месте, он зачем-то все время шевелил грязным большим пальцем правой ноги. Ноготь на пальце был сбит.

Валькины колодяшки сработал мастер, сработал с щегольством и даже с шиком. Так и чувствовалось: сделав их, мастер долго вертел перед собою, любовался ими и грустил о тех временах, когда не такие заказы выделывал. Честный непьющий столяр, он хотел побить этой работой парижских сапожников. У тех под руками был нежный, деликатный материал — шевро, мягкое и податливое, как кожа женщины. А у него в руках — честное простое дерево, из которого следует делать табуреты и кухонные столы. А он, мастер, вот он сделал шикарную обувь, — такой шикарной не носили патриции Рима, — сколько здесь ремешочков, застежек, какой рисунок ноги! И мастер был доволен своей удачей.

Должно быть, и Валька гордился колодяшками. Он надел носочки, синие, с серебристой змейкой. Он постукивал колодяшками легко и задорно, как молодой жеребенок копытами.

— Где служишь? — спросил Алеша.

— Я? Нигде.

— Нигде? Как же это можно? Надо что-то делать.

— А что же делать?

— Ну, что-нибудь! Служить. Или учиться. Или бубликами торговать. А без дела как же?

— Я учиться собираюсь.

— Да? — отозвался Алеша. — Вот и я тоже. Учиться, понимаешь, надо!

— А я на скрипке буду учиться играть.

Алеша потух.

— На скрипке? — пробормотал он. — Ты лучше на шарманке научись играть.

Валька обиделся.

— Скрипка — благородный инструмент. Она будит людские сердца.

— Ерунда! — оборвал Алеша. — Понимаешь, надо делу учиться. Делу! — Его лицо стало хищным и жадным. — Я бы в шоферы пошел, да нет таких курсов.

— Шофер? — засмеялся Валька.— Это почти швейцар или лакей: он возит начальство, и ему иногда дают на водку.

— Шоферы бывают на бронеавтомобилях,— пробурчал Алеша.— Ты дурак, Валя!

— Я не хочу с тобой ссориться. Будь шофером. Я считаю,— Валька любил говорить, как отец, официально и кругло,— я считаю,— и это мое глубокое убеждение,— что надо овладеть общей культурой.

— Шарманкой?

— Да, и скрипкой. Но это между прочим. А вообще — я поступаю в школу.

— В школу! — закричал Алеша.— Ну вот! Это дельно! В какую школу?

Валька растерялся: он сказал наобум. Дома его подучивал отец математике, счетоводству, географии. Школу он придумал. Он смутился и покраснел.

Алеша презрительно усмехнулся.

— Эх, Валька! Актер!

На другой день Алеша все разузнал и сам пришел за Валькой. Тот лежал на кушетке, обложенный книгами.

— Вставай, вставай! — закричал Алеша.— Пошли в школу поступать!

Они пришли в наробраз, потолкались по комнатам и как-то сами собой попали куда нужно.

— Только чтоб после обеда заниматься,— беспокойно предупредил Алеша.— А то служу я.

Их направили в первую трудовую школу имени Некрасова.

Острый запах дезинфекции стоял в большом пустом коридоре. Грудой, одна на другой, лежали парты, грязные, подбитые, изрезанные ножами.

Высокий седой человек, осанистый и прямой, без улыбки смотрел на Алешу и Вальку.

— А ее еще нет, школы,— сказал он, внимательно выслушав Алешу.— Одни стены! — Потом он помолчал, посмотрел в бумажку, которую принес Алеша из наробраза, и строго спросил: — А рисовать умеете?

Ребята растерялись.

— Надо бы дощечки написать, плакаты,— объяснил заведующий.— Я вам текст дам.

Он ввел их в свой кабинет, где стояли только стол и стул простого дерева.

— Возьму я вас в работу, юные товарищи,— сказал, усаживаясь, заведующий.

— Нет, мы учиться хотим,— перебил испуганно Алеша. Он подумал, не ошибся ли заведующий, приняв их за кого-нибудь другого.— Мы учиться.

— Вот я и говорю,— наставительно и чуть повышая голос, произнес заведующий.— Плакаты напишете, библиотеку в порядок привести поможете.— Он встал.— А когда мы все это сделаем, у нас уже не стены, а что будет?

Они не знали. Заведующий ответил сам, подняв к носу указательный палец и помахивая им:

— Школа будет. Понятно?

И отпустил их.

Не так себе представлял все Алеша, когда тосковал по школе.

— И колокола нет,— разочарованно сказал он, когда вышел на улицу.

— Какого колокола? — не понял Валька.

— А чтоб переменки звонить.

Но Валька, которому понравился заведующий, успокоил его:

— Ну, колокол, должно быть, будет.

А дело было не только в колоколе.

Когда школа открылась и начались занятия,— Алеша это ясно понял,— школа не имела никакого «вида». Школьники сразу заплевали и коридор и классы семечной шелухой,— она легла на пол толстым слоем да так и осталась. Топить было нечем, в классах было холодно, учащиеся сидели на уроках в пальто. С валенок стекали грязные струйки воды.

Стоял оголтелый шум.

Детвора, отвыкшая от школьной дисциплины, бесшабашно носилась по коридорам, съезжая верхом по перилам большой лестницы, влезала на подоконники, кричала, бегала, играла в коридорах в прятки.

Педагоги проходили как-то боком через эту кутерьму, не вмешиваясь, торопясь уйти в учительскую.

Только однажды учитель рисования не выдержал.

— Господа,— сказал он примирительно,— разве так можно?

Школьники стихли, только одноклассник Алеши, Дроздович, иронически произнес:

— Господа в Черном море купаются.

Учитель смутился.

— Я... я... сорок четыре года так говорю,— забормотал он,— и мне трудно отвыкнуть.

— А отвыкнуть надо! — неумолимо возразил Дроздович.

Эта сцена не понравилась Алеше. Он был согласен с Дроздовичем, что «отвыкать надо», но самоуверенная выходка школьника не понравилась ему.

Многое ему было здесь не по себе.

— Ну, а девчонки зачем здесь? — ворчал он, беседуя с Валькой.— Девчонское дело одно, наше другое. Врозь учиться надо. Их вышиванию следует учить, а нам это ни к чему.

С Семчиком Алеша встречался часто. Семчик ни в какую школу не поступил, но Алешиными успехами живо интересовался.

— Не настоящая это школа,— жаловался Алеша.— Не туда я попал. Должно, в наробразе ошиблись. Это для лодырей школа, для маменькиных сынков.

И Семчик, сочувствуя своему другу, обещал решительно:

— Уж мы за них возьмемся! Я в укоме, погоди-ка, скажу.

Однажды на уроке древней истории случилась с Алешей неприятность. Это был его любимый предмет, хотя учительницу, рыжеволосую крупную женщину, он невзлюбил сразу.

Алеша положил локти на парту, уперся подбородком и жадно слушал. Греки проходили перед ним, возникая из сухих рассказов учительницы, они что-то грозно кричали и удивительно были похожи на бородатых красноармейцев, идущих через город на Таврию.

Какой-то вопрос бился в Алешиной голове. Ему казалось, что не все рассказывает учительница, пропускает что-то, и когда она кончила, он встал и, не подумав ничего, произнес, путаясь в словах:

— Вы только про царей всё говорите, а про народ? Революции там у греков были или как?

Дружный хохот поднялся в классе. Алеша смутился и сел.

Учительница сухо и недовольно объяснила, что преподает она то, что нужно, что в книге написано.

— У нас не клуб,— закончила она.— У нас — школа.

В перерыве все смеялись над Алешей. «Древнегреческий большевик»,— прозвали его.

Вечером он жаловался Семчику:

— Влопался я, как дурак: я ведь ничего не знаю, и почерк у меня плохой.

Ему нужно было записаться в младшую группу. Но Валька, который до поступления сюда занимался дома, потащил его за собой.

— Уйду я,— малодушествовал Алеша перед Семчиком, а тот утешал его:

— Контры они все. Ты учись, не дрейфь!

Сам он не учился: некогда.

— Да я всю науку — раз, два — и в дамки,— говорил он.— В комсомоле нас политике учат. Чего еще?!

И Алеша решил не сдаваться.

Он не совался больше с вопросами, бросил работать в школьной библиотеке, не ходил на собрания,— он весь был полон мучительным сознанием своей неграмотности, некультурности, желанием догнать своих товарищей по группе.

Он присматривался к ним. Тут было много бывших гимназистов. Гражданская война помешала им кончить учение, и вот, великовозрастные, злые, они торопились разделаться с наукой, чтобы начать жить.

— У меня у одного мундир был,— сказал ему как-то Толя Пышный, шестнадцатилетний пухлый голубоглазый юноша,— серебром шит, а у остальных только куртки.

Учились в школе и детишки новых, только народившихся или возродившихся торговцев, рестораторов, людей нэпа. Золотушный сынишка Мерлиса, которого Алеша видел во дворе у Семчика, испуганно посторонился, впервые встретив Алешу в школе.

— А! И ты тут? — удивился Алексей.— Как тебя приняли?

Мерлис сердито огрызнулся:

— А тебя как?

— Мне все двери открыты,— сказал Алеша.— Я рабочий человек.

Удивляли Алешу и девочки: прилизанные, аккуратненькие, они проходили между парт, будто танцевали.

На уроке обществоведения одна из них спросила:

— Какая все-таки разница между большевиками и коммунистами?

«Где они были, когда черти дохли? — удивлялся Алеша.— Как прошла мимо них вся горячая пора? Где они отсиделись? Под маменькиными подолами, что ли? Вертихвостки!»

Были в группе и свои ребята. Их было немало, но Алеша смотрел на все злым глазом и видел только Мерлиса, Пышного да вертихвосток.

Он достал нужные книжки, с головой нырнул в учебу, даже к Семчику перестал ходить по вечерам.

Встретились раз.

— Учишься? — спросил Семчик.— Чего ж не заходишь?

— Учусь. Некогда.

— Контры как?

— Да ну их!

И он в самом деле махнул на все рукой и, как сурок в норку, спрятался в книги.

3

Ковбыш тяжелым, неподвижным взглядом уставился в начерченный на доске треугольник.

Томительное, щемящее молчание висело в классе, только с отсыревшего потолка падала капля за каплей: кап-кап, словно закипала вода в котелке.

Ковбыш потянулся к доске, неуверенно постучал мелом по пузатым сторонам грубо начерченного треугольника, переступил с ноги на ногу и беспомощно опустил руку. Мел упал к его ногам и покатился по полу.

Над классом плыла тишина, тяжелая, как туча.

— Бол-ван! — вдруг отчетливо и злобно произнес Хрум, преподаватель математики. Он подошел к Ковбышу и, протыкая его острым указательным пальцем, прошипел: — Вы болван, Ковбыш!

На задней парте кто-то радостно взвизгнул, но, встретив тишину, испуганно сник.

Лицо Ковбыша медленно начало краснеть. Вспыхнула щека, нос, даже кончики ушей,— теперь это была медь.

— Я вам не болван,— прошептал Ковбыш и тоскливо посмотрел на учителя.— Вы не имеете права.

Он потоптался на месте, не зная, куда ему девать свои большие руки, потом вдруг круто повернулся на

каблуках, как солдат, и тяжелым, широким шагом пошел прочь из класса.

Дребезжа стеклами, захлопнулась за ним дверь.

Хрум посмотрел на дверь, вытер платком лысину, помахал зачем-то платком в воздухе и, наконец, бледно улыбнулся.

— Ну-с!..— сказал он и остановился.

В разных концах класса, не сговариваясь, не говоря ни слова, поднялись с места Алеша, Юлька, Лукьянов и молча, не останавливаясь, пошли между парт к двери. Дверь захлопнулась за ними. Только Лукьянов задержался в дверях, обернулся и махнул рукой: пошли, мол.

В классе закипал шум.

Хлопая крышками парт, торопливо, шумно поднимались с мест школьники и, толкаясь в проходах между партами, спешили к двери. Одни демонстративно, решительно проходили перед самым носом растерявшегося учителя; другие неохотно, озираясь на товарищей, прошмыгивали около стенок; третьи медлили, испуганные этим необычным происшествием.

Хрум сначала растерялся, потом озлился, закричал:

— По местам садитесь! — Но, увидев, что его никто не слушает, побледнел, съежился и испуганно стал следить за тем, кто и как уходит.

Когда в коридоре собралось больше половины класса, школьники подошли к дверям и закричали оставшимся:

— А вы? Что же? Ну!

Хрум схватил классный журнал и бросился из класса. Его встретили сразу упавшим молчанием, и в нем, в этом сдержанном и дисциплинированном молчании, Хрум учуял не раскаяние, а злость и силу.

— Я вас! — закричал он в бессильной ярости и, ссутулясь, побежал в учительскую.

В классе теперь не было никого.

Впрочем, один, да... вон, в углу, у окошка, спокойно сидел кто-то.

— Глядите! — заволновался Лукьянов.— Ковалев-то не вышел.

Школьники бродили по всему зданию, сдержанно разговаривая и нешумно шаля: еще шли уроки в других классах. Большинство побежало на улицу. Девочки по трое, по четверо, обнявшись за талии, чинно гуляли по коридору.

Около Лукьянова столпилась небольшая кучка: Алеша, Юлька, Голыш,— Ковбыша не было ни здесь, ни вообще в здании школы.

— А его проучить надо, Ковалева!—сказал Лукьянов.

— Бить? — мрачно нахмурился Алексей.

— Очень просто! — поддакнул Голыш.

Но Юлька запротестовала. Она, волнуясь, говорила, что нужно выяснить, почему не пошел со всеми Ковалев, и убедить его, а главное — надо пойти к заведующему про Хрума сказать.

— Обязательно надо к заведующему пойти,— добавила она и тоскливо посмотрела вокруг: увидела в вестибюле белые, холодные колонны, облупившиеся от времени, сторожа Василия, дремавшего на своем стуле под лестницей, грязные следы на полу и вздохнула: — Эх, школа у нас плохая!

Алеша слушал эти разговоры вполуха: думал о Ковалеве. Его он приметил давно: читал как-то о древних греках книгу с рисунками, потом поднял голову — увидел застывшего у окна Ковалева. Профиль его, освещенный полным светом, был словно написан на стекле. Встал, подошел к Ковалеву.

— У тебя вот какое лицо, Ковалев! — И показал ему рисунок в книге — голову греческого атлета.

Ковалев снисходительно улыбнулся и в ответ произнес:

— Чуда-ак!

— Знаете что, ребята,— сказал вдруг Алексей,— я с Ковалевым поговорю.

И, не дожидаясь ответа, пошел в класс.

Ковалев спокойно сидел на своем месте, один в пустом, гулком классе, и читал. Услышав шаги, головы не поднял. Даже тогда, когда Алексей вплотную подошел к нему, не шевельнулся.

— Ты что-о? — хрипло произнес Алексей и облизнул сухие губы. Тишина действовала на него угнетающе, он еще тише повторил: — Ты что-о?

Ковалев пожал плечами: ничего, мол.

— Против всех?

— А мне вставать было лень,— засмеялся Ковалев.— Да я и не баран: мне за стадом идти не указ. Я вот книжку дочитаю.

— Будто?

— А что?

Алеша подвинулся ближе.

— Будто? — повторил он насмешливо.— А может, перед учителем себя показал, а?

Опять пожал плечами Ковалев, но ничего не ответил. Было в этом движении широких, покатых плеч какое-то равнодушное презрение к тому, что говорит Алексей, и к тому, что подумают остальные. И странное дело: это Алеше понравилось.

«Ну па-арень!» — удивленно подумал он, а вслух сказал без злобы:

— Бить тебя всем классом будем, так решили.

Ковалев впервые поднял голову. В глазах у него светилось любопытство, не больше.

— А тебя парламентером прислали? — прищурился он.— Иду на «вы», так? — И вдруг вскочил, хлопнув крышкой парты.— Посмотрим!

Лицо его залилось краской. Алеша впервые заметил: в правильном лице Ковалева есть один дефект — челюсть хищно выдается вперед.

— Ты вот что,— сказал Алексей,— ты перед всеми извинись.

— Почему?

— Идешь против всех потому что.

— А вдруг я прав?

Алеша подумал-подумал и ответил убежденно:

— Не можешь быть один против всех прав.

Ковалев взял Алешу за борт куртки и сказал тихо:

— Ты мне этого никогда не говори,— понял? — И тряхнул волосами.— Один против всех всегда прав.

Алеша, остолбенев, глядел на него.

— Ну-ну! — покрутил он головой, но ничего не нашелся сказать и вышел.

— Ну как? — спросили его в коридоре.

— Не извинится.— И, не желая больше ничего говорить, ушел.

После перемены, когда собрались в класс школьники, Ковалев встал и громко произнес:

— Друзья!

Все удивленно обернулись к нему и стихли.

— Друзья! Я приношу свое извинение всем за то, что не демонстрировал вместе с вами против учителя. Я считал это ненужным, остаюсь при этом убеждении, хотя и не навязываю его вам. Хрум — хороший учитель, но нервный. Все же я приношу вам свои извинения.

И сел.

Шумок прошел по классу — шумок одобрения. Ребята жали Ковалеву руку. Первым среди них был Алеша.

— Ну, ты па-арень! — говорил он восхищенно.— Комсомолец?

Ковалев удивленно поднял глаза.

— Я? — И засмеялся.— Нет! Нисколько.

— Ну и я нет. Будем, значит...

Садясь на свое место, рядом с сумрачным Лукьяновым, Алеша опять восхищенно сказал о Ковалеве:

— Ну па-арень!

— Чего ж в нем хорошего? — насмешливо возразил Лукьянов.

— Как? А извинение?

— Лучше было бы, если б с нами вышел, а то и перед нами чист и перед Хрумом хорош. Ловка-ач!

Но Алеша не согласился. Скоро между ним и Ковалевым началась настоящая дружба, началась с того, что Ковалев сказал Алексею:

— Они все...— и показал на бегающих по коридору школьников,— бараны они все. Это Хрум правильно сказал. А ты — нет. Будем дружить!

Алеше хотелось больше знать о своем новом друге. Он присматривался к нему и иногда огорашивал вопросом.

— Ты кто? — спрашивал он Никиту Ковалева.

Тот смеялся.

— Нет, ты кто? Ты из каких будешь?

— Из казаков я,— отвечал Ковалев.— Войска Донского казачий сын.— И смотрел, прищурившись, поверх головы Алеши.

— Ишь ты! — удивлялся тот.

Но сомнение точило его, и в следующий раз он вернулся к той же теме:

— Землю пахали?

— Нет.— Ковалев всмотрелся в него.— Да ты чего хочешь? Офицер мой отец был, казачий офицер, понял? — И добавил, высоко подняв голову: — Я не скрываю.

По губам его поползла нехорошая, презрительная усмешка. Алеша увидел ее и обиделся.

— Чего ж скрывать? Скрывать нечего. Да и не скроешь все равно.

Стороною Алексей узнал подробней о Ковалеве. Отец его исчез без вести, говорили, что болтается за границей. Жил Никита с матерью. На какие средства — неизвестно. Не то торговала мать, не то комнату внаем сдавала.

Алеша стал подозрительнее к своему другу.

— Ты и скаутом был? — спрашивает он неожиданно.

— Был. А что? — Ковалев бесстрастно, чуть недоумевающе смотрел на него.

— Ничего. Били мы вас. Это ничего.

Все это расстраивало Алексея: так хотелось, чтоб все у Никиты было хорошо и ладно, парень он больно хорош. Спокойный, ясный взгляд Ковалева обезоруживал Гайдаша.

«Нет, это не враг»,— решал Алеша и пересчитывал достоинства друга: его вечно ласковое отношение к нему, готовность помочь, ум.

И то, что этот умный, серьезный шестнадцатилетний парень, с плечами атлета и глазами философа, из всей шумной толпы школяров выбрал одного его — малыша в рваном, старепьком полушубке, одного его сделал своим товарищем, приводило Алексея в восторг.

«Ну, пускай он и из офицеров. Чем он за отца виноват? — И самоуверенно решал: — Перемелем его, мука будет».

И он стал говорить Никите о революции, о коммунизме, о Хворосте, об отце Павлика. Никита, как всегда, бесстрастно слушал его, не перебивая, словно соглашался во всем, но Алеша замечал иногда: глазами пустыми, бесцветными, холодными смотрел он куда-то вдаль.

Не нравился этот взгляд Алеше. Никита смотрел так, когда говорил что-нибудь нехорошее.

— И Чека при коммунизме будет? — спрашивал он Алешу, и когда тот горячо объяснял: «Нет, не будет», сомневался: — Как же коммунизм без Чека?

И не мог понять Алексей: недоумевает приятель или издевается.

Удивляли его и те тяжелые, но всегда ворочающиеся около одного жернова мысли Ковалева, которые он высказывал на ходу, без всякой связи с текущей беседой. Он сказал однажды:

— Если половину людей прирезать, остальным легко жить будет.

Алеша испуганно вскинул на него глаза.

«Шутит? Шутит!» — решил он и засмеялся.

— Да ты бы сам-то мог убить? — смеясь, возразил он.

Никита молча кивнул головой.

— Мог бы? — смеялся Алеша.— Ножичком безоружных чик-чик?

— Зачем ножичком? Газом можно.

И опять увидел побледневший Алеша пустые, широко открытые, цвета колодезной воды глаза.

В другой раз, когда шли с литературного суда, затеянного в школе над «Саввой» Андреева, Никита, молчавший на суде, тут сказал приятелю:

— Андреев Леонид, а? Хорошо он о голом человеке на голой земле написал!

— Чего ж хорошего?

— А все-таки смешно. Взять — и чтоб камня на камне. Камня на камне!

Третьим в их компании был Воробейчик. Его притянул Никита.

— Мой адъютант Воробейчик,— смеясь, представил его Алеше Ковалев.

Он учился в параллельном классе. Алеша как-то мельком видел его и не одобрил.

Не одобрил взбалмошного, какого-то помятого вида Воробейчика, словно ему все пуговицы оборвали, а он вырвался и спасается бегством. Не одобрил петушиного хохолка, вздернутого над редкими, рыжеватыми, непричесанными волосами; не одобрил и той бестолковой суетни, паники, которую разводил вокруг себя юркий Воробейчик, непрестанно размахивавший руками и болтавший шепеляво, часто и без умолку.

«Мельтешит, мельтешит, а к чему?» — подумал тогда Алеша, но теперь, когда Никита представлял ему Воробейчика, впервые подумал: «А может, и есть толк в этой суетне?»

Все же он не одобрил Воробейчика и Никите это сказал прямо. Тот выслушал, целиком согласился: «Верно, верно»,— и потом неожиданно заключил:

— А дружить с ним будем! У него в башке кое-что есть.

Алеша пожал плечами и не стал больше спорить.

У Воробейчика если и было кое-что в башке,— скоро увидел Алеша,— так это всякая книжная труха. Память у него была блестящая, но помнил он, на взгляд Алексея, всё ненужные вещи: исторические анекдоты, россказни про всех Людовиков, замечательные выражения великих людей — «крылатые словечки».

Воробейчик мог объяснить, откуда пошло слово «шерамыжник», а по истории он плелся в хвосте всей группы, не умел никак связать концы с концами.

Язык, которым он разговаривал, был такой же, как и весь он: взбалмошный, надуманный, птичий. Никогда он не говорил: «Пошли гулять, ребята», но всегда: «Будем делать наш променад, монсеньоры». Употреблял он в невероятном количестве словечки: «mon dieu», «goddam», «carambo» — это очень нравилось девочкам. Целый месяц он ругался страшным и непонятным словом «a propos». Он произносил его свирепо, напирая на букву «r», и девочки затыкали уши и взвизгивали. А потом как-то выяснилось, что это страшное слово означает «кстати».

— A propos! — сказала как-то учительница французского языка, и слава Воробейчика померкла.

— Шестнадцать лет,— сказал как-то Воробейчик с горькой торжественностью,— шестнадцать лет, а ничего не сделано для бессмертия.

Ковалев закатился смехом, а Алексей вытаращил глаза.

Через несколько дней, когда поздно вечером брели они домой, Воробейчик сказал уже иначе:

— Вот и день еще прошел, а ничего не сделано для бессмертия.

В тоне, которым были призесены эти слова, Алексей не услышал ни тени юмора, а какую-то затаенную горечь и, может быть, даже злость. И Алексей скоро понял: в тщедушном, вздорном, пустом Воробейчике жило неугасимое честолюбие.

Это было так ново для Алеши, так непохоже на всех ребят, с которыми водился раньше, что он стал внимательнее приглядываться к Воробейчику — и уже без смеха, без презрения.

В это время подоспели школьные выборы.

Как-то заместитель заведующего школой Платон Герасимович Русских неторопливо вошел перед уроком в класс.

— Уездный отдел народного образования,— начал он, тщательно и сухо выговаривая слова: казалось, что он читает титул бывшего министерства,— уездный отдел народного образования прислал нам циркуляр, из которого явствует, что в школах отныне вводится самоуправление учащихся.— Он остановился, наслаждаясь эффектом.— Самоуправление,— подчеркнул он снова.

Он еще несколько минут говорил на эту тему, а затем предложил приступить к выборам старосты группы.

Алеша сидел теперь на одной парте с Ковалевым. Шутя он написал приятелю:

«Хочешь в старосты? Чин какой!»

К его удивлению, Ковалев коротко ответил:

«Да».

— Итак, предлагайте кандидатов,— заключил Русских, медленно вытащил большой платок и провел им по губам и усам. Усы у него были большие, с подусниками, вздымались вверх и дымились двумя легкими струйками.

По классу прошло движение: предложили Лукьянова, кто-то крикнул Алешу, Алеша назвал Ковалева. Девичий голосок обиженно спросил:

— А почему не девочку?

Чей-то охриплый мальчишеский голос ответил, что «девчонкам в куклы играть, а не старостой быть».

— Ну, будем голосовать,— произнес тогда Русских.

На доске он отчетливо написал имена всех кандидатов, каждого под номером.

Алеша попросил слова.

— Я не гожусь,— сказал он.— Я работаю днем, прихожу сюда как раз к урокам. Мне не управиться...

Перебивая его, все закричали:

— Лукьянова! Лукьянова!

Лукьянов, с которым раньше затевал Алексей дружбу, был высокий, плечистый парень. Отец его работал на электростанции монтером.

Алексей наклонился к парте. Ковалев написал ему: «Лукьянов не годится, отводи»,— и скомкал бумажку.

— А я думаю, что Лукьянов не подойдет,— продолжал Алеша говорить.— Нет у Лукьянова такого авторитета, и сам он не шибко грамотен. А учится как? Самый он последний ученик есть. Я предлагаю Ковалева Никиту.

Русских поднял на него глаза. Алеше показалось, что в них светилось удивление и одобрение.

— Да, да! — сказал Русских.— Ковалев — это стоящее. Я его знаю.

— Ведь он из офицерья, товарищи! — закричал Голыш, но Русских строго перебил:

— У нас в школе нет различия между детьми.— Он дотронулся до усов.— Равноправие перед наукой — вот устав школы.

Избран был Ковалев.

После выборов Голыш с группой школьников подошел к Алеше и сказал громко:

— У его благородия в денщиках состоите, ась?

Алеша повернулся и молча прошел, сопровождаемый язвительным хохотом.

Воробейчик пламенно желал, чтобы его избрали старостой. В беспорядочном его воображении, как всегда, уже толпились образы: он — староста, строгий, неуклонный страж порядка. Вот он замечает, что Иванова бросила бумажку на пол,— трах! — он уже около Ивановой, беспощадный и неумолимый. «Подымите»,— произносит он, и она, краснея, нагибается, а над ней стоит Воробейчик, староста группы. Он растет, растет,— трах! — он уже председатель школьного старостата, делегат на городской съезд учащихся! Трах! — на съезде он произносит речь, говорит долго и умно: Вольтер, Ницше, Генрих IV, Мирабо. Трах! — его избирают председателем губернского бюро, делегатом на всероссийский съезд. Трах!

Но его не избрали старостой группы. Никто даже не выдвинул его кандидатуру, словно нет совсем на свете Воробейчика,— пустое место.

Огорченный, встретился он с Ковалевым и Алешей. Он уже слышал, что Никита избран.

— А я нет,— криво усмехнулся он и опустил голову.

Они пошли вместе домой. Зашли по дороге к Воробейчику. Алеша, бывший у него впервые, с удивлением заметил, что здесь масса книг: они валялись на полках, на столах, на кровати. Взял одну: Дюма, «Анж Питу», взял другую: Конан-Дойль, «Рыцарь пяти алых роз».

— Эх ты, лыцарь! — сказал он, смеясь, Воробейчику и хлопнул его книгой по спине.

— Такие сволочи! — прошептал Воробейчик, и у него даже слезы навернулись на глаза. Он взял книжку из

рук Алеши и бережно развернул ее.— Разве теперь есть такие люди, как этот рыцарь пяти алых роз? Раньше было просто: я смел, молод, воодушевлен, храбр и, главное, честолюбив — и все мне открыто: сначала оруженосец, затем понравился принцессе,— трах! — храбрость в бою, и ты рыцарь, герой, о тебе поют.— Он швырнул книгу, схватил другую.— Молодой человек из окрестностей Ангулема, Эжен де Растиньяк, приезжает в Париж. Ах-ах! — он беден, он красив, он очаровывает баронессу,— трах! — и он уже сила, он уже власть, он уже золото.— Рувим швырнул и эту книгу, взял третью, бегло поглядел на обложку и, не замечая насмешливых улыбок на лицах друзей, продолжал с тем же злобным азартом: — В мои годы Виктор Гюго — уже французский поэт, Пушкин — уже гений, Эдисон — уже изобретатель, Карл Линней — уже естествоиспытатель, Людовик — уже давно король. А я что? Меня не избрали даже старостой.

Ковалев, развалившись в кресле, наслаждался яростью своего смешного приятеля.

— А! Ты пишешь стихи? — перебил он его.

Воробейчик остановился и испуганно посмотрел на Ковалева.

— Нет. С чего ты взял?

— Как же ты хочешь быть поэтом в шестнадцать лет, Гюго и Пушкиным? Или ты занимаешься механикой?

— Нет.

— Зачем же ты завидуешь Эдисону? Или твой отец король? Нет? Как же ты тянешься за маленьким Людовиком? — И, покачивая ногой, добавил насмешливо: — Тебе остается только сжечь какой-нибудь храм, чтобы стать знаменитым, как Герострат.

Алексей следил за этой словесной дуэлью с интересом. Он не читал тех книг, которыми швырялся Воробейчик, не понимал и смысла всего разговора,— он просто смеялся над Воробейчиком: над его рыжим растрепанным хохолком, над вытаращенными, рачьими глазами.

— Ах, так? — протянул Воробейчик медленно.— Сжечь храм? А может быть, у вас есть более легкое дело?

Алеша увидел: глаза Ковалева стали пустыми, холодными.

«Вот он его сейчас обрежет»,— подумал он.

— Со-зи-дать ты не умеешь! Ни поэм, ни зданий, ни машин! — медленно произнес Ковалев.— Значит, раз-рушай.

Он прошелся по комнате, наклонился к груде книг, разбросанных по полу, и вытащил какую-то.

— Вот легкий путь стать бессмертным,— засмеялся он и подал книгу Воробейчику.

— «Урок царям»,— прочел тот медленно.— Это о цареубийцах, террористах. Я читал.— Он грустно вздохнул.— Но ведь царей сейчас нет.

Ковалев тоже вздохнул, но насмешливо.

— Да, жаль, царей нет! Царей нет! — и бросил книгу в угол.

От всего этого разговора у Алеши остался в голове приятный сумбур.

«Умны,— подумал он, идучи домой,— и начитанны».

— Людовик, ишь ты!

Сегодня был тяжелый день: еще до службы рано утром ходил на лесной склад. Запрягшись в салазки, волочил домой дрова: дров получил много, веревки резали плечи. Еле отдышался, чаю выпил — и на службу. Хлопотливый выдался денек: откуда у них только пакеты берутся? Так до обеда и не присел.

Обед — это уничтожение взятого из дому завтрака. Бегать домой далеко. Прямо из учреждения шел в школу. По-настоящему же ел дома вечером: обед и ужин вместе. Всегда был голоден. Привык есть торопливо, все больше всухомятку и на ходу. И дома ел так же, походя, хотя торопиться уже было некуда, разве в кровать: вставать рано.

Легкая зависть поднялась в нем.

«А им, Людовикам-то, Рувке и Никите, не вставать завтра чуть свет, не спамши!»

Снег хрустел под его сапогами. По синей улице бегали ребятишки, швырялись снежками. И Алеше стало вдруг грустно.

Он не знал, почему и откуда подкатилась к нему эта грусть. И чего ему надо и о чем тоска — он тоже не знал.

Он посмотрел на детвору, играющую в снежки, потом наклонился, зябкими руками взял горсточку снега, разбежался, пронзительно закричал и швырнул в ребят. Снежок не долетел до них и упал где-то в стороне.

Стало скучно.

Ускорил шаг, пошел домой.

— Отцу плохо! — встревоженно встретила его мать и заплакала.

Молча, как взрослый, прошел Алеша к отцу. Тот лежал.

— Плохо, брат, плохо! — сказал он сыну.— Ты кушать иди. Устал небось? — И добавил тихо: — Рано ты большаком стал.

«А может, школу бросить? — подумал Алеша, садясь за стол.— В деревнях в мои годы уж учению конец. Да и в городе! До революции, доведись, уж давно бы был в депо».

Он лег спать все в том же смятении.

«Теперь да не учиться? Да теперь самое наше время! — думал он и решал: — Школу не брошу!»

Но он чувствовал, что устал: от голодовки устал, от беготни устал, от учебы устал.

«Рано ты стал большаком».

Да, рановато!

В последнее время Алеше стало казаться, что Ковалев приглядывается к нему. До сих пор Никита относился к нему с ленивой ласковостью — и не больше, а сейчас приглядывается, пробует на зуб, закидывает какие-то удочки.

— Ты чего? — недоуменно спросил раз Алексей, заметив пристальный взгляд Ковалева.

— А... ничего...— И Алеша впервые увидел, как Ковалев смутился.

Желая вызвать друга на откровенный разговор, Алеша начал интимно:

— Ты кем будешь, как школу кончишь?

— А... не знаю...

— И я не знаю! Ну, не вечно же мне курьером быть! Чем-нибудь да буду.

— Тебе чего ж? Тебе везде путь открыт.

— Теперь всем путь открыт.

— Не всем.

Алеша бросил на Никиту быстрый взгляд.

— Это как?

Никита остановился среди улицы.

— Ты скажи,— вдруг взял он Алешу за борт куртки.— Ты скажи: я виноват, что мой отец казачий офицер?

— Ты к чему?

— Нет, ты мне скажи: виноват я? Почему мне везде ход закрыт?

— Вот же учишься.

— Учу-усь? — усмехнулся Ковалев.— А дальше? В университет меня пустят? В университет?

Алеша высвободил куртку и ответил тихо:

— Не пустят.

— Вот видишь! — И Никита захохотал.

— А ты работать иди,— осторожно предложил Алеша.

— Работать? Куда? В курьеры?

— А что ж?

— Не хочу в курьеры! Не хочу в подметальщики! Для того ли жить?

Они подошли к дому, где жил Никита.

— Ну, прощай! — подал Ковалев руку Алеше, и тот заметил: рука была горячая, потная.— Меня в кадетский корпус перед революцией приняли. Видал кадетов?

— Видал,— недовольно пробурчал Алеша.

— Погоны красные, красота-а! Через несколько лет я что? Я уж офицер был бы! Мне шестнадцать лет. К двадцати, глядишь, и поручик. Знаешь, сколько у поручика звездочек на плечах? Три. Золотые.

Алеша удивленно наблюдал неожиданное волнение всегда спокойного Ковалева.

— Жалеешь? — спросил он недоуменно.

Никита тоскливо посмотрел на него и сказал тихо, словно выдохнул:

— Жалею!

Алеша вдруг, неожиданно для самого себя, взвизгнул:

— Эх ты! — и размашисто ударил Ковалева по щеке.

Пощечина прозвучала громко и весело, словно мальчики баловались. А Алеша опустил руку, неловко потоптался на месте, посмотрел на ошеломленного Ковалева и, круто повернувшись, быстро ушел прочь.

«Товарищи! — думал он, а улица расстилалась перед ним, синеющая сумерками.— Дружили! — думал он, а сумерки наползали на дома и висли на воротах.— Как же так?»

Ему представилось: революции нет, он из ремесленного училища вышел бы — ну, в слесари, что ли. И вот

забастовка, бунт в депо,— ну и Алеша там же. И вот казаки и казачий офицер Никита Ковалев.

«И стрелял бы? В меня стрелял бы?»

Три золотые звездочки на погонах.

«Еще бы! Стрелял бы! Вот те и друг. А я его еще в старосты предлагал,— вспомнил Алеша,— а Лукьянова провалил. Лукьянов — монтера сын».

Было все раньше понятно Алеше: буржуи — они кровь пьют, их шлепать надо, а рабочие — наши: они коммуну строят. Надо самому рабочим становиться.

Он не стал рабочим: заводы еле-еле дышат. Ну, ладно, стал курьером. Ну, ладно: сидит в одном классе с сыном Мерлиса, сидит с Толей Пышным. Их бить следует. Ну, ладно: не бьет, учится вместе. Но как же произошло такое непонятное и немыслимое, что стал он другом поручиков?

«Фу, ерундеж какой!»

А голова его уже ломалась пополам, и так вдруг стало горько и нудно, что Алексей даже всхлипнул чуть-чуть как-то по-щенячьи. Так он и пришел к Семчику.

Стоял в Семчиковой квартире горячий бой и дым: отец опять спорил со старшим братом о нэпе.

Семчик вышел к Алеше, и они молча пошли по туманным улицам города.

— Вот спорят,— сказал Семчик угрюмо,— а я сижу.— Он остановился и неохотно добавил: — Сижу дурак дураком,— и искоса посмотрел на Алешу: не смеется ли тот?

Но Алеша шел, понурив голову. Зажглись косые фонари, снег стал уже не синим, а зеленоватым.

— Я теперь ничего не пойму у них,— продолжал Семчик недовольно.— Ты слыхал такое слово: кон-цессия? Как думаешь?

— Все бывает! — вдруг произнес Алеша и рассказал о Ковалеве.

— Это контра! — уверенно заявил Семчик, выслушав рассказ, и с сожалением посмотрел на Алешу.— А и ты хорош... Шляпа!

Они шли дальше молча, и обоим жизнь казалась сложной и трудной штукой, в которой поди-ка свяжи концы с концами. А они есть, концы, и те, кто поворачивает жизнь, знают, каким узлом они вяжутся. А Алеша не знает.

И ему не то что горько от этого, а как-то тяжело и скользко.

— Бить морду Ковалеву или как? — вдруг спросил он глухо, просто для того, чтобы найти хоть какой-нибудь выход.

— Можно! — кивнул головой Семчик, но потом задумался и добавил: — Да этим не возьмешь!

Он все вспоминал что-то из отцовского спора с братом и, наконец, вспомнил.

— Тут, Алеша, браток, кто кого. Кто кого!

Как тогда, когда стоял Семчик в чоновском карауле, каждый прохожий казался ему бандитом, так и сейчас ребятам всюду мерещился враг — вражьи дула, вражьи ножи. В темных переулках, в немых тупиках, на перекрестках, где испуганно качаются косые фонари, в витринах, в подворотнях, за дубовыми ставнями, за углом, за водосточным желобом — всюду был он, притаившийся, хитрый, злобный враг. Какие у него цели? Что он готовит? На кого он подымет свой предательский нож?

Конечно, на них! На них на двух, на товарища Семена, комсомольца в солдатских обмотках, работника уездного масштаба, и на Алешу Гайдаша, стойкого парня с Заводской улицы.

На них! На них двух.

И Семчик крепче подтягивает ремень и обнимает Алешу за плечи.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Были парни,
Стали мастера.

Н. Дементьев

1

Буханка ржаного хлеба, кусок домашнего сала с розовыми прожилками, заплатанная смена белья, синяя сатиновая, крепкая еще рубаха, полотенце с желтыми петухами — вот, пожалуй, и все, что было в холщовом мешке за плечами у Павлика. Жизнь открывалась перед ним.

Он нерешительно ступил на грязный перрон Белокриничной. Был слишком легок мешок за плечами, можно было идти и идти пешком по шпалам, искать удачи.

Под каким кустом спряталась Павликова доля? Го-го! Где ты?

На измятой бумажке — адресок. Бумажка крепко зажата в ладонь. Может быть, вот она — доля?

Через большой дощатый виадук бодро пошел Павлик; расшатанные доски поскрипывали под его ногами, внизу бился под парами паровоз, разорванные клочья сырого пара оседали на плечи Павлика.

Было много всего перед глазами мальчика, он растерялся от этого изобилия: большое, в рваных облаках небо, плавающее над головой, словно корабль под вздувшимися парусами; тонкий попутный сентябрьский ветер в затылок; река, легкий, непрочный, колеблющийся туман над ней — и будто все несется мимо, проплывает, тает в тумане: и холмы, и поля, и перелески, и дымы, и пары над заводом, и проселочные дороги в золотой соломе и жирном навозе, и этот заманчиво поблескивающий длинный рельсовый путь. Куда? Стой!

Павлик тихо засмеялся и побежал вниз по скрипучим ступеням. Мешок подпрыгивал на его спине.

— Ну, живи! — сказал Павлику дядька Абрам Павлович Гамаюн. Очки его сползали на кончик носа. Глазами, маленькими и сердитыми, из-под лохматых, густых бровей рассматривал он племянника.— Ну, живи! Авось найдем кусок! — Он широко развел руками, и застывшая на пороге сзади него семья разом зашевелилась, заулыбалась, заохала.

Павлик ступил через порог и снял мешок. Рыхлая и теплая женщина, от которой пахло сыроватой квашней, тетка Варвара, засуетилась около племянника.

— Ах ты, сиротка! Ах ты, болезный!

Она торопливо всхлипывала, суетилась, вытирала слезы синим ситцевым передником, хватала Павликовы вещи: мешок, пиджак, фуражку, тащила их куда-то. Она была женщина добрая и любопытная.

Мастер, не обращая больше внимания на племянника, ушел в другую комнату. Куча детей мал-мала меньше столпилась около Павлика, поглядывая на него исподлобья, недоверчиво.

— А я два пуда одной рукой подымаю,— на всякий случай сообщил Павлику старший из них, его ровесник, рыжий пузан, и вытянул правую руку: — этой!

— Врет! — прошептал другой паренек, поменьше.— Ну, чего он врет! — И, подойдя к Павлику, предостере-

гающе зашептал: — Ты ему не верь! Он врет все. Он врет!

Но в это время мать кликнула ужинать, и все бросились к столу. Тут Павлик впервые увидел другого своего дядьку — Трофима Павловича. Он даже вскрикнул от удивления: так похож был этот дядька на отца. Только дядька Трофим был еще чернее, лохматее и темнее лицом. И потом — отец всегда веселее глядел. Даже когда раскачивался на столбе, на Миллионной, тоже глядел отец смело. А дядька Трофим обводил вокруг себя пустым, безучастным, унылым взглядом. Он молча ел, хлеб держал на левой ладони, собирал крошки и потом проглатывал их.

На главном месте за столом сидел сам мастер —Абрам Павлович. Весь хлеб лежал около него, он отрезал ломти и раздавал каждому. Павлик побоялся протянуть за хлебом руку и глотал щи так.

А дядька Абрам совсем на отца не был похож. Дядька Абрам был низенький, толстый, широкоплечий. Волосы подымались седым, коротко остриженным ежиком, а усы были рыжие, большие, свисающие вниз. И глядел он ни весело, ни уныло, а так, поверх очков, словно никого, кроме него, на свете не было.

И захотелось Павлику домой — к матери, к ребятам, к тихим вербам Заводской улицы, к обласканным и оплаканным местам детства.

Сначала ужин протекал в тяжелом молчании, все торопливо ели, только ложки звякали,— потом все шумнее и шумнее становилось за столом: это сам мастер Абрам Павлович, выпив, развеселился.

— Ты живи! — говорил он Павлику.— Мы тебя не обидим. Ты мне кто? Ты мне родня! Я свою родню помню. Я родственный человек. Твой батька нас за родню не считал. Он умным хотел быть, твой-то батька, мой брат. Где он, умный? Га?

Павлик уткнулся в тарелку и сдержался, чтобы не заплакать.

— Где он, умный? Га? — гремел мастер.— «Ты, говорит, дурак». Это мне. «Ты, говорит, дурак. Ты — темный. Деревня ты!» Это я, значит, я — деревня! Та-ак! Нехай деревня! Нехай дурак. А я — вот он я! Я и сыт, и пьян на свои деньги, и нос в табаке. Вот у меня семья. Вот у меня хата. Сам строил. Стол взять — я его делал. Стул возьми — моя работа. Кро-

вать, комод, зеркало... Вот только что зеркало не я сделал. А то все мое, моими руками.

Трофим Павлович вдруг рассмеялся, чашка с самогоном запрыгала в его руке.

— Ты чего? Чего-о?! — закричал на него мастер.— Ты тоже умный! И ты меня все: «Деревня, деревня!» Ты у-умный! Все вы у-умные! Один я дурак. Вы все в город, вы все в люди, а дом, хозяйство, отца с матерью — на меня. Ну, ты, ты скажи мне: ты у-умный? Ты вот в Англии был, в Японии, к туркам ходил — чего ты там выходил? Чего?

Павлик вспомнил рассказ отца о неспокойном дядьке Трофиме.

— Золотые у него руки и беспокойная голова,— говорил отец.— И ноги у него горячие: не может на месте сидеть. И чем-чем он не был: и столяром, и плотником, и литейщиком, и кондуктором, и механиком, и на пароходе плавал. Вот в Японию ему захотелось: какие такие японцы? Поехал. Без гроша. Ну, руки у него золотые, все умеет делать!

«Вот он какой, дядя Трофим! — думал Павлик и с любопытством смотрел на него.— Вот он какой!»

Павлик теперь только увидел, что у дяди все время дрожали руки: чашка танцует в них.

— Ну, чего? Чего выходил? — кричал мастер.— Что ты умеешь? По какому делу ты мастер? Какое тебе звание? Одно тебе звание: гулящий человек. Непрочный ты, легкий, без веса человек. Все умеешь? Все — это по-нашему значит ничего. А я? Я — мастер. Я по своему делу мастер. У меня звание мастер. Все это знают — мастер Абрам Павлович. «Наше вам, Абрам Павлович!»

А дядька Трофим все смеялся и смеялся унылым своим, беззвучным смехом.

— Чего? Чего ты? — в бешенстве закричал на него мастер.— У-у-у! Вы-ы! — И вдруг, повернувшись к Павлику, горячо зашептал: — Их, их не слушай! Трофима не слушай и батьку забудь. Я из тебя сделаю мастера. Я родню помню. Ты будешь мастером — вот мое слово. Пущай не будешь ты большевиком, на столбе не будешь качаться, не выйдет из тебя путешественника-голодранца. Мастера из тебя сделаю, такого мастера, чтобы работа кипела в руках.

Павлику постелили вместе с детворой на полу. Он лежал и всматривался в темноту чужой комнаты, при-

слушивался к шорохам, ползущим из всех углов, и думал о том, как пойдет завтра на завод, возьмет в руки инструмент, железо завизжит под его напильником, серебряная пыль посыплется на пол. Он станет мастером, у него будет синяя, отяжелевшая от железной пыли рубаха, он не стянет ее ремнем, и она будет широко ходить вокруг бедер, как у взрослых рабочих. У него будет инструментальный ящик, куда рядом с паклей, тряпьем и инструментом положит он свою кошелку с завтраком. Инструмент будет лежать в образцовом порядке: напильники, метчики, молотки, ключи. И будут плыть над заводом гудки, отмеривающие его рабочее время. Все сбудется, все!

Так он заснул, и ему ничего не снилось.

Но ни завтра, ни послезавтра, ни в следующие дни он не стал на работу — Абрам Павлович не мог его устроить.

— Ты погоди, погоди! — бормотал мастер, встречая вопросительный взгляд племянника.— Будет тебе работа! Ты погоди!

Павлик сам пошел на завод, просто чтоб посмотреть, какой он. Никто не спрашивал у него пропуска, сторож в рваном брезентовом плаще скользнул по нему безучастным взглядом. Павлик бродил около холодных домен, глядел: трубы газопровода, как перебитые руки, бессильно болтались вокруг корпуса печи. Ветер гудел в пустых трубах. Опрокинутые «козы» — тележки каталей — валялись на боку, как пьяные. Молчаливые, застыли коксовые печи; жирный лягушечий мох расползся по мертвым плитам рампы; дорожки заросли травою; колючий бурьян буйно раскинулся между стенами.

Греться Павлик зашел в мартеновский цех: здесь работали две печи, четыре стояли. Около печей было грязно и шумно. Рабочие суетились с лопатами, ломиками, гребками, все кричали, ругались, один в досаде бросил лопату наземь, она задребезжала на плитах, подымая бурую едкую пыль.

Мальчик-«крышечник» подымал на блоке заслонки. Горячее дыхание вырывалось из печи. По лицу мальчика полз горячий пот. Как завидовал «крышечнику» Павлик!

Наконец он попал в механический цех. Здесь было холодно и пустынно. В разбитые стекла врывался острый сквозняк, он крутился по цеху и никнул к земле. Павлик набрел на дядьку.

— Смотришь? — закричал ему тот, и Павлик заметил, что здесь мастер веселее, чем дома.

Павлик подошел ближе и, притронувшись рукою к станку, робко спросил:

— Самоточка?

Мастер быстро посмотрел на него и засмеялся:

— Верно! Самоточка!

— А это фрезер? А это долбежный?

Павлик радостно шел по цеху, узнавая станки. Он улыбался им, старым знакомым, друзьям отца, гладил их блестящие шеи, пожимал бараньи ремни шкивов,— неподвижные и пыльные ремни покорно гнулись под его рукой.

Мастер шел сзади. Он улыбался так же, как и Павлик. Он тоже похлопывал умелой рукой по станинам, заглядывал во все щели, острым ногтем заботливо выковыривал грязь и опять шел дальше, тихо и чуть-чуть с гордостью говоря рабочим:

— Племянник!

Так дошли они до конца цеха, до широких ворот, из-под которых выползал узкий рельсовый путь. Тут Павлик очнулся.

— Большущий цех! — сказал он восторженно.

А Абрам Павлович схватил его за плечи и радостно ответил:

— Ого! Такой бы цех! — Не снимая с плеча племянника тяжелой руки, он другою показывал в глубь цеха: — Такой бы цех! Эх, сыночек!

Он ошибся, назвав сынком племянника,— в сыновьях не было у старика удачи. Они не любили его ремесла, росли дико и буйно на улице.

— Ты подожди! — тепло сказал племяннику мастер.— Ты подожди, сынок! Я тебя выведу в люди. Ты подожди!

Сейчас же за задами завода начиналось старое кладбище.

Кладбище возникло вместе с заводом, первыми его жильцами стали строители. Они умирали часто и густо,

их хоронили тут же, около стройки, поблизости, чтобы и мертвому был вид на завод.

Кладбище росло даже быстрее завода. Неизвестно, откуда возникла между могилами горькая могильная трава — чебрец. Сами собой появились тонкие, гнущиеся от ветра деревца. Появилась на кладбище часовня, которая как-то сразу, с первого дня, приняла вид ветхий и нахохлившийся, вороний. И уже бродил между могилами с надтреснутой лопатой кладбищенский сторож Никифор, горький пьяница.

Скоро тут появилась дружная зелень, и рабочие приходили сюда распить в прохладе бутылочку: было хорошо лежать в тихой, печальной зеленой сени. Так стало кладбище местом гуляний, рабочим парком. Тут бродили между могилами парочки, читая надписи; тут шатались шальные компании, выворачивали кресты из могил и размахивали ими, насмехаясь над смертью. Рабочие приходили сюда в праздник семьями, с детворой, расстилали на земле платки, раскладывали закуску. Детвора играла между могилами в прятки.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году немцы-оккупанты дали по заводу несколько десятков орудийных выстрелов и вошли в поселок. Снаряды упали на кладбище, взрыв среди могил глубокие дымящиеся воронки. Так немцы потревожили мертвых. Кладбищенский сторож Никифор выполз после бомбардировки из своей берлоги, посмотрел на развороченные могилы и произнес мудро:

— Вот и помирай после этого! И тут спокоя нет!

Пошел и напился.

Немцев выбили из поселка красные. Стреляли. Красных выбили белые. Стреляли. Потом опять пришли красные. Стреляли. И зеленые и жовто-блакитные. Снаряды, одинаково уныло посвистывая, пролетали над заводом; свалив верхушку трубы, пробив дыру в стенке, выбив стекла, падали на могилы. Позеленевшие от времени осколки мирно валялись на кладбище. Они вошли в кладбищенский пейзаж, как камни, поросшие мхом. Детвора, играя, швырялась ими.

Взрослые вспомнили о снарядах так.

Вечером в кабинет директора завода пришел начальник мартена. Он был в кожаной куртке, похожей цветом на ржавую пыль мартеновских плит. Лицо начальника было еще темнее.

— Вот, товарищ Загоруйко,— сказал, криво усмехаясь, начальник мартена. С куртки его тонко струилась пыль.— Вот, товарищ Загоруйко. Ты ругал меня за грязь на печах. Не ругай больше: чисто около печей. Хоть шаром покати — чисто!

Он тяжело опустился на стул.

В кабинете директора был еще один человек: он стоял у окна, но внимательно прислушивался к словам начальника мартена. Это был Никита Стародубцев, секретарь заводской партийной ячейки, в прошлом котельщик и партизанский комиссар. Он подошел к Загоруйко и сел рядом у стола.

— Транспорт наладится — подвезут сырье,— сказал он негромко.— А пока продержаться надо... Да как? — спросил он раздумчиво, не обращаясь ни к кому, словно сам себя спросил.

Ему никто и не ответил.

Молча сидели они втроем, невесело думая об одном и том же. Загоруйко тоскливо смотрел в окно: перебитые руки домны, тонкие голубоватые струйки пара над кочегаркой, осенний холодный ветер, балующийся жухлой листвой.

Еще была за окном кирпичная труба. Она скособочилась, изогнулась, скорчилась, как баба, схватившаяся за больной бок. И Загоруйко, глядя на огромную выбоину в кирпичной кладке трубы, вдруг вспомнил одно утро девятнадцатого года, падающие в грохоте наземь кирпичи и вставшую над заводом, как мятущееся облако, бурую пыль, такую вот, как на куртке начальника мартена.

— Трубу и ту поправить сил нету...— проворчал Загоруйко.— Небогатые мы хозяева, ох небогатые!

Никита Стародубцев повернулся всем корпусом к нему. У него была привычка котельщика слушать, приложив ладонь к уху.

— Зато хозяева! — сказал он, улыбнувшись.— Ничего! Еще разбогатеем! — Он тоже посмотрел в окно на трубу. Его глаза заблестели.— А помнишь, как дело-то было? Генерал Май-Маевский думал нас своей артиллерией перепугать...

— Да-а...— невольно улыбнулся и Загоруйко; военные воспоминания были дороги и ему.— А мы на генерала со своей партизанской «артиллерией»...

— Еще тогда Бугаенко — помнишь? — со своей ро-

той отличился. «Крой, кричит, ребята, белых гадов! Еще в священном писании написано, чтоб белых гадов бить!»

— А это у него в роте старички были. Начетчики.

— Это какой же Бугаенко? Митрофан? — спросил начальник мартена.

— Он.

— А! Знаю! Он потом на врангелевском погиб. Хороший был сталевар...

— А ты брата его помнишь?

— Герасима? Из литейного?

— Геройский был парень. Я с ним и в тюрьме сидел,— сказал Загоруйко.

— Да-а...— вздохнул Никита Стародубцев.— Кровью мы этот завод себе добыли, ох, великой кровью! В каждой семье — потеря, в каждом цеху — дыра...

— Что и говорить! — промолвил начальник мартена.— Даже мертвых потревожили. Вон на кладбище сколько металла зазря валяется.

— Зазря? — подхватил Стародубцев. Его лицо вдруг озарилось довольной, веселой улыбкой.— А что, если этот металл да обратно в печь?

Так взрослые вспомнили о снарядах.

И вечером другого дня дядька Абрам Павлович Гамаюн сказал племяннику:

— Ну, сынок, завтра на работу, помолясь, как говорится, богу.

Павлик задрожал от радости. Он плохо спал в эту ночь. Станки то обступали его шумной толпою, то разворачивались в бесконечные ряды гигантского цеха.

Утром Абрам Павлович привел Павлика к усатому десятнику в брезентовой куртке и сказал:

— Вот... племяш... мой... этот...

Десятник кивнул головой, а мастер смущенно обернулся к племяннику.

— Не сразу, сынок,— сказал он, не глядя в лицо Павлику.— Не сразу, сынок, Москва строилась. И мы тоже не с того начинали, а все в мастера вышли. Ты подожди, подожди. Вот он тебе, десятник, все скажет.— И торопливо ушел в цех.

Павлик, недоумевающий и растерявшийся, стоял около десятника. Только сейчас он заметил, что, кроме него, тут еще много и взрослых и ребятишек. Они тоже толпились около десятника.

— Ну, пошли! — скомандовал десятник, и вся эта пестрая, шумливая орда тронулась за ним, а сзади, грохоча, потянулись пустые телеги.

Работа Павлика была немудреной: среди могил и чебреца отыскивать осколки снарядов и волочить их к большим кучам. Целые, неразорвавшиеся снаряды не решались брать. О них сообщали двум военным.

Павлик не знал, зачем понадобился заводу этот военный хлам,— может, на выставку, в музей? Но он все привык делать усердно и споро. И, не разгибая спины, бродил между могилами, выцарапывал из скользкого мха чугунные осколки и укладывал в кошелку.

Через несколько дней за ужином мастер радостно сказал племяннику:

— Тебя десятник хвалил. Говорит: усердный ты. Старайся! Молодец! Я это одобряю.

Павлик покраснел от похвалы, а дядя Трофим засмеялся.

— Ну, чего ты? — заволновался мастер.— Чего ты нам спокою не даешь своим смехом? Чего в нем, в твоем смехе!

А дядька Трофим пожимал плечами и продолжал смеяться.

— Пропащий человек! — махнул рукой Абрам Павлович.— Тю, дурной! По свету шлялся, ума не набрался. Только пьяницей стал.

— Для пьянства,— смеялся дядька Трофим,— для пьянства тоже ум и практика нужны. Я вот английскую виску пил, японскую рисовую пил, немецкое пиво пил, татарскую бузу пил, кавказскую араку пил — и вот доподлинно, самолично убедился: лучше русской казенной водки нет!

— И из-за этого стоило по всему свету шляться? — в бешенстве закричал мастер, а Трофим спокойно ответил:

— Стоило!

Две недели ползли с кладбища, с окраин, из разных мест поселка груженые телеги. По поселку уже метались слухи: «Не иначе — война!», «Ой, не иначе — война!»

А через две недели не осталось во всем поселке ни одного осколка.

— Все! — И рабочие опрокинули пустые носилки.

Павлик тоскливо посмотрел на отъезжающие подводы.

«Ну, а дальше что?» — подумал он тревожно.

Невеселый это был труд — собирать среди могил осколки. Но все-таки это был труд. Ну, а дальше что?

Мишка Рубцов, сверстник Павлика, догонял подводу.

— Стой! Стой! — кричал он, размахивая чем-то большим и железным. Подвода остановилась.— Возьми и это! Все в дело пойдет.— И Мишка Рубцов бросил на подводу несколько прутьев железной решетки.

— Ты что? — рассердился старик десятник.— Ты что? Могилы воровать?

— Та покойники не обидятся,— засмеялся Рубцов.— Они народ сговорчивый! А железа тут ско-о-олько!

— Ну, а дальше что? — спросил начальник мартена у директора.— Месяца на полтора хватит, ежели только две печи будут работать. Ну, а дальше что?

Загоруйко подошел к окну и взглянул опять на холодную домну.

— А смерть придет — помирать будем,— пробормотал он сквозь стиснутые зубы.

Усердие всегда вознаграждается.

Вот Павлику сказал на кладбище десятник:

— Ты усердный хлопец, Павло, ты оставайся! Дело найдется.

Дело нашлось: с тачкой бегал по заводскому двору Павлик, собирал железный хлам. Все шло в ненасытный мартен. Голое, без железных решеток и склепов, стояло кладбище.

Иногда Павлик думал тоскливо:

«И так всю жизнь? Тачку гонять?»

Он безнадежно посматривал на разбитые окна механического цеха. Его мечта была невысокого роста. Неужели ему никогда не дотянуться до нее? Всего только: получить станок или слесарный инструмент.

Друзей не приобрел себе Павлик. Двоюродные братья носились по улицам круглый день. Павлик был мастеровой человек: ему некогда. Возвращаясь с работы, он иногда останавливался около дома и, бледно улыбаясь, смотрел, как рыжий Васюк, закинув, словно жеребенок, голову, гнался за соседской девочкой.

Павлику тоже хотелось иногда побегать, но не так шумно и буйно, как братья. Он бежал тогда один в степь, на голые бурые бугры; подбоченясь и закинув голову, громко кричал, балуясь эхом; гулкое, оно раскатывалось широко окрест, степь отвечала Павлику, он был ее полновластным хозяином, у него кружилась голова. Тогда казалось ему, что все сбудется: он станет мастером, обзаведется своим домиком с зелеными ставнями, старая мать придет к нему, так и будут они жить вдвоем,— больше Павлику никого не надо.

А на другой день он брел с тачкой по заводскому двору, искал железный хлам.

«Долго так будет? — пугался он.— Время ж идет!»

Великое нетерпение охватило его: вот он и двух месяцев еще не живет здесь, а уж коротки для него стали портки. Он лезет и лезет вверх, худой, нескладный, застенчивый. Время уходит, а он прикован к тачке.

— Погоди! — утешал мастер Абрам Павлович.— Вот домну скоро пустят.

Он однажды даже взял племянника на собрание, где поднимали разговор о домне. Разве Павлик не заводской человек? Разве не касаются его разговоры о пуске домны?

Да, пока это были только разговоры. В эти дни умели разговаривать! По любому поводу собирались в толпы. Затихали станки, остывали в прокатном болванки, кузнецы останавливали паровой молот. Кто-нибудь, сняв рукавицу, вытирал рукою пот со лба и рассказывал:

— Слышали? Завод отдают старому хозяину, совсем отдают.

Вот и тема.

Или другой кидал рукавицы на ржавые плиты и кричал:

— Я лучше в торговцы, в спекулянты пойду, в старцы с сумой, чем вот так на заводе мучиться!

И опять крик, толпа и остывающие болванки, качающиеся на кране.

О пуске домны говорили много: да, надо пускать; нет металла, станут скоро мартены, станет литейный, чего тогда делать кузне и прокатке? Снарядов не напасешься, да и есть ли какое сравнение: горячий, жидкий передельный чугун или плесенью покрытые осколки? Но домну не так-то легко пустить. Где материалы? Где сырье? Шихта? Где, наконец, деньги? Тут все вспоминали,

что получку три месяца не дают. Летели рукавицы на плиты.

— Надо домну пускать, товарищи! — сказал на собрании директор завода Загоруйко.— Без домны пропадем, товарищи!

Павлик жадно глядел на директора.

«Да, надо пускать,— думал он.— Может, и мне найдется на ремонте какая-нибудь работа?»

Он уже привык объединять себя с заводом, в заводе было его место, его кусок хлеба, его будущее,— где-то по-над цехами, робко прижимаясь к закоптелым стенам, бродила Павликова доля.

Собрание слушало молча; тут споров не было: пускать домну надо.

Но Загоруйко говорил неуверенно, и собрание знало: худшее он приготовил на конец.

— Пропадем без домны, товарищи! — сказал директор.— Не пустим печь — станем на консервацию. Это всем понятно?

Зашевелилось, зашумело собрание:

— Чего понятней!

— Тут и понимать нечего!

— Как на ладони.

И тогда чей-то пронзительный, почти бабий голос вырвался из этого ровного шума:

— Ты сперва получку да-ай, хозява! Три месяца не плочено. Подыхаем, хозява!

И собрание выдохнуло тяжело и тихо:

— Подыхаем...

Загоруйко тоскливо посмотрел в зал. Он перебрал какие-то листки, лежащие перед ним на трибуне.

— Дадим получку,— сказал он твердо, и собрание оживленно заворочалось, заворчало одобрительно и сыто, словно уже была в карманах получка, а в кооперативе хлеб.

— Дадим получку,— повторил Загоруйко и вытянулся, прямой и тощий.— Дадим получку — домну не пустим.— Он помолчал, согнулся, словно сломался пополам, и докончил: — Решайте, братцы: вы хозяева!

Упало тяжелое молчание. Павлик испуганно осмотрелся: рабочие сидели в угрюмом раздумье.

Сосед наклонился к мастеру Абраму Павловичу и сказал зачем-то:

— Ни крупиночки, а? Ни крупиночки дома, а? — Его рыжие ресницы беспомощно моргали. Мастер пожал плечами и ничего не ответил, а Павлик вспомнил почему-то отца, раскачивающегося на Миллионной.

Кто-то выскочил вдруг из рядов и побежал к сцене.

— По хатам, братцы! — закричал он что есть силы.— Разбегайтесь, пока целы, по хатам. Рятуйсь[1] сам, кто может. Та нехай он сгорит, завод, и получка ваша! Разбегайтесь по хатам, братцы-ы! Пропадем! Караул!

Крик его ударился о низенький потолок зала. Сразу стало тесно и душно. Горячая тревога, как на пожаре, охватила собрание. Люди вскакивали с мест и, размахивая кулаками, кричали. А над этим беспорядочным шумом метался, как обезумевший набат, пронзительный, почти бабий крик:

— Кар-раул!

Загоруйко вертел в руках листки. Не обращая внимания на шум, он делал карандашом какие-то расчеты. Иногда подымал глаза к потолку, губы его шевелились, глаза щурились: он подсчитывал.

— За месяц уплатить можем сейчас,— произнес, наконец, он.— Остальное — как пустим домну.

Он сказал это не очень громко, раздумчиво, но — странное дело! — его услышали. И шум сразу оборвался, как подрезанный.

— Как говоришь, хозяин? — спросил недоверчиво старый слесарь, сидевший на приступочках сцены. Он встал и, приложив к уху ладонь, наклонился, прислушиваясь.— Как говоришь, хозяин?

— За месяц можем уплатить сейчас,— уверенно произнес Загоруйко.— И домну пустим.

— А остальное? — спросил недоверчиво слесарь.

— Как печь пустим.

— А хлеб?

Загоруйко потоптался на месте.

Слесарь покачал головой.

— Обманываешь, хозяин! Опять обманываешь! — сказал он печально.— Зачем обманываешь?

— Да! — закричал тогда, вскочив с места, Никита Стародубцев.— Да! Обманем себя еще раз, а печку пустим. Пропадем без печки, все пропадем! У кого есть ха-

[1] Спасайся!

та? Куда пойдете без завода? А республика? Подтянем пояса потуже — пустим печку.

— Туже некуда,— сказал слесарь, печально улыбаясь, и влез на сцену.

Он снял ремень, показал собранию — некуда туже.

Тощий, он был похож на жердь, на которой болталась рубаха. Он вертел ремень в руке, потом вынул нож, сделал в ремне новую дырочку, подпоясался, улыбнулся виновато.

— Сбрехал я, старый пес: еще на одну дырочку можно!

Восстановление домны началось.

Абрам Павлович Гамаюн поставил Павлика в своей бригаде нагревальщиком заклепок. Это все, что он мог сделать для племянника.

Никто из нагревальщиков не работал так споро, как Павлик. Ни у кого не было такого вишневого цвета нагрева, словно это была не заклепка, простой кусок горячего железа, а алая вишенка, зреющая и играющая на солнце. Ни у кого не было такого жара в саламандре, никто не нагревал в рабочий день столько заклепок, никто не умел так сноровисто подать пылающую заклепку котельщику, как Павлик.

Его лицо почернело и высохло от вечного жара жаровни, на щеках и на носу появились небольшие алые пятна. Все хвалили Павлика. Сам мастер, ставший вдруг строгим к племяннику, не мог удержаться от похвалы.

— Не племянника хвалю,— говорил он радостно,— нагревальщика я хвалю.

Мастер иногда вдруг останавливался среди работы и смотрел на белокурую грязную голову, склонившуюся над жаровней. Лицо мастера расплывалось в улыбке, он одобрительно качал головой и говорил рабочим:

— Из этого будет толк! Я — мастер: я знаю.

Павлик краснел от этих похвал, он старался работать еще лучше. Заклепки прыгали в его щипцах, словно он вытаскивал из огня звезды.

К Павликовой саламандре часто приходили греться рабочие — на дворе уже был холодный, ветреный декабрь. Ползающих по кожуху домны котельщиков продувало острым сквозняком; по утрам железо покрывалось легкой, хрупкой изморозью, тающей под рукой.

Рабочие держали над жаровней зябкие руки. Тонкий, колеблющийся, как стекло, струился жар. Раскаленный кокс, пепельный сверху, был огненно-бел внутри.

Курили махорку. Медленно свертывали толстыми, неловкими пальцами козьи ножки. Прикуривали от раскаленных боков саламандры. Махорочный едкий дым смешивался со сладким запахом горящего кокса.

— Ну, во-от! — благодушно говорили рабочие.— Вот и курим!

Глубоко и жадно затягивались, медленно и скупо выпускали дым.

— Вот и курим!

От саламандры притекал ровный и ласковый жар. Он полз по зябким ладоням, по рукаву, по груди. Колени, чуть наклоненные вперед, дрожали сладостной дрожью. Пальцы ног зябли. Дремота охватывала людей.

Мастер прибегал и начинал ругаться. Он кричал сердито и хрипло, хватаясь рукой за простуженное горло:

— Курим? Ага? Курим? Задки греем? Ага?

Неохотно бросали цигарки, приминали огонек осторожно подошвой, натягивали рукавицы, лезли на леса и приникали к покрытому бледной изморозью кожуху печи.

И Павлик следил за ними завистливыми глазами. Он мысленно вытаскивал пневматический молоток, или сверло, или райбер. Вместе с ними он вгрызался в звонкое железо. Вот изморозь быстро и испуганно сыплется вниз. Кипит работа.

— Заклепку!

— Есть!

— Заклепку!

— Есть!

И ровный, красивый, аккуратный шов вырастает на тонком кожухе. Заклепки блестят, как большие солдатские пуговицы на отцовском френче.

Чаще всего Павлик смотрел, как работает худой слесарь дядя Баглий, тот самый, который проколол на собрании дырочку в ремне.

Дядя Баглий никогда не слезал греться; по гудку взобравшись на леса, он сходил с них, только когда уже темнело. Он сходил тогда, торопясь и поеживаясь. Длинное его рваное пальто с выцветшим вельветовым воротником и большим прорезом сзади развевалось на ветру. Дядя Баглий, ссутулясь, бежал из завода. Захо-

дил по дороге в кооператив, уныло смотрел на пустые полки, спрашивал приказчика, деликатно покашливая:

— Не слыхал, почтенный... кхе-кхе!.. муку скоро, того... кхе-кхе!.. Ась?

Приказчик лениво пожимал плечами. Дядя Баглий еще более съеживался и уходил. Дома его ждало трое голодных ртов, разинутых, как клювы галчат. Жена старика померла.

А наутро по гудку он был на лесах, и Павлик следил за ним восторженным взглядом.

«Вот так бы работать, как дядя Баглий!» — мечтал он и однажды спросил у дядьки:

— Дядя, почему Баглий не мастер?

Дядька окинул племянника удивленным взглядом, но все-таки ответил:

— Образованности у него нет. Образованности! — Потом подумал и, желая быть справедливым, добавил: — Тихий он. Тихие в мастера не выходят.— Спохватился и закончил: — Ну, какой с дяди Баглия мастер! Слесарь! Слесарь — он первой руки. Это точно!

Дядька Абрам Павлович теперь повеселел: он отпускал шутки, подзадоривал рабочих. Он, как мячик, прыгал по лесам, радовался: «Идет дело, идет!» Лист к листу, конструкция к конструкции, железо к железу — росла печь.

— Идет дело, идет! — радостно говорил мастер Павлику.— Старайся, сынок! Ну, взяли! — и громко смеялся бодрым, молодцеватым смехом.

Теперь он почти не бывал дома, пропадал на стройке. Вот откуда у него эта ровная веселость.

Дело идет! Идет дело!

После работы Павлик иногда лез на леса. Он присматривался к тому, как складывается, слаживается железное тело печи. Щупал руками шершавые головки заклепок. Это были его дети, они выходили из его щипцов горячими и бесформенными,— здесь, под искусным молотком, побившим их, они застыли и прочно заняли свое место.

И Павлику хотелось скорее найти свое настоящее место. Неужели ему только и делать, что нагревать железо?

Говорят взрослые, знающие: люди никогда не бывают довольными. А Павлику кажется: ничего ему не на-

до, только бы станок или слесарный инструмент. Руки его чесались от нетерпения.

Однажды мастер пришел из конторы веселый и торжественный.

— Ну, Павло Васильевич, поздравляю вас! — сказал он Павлику и церемонно протянул руку.— Поздравляю вас, Павел Васильевич! Поздравляю!

Павлик задрожал в радостном нетерпении.

— Ну? — выдохнул он.

— Установлена вам, Павло Васильевич, жалованья огромная — двести сорок тысяч рублей в месяц. Магарыч с вас!

Двести сорок тысяч рублей — это большая сумма. За нее можно на толкучке купить фунт пшена, например, или семь фунтов соли, или полфунта сахара.

Сахар, впрочем, привезли на завод. Было объявлено: дадут строителям сахар по пятнадцать тысяч рублей за фунт. Записывайтесь, сдавайте деньги уполномоченному, получайте сахар: пейте, ешьте сладко.

Это было объявлено утром, и весь день об этом только и говорилось на лесах. Даже дядя Баглий на этот раз разговорился.

— Вот сахар,— сказал он умильно,— сахарок! — и прищелкнул пальцами.

Но к середине дня поползла по лесам тревога.

— Ой, неладно с этим сахаром! — шептались кое-где.— Ой, дурят!

— Зачем деньги вперед? Нет! Ты товар дай и деньги бери. А то — вперед!

— И очень просто: деньги возьмут, а уполномоченный и был таков: Митькой звали, фить, сыпь ему на хвост соли.

— Та наш же уполномоченный, тутошний: куда ж ему бежать? — возражали иные.— Тю, скаженные люди! Сами себе не верят.

— Я себе верю,— мотался между котельщиками парень в рваной овчине.— Я себе верю, пока у меня в кармане блоха на аркане, а как в кармане пятак — нет! — и себе не верю.

К концу дня мнение на печи создалось твердое: «На сахар не писаться».

Слухи выросли до гигантских размеров. Судьба сахарных денег, если они будут собраны, рисовалась каждому четко: деньги возьмут, сахару не дадут, сбегут

с деньгами,— все равно, говорят, завод отдают немцам. Особенно старался парень в рваной овчине. Он клялся, божился, бил себя кулаками в грудь, убеждал не писаться на сахар.

— Оно деньги не деньги,— кричал он,— да зачем свое кровное ворам отдавать?

На другой день пришел уполномоченный.

— Ну,— сказал он озабоченно,— давай, да не толпись,— и развернул на случайном ящике бумагу.

Но никто не подошел к нему. Молчаливо отошли котельщики, монтажники, слесари, сели в стороне, стали завтракать.

Дядя Баглий подошел тогда к уполномоченному, испуганно оглянулся кругом и полез в карман. Он достал потрепанный кошелек, похожий на табачный кисет, открыл его и вынул деньги.

— Я советской власти верю,— сказал он глухо.

Отсчитал деньги, спрятал кошелек, деньги держал в правой руке. Вдруг он наклонился к уполномоченному и прошептал умоляюще:

— Дети у меня, товарищ... того... так вы, того... чтоб мои деньги и чтоб сахар...

Уполномоченный недоуменно посмотрел на него.

— Будет сахар, дядя Баглий. Чего волнуешься?

— Вот, вот! — обрадовался старик.— Я верю. Так вы того... того... С деньгами осторожнее... осторожнее. Не потеряйте часом... Дети... того...

Около ящика уже росла очередь. Павлик тоже решил записаться на сахар.

«Матери пошлю»,— думал он, сжимая в ладони первую получку. Загоруйко сдержал слово: получку выдал.

А когда Павлик, записавшись, вышел из сконфуженной и притихшей очереди, то где-то в конце ее он увидел и парня в рваной овчине.

— И ты за сахаром? — закричал Павлик, но парень погрозил ему кулаком.

Через неделю всем записавшимся выдали сахар.

Дядя Баглий вышел, отягощенный двумя головами сахара. Лицо слесаря сияло тихим счастьем. Он шел прямой и гордый: он нес сахар детям. Парень в рваной овчине больше всех шумел и в очереди: теперь он хотел раньше всех получать сахар. Ругаясь, он шел сейчас с Баглием.

— Сахар, сахар! — ворчал он.— Что сахар, когда хлеба нет!

Дядя Баглий вдруг остановился. Лицо его медленно начало краснеть, глаза налились кровью.

— Убью! — закричал он и, взметнув головы сахара, пошел на рваную овчину.— Убью-у-у-у!

Парень отскочил в сторону.

— Кар-раул! — закричал он пронзительно.— Убивают!

Рабочие сбежались на крик и увидели дядю Баглия с высоко поднятыми головами сахара.

— У-у-у! — рычал он и потрясал синими головами.

Он чудак, дядя Баглий. Вот он однажды пришел на работу пьяным, впервые за все время, что знает его Павлик. Старые рабочие, однако, не удивились.

— Это его день! — объяснили они, смеясь, Павлику.— Это его день!

Дядя Баглий пришел не один, а с двумя маленькими дочками.

— Вот смотрите, дочки! — кричал он хвастливо и показывал на огромную махину печи.— Смотрите хорошенько, дочки, что ваш отец делает, что это он строит неутомимо...— И он принимался плакать и целовать дочек, рабочих, Павлика.

Слесарь был в чистой вышитой рубахе, в праздничном пиджачке, и бородка аккуратно подстрижена, и волосы расчесаны.

Это был его день. Он был царь. Он был богач. Он был мастер. Широко ходил он по стройке, выпрямившийся и помолодевший. Девочки еле успевали за ним.

— Вот смотрите, дочки! — кричал он.— Вот каупера, вот кожух, вот «колбаса»,— словно он показывал им свои владения.

А назавтра, еще более съежившийся и притихший, он снова был на своем рабочем месте.

Все люди чудаки. Павлик никогда не мог бы сказать, как поступит в следующую минуту тот или иной рабочий. Вот он ворчит и ругает все на свете: себя, власть, большевиков, погоду, домну, товарищей, ворча натягивает рукавицы, ворча берет инструмент, ворча идет работать, и вдруг — звончее звонкого раздается его голос:

— Ну, веселее, земляки! Чтоб шипело!

У Павлика были приметливые глаза, жадные к новому: он все видел, замечал, прятал в свою копилку. Дру-

зьями он не успел обзавестись — накопленное ворошил сам, иногда только спрашивал дядьку. Неожиданные эти, ни с чем не связанные вопросы удивляли, сбивали с толку мастера.

— Тебе зачем? — сердито огрызался он.

— Да так,— смущался Павлик,— интересно.

Ему хотелось, например, подойти к мастеру и спросить: «Дядя, почему вы такой?» — «Какой такой?» — растерянно спросит мастер, и Павлик не сумеет объяснить — какой.

Но дядька интересовал его жгуче, так же как и дядя Баглий. Павлику хотелось быть, как они, как они оба, хотя не было более разных людей, чем мастер и слесарь.

И все же было одно общее и у мастера, и у слесаря, да и у самого Павлика: все они яростно любили работу.

Мастер теперь сутками пропадал на стройке. Он даже кровать свою перенес сюда. В маленькой мастеровской «каютке» курилась железная печурка, плохо обмазанная глиной. И на ней все время стоял под парами большой чайник — из тех, что возят с собой кондуктора. Павлик оставался с дядькой здесь на ночь, топил печь и бегал с чайником по воду.

Тетка Варвара приносила им еду. Мужа она боялась, стоя ожидала, пока он кончит есть, молча забирала посуду. Павлик удивлялся: разве можно бояться дядьку Абрама? Он добрый. Но такие уж чудаки: вот он к Павлику добрый, а к детям своим груб и строг.

Когда мастер выходил из «каютки», тетка Варвара давала волю своим чувствам — плакалась Павлику:

— Ой, подохнем мы все, попухнем с голоду! Ой, хоть продавай с себя последнее, из дома неси! Ой, хоть с сумой иди по добрым людям!

Павлик знал: правда в ее словах есть. Теперь, увлеченный стройкой, дядя Абрам не работал дома, на рынок. Вольное, сытное житье кончилось. Семья перешла на паек.

— Та нехай она сгорит, ваша домна! Скоро вы ее кончите? — спрашивала тетка.— Что ему, старому дураку, больше всех надо, что он пропадает там днем и ночью? О семье бы подумал. Як бы не Трофим...

На рынок теперь работал один дядя Трофим. У него были связи с торговцами, он сдавал им сработанную продукцию: то хитроумные зажигалки в виде револьвера или ботинка, то вдруг принимался точить из дерева за-

мысловатые детские игрушки. Потом бросал и это: изготовлял гребенки, брошки, пряжки. А однажды даже взялся выдувать изделия из стекла. Он все умел, и все ему быстро надоедало. Усталый, ничем не интересующийся, молчаливый, он лежал тогда по целым дням на кровати, посасывал трубку и наполнял комнату тяжелым и стойким запахом английского табака.

«Вот три брата,— думал иногда Павлик: — отец, мастер и дядя Трофим, а какие они разные! Отчего это?»

Мастер показал ему как-то карточку:

— Вот твой дед и бабка.

У отца этой фотографии не было. Павлик долго рассматривал карточку: обыкновенный, тихий, наверно, работящий старичок, обыкновенная сухонькая и морщинистая старушка. И все же и в трех братьях было что-то общее. Было что-то общее, хотя разные это люди: большевик Василий Павлович, мастер Абрам Павлович и пьяница Трофим Павлович.

— Горячая у нас порода! — сказал как-то дядя Абрам, и гордость звучала в его голосе.

Однажды они с Павликом пришли домой и застали дядю Трофима, торговавшегося с рабочим, принесшим проволоку.

— А ну, покажь! — властно потребовал мастер и взял большой моток проволоки из рук смутившегося рабочего.— Ворованное? — тихо спросил мастер.— Завод растаскиваете? — И закричал: — Чтоб не было этого в моем доме!

— Все крадут! — пробурчал Трофим.

Это была правда: тащили с завода всё — проволоку, инструмент, лом, топливо, даже механизмы.

— Ну и народ! — ругался мастер.— Разве с нашим народом дело выйдет? Палка нашему народу нужна.

Но Павлик думал иначе. Он сам видел: люди отказались от получки, чтобы пустить домну. Люди не уходили с печи и сейчас, хотя начались лютые морозы и руки примерзали к инструменту. Люди молча и дружно работали, хотя дома было и голодно и холодно, а в селах старухи шили белые рубахи, ожидая конца света.

«Что же это за люди,— думал Павлик,— которые вот воруют проволоку и вот отказываются от получки?»

Угля и дров завод не дал в эту зиму рабочим. В поселке исчезли заборы, скамейки, деревянные беседки: все пошло в огонь.

Однажды пронеслась на домне весть: пришло на завод много топлива. После работы рабочие собрались в толпу. Потребовали директора. Он пришел небритый и усталый, охрипший от этих постоянных митингов.

— Ну? — спросил он глухо.

— Уголь! — закричали рабочие.— Уголь даешь!

Мастер Абрам Павлович замахал на них руками:

— Не все! Не все! От народ! — И объяснил директору обстоятельно и деликатно: — Пронесся слушок, Дмитрий Иванович, правда, нет — не знаем, но был тут слушок такой, я тем слухом пользовался: прибыло будто много вагонов угля. Вот народу желательно знать, как с этим углем дело, кому давать будут, когда и что?

— Прибыл уголь,— ответил хрипло директор и схватился за больное горло.— Прибыл уголь. Для кочегарки.

— А нам? — зашумели рабочие.

— Ну, сами решайте,— пожал плечами Загоруйко: — заводу или вам?

Ломкий, хрусткий снежок падал наземь. Павлик кутался в дядькин овчинный полушубок: рукава большие — хорошо! Павлик хлопал ногой об ногу, прыгал, ботинки совсем изодрались, валенок нет.

— Заводу! — ответили рабочие и разошлись.

Валенок так и не добыл Павлик. Он старался теперь не отходить от горна: тут было тепло.

Он похудел, волосы его выгорели. От прежней детской мягкости и застенчивой округлости в Павлике ничего не осталось. Теперь это был худощавый, угловатый рабочий-подросток. У него завязалась дружба с товарищами по работе. Иногда он ходил с ними вечером по поселку, крича песни и пугая старушек. Однажды ребята угостили Павлика самогоном. Он долго отказывался, но, пристыженный, выпил. Не желая в таком виде встречаться с дядькой, он пошел домой. На беду мастер пришел туда же. Он сразу учуял самогонный дух.

— А ну! — грозно закричал он на племянника.— А ну! Какое у тебя веселье? — Смущенный Павлик стоял перед мастером, опустив по швам руки.— Ну, кто ты такой, чтоб пить? — кричал мастер.— Откуда у тебя право, чтоб пить? Мастер ты? Или слесарь? Или токарь? Ты сперва делу выучись, а потом пей на свои деньги.

Больше всего любил Павлик водить дружбу со взрослыми рабочими. Он слушал их отрывистые расска-

зы о давно минувшем, о замечательных слесарях или кровопийцах-мастерах или о том, как вывозили немца-директора на тачке.

— Вот так-то! — заканчивали старики свои рассказы, и Павлик уходил хмельной: замечательные эти дела шумели у него в голове.

Дядя Баглий взял его как-то к себе домой. У старика была маленькая хатка-мазанка на краю поселка, около реки.

— Вот мои хоромы,— сказал он Павлику, когда они пришли.— Вот мои хоромы, сынок! — В его голосе насмешки не было, только гордость хозяина.

Они вошли. Босоногая девочка лет четырнадцати встретила их.

— Дочка моя! — торжественно сказал старик, и лицо его вдруг стало светлее и даже круглее; теперь он не казался таким худым.— Старшенькая, Галя...

Девочка была в длинной юбке и в какой-то старомодной кофточке.

«Наверно, материна кофта!» — догадался Павлик.

Он стал часто ходить сюда. Сидел молча, смотрел, как работает Галя: стирает или шьет. Она делала это быстро и деловито, в ней была какая-то старушечья озабоченность.

— Картошку в кооператив обещают привезти,— говорила Галя Павлику.— А то на рынке, знаешь, картошка почем!

Павлик поддакивал. Ему нравилось сидеть вот так, как взрослый, как мастеровой, в гостях, слушать негромкую речь Гали, следить за ее проворными руками; Галины сестренки лезли ему на колени:

— Дядя, скажи сказочку!

Он смущался: его называли «дядей»! Сказок он не знал. Он начинал рассказывать о домне. Иногда он останавливался, не зная, как объяснить им.

— Ну вот, колошник... Понимаете? — смущался он и в отчаянии смотрел на Галю.

— Они видели,— вмешивалась та.— Помните, девочки, наверху, где дым идет? Так это ниже дыма.

Сама она отлично разбиралась в заводских делах: знала по именам всех мастеров и начальников цехов.

Сказок она тоже не помнила.

К Павлику она относилась покровительственно, хотя он был старше ее. Но так уже она относилась ко всем:

к отцу, к сестрам. Ей казалось, что все нуждаются в ее помощи. Она готова была оказать ее всем.

В планах Павлика теперь действовали трое: он, мать и Галя. Вот он вырастет, станет мастером: домик с зелеными ставнями, мать и Галя — больше ему ничего не надо.

2

Передо мною письмо, которое прислал мне когда-то Павлик. Я перечитываю его и смеюсь.

Сейчас, когда всей стране известно имя Павла Гамаюна, как не хохотать, читая такие строки:

«Еще сообщаю тебе, уважаемый друг Сережа, что живу я у моего дядьки Абрама Павловича, который обещался сделать из меня мастерового. Да не знаю, выйдет ли что-нибудь из меня. Покуда — нагреваю заклепки».

Двенадцать лет назад получил я это письмо от Павлика. В это время я и сам становился обладателем замечательнейшей, благороднейшей, лучшей профессии в мире.

Так по крайней мере я думал тогда.

Наборщицкому ремеслу меня обучали таким образом: сутуловатый наборщик с серым лицом подвел меня и ткнул носом в пыльный реал.

— Учи кассу! — сердито сказал он и ушел.

Я стал учить. Брал из клетки тоненькую свинцовую палочку, на которой, как букашка на травинке, сидела буква, и с любопытством разглядывал ее, вертел в руках, зачем-то нюхал. Пахло свинцом и пылью.

Через несколько дней мой наборщик подошел и спросил:

— Где буква «ф»?

Я неуверенно показал. Он взял буквы из кассы. Подумал-подумал и произнес:

— Учи еще!

Через несколько дней он показал мне, как держать в руке верстатку, потом — как заделывать строку, потом... Я не знаю, как сейчас учат наборщицкому ремеслу,— меня учили так.

Когда я впервые сложил крепкую, нешатающуюся, словно литую строку, я обезумел от счастья. Я улыбался, гордо показывал строку инструктору. Я смазал ее типографской краской и оттиснул себе на ладонь. Я не хотел мыть рук. Я носил эту строку целый день

на своей ладони и так лег спать. Эту замечательную строку я помню до сих пор, хотя много и набрал, и написал, и прочел строк с тех пор.

Вот она, моя первая строка:

«Озимые посевы требуют глубокой вспашки».

Микеланджело — побеждая мрамор, Бенвенуто Челлини — придавая форму литью, Никита Изотов — вырубая угольный пласт, были менее счастливыми творцами, чем я, сложивший строку «Озимые посевы требуют глубокой вспашки».

Вот в кассах лежит свинец. Он мертв. Он тускл и запылен. Палочка. На палочке буква «в». Что она значит — «в»? Ничего не значит. Свинец. Буква.

Но вот пришел я. Я стал над кассой. Я взял верстатку. «О», «в», «з», «м» — мертвые буквы запрыгали у меня в руках. Они, как солдаты, заслышав трубу, бегут, торопясь выстроиться в ровную, легкую шеренгу. Равняйтесь, равняйтесь! Никаких шатаний в рядах! Никакой пустоты! Теснее, теснее! И вот она, вот из немого свинца родилась гениальная мысль: «Озимые посевы требуют глубокой вспашки». Вчера еще люди не знали этого. Они так себе, неглубоко, они еле-еле царапали землю плугом. Но озимые требуют глубокой вспашки, и это я — я, наборщик, мастер и владыка свинца — сообщил людям.

Ах, какая это чудесная, какая благородная профессия!

Потом я узнал, что на свете есть еще много хороших профессий.

Есть горячая профессия доменщика. Доменный мастер Трофим Губенко называет доменщиков «укротителями чугуна».

Бурлит металл в печи. Он горяч и норовист, как кровный скакун. Он горячими волнами ходит в горне, он мечется, он кипит, он рвется,— синее пламя пробивается через все щели, даже через огнеупорную глину. Горновой спокойно подходит к летке. Он берет лом большой, он берет ломик маленький, подручные молча подают все это. Вот он широко расставил ноги. Вот он один на один встал против бешено бурлящего в печи чугуна.

Вдруг горновой качнулся, рванулся и ловким ударом ломика ударил в самое сердце летки.

— Га-ах!

Густой черный дымок вырывается оттуда. Дымок кучерявится и, петляя, ползет понизу.

— Взя-яли! — хрипло кричит горновой.— Ну-ка!

Люди молча бросаются к нему. Они понимают его с полуслова. Они знают свои места. Один становится рядом с горновым, четверо остальных — двумя парами сзади. Их тела сливаются в одном движении. Руки их прикипели к большому лому. Рисовать их надо так: большой, длинный лом (одна прямая черная линия), шестеро тел, двенадцать рук (одна чуть согнутая брезентовая линия).

И вот из печи вырывается чугун. Он появляется в пламени и дыме. Его огненная грива развевается по ветру, из ноздрей валит дым. Он мечется, разбрызгивает вокруг хлопья огненных брызг, он несется в сиянии и славе — неукротимый, горячий скакун. Люди разбегаются в стороны, люди гасят искры на своих рубахах. Только один горновой остается на месте и, прикрыв глаза ладонью, придирчиво смотрит на цвет металла.

Пламя мечется по его лицу, и тяжелые капли пота кажутся каплями густой крови.

Широко расставив ноги, стоит горновой, а под ним по желобу мирно бежит — не конь, не скакун, не поток, не стихия! — хороший белый чугун марки ноль мирно бежит по желобу и, брызгаясь, падает в ковш.

Это замечательная профессия — доменщик. Я знаю обер-мастера Коробова. Он сидит дома, пьет чай, вытирает лоб полотенцем и изредка подходит к окну. Он распахивает окно своей заводской квартиры и, наклонив правое ухо, заросшее рыжим пухом волос, слушает. За окном бушует океан звуков — кричит паровоз, где-то режут железо, соседка завела граммофон, но из всех звуков Коробов вылавливает свое: ровное гудение горелок Фрейна на кауперах новой домны.

Он прислушивается, он прикладывает ладонь к рыжему уху, и в этом гудении старик слышит и понимает дыхание печи. Тихая улыбка появляется на его лице. Он похож сейчас на мать, наклонившуюся над спящим ребенком: ребенок ровно дышит и иногда сопит и чмокает губами.

И Коробов возвращается к своему чаю.

А если в океане звуков, бушующем за окном, нет характерного гудения горелок, старик бросает все и бежит на печь.

Я знаю другого замечательного мастера — Петра Максименко. Он был мастером еще у легендарного доменщика Курако, и уже в те поры Максименко звали «доменным доктором».

Да, доктором! Ибо домна имеет свои болезни, ибо каждая домна имеет свои капризы, и надо долго жить и много работать, чтобы уметь, приложив глаз к фурменному стеклышку, увидеть, чем больна печка.

Но это особая тема, а я хочу сейчас только сказать, что есть на земле много хороших профессий.

Вот такелажники. Я видел их на многих стройках, видел и на Днепре. Этим людям канаты послушны, как музыканту клавиши. Должно быть, чертовски приятно легким толчком ладони подымать над рекой многотонные каркасы, с которых голубыми струйками стекает Днепр.

А вы видели, как поворачивают паровоз на поворотном круге на станциях? Человек невысокого роста лениво упирается спиной в бревно и поворачивает паровоз вместе с машинистом и кочегаром. Машинист выглядывает в окошко и любуется барышнями, гуляющими по перрону. Барышни в белых платьях.

Я люблю поговорить с мастерами своего дела. Как я люблю душу своей профессии, так они любят и знают душу своей.

Мне шахтер скажет, как найти уязвимое место пласта; мне бетонщик поведает секрет ажурного бетона; мне сталевар покажет мудрость полировки кипящей стали; чахоточный стеклодув, загубивший легкие на работе, все же превознесет свою красивую профессию.

Мы пойдем с ними бродить по городу. Мне бетонщик гордо покажет свои здания: они красуются, освещенные закатом; мне сталевар, качаясь, покажет мосты над рекой, рельсы, вспыхивающие багровыми искрами заката; стеклодув молча ткнет пальцем в золотые стекла, по которым стекают последние ослепительные лучи солнца. Только шахтер грустно поникнет головой. Где уголь, который он рубил, законурившись в черной щели забоя? Он сгорел, уголь, в топках сталелитейного цеха, в кочегарке бетонного завода, на стекольном заводе сгорел уголь.

Но я хотел бы быть шахтером.

Я хочу, впрочем, обладать всеми профессиями. Может быть, потому, что я молод, мальчишка, но иногда

я хочу переделать все дела, сработать все работы. Я хочу искать нефть в Стерлитамаке и рыть канал на Беломорье, рубить уголь в Донбассе и мчаться на автомобиле по гудрону Крыма, валить лес под Архангельском и класть рельсы Донецкой магистрали, разносить почту по мордовским селениям, водить трактор, ладить сплавные плоты, бить щебень, трамбовать бетон, мерзнуть в пограничной заставе,— я хочу стать мастером многих профессий, всех профессий, какие только есть на земле.

Я все готов делать; я готов работать любую работу,— в каждой из них своя прелесть, своя поэзия, свое счастье.

Но невозможно быть мастером многих дел, а ремесленником быть не следует. И мне хочется научиться писать книги. Мне кажется, что писатель живет, радуется и печалится всеми профессиями: он и уголь рубит и плоты ладит,— все, что делают его герои,— и я очень хочу научиться писать книги.

А тогда, в тысяча девятьсот двадцать первом году, я считал, что нет другой такой профессии, как профессия наборщика. И я ходил, перемазанный типографской краской, на моих ладонях можно было прочесть все, что я набирал в этот день.

Гранки, а не ладони.

Мне очень хотелось, чтобы Алеша увидел меня в таком виде. Хотелось похвастать своим ремеслом, показать свои руки, предложить товарищу папироску, купленную на первый заработок. Но жил я в это время уже в «коммуне номер раз», и ходить на Заводскую было не с руки.

Однажды я случайно встретил Алешу на самом бойком перекрестке. Я шел с работы, он бежал с пакетом.

Я ахнул, увидев его. Он всегда был худым и костлявым, но сейчас передо мною стоял скелет. Желтая кожа, похожая на шкуру турецкого барабана, обтягивала его острые скулы.

— Ты болен? — спросил я испуганно.

— Нет. А что?

— Чем тебя кормят?

Нас толкали прохожие, и мы свернули в переулок. Алеша, зябко кутаясь в кожушок, рассказал, что работает по-прежнему курьером,— ноги еле носят,— а после службы учится в школе.

— Тяжело? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Не мед!

О себе я коротко и сухо сказал, что работаю в типографии.

Мне почему-то вдруг стало неловко бахвалиться.

— Наборщиком будешь? — спросил Алеша.

— Да. Хочу быть.

— А я не знаю, чем буду. Так курьером и сдохну.

— Учишься ведь.

— Учусь? Нашему брату учиться коряво. Когда мне уроки готовить? Когда читать? Хлеб добывать надо.

— Что ж, бросишь школу?

Он стиснул зубы и хмуро ответил:

— Ни за что.

Помолчали.

— А я письмо получил. От Павлика.

— Да? — оживился Алеша.

— Да. Он нагревальщиком заклепок работает. Хочет мастеровым быть.

— Я мастеровым не хочу.

— А чем же хочешь?

— А кто его знает! Я большего дела хочу.

Мы распрощались, условились чаще встречаться.

Через несколько дней мне попался на улице Валька Бакинский и сказал, что Алеша лежит больной. Мы условились с Валькой сходить его проведать, да все времени не было.

Когда тебе от роду пятнадцать лет, еще не умеешь заботиться о товарище.

Две недели жестокая «испанка» трепала Алешу. Он валялся дома, а напротив него на кровати лежал тоже больной отец.

— Чисто лазарет! — охала мать, перебегая от одного больного к другому.

Ночи Алеша спал беспокойно, метался на узкой кровати и то и дело пил воду, припадая горячими, растрескавшимися губами к холодному алюминию кружки. К утру он забывался в тяжелом, бредовом сне и во сне стонал, корчился, плакал. Просыпаясь весь в поту, тяжело дышал, испуганно озирался, видел: в комнату тихо входила мать, тоскливо осматривала «лазарет», стены,

утварь, уныло застывшую на своих местах. Мать словно искала чего-то. Алеше хотелось спросить: «Чего тебе, мать?» Потом она брала какую-нибудь вещь: зеркало, картину, самовар, часы, нерешительно глядела на нее, вертела в руках, клала в корзину и уносила. Вещи исчезали навсегда.

Большой граммофон с белой в розовых разводах трубой стоял недалеко от Алешиной кровати на видном месте, на специально сделанной отцом тумбочке. Алеша знал семейную историю граммофона: хозяин завода наградил однажды премиями лучших рабочих, самых тихих, непьющих и богобоязненных. Это было в бурные дни пятого года. Вот откуда граммофон.

Говорят, что сам директор Генрих Генрихович зашел в гости к Гайдашам и, узнав, что на премию куплен граммофон, изрек весело:

— Лучше танцевайт, чем делайт революциен...

Алеша малышом любил по целым часам глядеть в трубу: может, вылезет из нее тот человек, что кричит и поет оттуда. Заводили граммофон редко, только в праздники, когда приходили гости. Пластинок было мало, их берегли.

Только совсем недавно осмыслил Алеша историю граммофона,— отец рассказывал ее соседу, вздыхая по старине.

— И завод тогда гудел. И рабочим было сыто-пьяно, и хозяева завсегда уважительно относились к хорошему мастеровому. А теперь,— ахал отец,— бурьяном и лебедой зарос завод.

— Тую лебеду,— поддакивал сосед,— тую лебеду не хай. Потому тая лебеда теперь в муку идет.

Алеша возненавидел граммофон.

— Тебе его за холуйство дали,— сказал он сгоряча отцу.

И когда сказал — опомнился, испуганно подумал: «Убьет отец за такие слова!» Но старик только съежился, сжался, стал таким жалким и беспомощным, что у Алеши слезы на глаза навернулись. А старик испуганно глядел на Алексея и вспомнил, что такие же жестокие слова сказал ему на расставанье средний сын. Сказал тогда — и пошел. А куда, зачем — неведомо. И где он теперь — никто не знает.

Больше о граммофоне разговоров не было. Его не заводили: не такое время.

Мать нацелилась однажды и на граммофон. Она обтерла уже пыль с бело-розовой трубы, но отец приподнялся на кровати и тихо, почти умоляюще прошептал:

— Не надо.

И теперь, приходя в себя после тяжелого сна, Алеша видел, как на розовых разводах опять оседала пыль. Вот таракан выполз, пошевелил усами, переступил лапками и вдруг заторопился, убежал обратно в трубу. Потом Алеше этот таракан снился. И будто это не таракан вовсе, а кто-то другой — и даже знакомый. Да ведь это Платон Герасимович, помощник заведующего школой! Вот он медленно шевелит усами — вверх-вниз, вверх-вниз — и длинно, скучно, тускло говорит-говорит, будто перебирает лапками, монотонно и однообразно.

«А может, я умру»,— вдруг пугается Алеша, и ему становится жалко себя до слез.

Он просыпается. Солнечный луч бродит по потрескавшимся половицам. Отец тяжело дышит рядом.

Ведь еще он ничего не сделал — ни хорошего, ни плохого,— как же можно умирать? Он даже не сколотил тумбочки для граммофона, как отец,— как же умирать? И Алексей чувствует себя таким маленьким, ничтожным, слабым, какой-то песчинкой перед чем-то стихийным, неотвратимым и не зависящим от него.

— Буду! Буду жить! — кричит он, плача, и этим криком будит отца.

— Чего ты? А? — заботливо спрашивает отец, но Алексею уже стыдно за свои слезы, и он, как взрослый, говорит небрежно:

— Ничего! Привиделось...

В бреду Алеше часто являлся Ковалев. То выплывало его лицо, белое, холодное, неподвижное, с застывшей судорогой на губах. Проходили долгие секунды, минуты, может быть, часы, а лицо это все стояло перед глазами Алексея, и он кричал, плакал, метался, пытался руками разорвать ненавистный образ или, затихший, тоскливо глядел в немигающие, словно стеклянные глаза Никиты; то оживал Ковалев, тащил куда-то Алексея или приятельски беседовал с ним, а потом вдруг кричал петухом и опять волочил Алешу через какое-то пожарище, через золу и тлеющие угли; то молча шел рядом, как тень, с которой нельзя расстаться. А иногда Ковалев появлялся перед Алексеем таким, каким он любил его: широко улыбающимся, простым, добрым. И лицо Алексея рас-

тягивалось тогда в счастливой, тихой улыбке, он дышал ровнее, чмокал губами, свертывался калачиком, как в детстве.

— Ну, легчает! — вздыхала тогда мать и уходила к другому больному.

Ночь на двенадцатое марта Алеша уже спал спокойно: ничего не снилось. А когда открыл глаза, почувствовал себя здоровым, улыбнулся солнцу, тающим сосулькам под окном. Провел веселым взглядом по комнате, увидел: на тумбочке нет граммофона, а на соседней постели — отца. И Алеша не знал: выздоровел отец или умер. Почему-то решил, что умер. Ему казалось, что он даже вспоминает сквозь бред, как какие-то люди, стуча подковами сапог, входили в комнату и выносили что-то тяжелое и длинное.

Алеша откинулся на подушки и беззвучно заплакал. Ему вспомнилось теперь, что всю свою жизнь он был неласков и груб с отцом. Он вдруг подумал, что вот — смерть и теперь нельзя ничего поправить: нельзя ни повиниться перед отцом, ни загладить, ни смягчить вину,— смерть, конец всему.

Он плакал, уткнувшись лицом в подушку. Его плечи вздрагивали, а в комнате было тихо, как будто ни смерти, ни горя нет.

Алеша захотел заплакать громко, навзрыд, чтобы сломать эту невыносимую тишину,— и не смог: не было ни голоса, ни крика, только комок в горле.

И вдруг он подумал, что теперь, когда отца нет, он — единственный кормилец семьи. Он вскочил тогда на ноги, потянулся за одеждой, хотел натянуть брюки — и пошатнулся. Брюки упали на пол.

Алеша схватился за деревянную спинку кровати. Ноги дрожали, они были глиняные: и очень тяжелые и не крепкие. А голова? Будто голову сняли с Алеши, и она отдельно, сама, кружится над Алешей, описывает круг за кругом,— плывут стены, вещи, пол, потолок.

Мальчик сел на кровать. Стало легче. Голова вернулась на место — на тонкую желтую шею. Алеша глубоко вздохнул и стал одеваться.

«Надо идти! Идти! Идти надо! — стучало в голове.— Обязательно надо идти. Идти! Идти надо!»

Идти на службу. Броситься к управделами, к начальнику, к председателю, рассказать все и просить,

умолять, клянчить, чтобы дали другую работу, где б паек больше и денег больше.

«Надо идти! Идти! Идти надо!»

Он нашел валенки, кожушок, шапку. Оделся, обвязал горло красным отцовским шарфом и шагнул в соседнюю комнату. Но и там никого не было, стояла чуть позванивающая тишина, и в окно плыли светлые ручьи мартовского солнца.

— Мать! — хрипло позвал Алеша.

Никто не отозвался. Алеша вышел в сени — не было никого и там. Он увидел только через окно, что меньшой брат Степка бегает по двору.

«Чего же он носится, как угорелый! Ведь отец помер! — подумал Алеша и печально усмехнулся: — Дите!»

Себя он считал сейчас большим и старым. Он сгорбился, распахнул дверь и вышел на крыльцо. Мартовский морозец похрустывал на дворе. Алеша нечаянно открыл рот и захлебнулся воздухом. Долго кашлял, хватаясь рукой за горло.

«Идти! Идти надо! Надо идти! — убеждал он себя, сплевывая густую слизь.— Хватит! Идти надо!»

Шатаясь, он пробежал двор и вышел на улицу. Она вся была залита солнцем. Розовые волны снега бились около ворот.

«Я буду работать, как лошадь,— сказал тогда сам себе Алексей.— Я сверхурочную работу достану. Я наймусь еще куда-нибудь. Хоть грузчиком! А Степка пусть учится в школе, Степку я сделаю инженером. И Митьку отдам учиться: Митька будет доктором, доктором — людей лечить будет. А Любаша пока по хозяйству. Пусть помогает матери. Но и ее я буду учить. Я всех выведу в люди. Любашу, когда вырастет, замуж за большевика отдам,— за большевика, чтобы она не жила в старом быте. Любашу музыке научу: она поет хорошо, пускай музыку учит. Я их всех выведу в люди. Пусть я сам не вытяну, а они выйдут. А мать от работы освобожу. Отдыхай, мать! Отдыхай! Ты ничего, ты поработала! Дай нам. А ты отдыхай!»

Крупные слезы текли по щекам Алеши и замерзали узорчатыми снежинками. Он иногда смахивал их торопливо, боясь опоздать, шел, размахивая руками и разговаривая сам с собой.



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

«Мне начальник другую работу даст. Довольно я курьером бегал! Я и в школе хорошо учусь! «Можно справиться, товарищ начальник, я справку принесу. Я какую хочешь работу исполню».— «Ладно,— скажет начальник,— садись деловодом».— «Эх, в канцелярию неохота идти!» — «Ну, да это временно. Потом мы тебя заведующим сделаем. На большую, руководящую работу выдвинем. Ты парень толковый!» — «У меня отец помер, товарищ начальник, я буду стараться...»

Окрыленный мечтами, прибегает Алеша в учреждение. Словно не было болезни, так легко он взбегает по лестнице. Словно нет никакого горя, так он широко улыбается. Около канцелярии толпятся люди, сотрудники. Сотрудников можно узнать по мешочным толстовкам. Сотрудники шумят около канцелярии. Алеша подходит и видит: висит доска, а на доске много объявлений. Стоит уборщица Фрося и плачет.

— Что случилось, Фрося? — тихо спрашивает Алеша.

— Сокращение.

Сотрудники, толкая друг друга, пробираются ближе к доске. И Алеша машинально пробирается вместе со всеми. Вдруг его охватывает страх. Страх проходит мурашками по спине. Страх царапает больное горло. Нет ни голоса, ни хрипа. Вдруг и Алешу... сократили?

«Нет, нет, не может быть! — успокаивает он себя.— Антонов, Андреев... Нет, не может быть! Ясно, не может быть! Алексеенко... Бурлюк... Голубев... Гайдаш... Что? Гайдаш Алексей — курьер». Курьер — Алексей Гайдаш...

Он снова и снова перечитывает эту строчку. Все верно, ни одной грамматической ошибки, даже точка в конце строки.

«Что же теперь будет? Куда идти? Товарищ начальник, как же? Я справку могу принести».

Он один остается около доски. Он смотрит на нее тупым взглядом. Списки, наконец, начинают плавно кружиться перед его глазами. Тогда он закрывает глаза рукой и отходит. Куда? Просто бредет по коридору.

«И слова-то какие нехорошие,— потерянно думает он: — «Сокращение штатов».

Штаты? Что это такое: штаты? Он бегает с пакетами по городу — это штаты? Фрося моет пол — это штаты? Штаты — это бумага, а они — люди. Где-то рассмат-

рывают, составляют, сокращают штаты, а Алеша при чем?

«Значит, я теперь — безработный? — вдруг догадывается Алеша.— И пайка не дадут?»

А мать? А Степка? А Любашу учить музыке?

Алеша побежал по коридору и влетел в комнату управделами.

— А я... я без штата могу,— сказал он в отчаянии.— Только б паек хоть какой. Голодно дома... Отец помер...

Управделами болезненно дернул плечами: целый день ходят к нему с этим.

— Поймите, я ничего не могу! — закричал он и убежал, схватив со стола портфель.

Алеша потолкался еще по комнатам, потом пошел на черную лестницу, сел и заплакал — тихо, почти без слез.

Сначала думал, что плачет с горя: что отец помер, что работы лишился. Потом сообразил: от обиды плачет.

«Значит, ненужный я? Взяли — выбросили!»

Он был молод, упругие мускулы вспухали на его руках. Он знал грамоту, немного физику, алгебру, геометрию, историю древних греков,— неужели нет ему на земле ни дела, ни пайка?

К концу дня он зашел на биржу; увидел длинную унылую очередь перед узким окошком в сырой стене. с болезненным любопытством смотрел на безработных,— так смотрит заболевший на уже лежащих в лазарете.

«Вот и я буду так!» — думал он и прислушивался к разговорам.

Разговоры — негромкие, вялые, бесполезные — стояли над очередью. Каждый рассказывал о себе.

— Вот я литейщик,— говорил один.— Куда я пойду?

— Кабы слесарь,— смеялись в ответ соседи,— зажигалки бы делал, продавал.

— Зачем зажигалки? — недоумевал литейщик.— Какие зажигалки, когда мне литье разливать по формам, чтобы был металл!

— Я знаю иностранные языки,— говорил старичок с зонтом,— и даже эсперанто. Да, я знаю эсперанто, но не знаю, что буду кушать завтра.

— И даже сегодня! — мрачно пробурчал чернобородый в коже.

Только одного веселого человека увидел Алеша в очереди. Несмотря на март, он был в одних сандалиях, холщовая рубаха его распахнулась, открыв волосатую грудь.

— Это было, это будет! — сказал он весело.— Так чего там?!

Ему не ответили, а Алеша вдруг отчетливо подумал: неужели в самом деле всегда будет так? Будут сохнуть в безделье мускулы и мозги здоровых людей, будет скрипеть по углам голод?

И над всем этим — кусок хлеба.

Проклятый кусок! Мать режет хлеб благоговейно и тщательно. Меньшие братья Алеши подбирают крошки.

— Не нужно революций,— сказал веселый парень в холщовой рубахе.— Не нужно тогда революций, если желающий работать не ест потому, что нет работы.

Литейщик горько засмеялся.

— Я до революции был у хозяина в почете. Я,— он гордо вытянул руку,— я — мастер, художник. Вот кто я по своему делу. И все-таки я был три раза безработным. Нет, это дело вечное.

— Так было, так будет,— опять сказал веселый парень.— Но зачем тогда войны и революции? Первобытный человек не знал безработицы, и если знал голод, так, значит, был мало искусен. Вот что дала нам культура: умелые руки и пустые желудки. А что дала революция? Только то, что пустые желудки даже у тех, кто работает.

«А это контра! — подумал о холщовом парне Алеша.— Где это он такую рубаху достал?»

— Ну, все же работать лучше, чем так вот околачиваться,— сказал литейщик и стал закуривать.— Говорят, скоро завод пустят.

Алеша почувствовал вдруг, что он зверски голоден. Из дому он вышел не евши. Сейчас уже половина третьего. Но домой идти не хотелось.

«В школу пойду. Может, ребята что-нибудь посоветуют».

Это была слабая надежда — и все-таки надежда.

Он направился в школу. О болезни как-то совсем забыл. Вот Николаевская улица. Вот школьный забор. Вот парадный подъезд: он всегда заперт, вход со двора.

Алеша потянул к себе тяжелую школьную дверь, и навстречу ему пополз устоявшийся, плотный запах дезинфекции и сырости. Алеша радостно вдохнул этот запах,— это был запах его школы,— с удивлением почувствовал, что за две недели болезни он стосковался по школе, что он, оказывается, любит ее.

«Ну вот! — засмеялся он удовлетворенно.— Ну вот!»

Работа найдется. Как не найтись! Работа будет — и хлеб будет, и Любашу — музыке, и мать — на покой, и сам Алеша будет учиться. Ого! Еще как будет учиться! Как он стосковался по книжечке, по парте, изрезанной ножом, по ребятам!

— Ну вот! — засмеялся он.— Ну вот! — и побежал по лестнице.

Сверху, навстречу ему, медленно и прямо шел парень. Алеша не сразу сообразил, что это Ковалев, а когда сообразил, растерялся и побежал еще быстрее.

Ковалев прошел, даже не взглянув на него. Он был холодно-спокоен и только шел чересчур уж прямо.

Алексей долго смотрел ему вслед.

— Вот мура какая! — пробормотал он и сплюнул.

— Штраф! — раздалось сзади.

Алеша быстро обернулся. Непередаваемо колюче-официальный стоял перед ним Воробейчик. Рыжий хохолок был старательно зачесан.

— Штраф! Плевать воспрещается!

Алексей расхохотался,— кругом было заплевано, засорено шелухой и окурками,— и хлопнул Воробейчика по плечу:

— Ах, воробушек, веселая птичка! — хотел идти дальше, но Воробейчик торопливо схватил его за руку.

— Значит, вы отказываетесь? Ха-арошо-о! — пробормотал он.— Вы за это ответите. Вы ответите!

— Да ты-то чего петушишься, Воробушек?

Хохолок растрепался и упал на побагровевший лоб Воробейчика.

— Па-апрашу,— закричал он,— па-апрашу не оскорблять меня! Па-апрашу всякого сопляка держаться лояльно в отношении лица, исполняющего общественные обязанности.

Алеша потемнел и придвинулся ближе.

— Это кто сопляк? — прохрипел он и поднял кулак.

— А-ай! — закричал Воробейчик.

Школьники радостно собирались вокруг спорщиков.

— Я — ответственный секретарь всешкольного старостата! — пронзительно кричал Воробейчик.— Я паапрашу...

— Ах, секретарь?! Ты — секретарь? — тихо произнес Алеша.— Секретарь? — закричал он вдруг изо всех сил и, не помня себя, размахнулся и ударил Воробейчика.

Тот упал на плиты лестницы и покатился вниз. Школьники внизу подхватили его.

Алеша, тяжело дыша, стоял в шумном кругу ребят, не зная, что дальше делать: идти в класс или ждать, пока подымется Воробейчик и будет драться, как всегда дрались в школе.

Но, расталкивая толпу, шел на него сейчас не Воробейчик, а бледный и взвинченный Никита Ковалев.

Он продрался сквозь густую толпу и стал перед Алексеем. Но посмотрел на него в упор, словно не узнавая, потом обвел прищуренными глазами школьников и произнес медленно:

— Будем судить Гайдаша за хулиганство.

Толпа зашумела, захохотала, заспорила. Толя Пышный, весело хлопая в ладоши и прыгая на одной ноге, завопил:

— Суд, суд, суд! Я — свидетель! Суд, суд, суд!

— Суд...

— Суд...

— Суд...— перекатывалось по школе на разные лады, только это и слышал Алексей.

— Кто судить будет? — хрипло спросил он Ковалева.— Ты, что ли?

Ковалев бесстрастно взглянул на него и ответил:

— Я! — Помолчал и добавил: — Как председатель школьного старостата.

Ах, вот что! Захватили школу в свои руки, вертят ею.

— Ты?! — закричал он Ковалеву.— Ты меня судить будешь, белогвардейская сволочь?!

Он увидел, как побелел Ковалев, и злорадно захохотал.

— Ага! Ага! Не нравится!

Он почувствовал вдруг, что может упасть. Болезнь снова ломила его, опять снялась с шеи голова и поплыла, как карусельная лодка. Он схватился за перила лестницы,— толпа бушевала вокруг него, хохот, крики, угро-

зы сливались в один раздражающий, дребезжащий звон (или это стекла дрожали?), а Алеша, крепко держась за перила, безостановочно и хрипло кричал только одно слово: «Ага! Ага! Ага!» Он иногда останавливался,— ему не хватало дыхания,— всхлипывая, вдыхал воздух и опять кричал: «Ага! Ага! Ага!»

Вдруг он услышал голос Ковалева:

— Ты ответишь за свои слова. На суде ответишь.

— Не дамся меня судить! — закричал Алеша.— Не дамся!..

Взвизгнув, он бросился на Никиту, но пошатнулся и упал.

Он очнулся на руках у заведующего. Притихшая толпа стояла вокруг. Девочки суетились с примочками. Они охали и жалели Алешу, и он подумал, что, должно быть, жалкую и плачевную фигуру представляет он.

— Не надо! — оттолкнул он девочек.— Не надо!

Он встал на ноги. Толпа расступилась перед ним. Он прошел в класс и свалился на парту.

Около доски стояла Юлька, девочка в рыжем полушубке, и, размахивая серой шапкой, кричала своим тонким, озорным голоском:

— Товарищи! Товарищи! Минутку внимания.

Она недавно появилась в группе. Среди стриженных по-мальчишечьи девочек выделялась ее тяжелая каштановая коса, которую она скрывала под серой солдатской смушковой шапкой.

Алеша тупо смотрел, как она размахивала этой шапкой. Из упрямства не хотел уходить домой. Он сидел на парте, уткнув голову в руки.

Вдруг ему послышалось, что Юлька выкрикивает его имя. Он прислушался.

— Хулиганство,— взволнованно кричала Юлька,— которое постыдно в нашу эпоху, товарищи! Наша эпоха, товарищи... Даже обидно, что есть такие, как Гайдаш. Надо приветствовать суд над ним. Судить его!

«Судить будут! — В голове Алеши трудно ворочались мысли.— А я не пойду на суд. Убью Ковалева. Или сам убьюсь. Пусть знают! Кругом — офицерье! А то пойду в Чека и заявлю. Или сам убью Ковалева. Камень возьму и убью!»

— Мы должны коммунистически воспитываться в нашей школе! — продолжала кричать Юлька.— Из

нас должны выйти стойкие коммунисты, а не такое хулиганье, как Гайдаш!

«Ну и ладно! — подумал Алеша. — Ладно, воспитывайте! Ладно, пускай я хулиган. Конечно! Я — с Заводской улицы. Я в кадетском корпусе не обучался честь отдавать. У меня отец...» — и он вдруг всхлипнул, вспомнив, что и отца у него нет больше, и работы нет, и службы нет...

Биржа... Узкое окошко в сырой стене. Вот и вся его перспектива: узкое окошко в сырой стене! И все-таки очень обидно слыть хулиганом. А Ковалев — председатель. Юлька Ковалева хвалить будет. Ковалев Алешу судить будет. Всех обошел Ковалев. Что же это такое?

А Юлька продолжала и продолжала кричать:

— Товарищи! У нас в школе организовалась ячейка детской коммунистической группы. Мы работаем при комсомоле. Наша цель — воспитать настоящих комсомольцев. Мы принимаем в свои ряды сознательных товарищей из рабочей среды.

«А Ковалев небось уж там! — усмехнулся Алеша. — Из «рабочей среды»? — и он шумно вздохнул, вспомнив дружную братву с Заводской улицы. — Где Мотя теперь? Как Павлик? Эх, ребята были!»

Он не дослушал, что кричала Юлька, тяжело поднялся с парты и, пошатываясь, вышел.

Валька Бакинский все время следил за ним тревожным взглядом. Он не верил, что Алеша хулиган. Он хотел на глазах у всех подойти и пожать ему руку. Когда он увидел, что Алеша вдруг вышел из класса, он испугался: куда это он?

Ему подумалось, что Алеша, не стерпев позора, пойдет в уборную вешаться: на ремне повесится. Валька недаром читал книги.

Он выскочил вслед за приятелем из класса и увидел: тот медленно спускается по лестнице, держась за перила.

«А он не дойдет один, он болен ведь», — подумал Валька, решительно поднял воротник старой гимназической шинели и нахлобучил башлык.

— Я провожу тебя домой, Алеша.

— Ладно! — безучастно согласился Алеша.

Они молча вышли на улицу.

— Ты не принимай близко к сердцу, Алеша, то, что случилось в школе, — сказал Валька, желая утешить то-

варища.— Жизнь — это только глупая в общем шутка. Кто-то правильно сказал это.

— Я плюю на них!

— Ну да! Надо стоять выше их. Толпа всегда гонит таланты и побивает их камнями. Такова толпа. Я где-то читал об этом.

Алеша промолчал в ответ. Он плохо слушал Вальку. Думал:

«Что же, говорить матери, что работы лишился, или промолчать покуда?»

— Возьмем литературу. Ты увидишь: всегда была толпа и герои. Понимаешь? Печорин горько разочаровался в жизни, он ищет в ней иного смысла—он лишний.

— А где он служит? — невпопад спросил Алеша.

— Кто? Печорин? Это же литературный тип.

— А-а! Я не расслышал. Я думал: ты говоришь — сократили кого-то.

— Нет, я о литературе. Я хочу тебе сказать, что мнение толпы надо презирать. Я сам всегда презираю ее мнение.

Еще в начале учебного года, вскоре после поступления Вальки в школу, произошло большое событие. Учительница русского языка, Зинаида Николаевна, худенькая, в серой вязаной кофточке и в валенках, как-то пришла в группу с кучей тетрадок. Ежась от холода, потирая озябшие руки, она долго ждала, пока стихнет шум в классе. Наконец, она не выдержала.

— Тише бы надо, товарищи! — пожаловалась она.— У меня горло больное! Не могу вас всех перекричать.

Сразу стало тихо.

— Вот! — сказала тогда учительница.— Вот ваши сочинения. Лучшее...— она порылась в тетрадках,— лучшее — это Бакинского Валентина. Есть тут такой?

Валька смущенно встал:

— Я.

На него с любопытством смотрело сорок пар глаз. Он наклонил голову. Волосы, которые Валька зачесывал назад, упали на лоб.

— У вас лучшее сочинение,— протянула ему тетрадку учительница и тоже с любопытством посмотрела на него.— Вы смотрите пишите!

Валька много думал вечером о своем литературном успехе. Смотрелся в зеркало:

«Неужели я писатель?»

Лицо было в веснушках, нос вздернутый, губы толстые. Мучительно искал значительности в лице.

«У него были серые, выразительные глаза»,— сказал он сам себе. Но глаза у него были не выразительные, а узкие и тусклые, закрытые припухшими веками, белыми, как у курицы.

Будущность писателя ему мерещилась часто.

Он смотрел, как гоняли дети мяч на дворе. Сам он был неловок, ленив, не силен. Утешал себя: «Одни работают ногами, другие — головой»,— складывал на груди руки и презрительно усмехался.

Он знал, что некрасив. Но и тут было утешение: «Некрасив был и Лермонтов, зато писал как!»

«Герой нашего времени» — книга, которую он недавно прочитал, пленила его сразу. Написал стихи и подписался: «Валентин Бакинский (Печорин)».

В стихах было:

Как он, не понят я никем.
Как он, гоним я и унижен.

Ребята смеялись над псевдонимом:

— Печенкин ты, вот кто! Кем унижен?

Он загадочно и нервно улыбался: потом, потом поймете!

А его никто не гнал и не унижал. Мать подкладывала ему лучшие куски: «Кушай, Валюша, кушай!» Ребята не любили его обижать: он сдачи не даст и плакать не будет,— за что его бить?

После успеха сочинения в школе на него смотрели с любопытством.

— Вы что же, и дома пишете?—спросила его бойкая Марина и сделала страшные глаза.— Даме сердца, да?

Мать сшила ему темно-зеленую просторную толстовку. Он подвязывал шею большим лиловым в белых крапинках бантом.

Теперь, глядясь в зеркало, он находил «особенное» в своем лице.

Всю дорогу Алеша молчал, а Валька безостановочно говорил, размахивая руками. Сначала он говорил, чтобы утешить друга, потом — чтобы утешить себя.

Вот о чем он говорил: поэты всегда были гонимы, в этой жизни ничего нет привлекательного, все изведано, все увидено, какая скука жить!

Валька суховато покашливал, как человек, которого

уж ничем не удивишь и не тронешь в этом мире. Он обладал умением любоваться собой. Он смотрел на себя сбоку и видел: идет немолодой уже, чуть ссутулившийся человек в запыленных охотничьих сапогах, в изящном, но скромном сером костюме, в мягкой, небрежно сдвинутой на лоб шляпе. Через плечо перекинут черный плащ. В руках у этого странного человека — трость. Она вся в зарубках: память о том, о сем, о многом. Эту трость из драгоценного самшита вырезал монах на Афоне и окропил святой водой. Этот перстень, что на руке, добыт в Индии, в пещере, где, покачиваясь, дремлют кобры. Это кольцо с нежным, как кровь, рубином подарила ему любимая жена султана. Берилл на другом пальце напоминает ему зеленые, как омут, глаза несравненной египтянки, которую звали Голубой Лотос. Чем удивишь такого человека! Как он устал! И как ему скучно!

Валька зевнул и потер замерзший нос.

А Алеша шел молча и думал:

«Школу теперь все одно придется бросить. Пойду к Семчику, он мне поможет работу найти. Я куда угодно пойду работать. Я — сильный. А там ребята подрастут. И вытянем так».

Он посмотрел на Вальку и сказал ему вдруг:

— А у меня, кажется, отец помер.

Валька испуганно остановился,— он еще не слышал об этом,— и, моргая ресницами, снял шапку. Снежок сыпался ему на голову, таял и просачивался за шею.

— Когда? — спросил он шепотом.

— Не знаю.

Валька покачал головой, но не мог найти слов утешения.

Он пробормотал что-то о том, что «жизнь — копейка».

Ребята уже подходили к домику Гайдашей. Валька с мучительным любопытством всматривался в ветхий домик: здесь — смерть.

И вдруг он вскрикнул:

— Вот... вот... Иван Данилыч! — Он засмеялся нервным, дрожащим смехом и указывал рукой: — Вот, вот!..

Алеша посмотрел по направлению его руки и увидел: около домика с топором в руках ходил отец.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Я слышу твой голос, главный герой,
Я славлю наших ребят.

М. Голодный

1

По школьной лестнице медленно поднимался парень на костылях. Правая нога его твердо, даже излишне твердо, ступала по выщербленным каменным плитам; левую он волочил. Костыли плотно входили под мышки, так что плечи парня поднялись и заострились. Он слишком цепко и напряженно охватил пальцами костыли,— видно, еще не привык к ним.

Деревяшки глухо стучали в пустом здании. Кавалерийская длинная шинель, с не ободранными еще на груди форменными петлицами мела грязную лестницу — шелуху, пыль и окурки. На воротнике и на рукавах петлиц уже не было.

— Где заседает ячейка деткомгруппы? — спросил парень первого попавшегося ему в пустом здании школьника.

Тот тихо съезжал по перилам лестницы, ухарски подняв обе руки над головой. Съехал, хлопнув ладошами, и кинул в ответ снизу:

— А я не знаю, о чем вы спрашиваете!

— Ячейку детской коммунистической группы спрашиваю. Где она заседает?

Школьник подумал-подумал и ответил:

— Нет, такой не знаю.— И убежал.

Парень долго смотрел ему вслед.

— А ячейку-то тут не зна-ают...— протянул, наконец, он, расстегнул воротник, высвободил из-под капелюхи красные уши и пустился снова в путь.

Навстречу ему попались еще два школьника. Один из них не знал о ячейке, а другой засмеялся и ответил:

— А кто их знает, где они собираются. Может, под лестницей. Их куда пустит сторож, там и заседание.

«А ячейку-то тут не уважают»,— привычно обобщил парень и пошел постукивать костылями по коридору. Он заглядывал в пустые классы,— ячейки нигде не было.

Высокий школьник, белое лицо которого было словно высечено из мрамора, попался ему навстречу.

— Вы не знаете, случайно, где происходит собрание школьной ячейки деткомгруппы?

Школьник остановился, окинул острым взглядом шинельку, костыли, ответил резко и почему-то зло:

— Случайно знаю. В последнем по коридору классе.— Он запнулся и добавил: — Там их сходка,— и быстро ушел.

«Ого! — улыбнулся парень.— Ого! А ячейку-то тут и ненавидят!» — и, весело засвистев, заковылял на собрание.

Он вошел, когда речь держала девочка с длинной каштановой косой. Он уже видел ее, знал, что зовут ее Юлькой, что она секретарь детской ячейки. Войдя, он дружелюбно кивнул ей головой и сел на ближайшую парту. Костыли он держал перед собой, как кавалерист, сидя, держит шашку.

Юлька вспыхнула, увидев его, прервала речь и торжественно объявила:

— К нам пришел представитель горкома комсомола товарищ Рябинин.

Шесть пар глаз — вся ячейка — разом уставились на смутившегося парня.

— Вы ничего, вы продолжайте,— пробормотал он.

Его попросили выступить на собрании. Он пожал плечами.

— Я, ребята, еще ничего не знаю у вас и ничего не могу сказать. Вот только наблюдал я у вас в школе ссору. Как этого парня зовут? Худой такой?

— Гайдаш, Гайдаш!

— Гайдаш? Ага! Он в ячейке?

— Что вы! — покраснела Юлька.— Это хулиган.

— А, ну да! — согласился Рябинин.— Раз хулиган, то конечно. Ну, ну! Поработаем — увидим. Я к вам буду часто ходить.

После собрания Юлька пошла провожать Рябинина домой. Он еще плохо знал город. Попал он сюда случайно: заболел тифом в поезде. Здесь его сняли и отвезли в военный госпиталь. Он ехал после демобилизации на юг, залечивать рану. Рана на ноге. Вот здесь.

Больше о себе он ничего не говорил, зато много и умело спрашивал, и Юлька рассказала ему все-все, что только может рассказать о себе курносая румяная де-

вочка, которой идет уже пятнадцатый год. В этом возрасте кажется, что уже много прожито, в семнадцать лет кажется, что еще совсем не жил.

Юлька и Рябинин сидели сначала на скамеечке неподалеку от «коммуны номер раз»,— Рябинин жил в коммуне. Потом, так как здесь было неудобно разговаривать, перешли в соседний сквер. Здесь еще лежал снег, весь засыпанный сухими ветками. Стоял теплый день,— такие выдаются на юге в конце марта. В такой день на самых глубоких реках дрогнет лед, в самых глубоких лощинах съежится снег и станет похожим на белый прогнивший гриб, а в городе вдруг побегут неизвестно откуда взявшиеся дружные, быстрые, мутные ручьи.

Юльке стало жарко в своей смушковой шапке. Она сняла ее и, увлекшись рассказом, стала, по своему обыкновению, размахивать ею. А тяжелая коса прыгала по плечам.

Смушковая солдатская шапка — вот все, что осталось Юльке от отца. Да еще воспоминание: иногда отец сажал ее к себе на колени и бережной рукой ласкал, перебирал прядь к пряди ее волосы. А песенок он ей никогда не певал, и вверх не подбрасывал, и «кошек-мышек» не затевал, говорил он вообще мало, отрывисто, домой приходил усталый.

Юлька сидела на его коленях тихая-тихая и молча терлась головой об отцову небритую щеку. Иногда отец сидя засыпал; тогда она тихонько слезала с колен и на цыпочках уходила. Так мало ласки было в Юлькиной жизни,— воспоминание об отце самое яркое.

— Он был хороший человек, мой отец,— говорит она убежденно, и Рябинин верит ей.

И вот только смушковая солдатская шапка осталась.

В своих заботах о маленьких сестренках она подражала отцу: сажала трехлетнюю Наталку на колени и гладила ее пушистые льняные волосики. Но Наталка сидела неспокойно, карабкалась на Юлькины плечи, норовила свалиться на пол и, когда ей это удавалось, ревела неутешно.

«Что у тебя дитё кричит? — сердито спрашивала мать, вернувшись с работы: она служила санитаркой в больнице.— Обижаешь?»

— А мать у меня тоже ничего, только она несчастная. Ни в чем ей счастья нет. Горемычная она.

Знала ли горе Юлька? Должно быть, знала, потому что мать часто называла ее «горькой сироткой», плакалась на горькую жизнь. «Горе наше горькое», «В горе родилась, в горе помрешь», «Горемычная жизнь наша» — только и слышала дома Юлька. И она плакала вместе с матерью, плакала горько, солено, но не долго,— убегала на улицу или на черный двор, и уже звенел ее озорной голосок, за который сосед Максим Петрович прозвал ее «бубенчиком».

Вот в раннем детстве у нее действительно было большое горе. Козочка у них была Манюрка, беленькая и глупенькая. Юлька с рук кормила ее, ухаживала и доила.

— Сколько дочек у меня! — радовалась она.— Наталка, Варюшка и Манюрка.

Но козочку пришлось зарезать: нечем было кормить. Вот это было настоящее Юлькино горе. Она неутешно плакала, кричала, яростно бросалась на соседа, зарезавшего козу, и колотила его по широкой спине кулачками.

— Зачем Манюрку зарезал?!

Она улыбается сейчас, вспоминая об этом.

— Глупая я была, правда? — спрашивает она Рябинина.

Но на его лице нет улыбки. А глаза прищурены. Он вспоминает свое детство, свою деревню. И кажется, тоже была в этом детстве своя козочка. Как ее звали? Машкой, наверно.

По ночам Юльку часто будил горячий шепот: молилась мать. Юлька чуть приподнималась, упираясь локтями в подушку, и испуганно смотрела на мать, разметавшуюся на полу: та то припадала к полу, впиваясь пальцами в потрескавшиеся и некрашеные половицы, то высоко подымала свои красные большие руки и бессильно вытягивала их к застывшему лику Иисуса, около которого чадила унылая лампада, струившая тусклый багровый свет.

Затаив дыхание, вслушивалась Юлька в страстную молитву матери.

— Господи! — шептала мать.— Господи милосердный! Ты ж взгляни на мое сиротство, как я мучаюсь с тремя малыми детьми, без мужа, который, ты ж знаешь, господи, пропал на войне, и нет о нем ни слуху ни духу,— и поклон об пол.— Ты ж взгляни ж, господи, как руки мои потрескались в работе, а глаза иссохли от

слез, а сама я стала, господи, как та поломанная ветром горькая осина.— И поклон об пол.

Кого-то напоминала Юльке жалостливая молитва матери: так на улице причитают нищие, хватая прохожих за полы одежды.

— Какая жизнь пошла, господи! — молилась мать.— Ты ж сам видишь. А ни хлеба нет, а ни крупы, а ни сахару. Ничего же! Морковку сегодня на базаре, господи, по тридцать тысяч штуку продавали. Сам видишь. И с чем же я к детям приду, господи, когда они плачем плачут и ничего ж я им не могу дать? — и опять поклон об пол.

Растрепанные волосы растекались по плечам, обнимая съежившуюся маленькую фигурку. Юльке стало жалко мать, и себя, и Наталку, прерывисто дышащую рядом, и всех людей, которые живут в несчастное время, когда даже морковка, похрустывающая на зубах морковка стоит тридцать тысяч рублей.

Юлька плачет тихо, беззвучно, уткнувшись горячим лицом в подушку, так же как мать — уткнувшись в шершавую половицу.

Но вдруг выпрямляется мать, отталкивается пальцами от пола,— теперь она стоит на коленях, прямая, сухая, угловатая, высоко подняв голову к равнодушному Иисусу. Вот подымает она руки и почти громко, свистящим шепотом произносит:

— Что ж ты смотришь, господи! — Укоризна звучит в ее голосе.— Что ж ты смотришь на разор страны нашей?

Юлька отрывается от подушки и поспешно вытирает слезы, размазывает их по лицу. Она хочет выскочить из постели и оборвать страшную молитву матери: нельзя так про большевиков, это неправда. Но уже никнет к половицам мать и опять христарадничает, канючит и жалуется:

— Дай же, господи, хучь какой-нибудь конец. Пореши неустройство наше.

Все тише и тише бормочет мать, уже поверяет она богу свои бабьи немощи, и под это монотонное бормотанье, похожее на жужжание осенней мухи на стекле, незаметно засыпает Юлька, спрятав лицо в мокрую от слез подушку.

Рябинин внимательно смотрит на девочку. В первый раз за весь день он так внимательно и удивленно раз-

глядывает ее, словно только что увидел. Слезы блестят у нее на ресницах.

— Плакать не надо,— ласково говорит Рябинин.

— Я не плачу. Это я так! Вот еще! Это ветер.

— Да, да, это ветер! — соглашается Рябинин.— Ну, еще расскажи о себе.

Но Юлька качает головой.

— Я и так заболталась.

А болтать ей хочется. Хочется все рассказать этому большому, печально улыбающемуся парню,— он так хорошо слушает! И она вдруг начинает рассказывать ему, что ей снилось сегодня.

Ей снилось: сухая длинная рука больно хватает ее за ухо и тащит, тащит куда-то. Юлька плачет, отбивается, барахтается, но рука неумолимо тащит ее, больно вывертывая ухо. Вот она уже в темном, озаренном багровым светом зале. Белеют какие-то тени. Она догадывается: это в церкви. Значит, она опять в детской колонии.

Она вырывается из цепких рук, бежит по гулким церковным плитам, эхо гудит за нею. С икон бросаются на нее угодники. Вот и мать с крестом в руке. Она настигает Юльку и бьет ее крестом по голове.

Юлька просыпается, испуганно осматривается: в комнате темно, мать тяжело сопит рядом.

«Значит, снилось?» И ей сразу становится легко и весело.

— Это только снилось! — беззвучно смеется она.

— Мне часто колония снится,— объясняет она Рябинину, и какие-то неясные отрывки опять возникают перед нею: длинные пары бледных теней, колеблющийся туман темной залы, тусклый луч падает через решетчатое церковное окно.

— Я в детской колонии жила в девятнадцатом году. И даже в бунте участвовала. Да! В настоящем бунте!

— Расскажи о бунте,— просит Рябинин.

— О бунте? Хорошо!

Она не помнит, из-за чего дело вышло.

— Память у меня, Рябинин, дырявая.

Но это она наговаривает на себя. Не дырявая у ней память, самая обыкновенная. Но так много событий произошло в Юлькиной короткой жизни, что все в ее голове спуталось. Швыряло их из города в город. То с отцом жили, потом отец исчез, жили в больницах, где

мать работала, таскались по лазаретам, потом Юлька тифом болела.

Это те дети, которые родились и выросли в одном и том же просторном доме, где все по многу лет стоит и пылится на своем месте и каждая перестановка долго обсуждается всей семьей,— такие дети помнят трогательные и мелкие подробности своего детства:

— А еще в углу вешалка была. А еще на камине часы с кукушкой стояли.

А Юлька иногда тужится-тужится, рассказывая что-нибудь подругам, и никак не может вспомнить, где же это было: в Козлове или Скопине.

«Эх, память у меня дырявая!»

О бунте в колонии она помнит только, как все девочки в одних рубашонках вскочили с кроватей и начали дружно кричать что-то несуразное, стучать табуретками, швыряться подушками.

— Ах, и плохо жилось нам в колонии! Кормили плохо. Ой, плохо! Сначала давали хлеба по полфунта в день, потом по три осьмых, потом по четверти и, наконец, по осьмушке — маленький черный кусочек хлеба: хочешь — ешь, хочешь — гляди на него. И пустой суп, в котором сиротски плавали крупинки пшена. Плохо кормили! Ну-к, везде так. А чуть что — наказывали, в угол ставили или в комнату холодную запирали и били даже. Правда, правда!

Не верит Рябинин:

— Это при советской власти?

— Ну да, потом заведующего сняли и воспитателей всех тоже.

И вот это Юлька ярко помнит, потому что с этого дня и начинается собственно ее настоящая жизнь.

За бунт их жестоко наказали, но двое отчаянных мальчишек бежали, добрались до города, явились в комсомол и рассказали все как есть.

— Эх, ребята были! — восхищается Юлька.— Вот умели за коллектив стоять! Вот ребята! Вернулись ребята в колонию с комсомольцами — все перевернулось. Заведующего сняли, педагогов прогнали,— захлебываясь, рассказывала Юлька,— образа выкинули. Революция, одним словом: мировой Октябрь.

Но в это самое время Юлькина мать получила работу в больнице в южном городе и стала собирать своих детей.

Они съезжались к ней из разных концов страны: десятилетняя Варюшка — из детдома, Юлька — из колонии, Наталку привезла из деревни бабушка.

Когда Юлька собралась в дорогу, воспитанники колонии устроили ей торжественные проводы, а отчаянные ребята говорили на прощание:

«Ты, чуть что, в комсомол иди!» — и крепко жали ей руку.

— И я решила: приеду, стану комсомолкой. Я буду все делать, что коллектив скажет. Я...— Она краснеет и тихо, смущенно заканчивает: — Я даже умру, если надо будет. Как ребята в Триполье. Правда!

Рябинин улыбается ей и говорит:

— Я верю.

Юлька приехала к матери. Та встретила ее устало и сухо, молча поцеловала потрескавшимися, жесткими губами и ушла на работу. Юлька заметила: состарилась, согнулась мать: заострившиеся плечи старухи даже испугали ее.

Через несколько дней за обедом Юлька спросила:

— Мама, а комсомол тут у вас есть?

Мать даже ложку выронила от удивления.

— А тебе зачем?

— Я хочу ходить к ним.

Ей ничего тогда не ответила мать, но вечером, перед сном, схватила Юльку за руку и потащила в угол. Там упала на колени перед образами. Юлька поспешно сделала то же, напуганная и удивленная.

— Молись! — прошептала мать и начала неистово креститься широким крестом.

Но Юлька не хотела молиться. Она вырвала свои руки из холодных, острых пальцев матери, она кричала:

— Не стану! Не стану молиться! Нет никакого бога! Нет его! — А мать шипела на нее и все молилась.

Когда неистовая эта молитва кончилась, мать торжественно встала с пола и сказала Юльке голосом чужим, суровым, словно читала евангелие:

— Будешь с комсомольцами путаться — запорю, выгоню и прокляну.

Юлька шмыгнула в постель, сжалась под одеялом в комочек и решила: «Буду, буду ходить!»

И на другой день пошла в комсомольский клуб.

— Мне тогда было четырнадцать лет, и меня... не...

приняли. Сказали: маленькая еще. Ведь неправильно они сказали, Рябинин, правда?

— Правда! Ты не маленькая.

— Это у меня рост такой. Питалась плохо. Вот поэтому и рост такой.

Она действительно казалась совсем маленькой. Отцова солдатская шапка наползала ей на нос. Когда ее не приняли в комсомол, она чуть не заплакала при всем народе в клубе (об этом она Рябинину не рассказала), но упорно продолжала ходить. Скоро организовалась при комсомоле детская коммунистическая группа. Юлька записалась туда.

— А мать ничего? — спрашивает Рябинин.

— Мать не знает,— шепотом отвечает Юлька.

Матери она сначала говорила, что в школе занятия поздно кончаются, потом — что школа организовала спортивную группу, в клубе, вот она туда и ходит. Мать хмурилась, не верила, но, усталая, разбитая тяжелой работой, не хотела шума и ссор дома. Измаявшееся за день тело требовало только одного: покоя.

Юлька тайком ходила в комсомольский клуб. Когда, оглядываясь и замирая от страха, пробиралась она в здание бывшего ремесленного училища (здесь был комсомольский клуб), ей все казалось: вот-вот встретится мать.

Но мать не встречалась, и Юлька быстро и шумно взбегала по широкой лестнице. Вот уже последняя ступенька, вот уж сырой, весь в мокрых пятнах и отеках коридор, вот зал, гудящий, как коробка со шмелями.

— Ребята! — кричит Юлька и, сияющая, радостная, бросается навстречу товарищам.

А они окружают ее шумной гурьбой, кричат, перебивая друг друга, подымают такую возню и смех, что выскакивает из своей комнаты сердитый завклубом Бунч и начинает кричать на них:

— Эй, вы, хвост комсы! Тише! А то выгоню.

— А какой мы хвост комсы, а, Рябинин? — возмущается Юлька.— Вот тоже придумают!

— Нет, почему же? — смеется Рябинин.— По-моему, верно. Мы — комса, а вы — наша смена.

— Так не хвост же?!

Но Рябинин только смеется в ответ.

Он взял ее тетрадки и стал перелистывать их. «Тетрадь для алгебры ученицы 6-й группы Ю. Сиверцевой».

Он грустно улыбался: с чем ее едят, алгебру? Вздохнул. «Тетрадь для физики ученицы 6-й группы Ю. Сиверцевой». Физика? Это которая о свете и звуке? Или не то?

— А закон божий где же? — пошутил он.

— Нету! — смеясь, ответила Юлька.

— А меня только закону божьему и учили. Важнейшая наука, скажу я тебе.

Он задумался, грустно разглядывая тетрадки. Три учителя было у него в жизни: пьяный попик учил грамоте и закону божьему, закадычный друг Тишка Пройди-свет учил махру курить, взводный Марченко учил шашкой рубить. Какие богатые науки!

Толстая тетрадка попалась ему, наконец. Юлька смутилась и хотела вырвать ее.

— Зачем? — удивился Рябинин.— Я посмотрю.

Он раскрыл первую страницу и прочел: «Дневник Ю. Сиверцевой».

— Можно? — спросил он тогда.

Юлька ничего не ответила. Он стал читать.

«1919 г. 9 марта. Сегодня был очень хороший день. Шибко текла вода с крыш. Я ходила в маминых башмаках, но в них было мокро и чулки были мокрые, а переменить было нечего. Я около крыльца очищала лед — было очень весело, но надо было идти к Наталке, а потом за самоваром, а поэтому было скучно.

10 марта. Сегодня день был несолнечный, но было тепло и шла метель. Сегодня я впервые начала учиться вязать. Мне чего-то грустно и болит голова. Больше писать нечего.

11 марта. Сегодня Варюшка целый день плакала: Наталка поела ее картошку, которую мама дала Варюшке, а Наталка поела. По городу ходили с флагами. Я смотрела.

12 марта. У меня интересная книжка — «Веселые будни». Я вообще люблю читать, но книжек нет. А мама говорит: «Ты вяжи лучше, а не читай».

Дальше дневник обрывался. Очевидно, у девочки не хватило терпения регулярно записывать в него. Начиналась следующая страница уже с 1922 года.

«1 марта 1922 г. В двенадцать часов дня ходила в ячейку детдома, куда меня прикрепил горком. Занималась с девочками спортом. В детдоме решили: вместо воскресенья чтоб день отдыха был четверг.

3 марта. Был кружечный сбор. Я ходила с Балабаном. Это комсомолец, член нашей детгруппы, хороший парень, может рассмешить до слез. Но он теперь грустный, потому что в группе постановили не курить, а он курит. Он попросил разрешить ему курить до 5 марта и сегодня выкурил одну папироску с разрешения зампреда.

4 марта. Сейчас читала о Ленине. Ужасно трудные статьи есть, в которых много непонятных слов.

7 марта. Меня хотят послать на работу в первый детдом,— он за версту от нашего дома. Там организуется ячейка, много девочек. Потому меня.

8 марта. День работниц — писать некогда.

9 марта. В день Февральской революции в группе будет суд над царем Николаем II. Безусловно, его обвинят, но надо это провести наглядно.

Я ужасно простудилась, не могу говорить. Это из-за репетиций.

13 марта. Суд над царем прошел великолепно. Царя обвинили. Народу — детей — было масса. Полный зал. Когда говорил обвинитель, было тихо, но лишь только стал говорить защитник — поднялся шум. Ребята не давали говорить, крича: «Смерть царю! Смертный приговор!»

После суда меня ребята из первого детдома потащили к себе. У них был вечер-концерт, участвовали сами ребята. После концерта была закуска, очень вкусная: яблоки, пироги, конфеты и чай.

15 марта. Только что я и соседка Надя пришли из нардома. Там танцевали балерина Е. Тихомирова и В. Суворов. Танцевали великолепно. Придя домой, мы с Надей пошли прямо на кухню, сняли ботинки и стали подражать им в танцах, но из этого, конечно, ничего не вышло. Смеялись до упаду, потому что у нас ничего не получалось.

16 марта. Я не знаю, что делать. Работа в ячейке детдома у меня не ладится. Всё одни игры и спорт, и больше ничего. Потому что я не знаю, какие собеседования надо проводить, а никто мне не говорит.

20 марта. Только что пришла с лекции о Максиме Горьком. Я раньше не задумывалась, кто такой Горький или другой писатель. Теперь же я буду думать о разных мною прочитанных произведениях. Мои люби-

мые писатели: Максим Горький, Некрасов и Тарас Шевченко».

Рябинин захлопнул дневник и отдал Юльке.

— Ты вот что,— сказал он, усмехаясь,— ты напиши, пожалуйста, в своей тетрадке: «Сегодня познакомилась со Степкой Рябининым. Он в общем хороший парень».

— Напишу! — серьезно ответила Юлька.

— Ну, ну!

Он пришел домой и достал свою старую записную книжку. Получил ее в подарок, когда отправился на фронт, от ребят, оставшихся в организации.

Смеясь, заглянул в нее и подумал:

«Неужели я старик?»

Он перелистал страницы:

«Выступаем на Богодухов». «Должен Марченко три пачки махорки». «Утром хоронили Васю. Он пал как герой. Дай бог каждому такую смерть». «Выступаем из Богодухова ночью».

«Сколько лет Юльке? — подумал он вдруг.— Пятнадцать. А мне — двадцать четыре. Всего девять лет разницы. Когда ей будет двадцать четыре, неужели она будет такая старая, как я? Нет, конечно, нипочем не будет. Ведь она не воевала».

Он записал в книжечку:

«Сегодня познакомился с человеком, которому пятнадцать лет и у которого длинная коса».

«У каждого поколения своя судьба,— думал он, перечитывая записи.— Наверно, физика доказывает это законами. Физика? Это которая о свете и звуке? Школьники будут смеяться надо мною, когда я начну с ними говорить о физике. На кой черт я пошел работать в школу? У каждого поколения в конце концов есть своя судьба».

Демобилизуясь из армии, он долго думал, куда ехать. На завод? Костыли не пускают. Домой, в деревню? Зачем? Могилкам кланяться? Пусть цветет над ними горькая могильная трава,— Рябинину некогда.

— Уезжай на юг! — сказали ребята.— Подлечишься. Отдохнешь.

Поехал. До юга не дополз. Здесь, в городке, в тифу свалился. Сняли с поезда. Сдали в лазарет. Валялся в военном госпитале. Выкарабкался из тифа, встал неу-

веренно на ноги, слабыми пальцами схватил костыли, вышел на улицу, вдохнул воздух, легкий, морозный. Голова помутилась, чуть не упал.

«Слаб!»

Пришел в горком партии.

— Не поеду пока на юг. Дайте работу здесь.

Его направили к секретарю горкома. Фамилия секретаря была Марченко; Рябинин обрадовался: уж не взводный ли это? Марченко? Вот была бы встреча!

Но секретарь оказался другим Марченко. Это был старый седовласый, широкоплечий человек с синими рябинами на лбу и щеках, в прошлом — шахтер-подпольщик. Он принял Степана Рябинина с той суровой простотой, к которой так привык Степан в партийных комитетах и которую он больше всего любил. Первое, о чем спросил его Марченко, было: как здоровье?

— Я здоров,— нетерпеливо ответил Рябинин.

Но секретарь, словно не расслышав, продолжал подробно расспрашивать его, куда он был ранен, и не болит ли рана, и давно ль он из больницы, что говорят врачи, есть ли Степану где жить, есть ли у него деньги...

— Жить будешь в коммуне...— сказал секретарь.— Так у нас вся холостежь живет.

— А работать?

— Работать? — в первый раз за все время беседы улыбнулся секретарь.— Работы, голубок, много! До дьявола работы, а людей — мало. А сколько тебе лет, товарищ? — вдруг спросил он.

— Двадцать четыре.

— В комсомоле работал?

— Приходилось.

— Ну вот и отлично! Нам как раз нужны надежные ребята для работы в комсомоле,— и он пытливо посмотрел на Рябинина.

Он угадал: Рябинину не хотелось идти на комсомольскую работу. Степану представлялось, что он уже вырос из нее, что он — «стар», но сейчас, рядом с Марченко, он вдруг сам себе показался совсем желторотым птенцом; он смутился и ничего не сказал в ответ на предложение секретаря.

А тот еще раз внимательно посмотрел прямо в глаза парню и затем очень тепло и даже как-то задушевно сказал, кладя руку на плечо:

— Ничего, ничего! Я, голубок, тебе почетное дело предлагаю. Комсомол, брат, наша самая дорогая смена. Мы за нее перед будущим в ответе. Так-то! — Он отошел обратно к столу, взял кисет и стал набивать табаком трубку.— Мало, голубок, мало еще у нас людей!..— продолжал он все тем же задушевным тоном.— Власть мы молодая, кадров еще не накопили. А куда только не приходится сейчас ставить коммунистов! И на хозяйство, и на транспорт, и в банки, и в юстицию... Везде, голубок, партийный глаз нужен. Поскорей бы вы подрастали, что ли!..— вдруг рассмеялся он.

— Хорошо! — сказал, вставая, Рябинин.— Как партия велит. Я согласен.

— А я так и думал. Я, брат, так и думал. Ну, теперь слушай сюда,— сказал он прежним, суровым тоном, садясь за стол.— Пойдешь в горком комсомола к товарищу Кружану. Скажешь, что я тебя послал. Да только, гляди, не поссорься с ним на первой же встрече. Кружан у нас парень занозистый. Ты, кстати, и присмотрись к нему. Понял? А потом горкому партии доложишь...

— В каком же я качестве иду в горкомол? — растерянно спросил Рябинин.

— В каком качестве? — прищурился Марченко.— А в качестве партядра... В качестве комсомольца и коммуниста. Тебя что, чины волнуют?

— Да нет!..

— Ну, то-то! А там, голубок, на работе выяснится, кто какого качества. Понял?

— Понял.

— А окончательно выздоровеешь, костыли отбросишь, поправишься и опять заходи ко мне. Непременно. Понял?

— Понял,— рассмеялся Рябинин.

— Ну вот! — лукаво улыбнулся и Марченко.

Они тепло простились, и Рябинин весело пошел в горком комсомола.

Здесь его ждала совсем другая встреча.

Секретарь горкома комсомола Глеб Кружан насмешливо посмотрел на костыли.

— Фронтовичок! — сказал он усмехаясь.— С какого фронта?

— Со всех! — отрезал Рябинин, хотя это и было похоже на правду: он дрался почти на всех.

— А что же ты делать умеешь?

Рябинин сдержался, ничего не ответил, выбросил только документы на стол: вот я, весь тут.

— Мы тебя в школу пошлем,— сказал, все так же усмехаясь, Кружан.— Сейчас на школьном фронте нужны бойцы.

Рябинин видел: смеется над ним Кружан, а не мог понять — зачем? Развалясь на столах, на скамейках, даже на полу, сидели в комитете комсомольцы. Может быть, он для них спектакль устраивает?

— Ладно! — сказал тогда Рябинин.— Пойду в школу, раз ты говоришь — нужны бойцы.

Он увидел: смутился, вспыхнул Кружан. Но отступать уже было поздно.

Так Рябинин попал в школу.

Он шел сюда и думал:

«Побуду здесь месяца три, с Кружана спесь собью, нога заживет, костыли к черту, ноги на плечи — на завод или в партшколу».

Посмеиваясь над собой, он пришел в школу. Ему было неловко: большой, взрослый, небритый парень будет возиться с малышами.

Посмеиваясь, он пришел на собрание детской ячейки.

«Взрослых копируют... Собрание. Наверно, у секретаря большущая папка есть».

Он вспомнил себя, каким был в восемнадцатом году: инструктор волостного комсомола, дядькина шапка, папка большая и мандат на весь лист: «Просьба оказать содействие».

«Возвертаемся в первобытное состояние, товарищ Степа. После героических фронтов повертаем мы с тобой на школьный фронт, как выражается товарищ Кружан».

И все-таки решил:

«Буду, буду ходить в школу, с ребятами сойдусь. Просто посмотрю, что у нас за народ растет! Они потешные в этом возрасте».

Он вдруг вспоминает ссору, свидетелем которой был. Он видел, что была не просто ребячья ссора. Он запомнил бледное лицо Гайдаша. Он слышал, как тот кричал кому-то: «Я убью тебя, офицерское отродье!» Настоящая злоба звенела в этом крике. «Что же дальше будет делать Гайдаш? А тот, кого обозвали офицерским отродьем?»

Рябинин вдруг ловит себя на том, что с любопытством и интересом думает о ребячьих делах.

«А что же? — оправдывается он перед собой.— Товарищ Марченко не зря говорил: мы за это перед будущим в ответе!»

2

Теперь Алеша ходил, остро выпятив локти и высоко вздернув голову. Свой козлиный кожушок он туго перепоясывал солдатским ремнем, сапоги подбил железными подковками,— ему казалось, что он сильнее и смелее всех в школе. Сзади, как тень, ходил за ним темный, угрюмый, большерукий Ковбыш, благодарно и молча помнивший, как Алексей первым ушел из класса, заступаясь за него, за Ковбыша.

Вдвоем они бродили теперь по коридорам («гроза морей», как прозвала их насмешливая школьная вольница). Алексей шел вразвалку, с небрежным ухарством, а Ковбыш, упрятав голову в широкие плечи, тяжело ступал сзади него.

— Пускай судят! — хвастливо кричал Алеша в коридорах, а у самого сердце сжималось в страхе: вытащат его на сцену, вся школа будет смотреть, смеяться. Упрямое скуластое лицо его вспыхивало. Хотелось бросить школу, ученье — и бежать, бежать на край света, но он упрямо посещал уроки и из гордости и все из того же упрямства отлично готовился к урокам и, к удивлению учителей, шел в голове класса.

— Способный, способный! — сказал ему как-то, раздумчиво и глядя мимо него, учитель физики Болдырев.— А жаль: хулиган.

Алеше стало стыдно. Опустив голову, он побрел по коридору и столкнулся с Воробейчиком.

Тот испуганно шарахнулся в сторону и, когда Алексей прошел мимо, закричал тонко и насмешливо:

— А тебе скоро суд!

«Суд... суд...» — отдалось в гулком коридоре.

Хуже всего было то, что «они» кругом правы, а он кругом виноват. Затеял ссору кто? Он! Факт. Побил Воробейчика кто? Он! Факт. Не подчиняется старостату кто? Он! Опять же факт.

Все факты против него. Подумать только: ячейка считает его врагом! Его — Алешу! — врагом, а Ковалева кем же тогда: другом?

— Ты враг новой школы,— сказала ему с невыразимым презрением Юлька, девочка с длинной косой.— Ты срываешь нашу работу.

«Да ты спроси: почему я так делаю?» — хотел закричать Алеша, но не закричал, а сам не зная зачем плюнул на пол. А когда увидел, как побагровела Юлька, поднял голову и ушел. А прошел несколько шагов по коридору, стал около окна и чуть не заплакал.

Что он мог сделать, пятнадцатилетний малыш, когда весь мир обратился против него? Со службы его сократили, на бирже работы не дают, в школе, как собаку, травят, дома отец ворчит и мать плачет. Куда денешься?

Деваться некуда. И поговорить не с кем. Семчик где-то пропадает, никогда его дома нет. Валька болтает только о себе — скучно. Павлик — далеко. Вот и нет больше никого.

Сзади подошел Ковбыш. Алеша услышал это по тяжелому стуку сапог,— такие сапоги только у Ковбыша. Вот новый друг, который стоит старых двух. Но только это молчаливый друг. Что он может дать Алеше? Только свои кулаки. Ну что ж! Это то, что нужно. Ковбыша кулаки да Алешины кулаки — держись школа, держись ячейка и пуще всего держись Никита Ковалев!

— Верно, Федор?

Ковбыш молча кивает головой.

Но Ковалев не попадается в подходящем месте. Однажды показалось Алеше, будто спина Ковалева мелькнула в толпе на бирже, но он и сам усомнился: «Чего ему здесь делать? Не может быть!» — и решил, что ошибся.

— Но он попадется! — утешает себя Алеша.— Он попадется, гад, и тогда не уйдет от нас. Верно, Федор?

Ковбыш молча кивает головой.

А Ковалев действительно ходил на биржу. Он записался как конторщик, ждал работы, стоял в нудных очередях. Странно, что его не видал Алеша.

Иногда Никита целый день болтался на бирже. Он приходил сюда утром, читал все вывешенные объявления, толкался среди людей, слушал их разговоры, сам говорил редко. Устав ходить по грязному и длинному коридору биржи, он занимал свое место в очереди и терпеливо ждал. Тягучая, хвостатая струя махорочного дыма ползла под потолком. Иногда казалось, что она

просто висит тяжелой и сизой железной балкой. В эти минуты Никита всегда с ненавистью вспоминал отца:

«Убежал, бросил! Шкура!»

Он вот не стоит, есаул Ковалев, в голодной очереди безработных. Он пьянствует там, за границей, по-казацки: широко и долго. Бьют бокалы за тихий Дон, за мать Россию. А в России подыхают с голоду мать и сын, брошенные есаулом в звериной, шкурной панике.

«Отцы! — презрительно щурился Никита.— Ну бросил бы мать, это было бы по-казацки. Так запорожцы делали, Гоголь еще об этом писал. Но сына, единственного сына, не дочку, не мать, не жену — сына бросить!»

— Шкура! — бормочет есаулов сын и обводит тяжелым взглядом обшарпанные стены биржи. Потом садится на корточки, спиной упирается в сырую стену и закрывает глаза.

Звенит бубенец, звенит-заливается. Почему? Зачем? Казак яростно наклоняется к дуге, вырывает бубенец, как язык из глотки, и с долгим ругательством бросает на крепкий наст. Прокатился бубенец по снегу, звякнул в последний раз, затих, словно его расстреляли.

Отступление. Трясет кибитку, мать в углу плачет, тринадцатилетний Никита дрожит от холода, кутается в тулупчик. Он перестал с любопытством посматривать назад. Знает: сзади унылое, словно нарисованное пламя,— горит последняя деревня. Уже и название ее забыл Никита, не записал его в подаренную дядей-хорунжим памятную книжечку.

— Драпаем,— говорят друг другу офицеры и на ходу пьют коньяк из длинных английских фляжек, чтобы согреться.

Ведут мимо пленных: несколько рваных и босых красноармейцев. Почему-то среди них два бородатых мужика, тоже ободранных, но в лаптях. Ясно же, что они не воевали,— за что же их? Пленных ведут в сторону. Вот они проходят мимо кибитки. Лошадь устало ржет, пропуская процессию. Пленные равнодушно, тупо смотрят на есаулова сына. Проходят. Кибитка трогается, плетется по хрусткому, молодому снегу. Потом откуда-то доносится ружейный залп.

Странно, что в этом году Никита не видел ни одного трезвого офицера. Ну, отца он вообще никогда трез-

вым не видел, разве только по утрам. Но утром отец — зеленый, хмурый, злой, к нему лучше не подходить. Это с розового детства помнит Никита.

Одного трезвого видел в эти дни Никита: юного беленького с легким пушком над губой прапорщика.

Он плакал, когда отступали.

— Гибнет Россия, меня обязательно убьют! — кричал он.

И Никита брезгливо утешал его:

— Не надо, не надо! Да не девчонка же вы.

«Белые орлы! — морщился Ковалев.— Как они драпали! Как они драпали!»

И эти небрежные, торопливые грабежи перед отступлением, и наспех сжигаемые села, и драки офицеров из-за обозных подвод, и дикая, постыдная паника, вспыхивающая от треснувшего в печке полена, от крика беременной женщины, от слуха, от сплетни, просто от ничего. И тогда: «эвакуация» — сборы наспех, слезы матери, звон бьющихся и ломающихся вещей, пьяная ругань отца, проклинающего семью, которую вздумал взять с собой. И опять и опять драки из-за подвод и мест в обозе.

Дроздовский подполковник, князенька, с длинными пушистыми, как у кота, усами, с мягкими ямочками на пухлых щеках, перехватил добытую матерью подводу и тащил к себе — грузить узлы, чемоданы, свертки, ковры, «взятые у благодарного населения на память».

— Вор! — закричала на него мать Никиты, а подполковник грязно обругал ее.

«Белые орлы! — болезненно морщится Никита.— Как они драпали! Как они драпали!»

«Белые»? «Орлы»? Он ненавидит их. Будь он тогда взрослым и имей он наган, он стал бы на перекрестке и крикнул бы им: «Стоп! Куда вы бежите?» Он убивал бы каждого тут же на месте, без пощады. Как он ненавидит их!

Как-то на днях ему попалась старая записная детская книжечка. Это была аккуратная книжечка с золотым тиснением на переплете и с массой глупых вопросов внутри: «Ваши любимые писатели?», «Ваши любимые книги?» «Мои лучшие друзья?», «Кого я люблю?» Никита зло расхохотался, прочитав последний вопрос. Он взял синий карандаш, жирной чертой зачеркнул «Кого я люблю?», написал размашисто и яростно: «Кого я не-

навижу? 1. Отца. 2. Полковников и выше. 3. Трусов. 4. Аристократов. 5. Немцев. 6. Баден-Пауэля».

Он перечел этот список и сам удивился: «Что же, а большевиков разве я люблю?» — и приписал впереди всего списка: «Большевиков ненавижу больше всего».

Он вырвал из книжки листок и с наслаждением разорвал на мелкие кусочки. Ему казалось, что он рвет в клочья тех, кого ненавидит.

И отца? Да, и отца! Это по его милости он стоит, прижавшись спиной к сырой стене, и ждет. Чего ждет? Нечего ждать Никите Ковалеву.

— Отцы!..— бормочет он и сплевывает на пол, тесно покрытый окурками.

Что они умели делать, отцы? Пить умели, шумно и нестройно кричать «уря-яа!», с пьяными слезами на глазах вопить о «р-ро-дине-матушке», о «великом русском народе». Родина? Матушка? Русский народ? Вот она показала им, родина! Никакой родины! Камня на камне!.. Огнем и железом. Без пощады! Расстреливать на месте! К ногтю! Пытать и вешать! Жечь пятки!

Никита чувствует, что он задыхается от злобы.

Он говорил вчера Хруму:

— Надо, понимаете, надо начинать действовать! Надо убить кого-нибудь.

Хрум смеялся:

— Вы мальчик, Никита! Есть хорошая наука — арифметика. Нужно ждать, пока получится сумма. Вы, я, Воробейчик — это даже не трехзначное.

— Вы арифметик, Хрум, а я донской казак! — гордо отвечает Ковалев.

— Казачий сын...— невозмутимо поправлял Хрум.— Только казачий сын. Вы мальчик, Никита!

Ковалеву хотелось схватить Хрума за лацканы потертого пиджака и доказать, что никакой он не мальчик. Мальчик? Когда парень видел в своей жизни то, что видел Никита, он уже не мальчик: он — зверь. О, «великий драп» — это на всю жизнь незабываемая школа презрения! И Никита вспоминает лермонтовское:

...насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Алеша столкнулся с Ковалевым в дверях биржи. От неожиданности Алексей замер на месте, а Ковалев спокойно произнес:

— Ну, здоров! Чего не заходишь?

Алеша шагнул вперед и сжал кулаки.

— Ты думаешь, я за пощечину сердит? — дружелюбно сказал Никита.— То дурость твоя была. Дело ребячье. Ты вот что: ты заходи ко мне. Чего там!

— Ты гад! — тихо ответил Алеша.

Ковалев усмехнулся:

— Еще чего?

— Негодяй ты!

— Еще чего?

— Тебя убить надо! — так же тихо продолжал Алеша.

— Ну, убей!

— И убью! — пронзительно закричал Алексей и бросился на Никиту.

Они покатились по полу, обхватив друг друга руками. Хохочущая толпа вмиг собралась вокруг них.

Алеша чувствовал, что Никита сильнее его, но злость придавала ему силы, и он барахтался, пытаясь нащупать руками горло Ковалева.

Дежуривший на бирже старик милиционер, наконец, рознял их и поставил на ноги.

— Это некрасиво, товарищи, так делать! — сказал он ребятам.— Вы же все ж таки народ сознательный! Чего вы не поделили?

Зеленый и злой Ковалев пожал плечами. Он сохранял спокойствие, только покусывал нижнюю губу. Разгорячившийся и вспотевший Алеша снова порывался в драку.

— Ну, идите и так больше не делайте,— сказал им мирно милиционер. Он больше был похож на педагога и явно порицал Алешу, затеявшего драку.— Не надо так делать, товарищ,— сказал он ему.— Это хулиганство. И на это есть статья.

— Я его все одно убью! — угрюмо сказал Алеша.— Пустите!

Он рванулся в сторону Ковалева, но милиционер схватил его за плечи и повел к двери. Алеша упирался, цеплялся ногами за скамьи, отбивался, но его довели до двери и благополучно вытолкнули на улицу. Милиционер бросил ему вдогонку кепку, упавшую во время драки на пол. Вся биржа хохотала вслед Алеше. Ковалев опять вышел правым. Он опять чист и свят. Да что же это такое?

Алеша растерянным взглядом обвел улицу.

Подскакивая на камнях мостовой, дребезжала тачанка. Некрашеный гроб покачивался на ней. Сзади, опустив поводья, ехал верховой. Голова его была перевязана. Около гроба шли двое в кожанках. Одного Алеша узнал: брат Семчика — Яков.

Алеша подошел к нему.

— Кто это? — спросил он шепотом, кивая на гроб.

— Андрюша Гайворон,— тихо ответил Яша.— Чекист.

Алексей посмотрел на покойника: все лицо его было в сабельных шрамах, иссиня-багровая кровь запеклась в ранах.

— Кто же это его?

— Кулаки.

— За что?

Яша усмехнулся:

— Чекист.

Алеша пошел рядом. Он смотрел, как покачивался гроб. Казалось, плывет тело Андрюши Гайворона по улице, перекатываясь с волны на волну, как труп утопленника. А какая разница: убит или утонул? Все равно смерть. Смерть, конец всему! Нет, лучше пусть убьют, чем утонуть. Пусть режут, рубают шашками, загоняют гвозди под ногти, жгут пятки, пусть мучат и рвут в клочья тело, а самому — улыбаться и, когда почувствуешь конец, крикнуть: «Да здравствует мировая коммуна!» — и умереть.

Привезут гроб на тачанке — простой, некрашеный. Придет Юлька, ячейка придет... «Он погиб, как большевик,— скажут они,— а мы называли его хулиганом». И им станет стыдно! И Ковалев придет. Ковалев свободно вздохнет и расхохочется: «Вот он убит, а я жив!»

«Так нет же, и ты не будешь жить, белое отродье! Ты убил Андрюшку Гайворона, кучерявого чекиста, а я убью тебя. Убью, и тогда пусть меня расстреляют. Пусть! А я, падая, все буду кричать: «Да здравствует мировая коммуна!»

И он, ничего не сказав Яше, вдруг бросился бежать обратно. Он бежал, не видя ничего перед собой, толкая прохожих и спотыкаясь. Наконец, вот уже двор, где живет Семчик. Алеша взбежал по лестнице и ворвался в комнату. Никого не было. Один Семчик, только что пришедший с работы, разматывал левую обмотку.



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

— Семчик! — задыхаясь, закричал Алеша.— Бери наган, пойдем убивать Ковалева.

Семчик удивленно поднял голову, увидел разгоряченное, взволнованное лицо приятеля и, сам заражаясь его волнением, быстро вскочил на ноги, сорвал со стены отцовский наган и бросился за Алешей. Незавернутая обмотка трепыхалась вокруг его ноги.

Юлька скрыла от Рябинина одну тетрадку,— ей было стыдно показать ее, потому что это был альбом.

У всех девочек в школе были альбомы. Девочки приставали ко всякому:

— Напишите мне что-нибудь в альбом. Только хорошее.

На первой странице Юлькиного альбома рука председателя детгруппы Ванечки Митяева вывела четкими, большими буквами жирно и размашисто:

НА ПАМЯТЬ ПО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
В ГОРКОМЕ ДЕТГРУППЫ — ЮЛЕ

Твою я просьбу исполняю,
В альбом пишу листочек сей:
Будь стойким, честным коммунаром
И защищай республику труда.

Писал бы больше, да нечего.
И. Митяев

На следующем листке девочки из детдома, в котором Юлька была представителем горкома, написали ей коряво и с кляксами:

Милая! дорогая Юлечка! Тебя мы, все девочки детдома № 1, любим и уважаем за твою ласку и отношение. Любим тебя лучше, чем своих воспитательниц, и целуем тысячу раз.

Шура, Поля, Оля, Шура, Маруся, Вера, Соня, Зина, Даша, Таня, Лена, Варя.

Целую страницу заняло нравоучение Сашки Хнылова, вихрастого комсомольца, штатного оратора в детгруппе:

В продолжение жизни твоей желаю тебе всего наилучшего. Желаю стать образованным человеком, хорошей коммунисткой и общественной деятельницей, дабы принести пользу.

И т. д. и т. д., с многими «дабы» и «ибо».

А поэт группы Костя Чужаков написал ей:

Учись, трудись, работай — люби науку, люби и труд.
Борись с невзгодой за бедный весь ты люд.

Надписей в таком роде было много. Когда писали ей в альбом, Юлька заглядывала через плечо писавшего и волновалась:

— Только не глупости пиши, а дельное что-нибудь!

И если это были «глупости» — о любви или в этом роде, она беспощадно вырывала страницу.

Над многими записями она останавливалась в нерешительности. Они нравились ей своей красивостью, но ее мучила мысль: не «глупость» ли это?

Особенно много в этом духе писали девочки.

Пусть жизнь твоя течет спокойно,
Усыпанная тысячью цветов,
И пусть всегда живет с тобою
«Надежда», «Вера» и «Любовь».

Зоя

Первые строчки очень нравились Юле, и ради них она простила конец. Юлька любила цветы, и тут она была упорна. Насмешки не могли сломить ее. Всегда, весною — на пальто, а летом — на платье, у нее был приколот цветок. А дома во всех углах — в стаканах, в склеенных кувшинах — стояли букеты, собранные самой Юлькой в поле или наворованные для нее мальчишками в садах.

А это писали ей в альбом девочки:

Расти, как пальма, горделиво,
Цвети, как розы цвет.

Или:

Ты прекрасна, точно роза,
Только разница одна:
Роза вянет от мороза,
Ты же, прелесть, никогда.

Или:

Пусть сумрак, что на сердце так долго лежит,
Как летняя ночь пролетит.

И много еще в этом духе — о фиалках, о волнах, о тучах, о лучах. Альбом благоухал, и, перечитывая его по вечерам, Юлька тоскливо осматривала свою маленькую комнатку, в которой сгрудилась вся их семья — мать, она и две сестрички.

«Тесно мы живем,— вздыхала Юлька,— и некрасиво!»

Она прочла в какой-то книжке, что при коммунистическом обществе люди будут жить в больших, светлых домах с огромными окнами.

После этого она долго мечтала о том, как устроит свою комнату в этом доме. Она развешивала по стенам картины. Она переставляла мебель. Всюду у нее были огромные кувшины с цветами: тут и нежные лилии, и пышные пионы, и буйная черемуха, и застенчивая сирень, и розы, и тюльпаны, и простые васильки тоже! А в большое, огромное окно льется большое, огромное солнце (не то, что здесь: сочится какая-то солнечная жижица!). Огромное солнце! Оно заливает всю комнату, оно бродит по стенам и отдыхает на потолке.

И еще тоскливее было после этих мечтаний приходить домой в тесную, обшарпанную комнатку.

Однажды, когда весенний луч неожиданно упал на стены комнатки и сделал их нарядными и веселыми, Юлька подумала, что можно жить и здесь, только нужно сделать в комнате «мировую революцию».

И она взялась наводить порядок. Она сама сшила занавески на окна и любовалась, как легкий ветерок шевелил их. Она достала картинки, сама развешивала их, отходила в сторону, беспокойно смотрела, так ли, и, неудовлетворенная, принималась снова развешивать.

Даже мать похвалила:

— Молодец, Юлеша! — и заплакала. Отчего — кто ее знает.

А Юлька, вытирая рукавом пот со лба, стояла посреди чистой, нарядной комнатки и сияла.

— Ну вот! Почти как при коммунизме.

На полу и мебели, на стенах и окнах мягко лежала заботливая, тщательно и любовно оберегаемая чистота, словно тихая Юлькина улыбка легла на вещи и осветила их.

Но пришел председатель горкома детской группы Ваня Митяев, скользнул неодобряющим взглядом по занавескам и картинкам, сказал строго и сухо:

— Это буржуазно! — И покачал головой: — Никуда не годится.

Он ушел, сосредоточенный и важный, прижимая растрепанную папку с бумагами, а Юлька все стояла посреди комнаты, растерянная и подавленная.

Так хотелось, чтобы все осталось на месте — и кувшинчик с подснежниками на окне, и еловая ветка над

рукомойником,— веселее жить было в чистенькой комнатке. Но она проглотила комок, подступивший к горлу, взяла стул и полезла снимать картины.

«Да, я еще плохая,— горько думала о себе Юлька.— Не будет из меня коммунистки».

Она вспомнила: третьего дня поздно кончилась репетиция в группе, и ей одной пришлось ночью идти домой. Разыгралась метель, колкий снег крутился по улицам. Перескакивая с камня на камень, дрожа от холода и страха, бежала, торопилась Юлька, и вдруг мелькнула мысль: «А что, если бог есть? И это он наказывает? Ведь столько верили в него! Вдруг он есть?»

И ей, маленькой Юльке, стало жутко: вдруг это на нее — за детскую группу, за безбожие, за неверие,— за все обрушится метелью и снегом этот страшный, загадочный и, может быть, существующий бог!

— Боже! — прошептала она.— Если ты есть...

И ей стало стыдно за себя. Ведь знает же, что нет никакого бога,— еще недавно объясняли в группе.

Мокрая и напуганная прибегает Юлька домой.

«Нет, не будет из меня коммунистки!» — глотает она слезы и снимает картину со стены.

— Все красоту наводишь? — раздался над ее ухом веселый голос.

Юлька испуганно оборачивается и летит со стула. Кто-то ловит ее на лету и ставит на пол.

— Оп-ля! — говорит он весело, и Юлька улыбается ему сквозь слезы.

Это Максим Петрович Марченко — сосед.

— Красоту наводишь, голубок? — смеется Максим Петрович, а у Юльки опять подкатывается комок к горлу.

— Нет,— качает она отрицательно и грустно головой.— Я знаю: это буржуазно.

— Что-о? — Максим Петрович даже приседает. Потом он хохочет, долго, звонко, становится красным, как кувшинчик, что стоит на окошке с подснежниками. Седые волосы плещутся над его красным лицом. А Юлька, плача, рассказывает о том, что произошло, и чем больше говорит, тем больше плачет.

Уже не смеется Максим Петрович, а быстро выбегает из комнаты и через минуту появляется снова, а в руках

у него большая картина «Море в бурю», которую Юлька видела у Максима Петровича над кроватью.

— Вот, повесь у себя,— говорит Максим Петрович,— и вытри слезы.

Но Юлька машет отрицательно головой:

— Нет, не надо!

Тогда Максим Петрович сам влезает на стул.

— Жизнь должна быть красивой,— говорит он весело,— и девочки не должны плакать: глаза становятся красными.

Юлька робко подходит к Максиму Петровичу:

— А это не буржуазно?

Она знает: Максим Петрович Марченко — старый большевик, он — секретарь горкома партии, он скажет правильно. Робкая надежда звучит в ее вопросе, а с чисто вымытого пола тянутся к ней солнечные нити лучей.

Максим Петрович вколачивает последний гвоздь в стену, и картина уже висит ровно.

Семчик и Алеша прибегают в школу, когда во всех классах идут уроки. Напряженная тишина пустынного коридора тяжело падает на ребят. Они останавливаются у входа и затаивают дыхание. Потом Алеша, осторожно ступая и озираясь по сторонам, начинает подыматься по лестнице на второй этаж. Он держится за перила, он старается неслышно ступать, тяжелые сапоги угнетают его. Семчик идет за Алешей, все время оправляя кобуру нагана. Обмотка волочится по полу. Так они проходят лестницу, коридор, в конце его останавливаются.

— Надо вызвать его из класса,— говорит Алеша,— и положить его на месте.

— Нет,— качает головой Семчик,— нужно по закону. Мы должны его взять и отвести куда-нибудь. Там устроим ему суд по обвинению в контрреволюции. Я — судья. Ты — обвинитель. Можно завязать ему глаза. Все по закону.

— Нет, нет! Убить, как собаку! — горячится Алеша.—Таких, как он, нужно уничтожать. Дай мне наган! Семчик! Дай мне наган! Как я его ненавижу! Как собаку!

Он никогда еще раньше не знал такой яростной ненависти. Как и все ребята с Заводской улицы, он ненавидел скаутов и гимназистов. Это были исконные враги. Он отчаянно дрался с ними, но вряд ли мог отчетливо вспомнить хоть одно лицо противника.

Все это была безличная ненависть. Веточки гимназического герба, широкополую шляпу бойскаута, золотые погоны офицера, пузо хозяина — вот что он ненавидел. Это была глухая, исподлобья, ненависть парня с Заводской улицы.

Но сейчас Алеша впервые ненавидел отдельное лицо, и этим лицом был Ковалев. Он ненавидел и его голос, и его нос, и его походку. В Ковалеве совмещались и шляпа бойскаута, и погоны офицера, и пузо хозяина. Все большие и малые ненависти парня с Заводской улицы слились сейчас в одну — в страшную, взрослую ненависть. И если бы Алеша мог думать о ней, он вдруг увидел бы, что стал старше и злее.

Но он не думал о ненависти,— он ненавидел.

Я хочу, чтоб вы запомнили, что мой ровесник Алеша узнал первую ненависть раньше, чем первую любовь.

Довоенный мальчишка избрал бы иные пути мести: облил бы врагу штаны чернилами или напустил бы тараканов в карманы. Алеша решил убить Ковалева, и это было меньшее, на что была способна его ненависть: убить из нагана, как убивают врага.

Но Семчик не соглашался на это. Он хотел, чтобы был суд и законный приговор. Они говорили горячим шепотом, перебивая друг друга, как вдруг оглушительный и неожиданный звонок загремел по гулким коридорам школы. Школа сразу наполнилась шумом. Шум родился, как звонок, мгновенно и неожиданно и сразу заполнил все здание школы, сделал его тесным и приземистым. Вокруг ребят забурлила толпа. Она толкала их, не подозревая об их кровавых замыслах, и когда Алеша, отступая под натиском мчащейся по коридору лавины школьников, окликнул Семчика, того уже не было вблизи. Зато рядом стоял Ковалев. Нагана не было у Алеши. А руки? А кулаки? Он рванулся к Ковалеву.

Кто-то крепко схватил его за плечи и встряхнул.

Алеша обернулся. Парень на костылях, которого он уже где-то видел, стоял перед ним.

— Зачем? — спросил парень тихо и смолк, ожидая ответа.

Алеша ничего не ответил.

— Ну, пойдем со мной,— сказал тогда парень и взял Алешу об руку.

— Пусти! — рванулся тот.— Не твое дело.

— Нет, мое! Подраться успеешь. Ты меня проводи домой. У меня нога болит, я один не дойду.

Когда они вдвоем вышли из школы, Рябинин сказал:

— Ну, браток, теперь расскажи о себе. Ты кто?

— Человек. Какое тебе дело?

— Мне до всего дело. Я сам ерш, так что ты не ершись. Давай по-дружески.

А кругом уже ползли сумерки. Сегодня они были мутные и серые, словно пар из прачечной. И опять Рябинин сидел в сквере,— только не девочка с косой, а вихрастый парень с подбитым глазом рассказывал ему о себе:

— Мне скоро пятнадцать лет. Можно считать, что уже все пятнадцать. Я оттого и худой расту. А может, порода у нас такая. Отец тоже худющий. Отец на Фарке работает. Знаете завод Фарке? Гвозди и проволоку вырабатывают. Ну, теперь, конечно, стоит завод, а мы, заводские, помираем с голоду. Отец сторожем там, грачей караулит. А сам токарь хороший. Вот! Только хворает он все. А я курьером был. Тоже работа! В совнархозе — курьером, а теперь — безработный. А после обеда учусь. Зовут меня, забыл я вам сказать, Алешей. Фамилия мне — Гайдаш.

— Я знаю, что фамилия тебе Гайдаш,— засмеялся Рябинин.— И что зовут Алешей, знаю: Алеша-ша.

— Чего смеетесь зря? Я ведь тоже не маленький. Это еще, кто кого отдует, мы поглядим.

— Где мне с тобой драться, Алеша Гайдаш! У меня вот,— он взметнул костыли. Потом продолжал тихо и дружески: — А мне фамилия Рябинин Степан. Идет двадцать пятый год. Отца у меня нет: на германской убили. Самарские мы: Самара — качай воду. Вот и качали. И я «в гражданскую качал воду, добывал себе свободу»,— как в песне поется. Да!

— У меня на фронте тоже друг один был. Не встречали?

— Как звать его?

— Матвей Грачев. Мы его Мотька Грач звали.

— Нет, не встречал.

— Конечно, фронт большой.

— Да, порядочный.

— Вы комсомолец, товарищ?

— Непременно. А ты?

— Нет! — Подумав, добавил нерешительно:— У меня характер не подойдет.

Помолчали.

— Учишься, я слышал, хорошо?

— Стараюсь

— Зачем?

— Чего — зачем?

— А зачем учишься хорошо?

Алексей посмотрел на него искоса и ответил тихо:

— Нужно.

— Да-да! Вот у нас в эскадроне был чудак. Как увидит книжку или газету, так и трясется: дай почитать. Всю прочтет. О пчелах — даешь. О луне — даешь. Читал. Внимательно эдак! Понимаешь? Спросим, бывало: «Ну зачем тебе это?» А он: «Да так, интересно все». По-моему, он и сам не знал, на что ему эти знания нужны, а просто жаден был. А убили его зря. Ездил он верхом плохо, с коня слетел, его и убили. Д-да! — И быстро: — Ты тоже вот так?

— Нет! — упрямо ответил Алеша.—Я знаю. Мне нужно.

— Ага! Понимаю. Ну что ж!.. Ты за что Ковалева-то не любишь?

— Он враг!

— Так ты его за это?

— А как бы ты думал?

— Я бы иначе думал. Ячейка есть, наробраз, комсомол.

— Мне некогда ходить.

— Ты в детскую группу запишешься?

— Не знаю. У меня характер неподходящий.

— Да! Такой молодой — и уже характер!

Опять искоса посмотрел Алеша на Рябинина, но ничего не возразил, а спросил только:

— Ковалев тоже состоит у вас?

— Ковалев? — засмеялся Рябинин.— Да мы его и на порог не пустим.

— А в старостат?

— Ты же сам виноват в этом. Говорят, ты его предлагал.

Алеша опустил голову.

— Верно! Моя ошибка. Но я его убью.

— А я думал, ты взрослый парень.

— А что же делать?

Рябинин задумался. И в самом деле: что делать? Потом засмеялся. Вот еще проблема: да переизбрать Ковалева! Алешу или еще кого-нибудь там избрать — чего проще!

Но он напустил на себя таинственный вид и сказал Алеше внушительно:

— А это я тебе сейчас не скажу. В ближайшие дни.

— Вы у нас в школе будете работать?

— Буду. От комсомола. А нога заживет, может, на завод пойду.

— Болит нога?

— Болит.

— Пулей или шашкой?

— Пулями, браток. Двумя пулями.

— А я не успел воевать. Мал был. Ну, да я бы все одно пошел, да мать жалко было.

— Да, да! А у меня матери нет. Бобыль. Ну, прощай, Алеша Гайдаш.

— Прощайте, товарищ Рябинин. Может, еще проводить?

— Нет, ничего. Тут близко.— И Рябинин протянул руку Алеше.— Так будем вместе бороться, Алеша Гайдаш? Так что ли?

— Так. Только вы не отступайте.

— Хорошо, я не отступлю! — засмеялся Рябинин.— Борьба до последней капли крови.

— Да, до последней.

Рябинин быстро взглянул на Алешу: у мальчика были крепко сжаты губы, а на острый подбородок легла короткая и глубокая черта.

— Нет, только без крови,— пробормотал тогда Рябинин и, опираясь на костыли, пошел к калитке. Вдруг он остановился и закричал: — Алеша!

Тот подбежал.

— Смотри! — Рябинин поднял костыль вверх и показал: — Смотри! А!

Алеша недоуменно посмотрел вверх: небо, дрожащие звезды, луна.

— Ну?

— Луна... А? — Лицо Рябинина осветилось тихой, счастливой улыбкой.— Вечер-то какой, а? Весной пахнет,— он потянул носом воздух.— Пахнет.

— Буза-а! — удивленно пробормотал Алеша, пожал плечами и пошел по улице.

Несколько раз он все-таки невольно подымал глаза вверх: в небе висела и чуть покачивалась медная луна. Казалось, что она позванивает, ударяясь о плотную твердь ночного неба. Алеше вспомнилось, как мать по праздникам до блеска начищала медный поднос и вешала его на стену около самовара в парадном углу.

«А скоро пасха,— подумал он.— Ну и пусть!»

Он пошел в школу, чтобы получить знания,— знания, нужные ему. Зачем — нужные? А это, товарищ Рябинин, Алеша сам знает — зачем. Но вместо учения ему придется, кажется, заняться войной. Иль это и есть вся наука? А физика? Алгебра? Но Ковалева нужно сокрушить.

Под ясным лунным светом белые хатки казались голубыми, а голые тополя серебряными. В воздухе действительно пахло весной, но Алеша смотрел на все это равнодушным взором.

3

Любопытный мирок открывался перед Рябининым в пропитанных дезинфекцией сырых стенах школы: любопытный и малознакомый.

В записной книжечке появилась еще одна запись:

«Мой новый друг, т. Алексей Гайдаш, пятнадцатилетний человек, называющий луну — бузою».

Эта заметка стояла непосредственно и нарочно под старой, 1919 года:

«Первые строчки Васина нового стишка:

В эту лунную ночь и жить веселей,
Умирать веселей и рубать веселей».

Рябинин перечел эти записи — старую и новую — и вдруг подумал:

«А что я знаю о Луне? Спутник Земли. Так. Еще что? Бывают затмения. Еще что? Луна справа — к счастью. Все? Да, все. Алеша, вероятно, больше знает».

Рябинин теперь еще чаще бывал в школе. Он ходил иногда на уроки, на заседания школьного совета, прислушивался к ребятам, педагогам и чувствовал себя спокойно, хотя и временно, бивуачно.

Сейчас он затеял перевыборы старостата. Он хотел провести это по всем правилам: с объявлениями, со столом, покрытым красной скатертью, с торжественно нахмурившимся президиумом, с ораторами, которых хотя

и не видно из-за трибуны, но которые тем не менее нарушают регламент. Несколько дней он возился, организовывал это собрание, и вот оно наконец бурлит в зале, шумно рассаживаясь на скамьях.

«Детвора!» — улыбнулся Рябинин, и эта улыбка относилась к нему самому, к большому, взрослому парню в кавалерийской шинели, путающемуся с детворой.

Он позвонил в большой звонок, которым предварительно обзавелся.

— Товарищи! — начал он с невыразимой серьезностью.— Вы собрались здесь, молодые хозяева молодой школы, затем, чтобы избрать свое самоуправление. Я учился в церковноприходской школе. К сожалению, у нас не избирали самоуправление. А то бы я заявил отвод нашему попу. Он меня пребольно драл за ухо.

Собрание ответило звонким детским смехом.

— К сожалению, ваш старостат,— продолжал Рябинин,— работал плохо.

— Да вовсе он не работал! — закричали из зала.

— Ну, я с этим спорить не буду,— ответил Рябинин и опять весело засмеялся.

«А мне бы педагогом быть!» — мелькнуло у Рябинина. Он вспомнил приходскую школу, пьяненького рыжеватого попика, обучавшего их премудростям науки.

— Век живи,— говорил попик, ласково, но больно дергая Степку Рябинина за ухо,— век учись, а все помрешь ты дураком, скот.

«Неужели дураком и помру?» — подумал Рябинин и вслух сказал собранию:

— Итак, приступим! Давайте изберем президиум для ведения собрания. Намечайте кандидатов, ребята!

Что случилось? Рябинин даже сообразить сразу не может. Взвился над залом такой шум, что у него в ушах зазвенело. Все сорвались со своих мест и начали выкрикивать кандидатов. Каждый боялся, что его не услышат, и, надувшись, раскрасневшись, приложив ладони рупором ко рту, повышая голос до визга, старался изо всех сил. Некоторые быстро объединились в группы и хором кричали имена своих кандидатов.

«Надо было со списком прийти»,— упрекнул себя Рябинин. Но он не ожидал от детворы таких страстей.

Шум оборвался сразу: выкричались. Все с любопытством ждали, что же родилось из шума, что поймал на карандаш Рябинин.

— Гайдаш, Ковалев, Дроздович,— стал читать фамилии, которые успел услышать, Рябинин.— Лукьянов, Пышный, Бакинский, Сиверцева, Воробейчик.

Он неумышленно поставил фамилии Гайдаша и Ковалева на первые места,— так, просто все время думал о них. Ведь не будет же тут особой борьбы? Какая детям разница — Гайдаш или Ковалев?

— Нужно избрать пять человек, а здесь восемь. Будем голосовать каждого в отдельности, так?

— Да, да! — страстно закричал зал.

— Итак, голосуем, товарищи! — объявил Рябинин.— Его забавляла эта игра с детворой в парламент.— Итак, голосуем.— И тогда он услышал тишину, такую затаенную, такую звонкую, такую тонкую, что даже испугался.

«Вот они ка-ак!» — подумал он.

— Голосую Гайдаша. Все его знают? Кто «за», прошу поднять руки!

Шум побежал по залу. У Алеши замерло сердце, и он, боясь посмотреть на голосующих ребят, опустил голову.

— Гайдаш под судом! — закричал вдруг чей-то голос, Алеша не узнал чей.— Нельзя его избирать!

Рябинин увидел: нерешительно опустились кое-где руки.

— А кто его под суд отдал? — закричал яростно Лукьянов.— И за что?

— Верно, верно! — И теперь дружнее, еще гуще взметнулись руки.

— Прошел Гайдаш,— услышал Алеша и поднял голову.

— Голосую Ковалева,— торжественно произнес Рябинин.

— Не надо его! Не надо! — закричали из той части зала, где была ячейка.

— Голосовать! Голосовать! — дружно раздалось из другого конца, и Рябинин впервые с любопытством посмотрел туда: там мелькнули бекешка Ковалева и рыжий вихорок Воробейчика.

«А-а! Вот они где!»

Он чувствовал: это начинает увлекать его.

«Впрочем, вот проголосуем Ковалева—и игре конец».

— Кто за товарища Ковалева? — подчеркнуто бесстрастно, председательски произнес он.— Ну?

Движение. Там и сям поднялись руки.

— Мало! Мало! — закричали в зале.

— Надо считать! Считать!

— Да что считать! Мало!

— Считать! Считать!

Опытным взглядом увидел Рябинин — расползалась кучка, за которой он наблюдал, одна бекешка с сизыми смушками осталась.

«Чего же они хотят?» — недоуменно подумал он. Со всех концов зала неслось:

— Считать! Считать!

— Неверные выборы!

— Что ты нам очки втираешь!

— Счита-ать! Счита-ать!

— Будем считать! — закричал Рябинин.— Ты и ты,— ткнул он пальцами в первый ряд,— считайте!

Счетчики встали, но шум не утих.

— Не верим этим счетчикам.

— Других дава-ай!

— Что в самом деле!

Шум опять рванулся над залом, и Рябинин уже утратил власть над ним.

И тогда ему стала ясна тактика бекешки с сизыми смушками: «На срыв дело ведет! На срыв! Ну, ладно же!»

— Ти-ише! — закричал он что есть силы и стукнул кулаком по столу.— Ти-ише!

Но голос его упал в море, шумящее в зале, и утонул. Рябинин был бессилен. Он побледнел, ноздри его раздулись, как у кавалерийской лошади, чующей бой; кулаки сжались.

Рябинин решил переждать: выкричатся.

Шум стал ослабевать. Рябинин успокоился: выкричались. И тогда что-то новое заметил он в зале: зал двинулся влево. Да, влево! Еще, еще влево! Только теперь Рябинин сообразил: двинулся зал к дверям. Широко распахнулись двери, и зал полз к выходу.

— Товарищи! — закричал тогда Рябинин изо всех сил, но его даже передние не услышали.

Около выходных дверей уже бурлил водоворот. Правая часть зала обмелела, собрание было сорвано. Враг, которому было шестнадцать лет, оказался сильнее боевого конника Рябинина.

Рябинин бросил на стол бесполезный звонок, и тот покатился по красной скатерти, жалобно позвякивая. Какая тишина наступила в зале! Тишина провала.

Рябинин натянул шинель и стал торопливо застегивать крючки. Он нервничал, крючки дрожали в его руках, не приходились к петелькам, костыли выскальзывали.

«Вот они как! — думал он.—А-а!.. Ишь ты!»

Ему почему-то казалось, что за всем этим прячется взрослый враг, настоящий враг. Может быть, прав Кружан: школьный фронт? А?

«Что же! — криво усмехнулся он, застегнув наконец шинель на все крючки.— Что же! Давай, давай! Кто кого?»

Сконфуженная, собралась на сцене ячейка. Рябинин окинул ее взглядом: горсточка — шесть человек.

— Что же это? — невольно спросил он.— Что же это так мало в ячейке народа?

— Да ведь не всякого возьмешь,— пробурчал Лукьянов.— Нужно вполне сознательных.

Детвора обступила Рябинина. Маленькая их кучка затерялась в большом и гулком актовом зале.

— Побили нас, а? — произнес Рябинин и посмотрел на молчаливых ребят.— Побили. Ну-ну! Эх, ребята!

Ему захотелось вдруг ласково обнять их за плечи. С детства он привык: тот, кто дерется рядом,— друг. Друзья познаются в драке. Враги тоже. Битые крепче бьют.

Принюхиваясь, он чуял за спиной Никиты Ковалева умного врага. Кто? Какие цели? Никита Ковалев сам не дурак. Чего он хочет? Какие цели?

— Почему Гайдаша нет здесь? — вдруг спросил он у Лукьянова.

— Да ведь он не в ячейке.

Рябинин охватил взглядом всю ячейку, покачал головой и сказал:

— Вот что, мальчики. Видали организованность? Как сорвал Ковалев собрание, видали? То-то! Пошел с козырей. Ну и мы пойдем с козырей. Завтра я представлю вам план атаки. Точка! Пошли по домам.

— Рябинин,— сказала Юлька,— один вопрос. Я была в горкоме. На пасху комсомольцы выходят на улицу. Горком говорит: «Надо вывести ячейку и школу». Как ты думаешь?

— Ага! Пасха?! — задумчиво переспросил Рябинин.— Пускай пасха! Начнем атаку с пасхи... Возьмемся за школу всерьез.

На другой день он пришел в горком комсомола и сказал Кружану:

— Ну, товарищ Кружан, заслушай-ка сводку со школьного фронта.

ПЯТАЯ ГЛАВА

1

Я никогда не был беспартийным. Мне было двенадцать лет, когда я впервые пришел в комсомольский клуб записываться в детскую коммунистическую группу. Мне было четырнадцать лет, когда комсомольский военорг впервые послал меня в чоновский караул к вещевому складу. Мне было восемнадцать лет, когда собрание ячейки приняло меня в кандидаты партии. Я не успел быть беспартийным.

С детства я привык быть в организации. Я привык к суровой и требовательной дисциплине коллектива, к шумным собраниям и молчаливой дружбе, к локтям товарищей и к звонку председателя. С детства я ощущаю себя патроном, зажатым в обойме и ожидающим нажима курка. Я не умею иначе жить.

Я знаю: мне жить, мне работать, мне умирать в коллективе. Я не умею иначе.

Мне случилось как-то быть в столице в день Первого мая. Я стоял на тротуаре, прислонившись к фонарному столбу, и с завистью глядел, как плыли мимо меня шумные праздничные колонны. Гремел оркестр, выскакивали из рядов на мостовую девушки в голубых майках и пускались в пляс.

А я стоял на тротуаре как зритель. В первый раз за всю свою жизнь я стоял на тротуаре как зритель, удивленным взглядом наблюдающий расплескавшуюся на мостовой радость.

Не выдержав, я бросился к колонне.

— Куда, куда? — закричали мне с той ревнивой строгостью, которую с давних времен соблюдают все демонстранты.— Куда? Не ломай рядов! Эй!..

— Я с Украины! — ответил я, покраснев.— Я только что приехал. Дайте мне место в рядах.

Мне сразу нашлось место. Меня поставили между стариком в пальтишке с вельветовым воротником и девушкой в голубой майке.

Когда я справа и слева почувствовал упругие локти соседей, я откашлялся и присоединил и свой взволнованный голос к общей песне.

— Украинца, украинца! — закричали товарищи.

Раздались хлопки, началась обычная наша «подначка»:

— А ну, давай, давай, не задерживай!

И я запел украинскую один.

Я никогда не стал бы петь на эстраде, на сцене, просто перед толпой,— какой я певец! Но тут я был в рядах, мой голос шел из толпы, толпа покрывала и ободряла меня, и я пел. Кажется, даже не очень скверно пел.

А потом я нашел в колонне земляка.

Странное дело! Куда бы, в какую бы дыру я ни попал, везде найдется знакомый парень. Ахнешь:

— Да как ты здесь очутился?

— Жизнь, брат. Цека, брат. Работа.

Я не встречал еще человека, с которым, поговорив по душам, не нашел бы общих знакомых. И страна, в которой я живу и двигаюсь, представляется мне подчас дружным землячеством, артелью хороших ребят — стариков и молодых, седых и рыжих, хмурых и бедовых — всяких, но все они знакомы мне, всем им я кунак, всем им я земляк: тверякам, москвичам и уральцам.

Люблю встретить на перекрестке, на бегу, парня, которого давно не видел; схватив его за локоть, отойти с ним в сторону, чтобы нас не затолкали прохожие, прислониться к театральной тумбе или трамвайному столбу.

— Как живешь? Где? Что делаешь?

— Рою канал. Волгу в Москву пускаю.

— Ну?! Получается?

Он улыбнулся мне. Потом расскажет, в чем трудности их работы. Вытащит карандаш и на палевой афише Московской консерватории начертит схемку.

Прощаясь, я спрошу у него:

— А как у вас пригородное хозяйство? Картошка?

Когда он уйдет, я вспомню, что забыл еще у него спросить, не женился ли он.

Неожиданные вещи выясняются при таких встречах. Вдруг оказывается, что вечный заворг Лешка Козырев уже давно не заворг, а судостроитель.

— Почему судо? Леша, объясни популярно: почему ты судостроитель?

— Да так, нравится. Море, вода. Путевка была в судостроительный.

Я встречаю на перекрестках геологов, начальников политотделов МТС, командиров заводов, заготовителей скота, востоковедов, пропагандистов, механиков, шоферов, историков, инженеров — это все наши ребята, вчера еще они были комсомольцами.

Карта большой нашей страны висит сейчас передо мной. Алеша Гайдаш! Ты улыбаешься мне с далекой границы! Как курды, Алеша? Как басмачи? Я слышу, как храпит твой конь, Алеша.

Оттуда, где тесно сбились в кучу игрушечные силуэты заводов, мне застенчиво улыбается Павлик. Я прочел в газете, что сегодня выплавка чугуна по Союзу достигла 26 тысяч тонн. Я радуюсь вместе с тобой, Павлик.

А каштановая коса? Или это река вьется? Юлька! Куда ты забралась, Юлька? К тебе хоть три года скачи — не доскачешь. А чье это лицо выглядывает из-за твоего плеча? А! Неизменный спутник! Друг по гроб! Но — тсс! Секрет. Молчу.

Ребята! Нам еще рано стариковать и ворошить пыль преданий. Но ведь правда же, хорошо встретиться на бегу, на перекрестке и начать дружескую беседу вопросом: «А помнишь?»

Весною тысяча девятьсот двадцать второго года наша уездная комсомольская организация пошла на штурм небес.

Мы завоевали землю. Ликующая, она лежит от Белого моря до синих Кавказских гор. Теперь нам нужно небо, бездонное и голубое. Нам нужно небо, чистое и просторное! Небо аэропланов, звезд и луны влюбленных.

И мы решили выйти безбожным карнавалом в день пасхи на улицу.

Мы протащим по слякотному городу чучела Саваофа и чинов его небесной канцелярии, мы поведем весь город за собой на штурм небес.

И мы задолго начали готовиться к штурму.

Веселая кутерьма поднялась в комсомольском клубе: наряженные чертями, хохотали на сцене ребята, разучивали песенки, репетировали инсценировку.

Долговязый, незаметный ранее парень, у которого нежданно-негаданно оказался дьяконский хриплый бас, стал теперь героем дня. За ним ходили шумными толпами и, смеясь, толкались, просили:

— А ну, дядя, рявкни «аллилуйю»!

Даже взрослые комсомольцы поддались этой веселой суетне. Было просто весело плясать под дребезжащее пианино в гулком и нетопленом здании клуба, забыв о пайках и пустом супе. Секретарь горкома Глеб Кружан сел за пианино. Он, закинув голову, взмахнул руками и вдруг сразу десятью пальцами ударил по клавишам,— и вдруг оказалось: этот небритый, лохматый парень владеет сложной музыкальной машиной. Откуда?

Но все закричали:

— Лезгинку! Лезгинку!

Плясали все: кто умел лезгинку — лезгинку; кто лезгинку не знал, плясал гопак, «барыню», польку; кто ничего не умел, притопывал сапогами, вертелся на месте; ребята сбивались в пары, в хороводы, опять разбивались, разлетались по залу, чтобы беззаветно плясать, забыв обо всем на свете, а Кружан все гремел и гремел, ударяя десятью пальцами по дребезжащим клавишам, и подпрыгивал на стуле.

Семчик изображал попа, и изображал всерьез. Он все всегда делал всерьез. Этому пятнадцатилетнему парню явно не хватало чувства юмора. Озабоченный вдруг пришедшей ему в голову мыслью, он продрался сквозь пляшущую, хохочущую, беснующуюся толпу и подошел к Кружану:

— Товарищ Кружан, а наган когда я получу?

— Зачем наган?

Семчик удивленно посмотрел на него:

— Как зачем? Я же попа изображаю.

— Попы наганов не носят.

— Да, но защищаться надо же ведь будет!

И сразу стихла бесшабашная гульба. На высокой ноте сорвал Кружан лезгинку. И все, услышав слова Семчика, вдруг подумали, что и в самом деле: ведь пойдут они тощей группой по чужому, озлобленному обывательскому городку, где одиннадцать церквей и три школы, где на окраинах до сих пор кулачные бои, где в крестный ход лоснятся жиром хоругви, рыжие мясники несут богородицу и тысячные толпы валятся иконе в ноги, а колокольный звон густо ползет над душными улицами.

Вспомнили, что только на днях привезли из-под Ямполя комсомольца Андрюшу Гайворона, ямпольского чекиста, зарубленного бандитами. Лицо его и тело были исполосованы шашками, кровь запеклась в ранах.

И когда я вечером встретил случайно на улице Алешу, я, не здороваясь, спросил его:

— На карнавал пойдешь? — таким тоном, как спрашивают: наш — не наш?

— Пойду,— ответил Алеша, и тогда я вспомнил, что не поздоровался с ним.

— Ну, здорово! Как жизнь?

Я знал, что Алеша безработный, слышал о его неудачах в школе, о неладах с ячейкой. Я ждал: он разведет руками, вздохнет, выругается. Вместо этого он начал мне оживленно рассказывать о борьбе, которую они начали в школе.

— Значит, ты теперь в ячейке? — обрадовался я.

— Нет.

— Нет? Но почему?

— Да так,— пробормотал он, а я улыбнулся.

Ах, чудак! Плохо бы я знал тебя, если бы не понял, в чем дело. Ты всегда был таким: ты всегда любил быть коноводом, главарем. Ты не хочешь сейчас идти в ячейку, потому что не ты организовал ее, потому что ячейка не звала тебя. Ты хочешь прийти в ячейку победителем. Ах, чудак!

Но я ничего не сказал Алеше, только крепко пожал ему руку.

— На карнавале, стало быть, увидимся?

— Ясно!

— Ну-ну!

И я ушел, радуясь, что есть на свете такая замечательная вещь — дружба.

2

Ковбыш спозаранку приходит в школу. Дома скучно. Отец, согнувшись, сидит над сапогом, вколачивает молоточком гвоздь к гвоздю, иногда насвистывает, чаще молчит и кашляет. Ковбышу-сыну нудно сидеть над сапогом. Огромная его физическая сила млеет у верстака, как великанья нога, зажатая в тесный сапог. Ковбышу-сыну нужны мешки, горы мешков, пузато раздувшихся арбузами.

«Я в грузчики пойду»,— мечтает он, а отцу озабоченно говорит:

— Сегодня в школу велели раньше прийти.

— Иди, иди! — торопливо отмахивается отец. Он всю свою жизнь гадал: «Сына в ученье выведу».

А Ковбыш-сын медленно, вразвалку бродит по пустому зданию школы, томится, давит ранних мух на потных стеклах и мечтает:

«На Волгу сбегу. Наймусь в грузчики. Я — сильный».

Он прижимается лбом к стеклу: на улице ростепель, серые туманы бредут по-над стенами.

«Скоро пасха,— думает Ковбыш.— А что?»

Ничего! Только что занятий в школе не будет, а так — ни яиц-крашенок, ни куличей. Отец и в церковь не пойдет. Вот в деревне раньше: колокола звонят, сначала маленькие — мелко-мелко, дробно, весело: дили-дон-дон-дон, дили-дон-дон-дон,— потом и большие, ленивые, вступают в перезвон, медленно, важно: бом-бом-бом. Дряхлый пономарь в большом соломенном бриле никак не управится с колокольной ватагой: колокола, как балованные ребята, вырываются из его старых рук. Ковбыш-сын лезет на вышку помогать. Уже и тогда у него в руках была недетская силища. И некуда ее деть!

«Еще всенощная... Хорошо!» — вспоминает парень, и по сырым коридорам школы вдруг проносится запах вербы, воска, дешевого мыла, чисто вымытых полов. Ноздри Ковбыша вздрагивают. Какие-то обрывки, запахи... цвета возникают, появляются и опять пропадают.

Говорят, бога нет,— этого Ковбыш не знает доподлинно. Отец говорит: нету.

— Тридцать лет и три года вколачиваю гвозди в подметку,— язвит отец,— а бога не встречал.

А мачеха сердится.

Может, и нет бога! Какое Ковбышу-сыну дело?

«Я после пасхи в грузчики сбегу»,— думает он и видит: Волга течет широкая, жирная; грузчики лежат пузом кверху, воблу жуют, арбузы бьют об колено, сок арбузный течет на штаны на грузчицкие.

«Сбегу!» — решает он и лениво идет по коридорам.

В классе шестой группы он натыкается на сбор ячейки. Володя Голыш рисует плакат. Лукьянов возится с бумагами. Юлька что-то пишет.

Ковбыш тихо присаживается около рисовальщика и глядит, как ловко прыгает кисть по картону. Прыг — и вот заалела рука девочки, прыг — красное знамя вспыхнуло над ней, прыг — заря растеклась по небу.

«Отчего я не умею рисовать?» — завистливо думает Ковбыш, и тоска еще сильнее охватывает его.

Молча, неподвижно сидит он. С ним никто не заговаривает — все заняты своим делом. У него одного никакого дела нет.

— Готово! — вдруг говорит Голыш и вытирает рукавом легкий пот со лба.— Теперь повесить надо.

Ковбыш вдруг поднимается с места.

— Дайте я! — говорит он решительно.— Я прибью!

Он бережно берет плакат, молоток, отыскивает в стене гвозди, выдергивает их, радуясь, что и ему нашлось дело.

— Где? — спрашивает он коротко.

Ему объясняют: в коридоре.

Ковбыш любовно прилаживает картон, затем крепкими ударами вколачивает гвозди. Плакат висит хорошо.

Прибив, Ковбыш начинает медленно читать текст плаката:

Товарищи! Религия — опиум не только для народа, но и для нас, молодежи. Школьная ячейка детской коммунистической группы предлагает всем учащимся школы обратиться с просьбой к заведующему о том, чтобы учиться в пасхальные дни, а отгуливать в другие. Кто «за»? Ставьте на обсуждение на собраниях в группах.

Ячейка

«На пасху учиться? — удивился Ковбыш. Ему кажется, что он неверно прочел. Он еще раз читает.— Да, на пасху учиться. Люди гулять будут, колокола звонить будут,— солнце, простор».

Ковбыш оглядывается: ни души в коридоре. Он поднимает руку, вот сейчас он сорвет этот дурацкий плакат, и все будет по-старому: хорошо и празднично.

...Пономарь в большом соломенном бриле лезет на звонницу.

— Эй, Федюша, помогай!

И Ковбыш-сын карабкается за ним по трухлявой лестнице. Вот влез, оглянулся: окрест синеет лес, дымятся голые еще, цвета золы, деревья, на реке шумно ломается лед.

Дилинь-дон, дон-дон, дилинь-дон, дон-дон...

«Алеша тоже, наверное, будет против ячейки,—

вдруг приходит ему в голову, и он срывает плакат, вертит его в руках.— На пасху заниматься, а пасхальные каникулы перенести? Чудаки!»

Но рвать плакат ему жалко,— он вспоминает, как стремительно прыгала кисточка Голыша. Вот он и стоит один в пустом коридоре и вертит плакат в руках, не зная, что делать с ним.

Алеша целый день болтался на бирже. Это было пустое занятие! Ясно же, ему работу сейчас не дадут. Есть подростки с большим безработным стажем.

Но Алеша привык вставать рано утром и бежать на службу; службы теперь не было,— бежал на биржу. Болтался там целый день, а потом с биржи — прямо в школу. И опять не было свободного времени. Оно проплывало между пальцами. Иногда Алеша останавливался и испуганно оглядывался:

«Что же будет со мной? Ни работы, ни профессии, ни настоящего дела. А время идет, бежит время. Что же это?»

«Вот учусь ведь! — утешал он себя, и сам же издевался над этим утешением: — Учусь! Чему? Зачем? Буза-а!»

Только борьба, разгоревшаяся в школе, захватила его целиком. Он знал, что после неудачных перевыборов настоящие бои только начинаются.

Он торопил Рябинина:

— Давай опять собрание соберем! Давай собрание!

А Рябинин смеялся:

— Вот как ячейка решит.

Но в ячейку Алеша не хотел ходить.

Ковбыш бросился к нему навстречу, размахивая плакатом, и еще издали озабоченно закричал:

— Рвать или вешать? Как, Алеша, а?

— Вешай! Только это ерунда.

— Ну да! — обрадовался Ковбыш.

— Надо на карнавал идти, всей школой — на штурм небес. Я попом оденусь, а ты муллой.

— Нет, я моряком.

— Дурак! При чем же тут моряки?

Ковбыш прибил плакат, и скоро около этого размалеванного куска александрийской бумаги загудела толпа школьников.

Девичий истерический голос вырвался из толпы и зазвенел над коридором:

— Никто не имеет права! Никто! Слышите? Никто! Пустите меня!

— Она может сорвать плакат,— тихо сказал Алеша Ковбышу.— Стань около. Покарауль.

Он окинул коридор взглядом: никого из главарей ячейки не было здесь.

— Заседатели! Заседают!..— усмехнулся Алеша.

Толпа росла и темнела, как туча. Алеша не мог понять: чего они галдят? Ну, будем на пасху учиться, не будем — какая разница? Он прислушивался к голосам. Он узнавал их.

Голос Ларисы Алферовой (*истерический, визгливый, как ножом по стеклу*). Никто не имеет пра... а...ва...

Голос Воробейчика. Без старостата нельзя! Не разрешаю! Снять!

Голос Ковбыша. Я не сниму! Отойди!

Опять вопль Алферовой. Я им глаза выцарапаю!

«А главарей никого нет!» — возбужденно подумал Алеша.

Его равнодушие таяло, как снег за окном. Он никогда не мог спокойно наблюдать чужую драку — всегда врывался в нее. Толпа действовала на него, он чувствовал ее жар, ему становилось душно. Толпа колыхалась, как жидкая, вязкая глина, как горячее, не имеющее формы литье. Нужны руки мастера — лепить, формовать. Физически невозможно стоять у потного окна и смотреть, как тает на улице грязный снег. Броситься, сказать, крикнуть? Покорить!

И он бросается в толпу.

— Товарищи! — крикнул он.— Мы должны пойти на штурм небес!

Лариса Алферова, прозванная «белорыбицей», подскочила к нему. По ее широкому лицу ползли крупные слезы. Они блестели, размазанные на пухлых щеках.

— Вы православный? — закричала она Алеше.

Он растерялся. В самом деле: православный он или нет? В церковь он не ходил с детства, даже отец не мог заставить.

— Я правильной веры,— ответил он,— безбожной. А что?

— А я православная! — торжествующе сказала «белорыбица» и перекрестилась широким, размашистым крестом.

Но к Алеше уже пробрался семигруппник Канторович.

— Вы знаете,— закричал он,— вы знаете, что церковь отделена от школы? Зачем вы вмешиваетесь в религию?

— Мы не вмешиваемся,— ответил Алеша.— Кто верует, нехай верует.

— Вы, вы знаете...— перебил его Канторович.— Вы знаете, что вы делаете? Вы...

— Очень хорошо знаю.

— Позвольте, но я же не сказал еще.

— Все равно чепуху скажешь!

— Вы не умеете спорить, Гайдаш! — взвизгнул Канторович.— Видно сразу, что вы малообразованный человек. И я старше вас. Дайте мне досказать!

Но Алеша повернулся к нему спиной и крикнул школьникам:

— Товарищи! Религия есть опиум для народа! И я подтверждаю, что это так!

Лев Канторович презрительно усмехнулся.

Разве дело в пасхе? Кто тут верующий, кто неверующий? Канторович не верит в библейского старика бога. Но есть же высшее начало.

Когда он впервые надел серую гимназическую курточку и фуражку с белыми кантами, негнущуюся, как картуз новобранца, вокруг него собрались все родственники, поздравляли, предсказывали:

— Левочка будет адвокат!

В пустой комнате перед зеркалом останавливался Левочка.

— Господа судьи, господа присяжные заседатели! — восклицал он, а мать и бабушка подсматривали в щелки дверей и счастливо улыбались.

Но теперь Левочка не будет знаменитым адвокатом. Где? В Чека адвокатом? Чека пришла, вежливая и неумолимая, взяла Канторовича-отца, путающегося в сползших на пол байковых подштанниках, и увела в ночь. И вот нет отца. В Чека объяснили: за спекуляцию зерном расстрелян «коммерсант Канторович, негоциант на юге России», как писалось в его визитных карточках.

И Лева Канторович болезненно ощущает, как влачатся за ним его бесплодные семнадцать лет, выцветает гимназическая фуражка, вот уже совсем исчезло пятно от сорванных второпях трепетных листочков.

«Может быть, я опоздал родиться?» — криво усмехается он.

А около Алеши бурлит толпа. Уже нет здесь «белорыбицы» — она мечется по всей школе, останавливает школьников, педагогов, сторожей и кричит им:

— Этого нельзя допустить! Что же вы стоите? Этого нельзя допустить!

Уже нет около плаката Воробейчика — тот тоже мечется по школе, ищет Ковалева.

Около Алеши бурлит теперь мелкота. Они просто орут:

— Будем учиться на пасху?

— Не будем учиться!

— Гулять! Гулять!

Алеша митингует:

— Нужно перевернуть всю школу, товарищи! Тут пахнет старой гимназией!

В конце коридора на подоконник вскакивает парень и кричит:

— Мы только одного требуем: чтобы было не шесть уроков в день, а три.

Его стаскивают за ноги, и уже другой оратор кричит:

— Нужно открыть мастерские! Если не будет мастерских, я предлагаю бастовать.

А в другом конце оратор потрясает кулаками:

— Мне «неуд», а Иванову «уд»? За что?

— Товарищи! Товарищи! — надрывается Воробейчик на втором этаже.—Убедительно прошу: поручите все старостату. Вы не ошибетесь: все будет организованно.

Вернувшись из горкома, Юлька, Лукьянов и Голыш удивленно останавливаются в дверях, услышав, как кричит школа.

— Ну, пошли,— наконец произносит Лукьянов, и они бросаются в этот шум с разбега, как пловец бросается с берега в воду.

Вот вынырнула каштановая коса Юльки, вот на подоконнике Лукьянов, вот грохочет на лестнице Голыш.

Шум стоит в школе, и на волнах этого шума, на самом высоком гребне его, подымается Алеша. Никогда

еще не знал он такой замечательной минуты. В его потной руке рычаг, которым можно перевернуть не только школу — мир можно перевернуть! Революция начинается в школе, мировой Октябрь. И Алеша из последних сил кричит:

— На штурм небес, товарищи! На штурм!

Но в это время раздается звонок, и по коридорам медленно, торжественно, словно никаких событий нет, проходит седой сторож Василий. По выражению его лица можно узнать, начало или конец урока он вызванивает. Конец урока — перемену — он звонит хмуро и сердито.

— Разве это учение,— критикует он,— ежели каждые сорок пять минут переменка? Нет, я бы их как засадил за книжки, так учись, а о гулянках не думай, вот бы ученые из них и вышли! А так какое учение!

Весело и радостно звонит Василий: начало уроков, конец шуму.

В шестой группе начался урок физики.

Преподаватель Болдырев колдовал около своих приборов, бережно переставляя их с места на место, бормотал себе в рыжие усы формулы, показывал опыты, больше сам интересуясь ими, чем увлекая школьников. Об учащихся он забывал. Он редко спрашивал их, и они редко спрашивали его. Было два мира в классе: он, Болдырев, невысокий, суетливый, коротко остриженный человек, влюбленный в механику, но недоучившийся до инженера; и другой мир — школьная мелкота, шумная, непонятная и малолюбопытная публика, которой он обязан показывать опыты.

И он добросовестно делал их, больше всего в мире боясь, как бы озорные дети (а все дети — озорники) не разбили его аппаратов.

Он привык, что его слушают плохо, но сегодня даже он рассердился: в классе было слишком шумно.

— Или тишина,— сказал он обиженно,— или я уйду.

Алеша любил физику: в ней было нужное ему. Физика могла объяснить ему осязаемый мир, машину, движение, могла научить его полезным вещам, физика годилась в дело: шоферу тоже нужна физика. И Болдырева Алеша любил. Болдырев знал свой предмет, он только (так думал Алеша) не хотел всего рассказывать

детям. Вот если подойти к нему да попросить хорошенько, он все расскажет.

Но сегодня Алеша слушал плохо.

«И почему это,— думал он горько,— в школе одно, а в жизни другое? Вот мы волнуемся из-за пасхи, а Болдырев толкует механику!»

Вдруг с «камчатки» раздался хриплый, нерешительный голос:

— Позвольте спросить!

Озадаченный Болдырев остановился на полуслове.

— Да? — пробормотал он.

Большой парень поднялся, потоптался на месте и выпалил:

— А что, Антон Иванович, бог есть или нет?

И никто не засмеялся в классе, хотя спрашивающего звали Ковбышем. Никто не засмеялся, а все чуть подались вперед, и впервые за свою педагогическую деятельность Болдырев увидел в ребячьих глазах неподдельный интерес.

Увидел — и испугался.

«Что же ответить детям?»

«А-а, мне все равно!» — хотел ответить он и вспомнил, как на выпускном экзамене багровый протоиерей-экзаменатор спросил его строго:

— А что, юноша, в боге сомневаетесь?

— Да мне все равно! — выпалил протоиерею Болдырев и...

Да, так что же ответить школьнику? Класс замер в ожидании ответа.

«Мне все равно?»

— Видите ли, Ковбыш...— запинаясь, отвечает учитель.— Это, знаете, к делу не относится. Я лично — человек неверующий. Как физик я не верю в бога. Но другим не навязываю, впрочем...— И заторопился, засуетился вокруг своих приборов.

А Ковбыш, садясь на место, подумал:

«Или на Черное море сбегу, в матросы...»

Никогда Алеша не ожидал с таким нетерпением конца урока. И когда Василий уныло прозвонил перемену, Алеша бросился из класса. Он прибежал в пустой актовый зал, разыскал краски, скатал из бумаги кисточку и написал на старой газете:

«Ребята! В день пасхи — на улицу! Примем участие в безбожном карнавале. Все на штурм небес!»

Размахивая листом, он бежал по лестнице вниз. Скоро его плакат появился рядом с ячейковым. На ячейковом плакате кто-то химическим карандашом через весь лист крупно вывел: «Бей ячейку!»

И, прочитав эту надпись, Алеша впервые пожалел, что он не в ячейке. Сложив на груди руки, он стал около плаката, а рядом с ним стоял молчаливый широкий Ковбыш.

Воробейчик метался по школе, ища Ковалева. Он выбегал на лестницу и, свесившись через перила, смотрел вниз, на входную дверь: не идет ли? Он выбежал даже на улицу и, приложив к фуражке ладонь, долго смотрел на дорогу. Ковалева нигде не было.

— Ой, тяжела ты, шапка Мони Маха! — горько сострил Воробейчик и нехотя пошел в школу.

Мать испуганно спросила на днях:

— Рува, здоров ли ты?

Рувка пожал плечами.

Разве можно быть здоровым?

Он похудел, изнервничался. Где его беззаботность? Он стал другим парнем: нервно вздрагивающим при каждом шуме, страдающим бессонницей, пугливо озирающимся на улицах. Даже честолюбие его померкло. Однажды он сказал:

— А что? Что слава, когда она беспокойная? Не лучше ли уютная и безопасная неизвестность?

И сам удивился этим словам.

Но он знал, откуда они. Ему положительно нездоровится от вечерних чаепитий у учителя Хрума. Когда говорят вполголоса. Когда вздрагивают при стуке в дверь. Когда друг другу не доверяют.

И зачем все это? Чтобы рассказать кучу антисоветских анекдотов, повздыхать, поспорить о том, как будет «тогда»? Чтобы Хрум восклицал патетически: «О юношество, юношество! Вы — наша надежда, и вы — наша слава!» Чтобы Никита Ковалев хлопал Воробейчика по плечу и говорил ему поощрительно: «Рува Воробейчик, тебя ждет блестящая будущность»?

А пока у Рувы — ни настоящего, ни будущего. Отец косо поглядывает на покрывающееся щетиной и прыщами лицо Рувки, мать подсаживается после обеда и ласково глядит в глаза:

— Ну, что это будет, Рува, а? Ну, что это будет дальше? Кем ты будешь?

Школа висит на ногах, как стопудовая гиря,— школу нужно кончить. А дальше? Где блестящая будущность? В контору или к отцу в магазин?

— Ой, тяжела ты, шапка Мони Маха!

Он проходит боком, стараясь незамеченным добраться до своего класса. Около доски с плакатами бурлит толпа. Оттуда вырывается хриплый Алешин голос.

Там стоят Алеша, Лукьянов, Юлька, и Лукьянов вытирает рукавом пот со лба и говорит улыбаясь:

— Разобрало! — И наклоняется к Юльке.— После третьего урока поставим на голоса.

Иногда Алеша, оборачиваясь к Лукьянову, видел улыбку и хмурился.

«Чего смеяться? Смеяться нечего! — думал он. Сам он был напряженно серьезен и все ждал: — Что ж Ковалев? Где он?»

Щуря близорукие, припухлые глаза, к нему подошел сутуловатый молчаливый Колтунов. Он полез в карман, вытащил футляр, вынул очки, подышал на них, потом стал зачем-то тыкать платок в футляр. Тыкал долго, пока наконец не сообразил, что платку не место в футляре. Спрятал платок в карман и наконец надел очки. Они были узкие, формы голубиного яйца, в тусклой железной оправе. Оправа эта досталась Колтунову от покойного отца.

Сразу выступили из вечерних сумерек предметы, и лица стали ясными, отчетливыми, даже слишком отчетливыми, что делало их неприятными: может быть, поэтому очень близорукий Колтунов не любил носить очки. Через стекла увидел Колтунов, что курносый носик Юльки весь в дружных смешных веснушках, а по ее красному лбу ползут тяжелые круглые капельки пота.

— В-ваша в-выдумка? — спросил он неодобрительно Алешу.— З-зачем? — И пожал плечами.

— А что? — хрипло спросил Алеша. Он подозрительно посмотрел на этого малознакомого ему семигрупника.

— Ведь нам н-ничего н-неизвестно,— тихо ответил Колтунов.— Что там? — ткнул он пальцем вверх.— Н-нам н-ничего не-неизвестно. Там туманы. Космос. Зачем же? Это же неважно — пасха. Это же язычество — пасха.

Недоумевающе он пожал плечами.

— Мы не только пасху,— пробурчал в ответ Алеша,— мы школу перевернем.

Колтунов взглянул на него с удивлением и поправил очки.

— Вам не нравится школа? — спросил он, наконец.

— Не очень! — засмеялся Алеша.

— Мы потолкуем еще на эту тему,— серьезно сказал Колтунов и протянул Алеше руку.

Сутулясь, пошел дальше по коридору.

«Школа? А? — думал Колтунов.— Но я привык учиться».

Он любил шахматы. Это была точная игра. Есть теория шахмат. Лишняя пешка в эндшпиле решает успех. Он коллекционировал марки. Вертя в руках эти маленькие клейкие цветные клочки, он вертел странами: далекой Гавайей и звучными Филиппинами. Он любил и берег книги. Был каталог. На книгах — самодельная печатка: «Собственность Арсения Николаевича Колтунова». Ему шел семнадцатый год — возраст, когда думают о будущем. Он о будущем не думал.

«З-з-зачем?»

Шахматы, марки, книги, пыльный гербарий, альбом открыток — тут все: настоящее, будущее.

Расстелить на полу большую географическую карту мира, лечь около нее, сосать леденцы, искать Валенсию.

«Шумят... шумят...— прислушивается он.— Зачем?»

Он подходит к своему классу. В дверях толпятся школьники. Звенит звонок. Преподавательница естествознания Мария Федоровна Кожухова устало ждет: перестанет бурлить водоворот в дверях, растекутся по партам школьники, замрет класс. Она войдет тогда, привычным жестом левой руки закроет дверь. В правой руке — классный журнал и несколько таблиц. Она положит их на кафедру и утомленно, неохотно скажет: «Ну-с!» — и урок начнется такой же, как предыдущий, как сотни других уроков с другими учениками, в другое время.

Сутуловатый школьник в очках, фамилию которого она плохо помнит, подходит к ней, поднимает глаза и произносит, щурясь и вытягивая длинную шею:

— А в-ведь Дарвин б-был в-верующим? Да?

Кожухова от неожиданности и удивления роняет таблицу на пол.

— Дарвин? — спрашивает она шепотом.— Почему Дарвин?

Колтунов пожимает плечами и показывает на шумящий класс:

— Ш-шумим, ш-шумим. А в-ведь Дарвин был верующим и с-создал антирелигиозное учение. З-зачем?

Около них уже толпа школьников.

— От обезьяны, да? — кричит «белорыбица».— От обезьяны? Человек, да?

Колтунов отбивается от нее, оберегая свои очки.

— Н-н-не в том дело, н-не в том.

И из путаных фраз Колтунова, из криков Ларисы Алферовой, из оживленного галдежа учащихся Мария Федоровна понимает только одно: дети хотят знать о Дарвине. Дети? Но, боже мой, какие же это дети! Щеки школьников уже в мужественной синеве, у девиц напудренные носики.

«Да ведь я их не знаю,— растерянно признается Кожухова и с любопытством всматривается в шумящий класс.— Не знаю, не знаю! — удивляется она.— Они ведь другие. Они ведь новые. Да, да, о Дарвине! Был ли он верующим? Ах, чудаки!»

И она вдруг улыбается, как давно не улыбалась на скучных уроках.

Мечтали. Лежа на девичьей узкой кровати, вдвоем с подругой-бестужевкой мечтали:

«Кончим Бестужевские женские курсы, понесем в школу светоч науки и правды. Мы приоткроем перед детьми этот таинственный мир лесных шепотов, болотных криков, полевого, знойного звона. «Жизнь мудра,— скажем мы детям.— Человек — царь природы. Темные силы придуманы темными людьми. Разбейте оковы тьмы, живите свободно и мудро, вы — цари!»

Так мечтали, лежа с подругой на узкой девичьей кровати, откинув беленькую кружевную накидку с подушки.

После первого же урока Маруси Кожуховой ее пригласил к себе законоучитель отец Павел и, отечески глядя в лицо смущенной девушке, сказал:

— Нехорошо, барышня, нехорошо!

Она испугалась и чуть не заплакала. Потом поняла: светоч науки и правды отменяется. Дарвин запрещен. Жизнь на земле произошла от божьей скуки. «Дай,—

подумал как-то старик,— заселю для смеха землю». И заселил.

Она бросилась к книгам, к специальным журналам. Ну, а тут? Тут ведь не могут проповедовать поповские сказки? Прочла и удивилась: какое неловкое бормотанье в солидных книгах, какое трусливое виляние! Да, закон эволюции действительно научен. Да, жизнь на земле пошла от соединения материи, но руководило всем этим, двинуло, направило высшее начало — бог.

С тех пор стали серыми и скучными уроки Кожуховой. О Дарвине ее ученики не спрашивали,— она не говорила. Отец Павел похвалил мирную естественницу и после ее уроков шел преподавать закон божий.

В новой школе она по старинке преподавала — без Дарвина.

«Был ли Дарвин верующим и почему создал антирелигиозное учение? Ах вы, чудак в очках!» — ласково думает Кожухова, решительно откладывает в сторону принесенные таблицы и кладет на кафедру руки.

— Дети! — хочет начать она, как всегда, но какие же это дети! Она ищет нужное обращение и вдруг легко и свободно начинает: — Товарищи! Я хочу рассказать вам о Дарвине, о его прекрасном учении, разбивающем поповские сказки и оковы религии.

В шестой группе в это время шел урок немецкого языка. Красный, вспотевший Лукьянов стоял у доски, на которой висела большая картина: мирная немецкая семья пила кофе в саду около дома; старик с пышными седыми бакенбардами дремал в кресле под яблоней; бабушка в чепце вязала чулок; у ее ног копошились кошки. Черноусый мужчина пил кофе, который заботливо наливала ему белолицая, полная немка. Рыжеволосая девочка в платьице с кружевами читала книжку. Высунув розовый язык, лежала большая смирная собака. В беспросветно голубом небе замерло солнце.

— Was macht der Grossfater? — допытывался у Лукьянова учитель немецкого языка Софрон Харитонович.

«Дрыхнет твой Grossfater! — злобно думал Алеша.— Дрыхнет, вот что он macht. А садовник для него небось на яблоню полез».

Ему хотелось рвануться, убежать от этих сонных Grossfater'ов и милых, рыжеволосых, невыносимо приличных девиц,— убежать в коридор, ринуться в ребя-

чий шум, спорить, бороться, убеждать, доказывать. Он не мог дождаться конца урока, встал и хрипло пробормотал:

— Позвольте выйти!

В коридоре не было ни души. Алеша подошел к окну: по улице торопливо шли прохожие; скрипя, проехал грузовик; ползли сани, нагруженные дровами; шли красноармейцы в баню. Синий пар плыл над улицей.

Задумавшись, Алексей пошел по коридору. Какой он веры? — спросила «белорыбица». Какой он нации? — спросил Хрум. Какой он партии? — спросил Рябинин. Вот сколько, оказывается, есть вопросов в мире.

Ковалев пришел в школу после третьего урока. Устало поднялся по лестнице, остановился около двери, подумал, что, пожалуй, лучше было совсем не приходить в школу. Пойти домой отдохнуть, выспаться? С зари он сегодня на ногах. Ходил на соляные рудники. Знакомый инженер обещал устроить на работу. Даром ходил. Рудники почти стоят. Инженер смущенно предложил Никите пойти на... погрузку соли.

— На погрузку? — усмехнулся Ковалев.— А вы еще бывали когда-то у нас в доме! И даже, кажется, нашу водку пили.

Он ушел, не попрощавшись. Впрочем, возможно, что в конце концов придется идти на погрузку. Куда деваться? Все разорено. На рудниках рассказывают: горит соль. Некому вывозить. Смешно: соль — и вдруг горит! Все катится в пропасть. Пусть! Пусть горит — соль, уголь, трава, города,— пусть все сгорит! Голая земля. И жизнь наново. Испуганные, поросшие шерстью люди, сбившиеся в стадо,— и пастухи с батогами. И чтоб батог в три кнута.

Ковалев толкнул дверь и вошел. Какой-то малыш налетел на него и упал под ноги. Никита поморщился.

«Долго ли я еще буду школьником? — ожесточенно подумал он.— Дурацкое дело!»

Конечно, лучше было вовсе не приходить в школу. Сейчас прибежит Воробейчик с бумагами, с охапкой доносов: тот курил, этот сказал то-то, та грызла семечки.

Сейчас начнется нудный школьный день. Вот — Воробейчик уже бежит. Что еще?

Вместе с Воробейчиком к Ковалеву подбежали Лариса Алферова и Толя Пышный.

— Где ты был? — набросились они на Ковалева.— Что тут творится!

Никита брезгливо остановил их:

— Зачем же кричать? Ну, что у вас?

Они потащили его к плакатам. По дороге к ним пристал Канторович.

— В школе раскол,— сказал он Ковалеву.— Они ненавидят нас.

— А, паникеры! — выругался Никита.

Усмехаясь, он смотрел на сбившуюся вокруг него кучку. Все-таки ему было приятно, что вот ждали его, считают его своим вождем, верят ему.

— Ну, посмотрим, что там случилось! — сказал он беззаботно.— Какие тут у вас дела?

Они подошли к плакатам. Небольшая кучка школьников толпилась здесь возле Лукьянова и Алеши.

Никита медленно прочел плакаты и усмехнулся. Неудачно начинала ячейка: предлагала детворе отказаться от праздников. Кто же пойдет на это?

Он увидел, что от него ждут решительных действий. Он шагнул к Лукьянову.

— Кто? — спросил он спокойно.— Кто позволил вывесить в школе прокламации без ведома старостата?

Лукьянов засмеялся:

— Забыли спросить!

— В другой раз спросите!

Ковалев медленно подошел к плакатам, спокойно содрал их и разорвал на части.

— Ах! — ахнула толпа.

Алеша рванулся вперед, но его удержал невозмутимый Лукьянов. Он, улыбаясь, смотрел, как, кружась, падали на пол обрывки плакатов.

— Все видели? — спросил он, показывая на клочки.— Все видели?

Впервые Алеша заметил, как вдруг побледнел Ковалев, словно изморозь легла на загорелое лицо. И впервые Алеша удивленно подумал о Лукьянове:

«Ну, па-арень!»

Но из бледного Ковалев становится уже синим. Злость душит его. Какая злость! Горло перехватило.

— Не запугаешь! — хрипло закричал он.— Не запугаешь! — Он слышит смех в толпе.— Разойдись! — за-

ревел он тогда что есть силы.— Разойдись! По классам! По классам! Разойдись!

— Слышите! Слышите! — рванулся Алеша.— Слышите! Это казачий есаул Ковалев орет нам: «Разойдись! Разойдись!» Браво, браво, браво!

— Вы хулиган, Гайдаш! — не помня себя, заорал Ковалев.— Вы хулиган!

Он сам потом удивился: как мог так потерять себя, так забыться? Но тогда яростная и последняя злоба клокотала в нем, а пальцы судорожно сжимались.

«Нагаек, нагаек бы!»

Лукьяновцы сгрудились вокруг него. Он видел их прыгающие губы, слышал яростные, враждебные крики, чуял их злость, но остановиться не мог и, тоскуя о нагайке, хрипло кричал:

— Разойдись! Разойдись!

Вот вспыхивает Юлькина тяжелая коса.

— Ребята! — звонко кричит она.— Что же это, ребята?

Вот Голыш продирается к нему, кулаки свои с набухшими синими жилами тычет в лицо.

— Разойдись! — шипит он.— Га?

Вот Алеша вскакивает на подоконник. Волнуясь и петушась, бросает школе:

— Такой старостат, ребята, такое самоуправление, ребята...

И толпа подхватывает:

— К черту!

Где же свои, ковалевские? Их голосов не слышно. Мелькнуло серое, как у утопленника, лицо Воробейчика. Мелькнуло и опять утонуло.

Яростная бушует школа:

— Перевыборы! Перевыборы!

— Почему ячейка молчала?

— И ячейку к черту!

— Переизбрать ячейку!

Пробиться сквозь толпу и уйти невозможно. Опустив голову, молча стоит Ковалев.

«Математика — великая наука, господин Хрум. Их — тысячи, а мы — единицы! Так-с? Ergo, нужно идти грузить соль? Так? Но если бы нагайку... Или взвод, не казаков,— нет! — взвод кадетов, казачьих детей, взводишко скаутов с нагайками, вот бы тогда мате-

матика оказалась дрянной наукой! Нагаек, нагаек, нагаек бы!»

А школа кричит:

— На голоса-а-а! На голоса-а!..

— Перевыборы!..

— Това-арищи! Товари-арищи-и!

— На голоса-а-а!

И вдруг дрогнул шум, попятился, пополз по полу, стих. Высокий седой заведующий школой молча ждал, когда замрет шум.

— Были звонки, товарищи,— сказал, наконец, он.— Надо идти на уроки.

Толпа качнулась, распалась, начала редеть. Заведующий нашел глазами Лукьянова и, ткнув в него пальцем, сказал:

— А вы зайдите ко мне. И вы! — ткнул он в сторону Юльки. Он еще кого-то искал среди развороченной толпы.— И вы, Гайдаш! — наконец, нашел он.

Алеша удивленно слез с подоконника и нерешительно пошел за заведующим.

«А я тут с какой радости? — думал он.— Я не ячейка. Я — сам по себе».

Заведующий ввел их в свой кабинет, попросил сесть и, не говоря ни слова, протянул им какую-то бумагу.

Они прочли:

Заведующему школой имени Н. А. Некрасова

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, группа верующих учащихся старших классов, просим школьный совет ввести у нас преподавание закона божьего для желающих. Пусть те, кто интересуется политической грамотой, идут на политграмоту, а кто законом божьим — тому чтобы была дана возможность укреплять свою веру и нравственность.

Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена.

Алеша еще раз повернул бумажку и разочарованно произнес:

— А подписей нет.

— Да,— взял бумажку обратно заведующий.— Да. Подписей нет. Действительно...

Он придавил бумагу тяжелым пресс-папье и с любопытством посмотрел на учащихся.

Алеша чувствовал себя неловко. В кабинете было тихо, пахло вымытым полом и канцелярией.

«А он не хочет с нами говорить,— вдруг подумал он о заведующем и рассердился.— Зачем же звал?» — и заерзал на месте. Стул заскрипел под ним.

— Подписей действительно нет! — опять промычал заведующий и, взяв бумагу, уставился в нее.

— Это «белорыбица» написала,— брякнул вдруг Лукьянов и покраснел.

— Кто? — удивился заведующий.

— Ученица есть такая, Лариса Алферова. Некому больше.

— А-а! Да... да!

Это впервые происходило в жизни заведующего: ученики сидят в кабинете, он беседует с ними, как с равными, советуется. Он глянул поверх бумаги: школьники сидели спокойно, степенно. Только в глазах Алеши Гайдаша заведующий прочел вражду.

«Это почему же?» — подумал заведующий недоуменно.

— А политграмоты все равно нет,— пробурчал Алеша и, объясняя, добавил: — Вот они про политграмоту в заявлении пишут.

— Да,— поддержал Лукьянов.— А математик на уроки опаздывает.

— Видите ли...— вступился заведующий.— Он чувствовал себя неловко. Вызвал их сам, взволнованный заявлением верующих, любопытствуя, смотрел на них, на ячейку, хотел сказать им, что душевно рад он, старый, седой педагог, работать с молодежью.

Она дерзка и несправедлива к сединам, молодежь. Он понимает это.

— Видите ли... преподавать обществоведение вызвался сам завнаробразом. Он занят, не ходит. Других нет. Математик Хрум опаздывает на уроки? Да, но он один на все школы. Видите ли: учителям не плачено три месяца. А ведь они люди, и люди неимущие. Программ учебных нет. Я в наробразе ежедневно бьюсь. Вот условия! — Он встал. Теперь он чувствовал себя, как педагог в классе: легко и уверенно.— А нужно строить новую школу. Как?

Алеша ерзал на поскрипывающем стуле, и ему все хотелось пересесть на диван: тот не скрипел. Но он не решался. Взглядом бродил по стенам. Набрел на фотографию: седой заведующий в учительском мундире среди других учителей.

«А он, кажется, директором гимназии был?» — вдруг вспомнил Алеша и с любопытством и недоверчивостью посмотрел на заведующего.

— Я слышал...— вдруг повернулся заведующий к Алеше,— я слышал, как вы сейчас там, в коридоре, кричали о перевыборах самоуправления. Что ж! Вы — ячейка! Вы и возьмитесь за самоуправление.

— Я не ячейка,— пробормотал Алеша, но заведующий не расслышал. Он видел только, как недоверчиво и враждебно горят глаза Алеши.

«Это зачем же?» — опять подумал он и догадался.

Ему захотелось тогда рассказать о себе: как учился на медные деньги в семинарии, потом в учительском институте, как бегал по урокам, по кухмистерским, как голодал, как пробивался к знаниям, сторонился зрелищ, сторонился собраний; молодым медведем с аккуратно заплатанными рукавами шатался по университету; кончил — и на службу; как третировали семинариста другие преподаватели — за окающий говорок, за медвежью силу в руках, гнущих пятаки. Так и жил. Вечным учителем младших классов. Дети текли сквозь руки, в пятых классах они уже не узнавали своего старого учителя, учителя приготовишек.

И вот — революция. Клочья царского портрета в школе. Перепуганные педагоги. Директор, спрятавшийся дома! Школьный и родительский советы избирают директором его, учителя приготовишек. И он, растерянный и недоверчивый, приступает к работе. Город переходит из рук в руки. У власти то красные, то белые. На лютых жеребцах залетают в город бандиты. Директора гимназий, архиереи и попечители сбежали за границу. Он один остался среди давно не штукатуренных стен гимназии. Бродит по мертвым классам, ожидает: загудят классы детскими роями. Скоро! Скоро! Так зимой бродит по пасеке старый и мудрый пчеловод.

— А надо новую школу строить,— произносит он вслух, раздумчиво.— Как? — Он опять берет заявление со стола.— Это мы сами, мы должны решить — как.

Юлька засмотрелась на седины заведующего.

«Как у Максима Петровича»,— думает она и неожиданно говорит:

— Мы тоже, Федор Сергеевич, мы тоже хотим новую школу. Мы поможем. Вы скажите нам, как что делать. Мы поможем. Мы...

Вдруг дверь открывается, и в ней появляется Рябинин.

— Можно? — спрашивает он.

Федор Сергеевич идет ему навстречу:

— Прошу!

Рябинин беглым взглядом окидывает комнату и замечает Алешу.

— А, и ты здесь? Отлично!

— Нет! Я сам по себе,— бурчит Алеша, но подходит вместе с Рябининым к столу.

Опять они все вместе. Заведующему кажется, что и сам он молодеет. И пока Рябинин читает заявление, он смотрит через покрытое теплым паром оконное стекло, как ползут по улице апрельские сумерки, сырые и лохматые.

3

В детском доме на беседе девочки вдруг спросили Юльку:

— Тетя Юля, а скажите: как будет при коммунизме?

И застыли в ожидании. Видно, вопрос этот, поднявшийся как-нибудь случайно во время игр или ночных шепотов, был ими сегодня заранее подготовлен.

Юлька растерялась, густо покраснела и не могла ничего ответить.

Ей стало стыдно и даже страшно.

Как же так? Она член детской коммунистической — коммунистической! — группы, а о коммунизме такие мутные бродят в ее голове понятия, как легкие, неуловимые облачка в августовский зной.

— При коммунизме? — ответила она запинаясь.— При коммунизме всем будет хорошо!

Она могла еще добавить:

— Не будет ни богатых, ни бедных.

И больше ничего, ничегошеньки.

Будет всем хорошо! Она была в этом уверена.

Но как это будет, не знала.

А сейчас еще плохо. В детском доме не топлено, только на кухне ярко горит русская печь, варятся похлебка и каша.

Дежурный по кухне воспитанник задумчиво ковыряет пальцем в носу.

— Опять шрапнельная каша? — спрашивают ребята.

Дежурный не отвечает.

— Без масла?

С зари Юлька становится в очередь за хлебом, за керосином, за пшеном. Даже у водопровода длинная, бряцающая ведрами, как колоколами, очередь: в остальных водопроводах полопались замерзшие краны и трубы. Юлька стоит в этой колокольной очереди со своим зеленым веселым коромыслом, а на ее спине мелом написано: «337» — номер в очереди за хлебом.

Она терпеливо стоит с утра до обеда, иногда ее сменяет Варюшка, даже карапуз Наталка приходит на помощь. Юлька слушает негромкие рассказы женщин о картошке, о больных детях, о жизни.

Мальчишек нет в очереди, все девочки. Все Юлькино поколение терпеливо стоит в очередях, по-взрослому, по-бабьи сложив на животе руки, прижимая к боку заплатанные кошелки.

— При коммунизме всем будет хорошо!

Значит, ни очередей, ни шрапнельной каши, ни замерзших кранов, ни гор нечистот на задних дворах? И все будут довольны, счастливы. Но как, как это будет?

В отчаянии пришла Юлька домой, постучалась к Максиму Петровичу.

Он был дома. В этот сумеречный час он всегда дома. Он живет один. Юлька знает, что жена Марченко погибла на каторге. Ее фотография висит над столом: доброе, ласковое лицо. Она была учительницей, и это тоже знает Юлька. А Максим Петрович когда-то был шахтером; синие рябины на лбу и щеках — это уголь под кожей, память об одной катастрофе в шахте.

В городе Марченко считают суровым, строгим руководителем: многие его даже боятся. Вот этого уж совсем не может понять Юлька! Как можно бояться Максима Петровича? Он добрый, он самый добрый на земле, никого добрей его еще не встречала в своей жизни девочка. И он простой, совсем простой, и веселый: его можно обо всем спросить, ему можно все рассказать. Вот и сейчас, прямо с порога начинает Юлька свой рассказ.

— Из меня не выйдет коммунистки,— сказала она печально и рассказала, как «засыпалась» на беседе в детдоме.

Большая керосиновая лампа горит в комнате Максима Петровича. Юлька забирается в угол пружинного дивана.

Ненужные электрические провода белеют на темных обоях комнаты, электрическая станция дает тощий свет только клубам, школам и учреждениям. Тени висят по углам, как развешанное платье. В комнате уютно и даже тепло.

Потирая руки и посмеиваясь, суетится около Юльки хозяин комнатки.

— Чайку, Юлеша, чайку? Я сейчас!

— Нет, нет! Не надо! Вы лучше мне расскажите. Я вас спрашивала.

— Ага! Да, да! — улыбается Максим Петрович.— Значит, барышня с серьезным разговором пришла?

Юлька надувает губы: чего это он ее «барышней» называет? Чтобы позлить, да? Знает ведь, не любит она этого. И смотрит на нее как на девочку, не хочет серьезно разговаривать.

— Я лучше уйду! — поднимается она обидчиво, но видит, что Максим Петрович, сразу посерьезневший и даже надевший свои темные дымчатые очки, уже подошел к карте. Карта висит на стене — большая и пятнистая, как персидский ковер.

Она с ногами забирается в свой уголок и, притихшая, ждет.

— Нищая, серая,— тихо говорит Максим Петрович и проводит рукой снизу доверху, от синего до синего.

Юлька понимает: это он о России так говорит. И ей представляются города и села, в которых она жила. Маленькие уездные деревянные городишки, столбики на большой дороге, слепые домики с окнами в узорчатой резьбе, как образа в киоте, редкие чахлые березки вдоль кривых улиц, мостовые — камень цветет мхом, пыльная трава-бурьян, у трактира коновязи из сучковатых жердей, рассыпанная солома, навоз, пьяный мужик на разухабистых дровнях.

— Безземелье, теснота, бедность, лучинушка,— задумчиво продолжает Максим Петрович.

Юлька тихо сидит в уголке дивана.

Бабушка оправляет «каганец», фитиль горит тускло. Стены небеленые, тараканы, кислый запах квашни, дети на печи в груде лохмотьев. Женщины тихо поют:

«Дого-о-ра-ай, моя-я лу-у-учи-и-и-на-а...» — и покачиваются в такт песне и работе.

— Россия! — всматриваясь в карту, говорит между тем Максим Петрович.— Волки и медведи. Ни дорог, ни путей. От Печоры до Куры. Тайга, степи, пустыни, леса, в которых мхом заросли люди. Россия...

Дед кряхтит, покрикивает на лошадку, сани кряхтят, снег кряхтит, поскрипывает. Ни огонька, ни собаки даже. Закутанная в тулупчик, дрожит Юлька от холода и страха.

А потом с матерью бредут: уже большая Юлька. Бредут, бредут, спотыкаются, мешок с картошкой оттягивает Юлькины плечи. Крепится Юлька, дует на зябнущие руки: скоро ли, скоро ли деревня? Все поле в кочках. Они посеребрены снежком.

Юлька спотыкается, чуть не плачет. Вот уже и плачет, тихо, про себя, шмурыгая носом, чтобы мать не слышала.

Но что же это она Максима Петровича плохо слушает? Вот он остановился и удивленно смотрит на нее.

— Нет, я слушаю, слушаю,— оправдывается Юлька, слезает с дивана и подходит к карте.— Вот вы о России...

— Сиди, сиди! — усаживает ее опять на диван Максим Петрович и усмехается.— Сиди уж, голубок! Я увлекся. Так что ты спрашивала?

— Да. Очереди, Максим Петрович, и шрапнельная каша. И потом — про коммунизм.

— Ага!

Максим Петрович закладывает руки за спину и начинает ходить по комнате. Он похож сейчас на учителя, читающего урок.

— Россия! — говорит он и пожимает плечами.— Сто шестьдесят миллионов. И все хотят есть.

Ну да! Ведь Юлька знает: в Поволжье засуха. Фабрики, заводы стоят. Но почему?

Почему? Это очень тяжело смотреть — мертвый завод!

Она проходит часто мимо него, когда идет в детдом. Мертвый, молчаливый и как будто весь в паутине, и грачи в трубах. Они кричат сейчас голодно и хрипло над мертвым заводом. Почему?

Максим Петрович опять подходит к карте. Улыбаясь, он смотрит на нее, неторопливо почесывает щеку, собирает седую щетину в кулак.

— Так-с. Ты спрашивала? — И вдруг: — Вот река Волхов. Древняя, седая река. Новгородская вольница, ушкуйники. Здесь построим огромную, гигантскую электрическую станцию. Свет в Петроград, в села! В каждой избе — электрическая лампочка! А? Штеровка — это около нас. Ток Донбассу! Днепр! Пороги! Сечь! Поперек Днепра — плотина! Самую большую в мире гидростанцию. А? В каждой избе — электричество. Электрическая пахота. А? Очереди? Хо! А механическое хлебопечение? А? Мощные заводы! Все заводы будут работать! Все шахты давать уголь! Все вышки — нефть! А? Хорошо, голубок?

Сам увлекаясь, он рассказывает Юльке план ГОЭЛРО.

Юлька тихо смеется в своем уголке. Это хорошо, то, что рассказывает Максим Петрович. Это хорошо, потому что это сказка. И она чувствует себя снова маленькой русой девочкой. Дед на печке бубнит ей об Иване-царевиче и жар-птице.

Лампа коптит, замечает Юлька, но ей лень вставать. И не хочется прерывать Максима Петровича. Пусть коптит лампа, легкий дымок ползет над колеблющимся кружком света.

Максим Петрович продолжает говорить, осторожно, плавно ступая по стонущим половицам. Вот он в кружке света — седина его серебряно блестит; вот он прошел дальше — в темный угол. Он говорит теперь ласково и тихо, он рассказывает каштановой Юльке о будущем, о коммунизме — и это звучит для девочки как чудесная, увлекательная сказка. Сказка про электрическую жар-птицу.

Жар-птица плывет над колокольной очередью, вспыхивает ее огненный хвост. «Это Днепр»,— почему-то вдруг решает Юлька и вспоминает: закатывалось в Днепре солнце, переливалось, подрагивало, как огненная рыба, или, как огненная птица, билось крыльями о воду.

«Значит, я в Черкассах!» — догадывается Юлька, и зелено-зелено становится перед ее глазами. Но вдруг появляется жар-птица и своим нестерпимо блестящим хвостом бьет по глазам. Юлька больно щурится: красные, зеленые, желтые круги вспыхивают перед нею, глазам больно.

Нет, это лампа коптит!

Девочка открывает глаза и видит: Максим Петрович сидит с ней рядом, ее голова у него на коленях. Он улыбается Юльке, а она, вспыхнув от стыда, быстро соображает:

«Я уснула! Ой, какой стыд! Что подумает обо мне Максим Петрович? Пришла с серьезными вопросами — и уснула. Ой, стыд какой!»

— Я совсем-совсем мало спала, Максим Петрович,— оправдывается она.— И потом я с пяти часов в очереди.

— Ну и спи, и спи, голубок! — смеется старик. Какой-то нежной, застенчивой и особенно бережной любовью любит он детей: может быть, оттого, что своих не было. Царская каторга помешала ему иметь семью и детей.— Спи, голубок! А я тебе сказку скажу.

— О жар-птице? — смеется Юлька.

— Какую хочешь!

Юлька встает, оправляет лампу, прощается с Максимом Петровичем и идет к себе. Ей хочется записать сегодняшний вечер в дневник. Она садится за столик, достает тетрадь и задумывается. Ей очень многое хочется записать. Она переполнена чувствами и мыслями, а слов у нее нет: они расползаются, как муравьи из расшевеленной кучи.

«Я хочу быть очень хорошей коммунисткой»,— начинает записывать Юлька и задумывается. Мать тяжело храпит рядом.

— А маме этого никак не объяснишь,— безнадежно шепчет Юлька.— Бедная мама!

Капель звенит о стекло единственного окна. Послезавтра пасха, комсомольская пасха.

Мать сказала:

— С безбожниками пойдешь — домой не вертайся.

Юлька грустно смотрит, как стекает по синему стеклу вода.

«Даже вечером оттепель»,— удивляется она.

Потом вспоминает что-то, краснеет и дописывает в дневник: «И никогда не выйду замуж».

— Пойдешь с безбожниками — домой не вертайся,— сердито сказала утром мать и ушла из дому, хлопнув дверью.

А Юлька решила:

«Пойду!»

И чтобы уже все это скорее кончилось, решила уйти сейчас.

Она собрала свои книжонки и тетрадки, любимую картинку сняла со стены, бельишко взяла, связала в узелок и заплакала.

Не себя ей было жалко. Как-то само собой разумелось, что группа ее не бросит, устроит. И даже не мать жалко было (что же, сама выгнала!). Жаль было Наталку и Варюшку.

«Кто их накормит?» — горестно думала она, целуя в последний раз кудрявую головку Наталки.

И ушла.

На улице встретилась с Алешей.

Тот задумчиво брел, сшибая палкой тающие сосульки с заборов.

— Что? Не нашел работы? — участливо спросила Юлька.

Алеша безнадежно мотнул головой в ответ.

— Ну, ничего! — утешила девочка и, вспоминая вчерашний вечер, добавила: — Скоро всем работа будет!

Она начала рассказывать полушутя, полусерьезно вчерашнюю сказку Максима Петровича.

Ей хотелось верить в нее.

— Я, знаешь,— вдруг сказала она неожиданно для самой себя,— я инженером буду.

— Кому теперь нужны инженеры?

— Нет, нет! Будут нужны! Вот увидишь: будут! — Ей хотелось еще говорить о себе. Сейчас, когда она ушла из дому, ей казалось: сама она другая, и жизнь открывается другая, и нужно что-то делать, делать, делать, торопливо, спешно, экстренно.— Я буду инженером по электричеству.

Алеша пожал плечами: она была девочка, она не знала, что такое биржа, она не знала, что такое, когда дома нечего есть, а отец болен и кашляет кровью.

— Ты куда это с узелком? — спросил он равнодушно-покровительственным тоном.

Юлька небрежно взмахнула узелком, перебросила его через плечо. В узелке было все, что она имела: на будущее, на жизнь.

— Я в детский дом иду жить,— беспечно ответила она.— Совсем.— И, увидев удивленные глаза Алеши, добавила просто: — Мать против комсомола.

Они расстались на перекрестке. Алеша крепко, как парень парню, пожал ей руку. Она беспечно тряхнула косой и пошла по тротуару, четко постукивая каблучками.

Пришла в детдом, обняла бросившихся к ней навстречу девочек и сказала им устало:

— А я к вам жить. Совсем...

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Хочешь быть
Человеком что надо,
Но не знаешь:
Сумеешь ли быть?

А. Безыменский

1

Овчинный кожушок, туго перепоясанный ремнем и похожий, как казалось раньше Алеше, на кавалерийскую венгерку, совсем охудел, изодрался. Клочья грязной рыжей шерсти оседали на рубахе. Можно было подумать, что Алеша линяет. Насмешливые ребята дразнили Алешу «драным козлом», а девочки брезгливо морщили носики, чуя кислый запах овчины.

Но вот сегодня на улицах лужи, расторопные ручьи, оголтелая детвора в распахнутых, забрызганных грязью пальтишках; в школе семечная шелуха на полу; на оконных стеклах грязные, тощие струйки, в сапогах чавкает вода, ноги мокрые. Значит, окончательно и бесповоротно — весна.

Весна!

Она летит на город, широко распахнув синие крылья туманов. Она дымится уже в тихих переулках. Она врывается в школу, звенит капелью со стекла, стучится, ломится в двери, зовет на улицу, на улицу!

Весна падает над городом неожиданно, как ливень. Дымная моя родина, какой ты тогда становишься красивой!

Вдруг оказывается, что под окном старой инструменталки существует березка. Всю зиму на ней цвели только стружки, выбрасываемые из окна. А сейчас она отряхнулась, зазеленела, расцвела, как девушка, узнавшая первую любовь.

Вдруг оказывается, что терриконы похожи на синие хребты гор, что они могут куриться; ночью видно, как горит на них порода; кажется, что это дружные костры пылают на горе.

Вдруг оказывается, что степь — рыжая летом, черная осенью, грязно-серая зимой — может быть еще и зеленой! Да какой! Сочно-зеленой, юной, словно степь только что родилась и, удивленно покачиваясь, лежит под солнцем; ахает: как прекрасен мир!

Так работает весна.

Мы стояли на Кавказе. Наш военный городок затерялся среди чужих, неуютных гор. И однажды, в январе, мы проснулись и ахнули: где мы? В Рязани? В Чухломе?

Горы исчезли, затянулись снежным туманом. На полях, на кладбище, на деревьях снег. Маленькие домишки совсем занесло. А из узорчатого окна, над которым нависла белая мохнатая крыша, пробивается робкий, неуверенный огонек. И каждый из нас вспомнил свою Рязань.

Меня обступают сейчас большие дома. Они лезут ко мне в окно. Трамваи плывут по потолку моей комнаты. Поезда отправляются в путь. Но донецкая степь колышется предо мною. Вот иду: пыльная дорога, ржавый бурьян, неоглядное солнце и сизый дымок на горизонте. Эх, родина!

Алеша скинул на парту постылый кожушок и в одной ситцевой рубахе бросился из класса.

Тяжелая дубовая дверь широко распахнута. Весна льется, хлещет, врывается в сырое каменное здание, и Алеша прямо со школьного порога, как с берега, головой вперед бросается в весну, в апрельскую теплынь, в дрожащие волны света.

— И-го-го-го! — кричит он молодым жеребенком.— И-го-го-го! Эй, догоняй! — бьет он кого-то по спине и шарахается от него, бежит, высоко закидывая ноги.

Безработица, голодовка, смута в школе — все сброшено, как овчина на пол.

Две девушки, перепрыгивая с камешка на камешек и размахивая потертыми папками «Musique», прошли мимо Алеши, оживленно болтая о ком-то неизвестном ему.

— Нет, он красивый! — донеслось до Алеши, и он остановился прислушиваясь.

Но девочки были уже далеко, было видно, как подрагивали русая и рыжая косички, перехваченные черными бантами.

«А я какой? — мелькнуло вдруг у Алеши.— Красивый или нет?»

И покраснел.

Он редко смотрелся в зеркало. Своей наружностью вовсе не интересовался. Знал, что у него лицо монгольское, скуластое, и не печалился и не радовался. Какой есть!

А сейчас вдруг захотелось быть красивым, богатым, умным. Одеться хорошо. Галифе темно-синие, френч. Сапоги иметь целые, чтобы не текли, шевровые, чистить их у чистильщиков, чтобы как зеркало и солнце на носке.

«А вдруг я красивый?» — подумал Алеша и засмотрелся на свое отражение в большой луже.

Но в луже играла вода, и все колыхалось, ходило, ломалось — и небо, и здания, и скуластое Алешино лицо.

В глубокой задумчивости пошел он в школу. На лестнице столкнулся с белокурой Тасей.

— Простите! — пробормотал он сумрачно и хотел пойти дальше, но Тася окликнула его.

— Скажите, Алеша,— она сделала большие глаза и докончила шепотом: — Вы комсомолец, да?

— Нет,— пробурчал Алеша.— А что?

— А мы, все девочки, думали — комсомолец. К нам не подходит. Серьезный такой!

Алеша слушал, как тараторила Тася, и сбоку смотрел на беленькую ее шейку, на которой кучерявились пушистые белокурые завитки.

«А Тася красивая?»

Он вздохнул и вдруг произнес нерешительно:

— А скажи-ите: я красивый или нет?

И только когда сказал, когда услышал свои слова, понял: сказал непоправимую глупость. Увидел расширившиеся глаза Таси, вздернутые белобрысые брови, сломавшиеся в удивлении. Потом брови дрогнули, глаза сузились, с громким хохотом убежала Тася.

Алеша видел: подхватила под руку подругу, и уже и та заливалась в веселом хохоте.

«Это про меня!» — уныло подумал он, пошел в класс и упал на свою парту.

Кислый запах овчины щекотал ноздри. Алексей поднял свой кожушок, повертел в руках и, рассердившись, засунул далеко под парту.

У всех были ладные пальтишки: у Толи Пышного — из отцовской старой шубы, у Воробейчика — из клетчатого одеяла, на Ковалеве — стройная бекешка с сизыми смушками. Только у одного у него — кожушок.

Впервые заметил Алеша — у всех ребят есть прически. Валька вверх зачесывает волосы, открывая большой белый лоб; у Толи Пышного ровный пробор как раз пополам делит его редкие рыжие прилизанные волосенки. У всех есть расчески. Только Алеша, поплевав на пятерню, приглаживает ею свои буйные вихры.

«Ну, вот они и нравятся девочкам! — угрюмо думал Алеша.— Это дело известное. Одни любят шоколад, а другие — свиной хрящик.»

Но сейчас ему очень не хотелось быть свиным хрящиком.

Класс наполнился шумом. Лукьянов влез на подоконник, рванул раму, еще, еще раз — и в широко распахнутое окно ворвалась весна, теплая, чуть сырая еще, как только что испеченный и пряно пахнущий хлеб.

— Весна! — закричали хором в классе.— Выставляется первая рама!

В детстве все было просто и кругло. Захотел бегать — распахнул дверь, побежал; бегать устал — свалился на траву, уснул; захотел коня, нет коня — взял палку, прицепил к босым пяткам железки-шпоры — и вот на коне!

К вечеру весь круг желаний уже завершен. Значит — спать. И спал Алеша крепко, видел хорошие сны: голубого коня с белой звездой на лбу.

Сейчас же все не имеет конца. Все начато, все разворошено, все на полдороге.

Вообще раньше, в одиннадцать лет, все было ясно, все решения принимались немедленно и окончательно. Весь мир был немудрено прост: дверь, улица, поле, круглая линия горизонта.

А сейчас, в пятнадцать, все колеблется, горизонтов много, линий много, а одной — прямой — линии нет.

— Что, Рябинин, будем учиться завтра? — спросил он, встретив Рябинина в коридоре.

— Нет,— ответил Рябинин.— Наробраз против. Считает, что преждевременно такие решения принимать.

— Ну вот! — зло засмеялся Алеша.— Вот ячейка шум подняла, а в калошу села.

Рябинин оперся на костыли и, улыбаясь, спросил:

— Думаешь, в калошу? — И прислушался к шуму, который притекал из классов.

«Они, наверное, задумали что-нибудь,— решил Алеша, но не стал ничего спрашивать.— Их дело, они — ячейка».

А вот школу они на безбожный карнавал не выведут, а он выведет! Он кликнет клич, и все пойдут за ним. Он один все устроит. Пусть посмотрят! И Тася пусть посмотрит. Он — во главе школы.

Флаги.

«Долой, долой мона-ахо-ов...»

Вот после этого можно и в ячейку.

— Ковбыш! Пойдешь со мной на демонстрацию?

— Пойду!

— Приходи тогда завтра в школу и ребят приводи. Ладно?

— Ладно.

— Пароль будет: штурм-штык.

— Зачем это?

— Так надо. Штурм-штык.

Возможно, он некрасивый, нефасонный, безработный худощавый парень, а школу он все-таки выведет на улицу. И сам выйдет. На широкую дорогу выйдет. Богатые дела ждут его. Замечательная жизнь у него будет! Штурм-штык.

Он услышал, как Юлька сказала Лукьянову:

— Значит, завтра в девять?

— В девять. Сбор в горкоме.

Алеше они ничего не сказали: он ведь не в ячейке. Ну что ж, ладно! Они пойдут кучкой, а он поведет за собой школу. Это еще посмотрим, кто настоящий коммунар! Штурм-штык!

Дома отец спросил Алешу:

— Завтра, говорят, охальничать будете?

Алексей пожал плечами, ничего не ответил и подошел к матери:

— Маманя, дело у меня к тебе есть.

Алексей всегда относился к матери с серьезной, хотя и скрытой нежностью. Дружеские отношения сложились у них еще в голодные годы, когда вдвоем ездили за хлебом. Мать всегда советовалась с ним, куда ехать, почем хлеб брать и на что менять. Они ночевали на вокзалах. Алешка бегал со ржавым, побитым чайником за кипятком. Пили чай на узлах и мешках, от которых струилась тяжелая мучная пыль.

— Мне, мать, ряса нужна.

— Ряса?

— Попом завтра пойду. Ты у отца Федора — расстриги — возьми.

— Если не пропил он.

— Рясу не пропьет. Кому она нужна, ряса? Ты, мать, уж достань,— попросил Алеша, а мать улыбалась и вытирала передником капельки пота с лица.

— Достану, Алешка. А ты что: сам попом пойдешь?

— Сам, мать, пойду.

— Умора! Ты б к отцу Федору еще сходил. Он тебя штукам-то поповским выучит.— И, наклонясь к уху сына, шептала: — А отца не слушай. Он и мне своей святостью всю жизнь запостнил, скупой да святой, как муха в постном масле.

Ночью Алеше снился замечательный сон: площадь, море голов, оркестры; он на голубом коне впереди всех, и у коня на лбу звезда.

2

Отец Федор дал рясу. Даже сам пришел учить Алексея.

— Ты, Алеша, главное, жуликом гляди,— поучал расстрига.— Попы — они все жулики.— Но, посмотрев, как сосредоточенно и хмуро примеривает Алексей рясу, расстрига безнадежно махнул рукой.— Нет, не выйдет из тебя попа. Всерьез все берешь!

Но матери нравились и ряса, и фальшивая борода, и шапка. Она ахала и всплескивала руками:

— Ну поп! Ну просто живой поп! На, батюшка, трешницу, помолись за грешницу.

Она связала рясу и бороду в узелок и вручила Алеше:

— Ну, иди! А отца не бойся.

— Я и не боюсь,— пожал Алеша плечами и вышел на улицу.

Колокольный звон плыл над городом и падал, как дождь.

— Весна начинается с к-калош,— произнес вместо приветствия встретившийся Алеше на улице Колтунов.— В-в-видите. Люди делают в-весну.

Он азартно мял калошами влажную, покорную почву. Вокруг люди делали то же. Вот протоптали прочную дорожку. Вот целая площадка утрамбована ногами. Здесь можно танцевать, кувыркаться, лежать. Люди ходили взад и вперед по колеблющейся почве, набухшей, как тесто, и она застывала под ногами, принимала прочную форму твердой корки: скоро пыль завьется на ней, случайный лист упадет с дерева, желтый одуванчик пробьется и расцветет.

— Возможно, впрочем, что Христос жил,— сказал Колтунов,— н-но явно н-немыслимо, что он воскрес.

— Что?

— Немыслимо.

— Никакого Христа! — отрубил Алеша.— Никакого!

— Н-но если там,— Колтунов ткнул пальцем вверх,— никого н-нет, то не становится ли страшно: никто не управляет миром, в-вдруг все в-возьмет и начнет рушиться?

— Рушиться?

— Р-рушиться. В-возьмет — и обр-рушится.

Алеша задумался. В самом деле: ведь мир, ведь вселенная, ведь это такое хозяйство — солнце, звезды, земля,— все может спутаться, разрушиться. Должен же быть хозяин в таком большом деле?!

Он впервые думал об этом. Стало страшновато. Вот идут два мальчика, а кругом — вселенная. Идут два мальчика, рассуждают. Один другого хочет убедить, что надо идти на штурм небес. Что они значат оба? Песчинки. Их надо обоих в сильнейший микроскоп рассматривать. А они идут, рассуждают.

— Есть наука,— ответил, наконец, он.— Она предсказывает затмения и управляет небом. Ничего не может случиться без нее.

Ему вдруг захотелось овладеть этой наукой: наукой объяснять и изменять мир. Человек, который владеет

ею, не боится вселенной. Он стоит на ней, широко расставив ноги, высоко подняв голову.

— Возможно, я стану физиком,— сказал вдруг Алеша,— и астрономом.

— П-приветствую! — вежливо ответил Колтунов.— Н-но н-надо много учиться.

— Буду!

Он подумал вдруг, что вот через год он окончит школу и выйдет из нее почти таким же пустым, как пришел. Надо будет тогда начинать учебу сызнова. Где?

— Небо...— проворчал он.— В школе хозяина нет. В школе все рушится. Школу надо перевернуть.

— Об этом я и хотел к-как-нибудь п-поговорить с вами.

— Пойдем на демонстрацию, там и поговорим.

Колтунов подумал и согласился:

— П-пойдем.

Алеша теперь не сомневался, что выведет школу на улицу. Вот как легко согласился Колтунов! Ковбыш обещал прийти, Бакинский.

«Придут! — уверенно думал он.— Как не прийти! И с собой приведут. Душ пятьдесят наберется — и хватит! — думал он.— Школьное знамя возьмем. Сторож даст».

Но он и поверить глазам не мог, увидев, что весь школьный двор полон школьниками.

— Вот это да! — вырвалось у него.— Колтунов! Всей школой пойдем! — И он ворвался во двор, крича: — Ребята! Ребята! Что же вы стоите? Пора! Пора!

Его даже не услышали. Футболисты яростно гнали мяч к воротам, и глаза всех присутствующих были на этом мяче.

Алеша начал искать Ковбыша, Бакинского. Никого нет. Никого из тех, кто обещал прийти. Никого. Что же это такое?

Чуткое ухо Алеши услышало: издали притекает ритмичный, хотя и глухой еще шум. Он догадался: идут, идут!

«Что же делать?» — растерянно подумал он и опять оглянулся.

Никого, никого из тех, кто обещал прийти.

Все явственней и неукротимей доносился шум идущей толпы. Гулко бьет барабан, вырываются уже отдельные трубы, высокие ноты песен.

Кое-кто из школьников бросился к калитке. Из-за поворота показалась голова демонстрации.

— Ребята! — закричал тогда что было силы Алеша.— Там — идут, идут против тьмы, против старого мира. Как можно быть в стороне? За мной! На улицу! На карнавал!

Он бросился вперед, уверенный, что хоть несколько человек пойдут за ним. В толпе лениво двинулись, засмеялись. Кто-то выскочил, чтобы идти с Алешей, но в это время откуда-то выпорхнул целый рой школьниц.

— Христос воскресе! Христос воскресе! — закричали ребята и бросились христосоваться.

Алеша остался один. Даже Колтунова он потерял где-то.

«Если б не дивчата! — утешал себя Алеша и злился.— Это их «белорыбица» нарочно привела».

Исподлобья он бросал беглые взгляды на улицу. Уже видно было шествие. Впереди оркестра шел рыжеватый попик, невозмутимо серьезный и равнодушный к тому, что делается окрест.

«Семчик!» — хотел закричать Алеша, но устыдился. Как же это? Семчик с демонстрацией, а он, Алеша, на тротуаре, как трусливый зритель?!

Он спрятался тогда за водосточный желоб и отсюда стал наблюдать: по слякотной весенней улице шумно и весело растекался комсомольский карнавал.

Барабаны били глухо и не в лад. Колонна текла по слякотной улице, туго ворочая свое тяжелое тело. В дырах мостовой стыли лужи. Беспокойные рябые солнечные пятна плескались в них.

Колонна продолжала медленно и туго продвигаться вперед. По-прежнему хрипло гремел оркестр; барабаны били не в лад; рождались, обрывались и опять взлетали песни. Алеша с бородой в руках стоял на мостовой в кругу зевак.

— Что, парень, бороду в драке отодрали? — кричали ему смеясь.

— Голову оторвать надо,— зло сказал какой-то старик в поддевке.— Шалопуты!

Алеша кое-как выбрался из толпы. Куда деваться? Лицо его горело от стыда. Колонна текла мимо. Теперь тут были чужие, незнакомые лица. Большинство ребят и дивчат были в шинелях. Алеша прочел на знамени: «Губернская партийная школа».

«А Ковбыш-то с ячейкой»,— вдруг вспомнил он. И не только Ковбыш, а и многие из тех, кто обещал прийти, свое слово сдержали: пошли с ячейкой.

— Один!..— прошептал Алеша и грустно побрел по тротуару.

За школой был пустырь. Алеша пришел сюда, присел на кучу кирпича и спрятал голову в колени.

На пустыре не было ни души, но в воздухе, как и на земле, все время боролись звуки безбожного оркестра и пасхальный медовый звон. То побеждал оркестр и властно гремел марш, то осиливали колокола.

«Они уже на Александровскую улицу вышли,— соображал Алеша.— К площади подходят.— Ему хотелось совсем не думать о демонстрации.— Вот небо. Вот облако, похожее на лодку под парусом. Сесть в лодку — и в да-а-альние края! Они уже на площадь вышли. К собору подходят. Да, на лодку. Парус раздувается. Летит лодка. Уже около собора. Семчик впереди».

Он вскочил на ноги и побежал догонять демонстрантов. Перескочил ров. Выбежал на Александровскую улицу, помчался по мостовой.

Около собора он, наконец, догнал хвост колонны. Демонстрация мирно текла через соборную площадь. Алеша пристал к группе каких-то незнакомых комсомольцев — они несли порвавшегося зеленого дракона. И тут, среди совершенно чужих ребят, Алеша почувствовал себя своим — хорошо и ладно. Повеселел. Заулыбался.

— Дайте я понесу! — сказал он, увидев, что ребятам надоело тащить аварийного дракона.— Дайте я! — И испугался: вдруг откажут!

Ему охотно передали палки, и он, бережно и высоко подняв их, повертел драконьей головой во все стороны.

Старичок в ватной солдатской фуфайке беспокойно следил за демонстрацией. Он нетерпеливо расталкивал прохожих и семенил по тротуару, стараясь не отстать от безбожников. Когда колонна останавливалась, останавливался и он. Вытирал большим красным в черную клетку платком пот со лба и улыбался.

— Ахтеры! — Потом общительно оглядывал соседей и добавлял: — А мой-то сынок — там. Да-а!

Ему все хотелось, чтобы сын его увидел. Он вытягивал свою птичью голову, делал руками знаки, но сын шел, уставившись неподвижным взглядом вперед, и отца не видел.

— Ах, беда какая! — вздохнул старичок и, сунув платок в карман, засеменил по тротуару.

Наконец, он не выдержал.

— Федюк! — закричал он и замахал обеими руками.— Федюк!

Ковбыш оглянулся, увидел отца и крикнул ему:

— Вали к нам, отец!

Старичок замахал ему в ответ рукой, потоптался на тротуаре, подумал, потом рванулся и побежал по мостовой, расплескивая лужи. Ему дали место в строю, рядом с сыном, и он сразу стал серьезным, расчесал усы, поправил шапку.

Парень в каком-то золотом халате, в седом парике и с очками на носу продирался сквозь колонну вперед.

— Это кто будет? — шепотом спросил Ковбыш-отец у Юльки.

— Бог Саваоф.

— А-а! — улыбнулся старик.— Очень приятно. Тридцать лет и три года, слышь ты, вколачиваю гвозди в подметки, а бог мне не зустревался. А вот, слышь ты, на тридцать четвертом зустрелся. Ну, будем знакомы! — И он обменялся с богом Саваофом церемонным рукопожатием.

После демонстрации Юлька одна пошла домой.

Домой — это теперь означало: в детский дом. Ее устроили там в комнате воспитательниц. Она занималась с детьми спортом и играми.

У нее было по горло работы — и в школе и в детдоме, но все же она часто думала о маленьких сестренках: как они? И представляла: неумытая, грязная, ползет Наталка по полу или ревет, голодная, а Варюшка не управится с ней.

И ей хотелось прийти, приласкать их, посадить их к себе на колени, потереться щекой об их щечки.

«Бедные мои!»

Она не выдержала и вечером пошла к маленькому домику на Ковыльную улицу. Сквозь занавески, сшитые еще ею, струился матовый свет. Дети были дома. Юлька попыталась заглянуть в окошко, но оно было высоко,— не выросла еще Юлька! Сквозь занавески же ничего не было видно. Она минут десять бродила около домика, ожидая: может, окошко распахнется, будут

слышны голоса,— тогда послушать, как смеется Links Наталка, и спокойно уйти. О возвращении к матери Юлька не думала ни минуты. Но окошко не распахнулось, Юлька так и не услышала Наталкиного звонкого смеха. Глотая подступающие к горлу слезы, она быстро ушла отсюда.

3

— Что же ты ничего не кушаешь, Рува? Что же ты не кушаешь, мой мизинчик? — мать грустно смотрит на своего любимого сына.

Ломая хрусткие голубые заморозки, прошла через встрепанный городишко тяжелая артиллерийская тачанка, увозя среднего сына — Моисея Воробейчика, большевика. Мудрый Соломон, старший сын, поглядел вслед, пожал плечами, поцарапал тупыми ногтями курчавую черную бородку, потом ушел к себе в магазин, на Караванную, сердито бросать на счетах костяшки, пересчитывать свою судьбу. Черные брови у Сарры, черные ресницы, как сентябрьские сумерки, дымящиеся в кривых переулках. Поезд увез Сарру,— белый платочек в окошке, белый платочек у заплаканных глаз. Один остался сын, мизинный сын — Рува, Рувим, Рувочка, радость, надежда, слава.

— Что же ты ничего не кушаешь, Рува? Что же ты ничего не кушаешь, мой мизинчик?

— Ах, мама! — отмахивается Рува Воробейчик.— Ах, мама! — Он печально бродит по комнатам, растерянно хватаясь за вещи, а за ним поспешает маленькая, сухонькая старушка мать, трясет седой головой и умоляет:

— Ну скушай котлетку, Рувчик! Ну скушай хоть одну.

— Что же это будет, Никита, а?

Ковалев насмешливо смотрит в испуганные глаза Воробейчика.

— Рыжие у тебя глаза,— вдруг говорит он приятелю.— Я только сейчас увидел: рыжие. Ты — большевик!

— Но почему?

— Большевики все рыжие.

— Красные?

— А!..— отмахивается Никита.

Ему нравится дразнить приятеля такими недомолвками, тот пугается, и рыжие его ресницы дрожат.

— Но живешь ты плохо: опасаешься всего. Гляди веселей, Рыжий!

Воробейчик про себя думает, что и Никита живет плохо, только фанфаронится.

— Я не пойду больше к Хруму,— бормочет Рува.— Чего ради!

— А не ходи!

— Послезавтра выборы, ты помнишь?

— Забыл!

— Нет, в самом деле, что будет? Уйдем без боя? Или хлопнем дверью?

— Хлопнем! Дверью!

Воробейчик видит: не хочет Ковалев разговаривать с ним всерьез.

«Ну и ладно,— думает он обиженно.— Сам разберусь!»

Он демонстративно уходит, высоко подняв рыжую голову.

Ковалев насмешливо смотрит ему вслед.

— Гвардия! — горько усмехается он.

Зачем он впутался в школьные дела? Ему надо бы скорее кончить школу, вырваться на широкую дорогу, а там... У него захватывало дух, когда он думал о перспективах.

Здание, выстроенное отцами Лукьяновых на песке, рухнет, задавив неудачных строителей, и покуда на белых конях въедут в поверженные города есаулы из-за границы, Никита Ковалев и его поколение уже будут владеть ключами от городских ворот.

— Где вы были, отцы? — презрительно спросит Никита.— Дайте-ка нам место.— И положит свою пятерню на добычу.

Зачем же он спутался с Воробейчиками и Пышными?

— Есть такая наука: арифметика,— сказал ему както Хрум.— Два всегда больше и лучше одного.

Был план: подчинить своему влиянию школу, создать здесь гвардию, преданную настолько, чтобы, не задумываясь, бросилась она на все: на террористический акт, на шпионаж, на восстание; вырастить эту гвардию, закалить ее в ненависти; добро, любовь, жалость, стыд, совесть вырвать из сердца и выбросить на свалку.

Он мечтал когда-то об этой железной, безусловно преданной ему гвардии. Теперь он только горько смеется.

Он побежал в класс, вытащил тетрадку, вырвал листок. Быстро написал что-то и крикнул Воробейчику:

— Роман! Перепиши и повесь!

Воробейчик быстро прочитал бумажку.

— А-а! Так бой! — нервно улыбнулся он.

Плакат скоро появился в коридоре.

ВНИМАНИЕ!

Сегодня после уроков в школьном зале состоится показательный суд над учеником 6-й группы А. Гайдашем, обвиняющимся в хулиганстве.

Состав суда: *Н. Ковалев* (председатель), *А. Пышный* и *Л. Алферова* (члены).

Секретарь суда: *Р. А. Воробейчик.*

Общественный обвинитель: *Л. Канторович.*

Алеша прочел плакат и засмеялся. Ребята толпились около него и с любопытством ждали, что он сделает, а он только засмеялся и отошел.

Шел легко, даже весело, тихо посмеиваясь. Встретил Юльку, крикнул ей, чтоб все слышали:

— Вот в тюрьму меня суд посадит. Ты смотри передачи носи, я колбасу люблю.

— Они смеются,— с ужасом сообщил Воробейчик Никите.

— Заплачут! — пожал тот плечами и быстро ушел в класс.

Рябинин после первого урока собрал ячейку. Пришло двенадцать человек.

— Вдвое! — улыбнулся Рябинин.— Ну, приступим! — Он обвел глазами ребят и вдруг невольно воскликнул: — Еще мало! Мало вас. Ведь вас сотни должны быть!

После второго урока рядом с плакатом о суде появился другой:

Школьная ячейка детской коммунистической группы при комсомоле предлагает на обсуждение учащихся следующий список старостата...

Дальше шел список:

Гайдаш, Кораблев, Бакинский, Хайт, Сиверцева Юлия
и другие.

— Они смеются,— опять прибежал к Ковалеву Воробейчик.— И он сам смеется, Алеша Гайдаш.

— На! — протянул Ковалев бумажку.— Перепиши и повесь.

К концу перемены рядом со списком ячейки висел другой.

В этом списке были: Ковалев, Пышный, Сиверцева Юлия, о которой было написано, что она организатор детской коммунистической группы, Канторович, Воробейчик, Ковбыш и другие. Каждому была дана небольшая характеристика.

Воробейчик, переписывая список, обиделся: его Никита поставил на пятое место и ничего о нем не написал.

Список вызвал бурю в коридоре. Ковбыш хотел сорвать его, и только ребята удержали.— Меня, меня? — рычал он, потрясая кулаками.— Меня в ковалевский список? За что? А! За что? — Он чуть не плакал.

— Это они свою революционность показывают,— объяснил Алеша.— И Юльку тоже для этого.

Ему нравилось все, что происходило сейчас в школе: борьба, списки, выборы!

— Голосуйте только за список ячейки! Голосуйте только за список номер один!

Он готов был влезть на подоконник и митинговать целый день, и чтоб полицейские стаскивали его за ноги, и чтоб свистели казачьи нагайки, и красный флаг чтоб трепыхался в воздухе.

— Голосуйте за список номер один! Голосуйте за список большевистской ячейки!

А уже появился и список № 3. Он почти не отличался от списка ячейки. В нем были только добавлены: Мерлис Мирон, сын ресторатора, и Лобас Иван, сын арендатора бойни.

Золотушный Мерлис стоял около своего списка и звонко кричал.

— Да! — кричал он, ударяя ладонью по ковалевскому списку.— Да! У нас не должно быть места в советской школе такому элементу, как Ковалев. А ну? Кто он? Откуда? Не его ли отец порол моего отца? А ну? Где они были во время революции, господа Ковалевы, в чьем лагере?

— А твой где был? Твой отец где? В подвале прятался? — зашумела толпа.

— Мой отец?! — перекрикивая всех, визжал Мерлис.— Он служил, мой отец! В опродкомарме он слу-

жил. Можно справиться. Он участвовал в войне, он по снабжению работал, мой отец, а теперь, когда объявлен нэп, мой отец откликнулся. Он стал советским купцом, мой отец. Он платит налоги, поддерживая государство, мой отец. Мы не контрреволюционеры, мы — за советскую власть! И я голосую за список ячейки.

Перекрикивая его, надрывался Андрей Дроздович, ученик шестой группы.

— Наша школа пахнет старой гимназией! — кричал он.— Факт! Преподаватели — старые, программы — старые, порядки — старые! Факт! Наша программа — вот! — он хлопал ладонью по своему списку, в котором была изложена программа:

1. Высшая власть в школе принадлежит школьному совету, состоящему наполовину из учащихся, наполовину из педагогов. Совет решает, какие предметы преподавать, какие учителя и т. д.

2. Все дела, касающиеся учащихся (прием, перевод в высшие группы, исключение и т. д.), решаются только фракцией учащихся, членов школьного совета.

— Вот за что мы должны бороться! — кричал Дроздович.— Факт!

Список № 5 висел в стороне. Большой золотой крест был нарисован на нем.

«Православные, объединяйтесь!» — так начиналось воззвание. В состав старостата предлагались: Ковалев, Лариса Алферова и другие.

Потом появился список № 6, вывешенный, очевидно, просто из хулиганства:

Нас все знают, за нами все пойдут. Голосуйте за список своих ребят:

1. Руденко Павел, по прозванию «дядя Пуд».
2. Бугаев Трофим, по прозванию «Кулак-могила».
3. Мажаров Алексей, по прозванию «Парень не промах», и т. д.

Списки возникали каждую минуту, вся стена скоро была оклеена ими.

Появился «список девочек», мотивированный тем, что «во всех списках одни мальчишки». Появился «список ячейки веселых ребят», «список ячейки любителей футбола», «список ячейки лунных ванн». Фамилии кандидатов этих списков были вымышленные.

— Это уже издевательство получается! — заволновалась Юлька.

— Ничего, пускай! — усмехнулся Рябинин. Он сейчас целыми днями просиживал в школе.

Алеша все более и более беспокойно ждал конца уроков. Ячейка настояла на том, чтобы он явился на суд.

— Мы сделаем этот суд судом над Ковалевым. Не дрейфь!

— Еще чего! — обижался Алеша и высоко задирал голову.

Но, бродя по коридорам, нетерпеливо прислушивался, что говорят о суде. О суде ничего не говорили. Шумели только о списках.

— Смеются еще или нет? — неожиданно спросил перед последним уроком Ковалев Воробейчика.

— Смеются,— сознался тот и с любопытством посмотрел на Никиту.

«А он-то сам того...— вдруг подумал Рувка о своем шефе и облегченно засмеялся.— А он-то дрейфит, дрейфит»,— чуть не запел он.

— На, повесь! — мрачно сунул ему новую бумажку Ковалев и, согнувшись, ушел в класс.

Ввиду болезни общественного обвинителя тов. Л. Канторовича суд над Гайдашем, обвиняющимся в хулиганстве, переносится на послезавтра.

Послезавтра были перевыборы.

На уроке немецкого языка Алеша вдруг получил записку. Передал сосед по парте.

— От кого? — спросил Алеша шепотом, но сосед пожал плечами в ответ.

— Передали по партам.

Алеша развернул хитроумно сложенный конвертик и вынул оттуда бумажку, вырезанную в форме сердечка. На сердце было написано: «1, 11, 6, 24, 1, 3, 26, 12, 13, 6, 13, 6, 12, 13, 14, 4, 14, 13, 21, 1, 3, 9, 23, 6, 17».

— Что за ерунда,— пробурчал Алеша и скомкал бумажку.

Сосед, заглядывавший искоса в записку, не стерпел.

— А может, шифр? — спросил он нетерпеливо и покраснел, поняв, что выдал себя.

«В самом деле: может, шифр?»

Алеше пришло в голову, что цифры означают порядковые номера букв в алфавите. Он быстро написал алфавит, над каждой буквой поставил номер и скоро прочел записку: «Алеша, вы мне немного нравитес».

— Вот ерунда какая! — вспыхнул Алеша и беглым взглядом окинул класс.

Быстро нашел Тасю. «Она?» Но Тася, поджав губки, смотрела на учителя широко раскрытыми глазами цвета разведенного в теплой воде ультрамарина. «Не она!»

Он снова прочел записку.

«А мягкого знака нет,— машинально заметил он, еще раз повертел записку и побагровел.— Смеются! Ну и черт с ними!»

Он уткнулся в тетрадь, в infinitiv'ы и impenfectum'ы, но заниматься уже не мог,— так хотелось, чтоб это Тася ему написала, и не ради шутки, всерьез.

Во время большой перемены он исподтишка следил за ней, старался попадаться на глаза, встречаться в коридоре, но, встречаясь, небрежно смотрел в сторону: вот, мол, я ни капельки тобой не занят! Это было трудно: хотелось обернуться, посмотреть в теплые глаза Таси, узнать, что она думает о нем. Или шел с товарищем, разговаривая тихо, толково, но вдруг, заметив неподалеку Тасю, принимался хохотать деланным, актерским смехом. Удивленно оглядывался товарищ, равнодушно проходила мимо Тася, поводя остренькими, чуть приподнятыми плечиками; низко опускал залитое краской лицо Алеша и клял себя за глупость.

И вдруг Тася подошла к нему — просто случайно. Он даже вздрогнул от неожиданности, услышав ее вопрос:

— О чем мечтаете, Алеша?

Испуганно посмотрел на нее: «Смеется?»

Беленькое в оборках платьице, бусы на розовой шее, строгий, черный бант в белокурой путанице волос.

«Нет, не смеется!»

Хотел ответить просто, искренне: «О тебе».

Еще зазнается!

И грубо, небрежно ответил:

— Ни о чем! О перевыборах! — Заложив руку за пояс, важно добавил: — Знаете, какие у нас, у ячейки, сейчас горячие дни, и разговаривать некогда.

Ушла удивленная Тася: беленькое в оборках платьице, бусы на розовой шее, строгий бант в путанице волос.

И как они ловко и аккуратно эту путаницу в прическе делают!

Алеша шумно вздыхает и, недовольный собою, уходит в класс.

Ради перевыборов школьного самоуправления были отменены уроки и зал тщательно выметен сторожем Василием. До сих пор подметала «клуб» сама культкомиссия.

Впервые на ученическое собрание в полном составе явились преподаватели. Они неловко топтались на пороге, не зная, где сесть, как вести себя. Школьники растекались по залу, заполняя даже подоконники: учителям были предоставлены места в первом ряду. Но они не заняли их. Было бы похоже на фотографический снимок, сидят справа налево господин инспектор, отец-законоучитель, господа преподаватели, в центре — директор и господин попечитель.

Зинаида Николаевна первая нашла себе настоящее место: ее подхватили под руки школьницы, усадили, окружили ее и стали шептать свои секреты. Между учениками расселись и остальные педагоги.

Заведующий школой и Рябинин сели за стол, накрытый красной скатертью. Даже колокольчик был на столе, даже графин воды. Помощник заведующего школой, Платон Герасимович Русских, тоже зачем-то выкатился в президиум.

Алеша не нашел себе места. Оглядел зал. Невольно увидел: преподаватель математики Хрум сидит рядом с Никитой Ковалевым.

Потом еще увидел: Тася шепчется с Зинаидой Николаевной. Хотелось узнать, о чем. Валька Бакинский сидит рядом с Тасей. Зачем?

Валька замахал ему рукой: вали к нам! Алеша нерешительно потоптался на месте, пошел.

— А-а! Гайдаш! — певучим своим голосом приветствовала его Зинаида Николаевна.— Садитесь, садитесь.

«Почему Зинаида Николаевна улыбается?» — тревожно подумал Гайдаш и искоса бросил взгляд на Тасю. Он знал: школьницы всё рассказывают Зинаиде Николаевне, ходят провожать ее домой через степь на завод Фарке и, обхватив рукой тощую талию учительницы, шепчут ей свои сердечные тайны. Неужели и Тася ей нашептала?

— Вас в премьер-министры, Гайдаш, да? — улыбнулась Зинаида Николаевна.

Алеша небрежно пожал плечами: пустяки, мол,— а сам опять искоса посмотрел на Тасю. Та тихо посмеивалась, слушая Бакинского.

Собрание началось. После вступительного слова завшколой приступили к выборам. Председательствующий Рябинин предложил голосовать не списками, а каждого отдельно.

— Это правильно,— прошептала Зинаида Николаевна,— это демократично.

Несмотря на духоту в зале, она по привычке куталась в ветхую вязаную кофточку. Учительница была худенькая, кофточка просторно висела на ней. И слова учительницы были всегда худенькие, жалостливые. Вся ее педагогическая практика прошла в деревне, в заводских поселках. Дети в драных пимах, в унылых ситцах; мужики, тоскующие по куску земли.

Россия!

— Были великие люди в России,— говорила она вчера на своем уроке литературы: — Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов.— И грустно добавляла: — А вы их не знаете, товарищи.— И еще более грустно: — И даже наших не знаете, современных.

Она затеяла внешкольные сверхпрограммные занятия. Ей не терпелось: она хотела все рассказать школьникам о великих людях их родины. Устраивая литературные суды, диспуты, поручала школьникам делать доклады. Главным ее помощником был Валька Бакинский, которому она предсказывала великое будущее.

— Вы только честно думайте и пишите честно,— говорила она, волнуясь и торопясь.

Она наклонилась сейчас к Бакинскому и спросила его шепотом:

— И вас тоже будут избирать, да?

Бакинский кивнул головой: он был польщен, увидев себя в списках ячейки.

Первым голосовали Гайдаша.

Зинаида Николаевна с любопытством посмотрела на него.

Алексей сидел, чуть подавшись вперед, стиснув зубы и упершись подбородком в кулаки.

«Вот он какой!» — вдруг подумала она испуганно и даже отодвинулась.

И ей непонятно, почему подымается такой шум, когда произносится фамилия Ковалева.

— К черту! К черту его!

— Не голосовать его совсем!

— Доло-о-ой!

Зинаида Николаевна нервно морщится: чем виноват ребенок, что его отец — офицер?

— Поймите же это, Валя, Гайдаш,— шепотом убеждает она их.

Вдруг стихает зал. Ковалев берет слово.

— Чувствуя себя...— произносит он отрывисто и хрипло,— чувствуя себя неспособным работать в этой атмосфере, я прошу снять мою кандидатуру.

Смех и крик перебивают его. Ковалев садится на место, он бледен, но спокоен. Рябинин замечает даже легкую усмешку на его губах и настораживается.

— Прошу! Прошу слова! — подымается Пышный.— Я тоже заявляю себе отвод, так как я перегружен учебой.

— Уважить! Уважить! — кричит, смеясь, зал.— Все равно не изберем.

А Рябинин морщится, он хочет понять: в чем тут дело? Он предоставляет слово Бондареву, кандидату ячейки.

— Я, товарищи,— смущенно говорит Бондарев,— тоже прошу меня вывести из списка. Нет уж, выведите! — раздраженно кричит он и садится на место.

«Саботаж! — соображает Рябинин.— Ну, ерунда!»

— Итак,— произносит он вслух,— итак, голосуем, товарищи!

— Нет, позвольте! — раздаются голоса.— Дайте всем высказаться.

Подымается Канторович:

— Заявляю себе отвод. Занят!

Подымается Алферова:

— Прошу меня вывести из списка. Не хочу, не хочу!

Подымается Воробейчик.

— Что же я? — говорит он развязно.— Что же, я останусь один, когда в списке только малыши теперь? Все товарищи из старших групп отказались. С кем работать? Благодарю покорно!

— Какие малыши остались? Чего плетете? — кричит Рябинин.— Вот Кораблев из седьмой группы.

— Связался черт с младенцами! — выкрикивает кто-то.

Подымается смех. Кораблев ерзает на скамейке. Его сосед Канторович говорит Колтунову:

— Нашему кораблику большое плавание.

Вспыхнув, подымается Кораблев.

— Я тоже... того...— глухо говорит он.— Прошу меня... того...— Он показывает рукой — чик! — как вычеркивают, и садится.

Неловкая тишина замирает над залом.

— Что же это? — растерянно бормочет Зинаида Николаевна.— Что же это?

Алеша забыл о Тасе, о соседях. Лицо его злобно перекосилось. Зубы стиснуты до боли.

— Что это? — хрипит он в ответ.— Это контрреволюция.

Рябинин пробегает глазами список. Никаких высказываний он больше не допустит. Голосовать! Есть еще в списке школьники старших групп.

— Голосуется товарищ Рубан Михаил из пятой группы,— подчеркивает он.— Кто «за»? Опустите! Кто «против»? Прошел товарищ Рубан. Голосуется товарищ Мартынова Варвара.

— Из какой группы?

— Из четвертой.

Смех, обидный, презрительный смех. Торжественное настроение перевыборов сорвано.

— Валяй Варвару! — хохочет зал.

Рябинин темнеет, он упорствует.

— Голосуется товарищ Безбородько Мария.

— Какой группы?

— Третьей,— тихо признается Рябинин, но из зала задорно отвечают сами третьегруппники:

— Она — наша! Нашей группы! Третьей!

— Даешь Марусю!

— Мурочку даешь!

— Показать ее! Показать!

— Не видно!

— Где ее видать: от горшка три вершка.

Невозмутимый, опирается на костыли Рябинин. Они уже жмут ему подмышками, он плотно наваливается на них и ждет. Стихает зал, радостно ожидающий новой кандидатуры.

— Бакинский Валентин! — торжественно произносит Рябинин и, ликуя, добавляет: — Шестой группы.

Молчит зал. Кое-где подымаются руки.

Зинаида Николаевна облегченно вздыхает.

— Ну, за Валю и я голосну! — говорит она и подымает свою худенькую руку, с которой сползает вниз рукав серенькой вязанки.

Валька озирается, как затравленный зверь. Лиловый бант болтается на груди.

«Засмеют,— думает Валька,— проходу не дадут». Медленно и устало подымается он.

— Я не могу,— говорит он тускло.— Я ведь не организатор. Я не справлюсь.

— Справишься, справишься! — злобно шипит Алеша, и Зинаида Николаевна удивленно смотрит на Вальку.

— Что же это? — шепчет она растерянно, и Алеша хрипло отвечает ей:

— Это трусость!

Обессиленный, падает на место Бакинский. Тася отворачивается от него и прижимается к Зинаиде Николаевне.

Та медленно опускает руку. Рукав серенькой вязанки ползет назад.

— Голосуется Арон Хайт, седьмая группа,— неуверенно произносит Рябинин.— Есть ли отводы?

Рыжий Хайт подымается и вытягивает вперед длинную волосатую руку.

— Слова прошу! — говорит он голосом, за который его звали «иерихонской трубой».

— Что? Отвод? — кричат с места, и снова смех ползет по залу.

— Товарищи! — трубит Хайт.— Товарищи! — Он встряхивает рыжими Самсоновыми космами.— Я буду! Я сказал: буду — и буду! А-а! — вдруг яростно оборачивается он к группе, сбившейся около Ковалева.— А-а, вам не нравится? Не нравится? Да? А?

Гайдаш срывается с места, вскакивает на скамейку.

— Да! — звонко кричит он.— Да! Будем! Назло вам, есауловы денщики! Назло! Малыши в старостате? Нехай! А мы будем! Будем!

— Голосуется товарищ Хайт, ученик седьмой группы,— торжественно провозглашает Рябинин.

И вдруг во внезапно наступившей тишине явственно и злобно раздается:

— Парш-шивый жид...

Все головы мгновенно поворачиваются направо: шипение раздалось оттуда.

— Кто сказал «жид»? — тихо спрашивает Рябинин и плотно наваливается на костыли.

Зал молчит, и в тяжелом молчании раздается одинокий всхлип. Это, стиснув зубы, опускается на место Хайт.

— Кто сказал «жид»? — снова тихо спрашивает Рябинин и багровеет.

— Ковалев сказал,— шепотом проносится по залу.— Ковалев сказал.

Зинаида Николаевна приподнимается с места. Она взволнованна и растерянна.

— Это же... Это же...— бормочет она.— Это же погромщина...

— Есаулов сын,— слышит она сзади чей-то шепот.— Чего же! Офицеров сын!

— Гражданин Ковалев,— отчетливо произносит Рябинин,— будьте добры, покиньте зал!

Рябинин ждет.

Ковалев, побледневший и опустивший голову, не трогается с места. Собрание затихло,— кажется, что оно сбилось в маленькую кучку и потерялось в большом гулком актовом зале.

— Товарищ Ковбыш и товарищ Лукьянов! Будьте добры,— сухо произносит Рябинин,— выведите хулигана и антисемита Ковалева из зала.

Медленно поднимается с места Ковбыш. Идет, расталкивая школьников. Он вытянул голову и наклонил ее вперед, как борец, согнутые в локтях руки держит перед собой. За ним идет улыбающийся Лукьянов.

Ковалев синеет. Он хочет поднять голову и закричать властно, презрительно, по-отцовски: «Хамы! Наз-зад!»

Но Ковбыш приближается. Ковбыш не намерен драться. Он просто возьмет Ковалева за шиворот, как щенка, дрыгающего лапками, и вышвырнет из зала.

И тогда собирает Ковалев последние остатки сил, высоко вскидывает голову. «Все равно один конец». Сам идет навстречу Ковбышу.

— Прочь руки! — кричит он презрительно.

Ковбыш нерешительно опускает руки, пропускает мимо себя Ковалева и идет за ним, конвоируя. Расступаются школьники. Ковалев уже за дверью.

— Голосуется товарищ Сиверцева Юлия! — громко произносит Рябинин и добавляет: — Ученица шестой группы. Секретарь школьной ячейки.

Много дней спустя Воробейчик рассказывал товарищу, как шел с этого собрания:

— Ничего не помню, как шел. Только помню — все тряслось: крыши домов, сучья деревьев, травка в канавках. Тряслись, как будто их хотели немедленно расстрелять.

Воробейчик прибежал тогда домой и первым делом захлопнул ставни. Потом запер дверь. Посмотрел, крепко ли запер. Потом стал метаться по комнате, открывал и закрывал ящики, рылся в книгах и бумагах. Потом сел на пол и заплакал.

Утром он, не позавтракав, уходит из дому. Озираясь, идет по улицам. Он знает, чего он боится: боится встретить Ковалева. Боится услышать шаги сзади. Сосновых досок со ржавыми шляпками боится. Столкнуться с Хрумом боится. Все знакомые ему опасны. И незнакомые тоже. Всех — боится Рувчик.

Он бродит по пустому скверу, где почки набухают на коричневых ветках, где первая зелень высыпает на растоптанных газонах, где братская могила зарубленных бандитами большевиков.

Он идет потом в школу. Занятия еще не начинались. Уборщица моет пол, грязная вода течет по ступенькам. Воробейчик идет через лужу. Он идет неуверенно, еще ни на что не решившись. Вот он уже у двери кабинета заведующего. Вот он уже стучит.

«А вдруг там Ковалев? — мелькает несуразная мысль, и потом — другая, более толковая: — Или вдруг там Хрум?»

Он уже хочет уйти, отскакивает от двери, но она открывается, и выходит Алеша.

— Тебе чего? — сердито спрашивает Алеша.— Чего надо?

— Я имею... имею заявление,— лопочет Воробейчик и машинально идет за Алешей.

Тот входит в соседнюю комнату, где сидят уже члены старостата, и молча указывает Воробейчику на стул. Воробейчик садится.

На другой день стало известно: Ковалев исключен из школы.

— Опричники! — этим криком встретила Алферова появившегося в классе Алешу.

Алеша застыл на пороге. Увидел: наклонившись над своей партой, Ковалев собирает книжки. Молча пошел на свое место.

Ковалев не говорил ни слова. Он медленно собирал тетрадки и аккуратно складывал их в свой портфель. Он делал это нарочно медленно и спокойно, зная, что за ним наблюдают десятки глаз. Знал: деваться некуда. Хорошо, если еще не посадят. А впереди что?

Он взял брезентовый портфелик и медленно пошел к выходу.

Вот он на улице. Что впереди?

— Бомбами их, бомбами! — закричал он в бессильной ярости.

И, спотыкаясь, побежал по улице.

После уроков Алеша нерешительно топтался в вестибюле. Вчера впервые ходил он провожать Тасю домой. Как-то так вышло: идти им вместе, по дороге. Правда, только два квартала вместе идти, а потом их пути катастрофически расползались. Но тут уж не будешь считаться. И Алеша смело свернул на Тасин путь.

Сегодня он топтался в вестибюле, поджидая Тасю, чтобы идти вместе. Это очень хорошо — идти вместе с бойко постукивающей каблучками белокурой Тасей, по-мужски снисходительно слушать ее неугомонную болтовню, заботливо предупреждать: «Яма!», «Лужа!» — и, прощаясь, крепко жать ей руку. Потом слушать, как хлопает калитка, как сыто ворчит собака, как с ласковой сердитостью кричит ей Тася: «Ну, ты, Маска!» — и, должно быть, треплет собачью мягкую шерстку. Должно быть, треплет: потому что Маска изнеженно повизгивает, почти мурлычет.

Он долго топчется в вестибюле. Тася задержалась зачем-то в классе. Наконец, она выходит. Алеша вспыхивает. Теперь он не знает, как ему подойти к ней. На беду Тася не глядит в его сторону. Вот она торопливо сбегает с лестницы. Еще одна минута — и она будет на улице, затеряется в толпе школьников, и Алеша не услышит, как она ласково разговаривает с Маской.

Он бросается стремглав вперед, сталкивает кого-то по дороге и подбегает к Тасе.

— Давайте я! — запыхавшись, выпаливает он.— Давайте я! Ваши книжки...

Он хочет забрать ее книжки и уже протягивает руку, но Тася испуганно отдергивает их.

— Нет, нет, пожалуйста,— лепечет она,— пожалуйста, пожалуйста! — и прижимает к себе книжки, словно боится, что он их отберет силой.

— Но почему? — удивляется Алеша.— Почему?

Тася останавливается и торопливым шепотом произносит:

— Вы жестокий человек, Алеша. Нет, нет! Пожалуйста, не обижайтесь! Пожалуйста! Я не могу дружить с вами.

Она уходит, испуганно постукивая каблучками, и Алеша, потупившись, смотрит ей вслед.

Потом он невесело усмехается, медленно спускается по ступенькам.

Шумная толпа школьников бушует вокруг него.

Теперь Алеше кажется: враги кругом, одни враги.

«Ладно,— думает он,— ладно! — Высоко подымает голову и идет через толпу.— Ладно! А школу очистим от ковалевщины. Очистим! Очистим! Очистим!»

Он уже на улице.

— Очистим, очистим! — бормочет он и идет, громко стуча по тротуару сапогами.

Но ему тоскливо, очень тоскливо. И досадно. И потом: злость кипит в нем. И еще: обида. А он все-таки высоко задирает голову. Он все-таки идет, остро выпячивая вперед плечи.

«Сунься, враг! — выдвигает он плечо.— Сунься-ка!»

Он прошел уже центр. Окраина. Заводская улица — тихая по вечерам, со скрипучим журавлем посредине, застенчивая улица с черными силуэтами смущенно-голых акаций, с косыми ставнями на слепых окнах.

Легкий ароматный дымок плывет над улицей: поспевают самовары.

Непонятно отчего, неизвестно откуда, вливается в Алешу спокойствие. Становится ленивее и легче шаг. Вольнее дышится. Хочется почему-то смеяться. А потом хочется плакать, но не горькими слезами, а неожиданными и теплыми, как летний слепой дождь в солнечное белое утро.

— Пахнет, пахнет как! — растерянно шепчет Алеша и вдруг с удивлением замечает, что тополя действительно серебряные, а хатки голубые.

«Чепуха!» — удивленно думает он, и ясная, счастливая улыбка,— должно быть, такая, как тогда у Рябинина,— появляется на его губах. А над губами ранний пушок, неуверенный и уже неистребимый! Но Алеша не вспоминает сейчас Рябинина. О Рябинине не думается совсем. И даже о серебряных тополях недолго думает Алеша. Большие невысказанные мысли волнуют теперь его, огромные и невысказанные чувства. Вот охватить все, обнять, потрясти, подбросить на горячих ладонях, переставить с места на место. Делать! Делать! Делать что-то немедленно, сейчас, сию минуту. Скорее, скорее, скорее! Торопиться!

Гнать! Тянуться вверх, так, чтобы кости хрустели. Хрустели, хрустели, ломались кости чтоб! Пусть сломаются, если никчемные,— к черту! Пусть выпрямятся, если годные для дела! Жизнь! Она вся вот: мять руками, как глину, лепить, какую хочешь, на свой лад. Ах, как некогда! Как уходит время! Вот упала звезда. Блеснула — и нет ее. Вот эта минута ушла. Стой — ее не вернешь. Ни за что! Ну как об этом он раньше не думал! Почему раньше не было этих больших мыслей?

Голубые хатки никнут перед Алешей, серебряные тополя братски протягивают ему голые ветви, как руки.

«Давай, брат, пожмем друг другу пять,— говорят они.— Ты теперь, как и мы: большой. Давай, брат!»

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1

Большие и малые события происходят на земле. В Поволжье засуха. Под Ямполем разоружена банда в пятьдесят сабель. Италия признала РСФСР. Алешу избрали председателем школьного старостата. В Белокриничной поставили домну на сушку.

Да, наконец, поставили домну на сушку. Всю зиму шла здесь горячая работа. Мастер Абрам Павлович носился легче стрелы и кричал:

— Еще немного, атаманы-молодцы, еще немного, ну-ка! Ну, взя-ли! Ну, ра-зом... Ай да мы!

Он легко взбегал на колошник, ползал по рыжему кожуху печи, щупал заклепки, обводил плохие мелом, писал рядом: «исправить», «зачеканить», «заклепать».

Ветер раздувал его пушистые лихие усы, мастер подкручивал их на ходу или пускал по губе свободной, падающей вниз струей. Внизу качалась земля. Люди копошились на ней. Сверху они казались приплюснутыми, словно распластанными на земле.

— Ай да мы! — кричал мастер.— Что делаем! Ай да мы!

По вечерам, когда на домне чуть стихала работа, он говорил Павлику:

— Ну, а ты иди! Иди бегай! Ты бегать должен. Тебе рабочий день кончился...

Сам он оставался на печи.

Павлик надевал чистую рубаху и отправлялся на окраину, к ветхому домику Баглия.

Смущенно стучал в окошко.

— Кто там? — спрашивал девичий голос.

— Я,— признавался он.

Ему открывали. Он входил. На пороге долго возился, счищая грязь с сапог, потом проходил в комнату. Дядя Баглий был еще на домне. Галя шила; девочки — Оксана и Настенька — возились на полу.

— Уже колошник кончают,— произносил Павлик и садился на табурет возле стола.— Дня через три кончат.

Он выкладывал Гале все заводские новости. По дороге он видел объявление, что в кооператив на днях привезут сельди.

Она слушала его, продолжая работать.

— Правда ли, что вот у нас сейчас день, а в Америке ночь? — спрашивала она вдруг.

— Говорят, правда...

— А что, можно такую машину придумать, чтоб она все сама делала: и стирала, и полы мыла, и белье чинила? Я думаю — нельзя.

— Машину всякую придумать можно,— оживлялся Павлик.— Можно такую машину придумать, чтоб была как человек. Если б я был ученым, я бы придумал. Надо взять цилиндр, в нем поставить мотор, чтоб все двигал. Два поршня — руки, два поршня — ноги. В общем, это можно придумать.

Потом он переходил на свою излюбленную тему: дяденька обещал вчера, что как только печь кончат, он поставит Павлика к станку.

— Слово дал...

— Абрам Павлович слову хозяин, я знаю.

— На токаря надо два года учиться. Через два года я стану подручным. Потом токарем. Потом мать сюда выпишу...

Галя молча кивала головой.

Просидев так час, он вставал, брал шапку и говорил:

— Ну, я пойду.

Галя провожала его до калитки.

— У Оксанки жар,— озабоченно говорила она.— Не захворала ли?

Когда Павлик удалялся, она кричала ему вслед:

— Ты заходи, Павлик!

Павлик брел в темноте, шлепая сапогами по грязи.

«Такую машину придумать можно,— рассуждал он.— Вот время будет, возьмусь, сделаю...»

В конце марта печь поставили на сушку. Рабочие ходили вокруг нее и сами удивлялись: как это они могли, голые и голодные, в лютые морозы, без нужных инструментов и материалов, смастерить такую красавицу?

— Что люди могут! — удивленно качал головой дядя Баглий.— Ах, люди!..

Он нежно смотрел на домну, ласково называл ее «наша печурка».

Строителей домны чествовали. В нетопленом клубе состоялось торжественное собрание. Председательствовавший на собрании секретарь партийной ячейки завода Никита Стародубцев дул на зябнущие руки и говорил о героизме слесарей и котельщиков. Павлик внимательно слушал, и ему казалось, что Стародубцев говорит не о дядьке, не о Баглии, не о нем, а о каких-то других, действительно замечательных людях. И он невольно оглядывался: где же они?

Потом прочитали список лучших работников, восстанавливавших печь. С удивлением слушал Павлик, как Стародубцев скороговоркой произнес:

— Гамаюн Павел.

— Абрам Павлович,— поправил кто-то из зала,— его уже читали...

— Нет,— засмеялся Стародубцев,— еще один Гамаюн есть. Павел Гамаюн — нагревальщик заклепок.

Все зааплодировали, а Павлик смутился и покраснел.

И тогда ему вдруг захотелось, чтоб время — назад, и чтоб лютые морозы снова, еще лютей, и чтоб ни крошки хлеба, ничего: ни горячего кипятка в кондукторском чайнике, ни инструментов, ни железа. Голыми коченеющими руками двадцать четыре часа в сутки,— сон к черту, отдых к черту,— голыми коченеющими руками, ногтями царапать раскаленное от холода железо!

«Мы все сможем! Все сможем! — хотел закричать Павлик Никите Стародубцеву, зябко кутающемуся в рыжий полушубок.— Дайте нам еще печь. Пусть разваленная она будет, как хижина на меловой горе. Дайте ее нам! Голыми руками сделаем. В лучшем виде».

Потом Стародубцев объявил, чтобы названные в списке товарищи вышли на сцену, и дядька, взяв Павлика за руку, пошел с ним через зал.

И когда Павлик шел через большой зал бывшего директорского дома, он думал только об одном: как бы спрятать от всех свои рваные сапоги. Попав на сцену, он спрятался за широкую спину мастера.

Через несколько дней после собрания Павлику дали отпуск.

— Поезжай, поезжай,— сказал ему мастер,— а приедешь, мы тебе дело найдем. Ты теперь герой.

Павлик поехал проведать мать и ребят. Полгода не видел он товарищей: какие они стали? Столько воды утекло! Столько соли съедено! Так вместительна была Павликова жизнь в Белокриничной, что ему казалось: другая жизнь была когда-то далеко-далеко...

А потом вдруг начинало казаться, что все это было только вчера. Только вчера он ехал в Белокриничную искать удачи и так же вот висел на подножке переполненного вагона-теплушки, те же тусклые степи бежали мимо, те же дивчата гуляли по перрону, с любопытством поглядывая на пассажиров.

Конечно, и Алеша и Валька сразу узнали Павлика. Конечно, и он их сразу узнал. Алеша был такой, как всегда: худой, черный, резкий. Валька такой же кудрявый и курносый.

И все-таки изменились они. В чем была перемена — Павлик не знал, но видел: стали ребята чуть-чуть другими. А он?

— Работаешь? — ласково спросил Алеша, пожимая ставшую уже шершавой руку Павлика.

— Работаю,— тихо ответил тот и, заметив любопытство друзей, смущенно добавил: — Вот домну кончили...

Они глядели на него с уважением. Он почувствовал это. Ему захотелось тогда рассказать, как строили печь, как трещали над домной морозы, как потом чествовали всех. Хотел рассказать о дяде Баглии, о мастере, о Никите Стародубцеве и о себе тоже, но не знал, с чего начать, и пробормотал только:

— А я заклепки грел...

Вальке понравилось слово «заклепки». Он решил написать стихи о своем друге Павлике, клепающем домну, и кончить, может быть, так: «Клепай же печь неутомимо, а я слова буду клепать», или иначе как-нибудь в этом духе.

— Ну вот,— протянул Алеша,— а я безработный...

Павлик сочувственно вздохнул.

— Да,— сказал он и откашлялся в руку.

Больше всех говорил Валька. Он вспоминал мелкое, детское, то, чего даже не помнили друзья. Как-то красивее и аккуратнее получалось все в его передаче.

— Да не так это было,— качал головой Алеша.

Он вспоминал: все было проще и грубее. Впрочем, он и сам сомневался: а может быть, и так. Во всяком случае, факт похожий был, а Валька расцветил только немного.

Вечером они пошли на школьный спектакль. Перед спектаклем было собрание. Валька сидел рядом с Павликом и все время смущенно прятал от него лиловый бант на своей толстовке.

Алеша председательствовал серьезно и строго. Он яростно звонил. Он предоставил слово заведующему школой. Он вспоминал о регламенте. Собрание хотя и шумело, но слушалось его. Павлик смотрел на товарища широко раскрытыми глазами.

«Ишь какой он стал»,— подумал он с уважением.

— Видишь девочку в голубой блузке? — вдруг шепнул Павлику Валька.— Вон, вон... сейчас около двери идет... Это Алешкина любовь: Тася.

Павлик посмотрел на девочку в голубой блузке. Она приближалась к выходу.

— А это она с моей девушкой сейчас разговаривает, с Мариной,— шепнул Валька.— А у тебя любовь есть, а? — и он толкнул приятеля в бок.

Тот смутился.

— Тоже еще выдумаешь! — пробормотал он, но все-таки невольно вспомнил Галю.

Еще более смутившись, он посмотрел на Тасю и Марину,— девочки были в нарядных блузках, заправленных в коротенькие черные юбочки. У Таси был даже галстук. Марина — в лихой клетчатой кепке.

И опять Павлику вспомнилась босоногая Галя в большой материной кофте. Он искоса посмотрел на Валькин лиловый бант. Бант ему определенно нравился.

Днем Павлик работал по дому: починил дверь, приделал дверные ручки, сколотил табуретку, взялся запаять трещину в кастрюле. Вечером он зашел к ребятам. Обнявшись, они втроем бродили по улицам, тихо пели, разговаривали. Алеша рассказывал Павлику о школе, ему обязательно хотелось поделиться с Павликом своими знаниями. Он стал растолковывать ему закон рычагов.

— У вас на заводе ведь это есть.

Павлик внимательно слушал, удивлялся Алешиной учености и, когда тот кончил, сказал, желая поддержать разговор:

— А у нас не рычагом, у нас напильником...— Увидел удивленный взгляд Алеши, густо покраснел и пробормотал: — Я не знаю... я недавно...

Алеша потащил его в комсомольский клуб. О комсомоле Алеша говорил много.

— Сам я еще не комсомолец,— сознался он,— но скоро буду. Я пока в детской ячейке.

Павлик был и на собрании ячейки. Он всюду ходил за своими друзьями. Он сознавал: они знают больше него. Что он умеет, кроме как нагревать заклепки?

Ребята шумно говорили о будущем: города и страны мелькали в их небрежной беседе. Словно вот в руках у мальчиков земля, и они выбирают себе место на ней. Домик с зелеными ставнями,— где он на этой земле? Павлик сразу вдруг соскучился по работе, по заводу, по дядьке. Отпуск казался ему тяжелой ношей, которую нужно скорее сбросить. Дома он переделал всю работу. Нужно ехать. Как и осенью, ребята провожали его, махали кепками и кричали вдогонку.

Дядька встретил его удивленно и радостно.

— Что рано так? — спросил он племянника и хитро прищурился.— А-а! Наша у тебя порода! Меня не обманешь! — и погрозил ему пальцем.

Утром он торжественно сказал племяннику:

— Ну, пошли! — и важно двинулся вперед.

Павлик шел за ним и гадал: куда теперь поставит его мастер? Может, вторую домну начали ремонтировать? Опять заклепки греть? Но мастер шел молча, его крутой затылок плотно осел на воротник тужурки, голова сидела властно и гордо. Встречные предупредительно раскланивались с ним:

— Наше вам, Абрам Павлович!

А мастер и племянник шли дальше. Вот пришли они к контрольным воротам, вот сторож в брезентовом плаще, вот заводской двор, заваленный хламом. Мастер направляет свои шаги в механический цех. У Павлика екнуло:

«Неужели?»

Они входят в механический цех, идут мимо длинного ряда станков: мастер все такой же молчаливый и важный, Павлик — взволнованный. Они проходят токарный отдел, идут мимо сборки, вот и конец цеха.

— Тут,— говорит мастер, и Павлик растерянно оглядывается.

Ничего нет кругом: поломанный верстак и кучи железного хлама.

У него вырывается невольно:

— Тут нет ничего...

— Будет! — отвечает ему спокойно мастер.— Будет! — Он стягивает рукавицы и кладет их на пустой поломанный верстак.

Через неделю здесь открылась первая на заводе ученическая мастерская.

2

Алеша теперь целыми днями пропадал в школе. Жажда кипучей деятельности охватила его: ему хотелось взять щетку, вот такую, какой бабы стены мажут, взять и выбелить всю школу от первой до последней комнаты. И коридор тоже. Чтоб блестела школа, как новенькая.

Он все хотел сделать сам. Вмешивался в работу культкомиссии, лез прибивать портреты и лозунги в клубе, вместе с группой школьных художников взялся красить сцену. Обрызганный краской, он стоял посреди зала и отряхивался. Не было человека счастливее его.

Потом он затеял организацию школьного коопера-

тива. Носился с планами, прикидывал, как добыть средства, бегал по учреждениям, уговаривал заведующего. Когда кооператив открылся, Алеша разочаровался: ему нельзя было стать там продавцом, не хватало времени. Иногда он все-таки приходил туда и кричал, воображая себя купцом:

— Ну, налетай, навались, у кого деньги завелись!

Для ячейки деткомгруппы он тоже добыл комнату. Ячейка теперь стала большой организацией, в нее валом валили школьники. Алеша появлялся здесь на минуту, он всегда что-нибудь тащил в ячейку: плакат, бумагу для стенгазеты, материал для знамени.

Самым странным было то, что он все-таки успевал учиться. У него снова появился вкус к учебе. Ему нравилось говорить себе вечером:

— А я вот еще это узнал сегодня.

Он признавался себе иногда, что полученные за день знания ему ни к чему.

— Ну зачем мне знать, что ромашка принадлежит к семейству сложноцветных? — пожимал он плечами.

Но все-таки он узнавал это, узнавал еще многое другое, нужное ему или ненужное, но он тщательно прятал добытое в копилку памяти.

Как-то незаметно для себя Алеша сделался первым человеком в школе. У всех было к нему дело. Все шли к нему, в шестую «А». Толпились около его парты. Совали какие-то бумажки, заявления, списки. Культкомиссия приносила смету, кооператоры — отчет, драмкружковцы — пьесу на просмотр, секретарь старостата — протоколы на подпись...

По предложению Алеши, старостат скоро был переименован в исполнительный комитет учащихся. Алеша назывался теперь председателем исполкома. Это звучало гордо.

Тася сама выкинула белый флаг перемирия: подошла и, потупив глаза, сказала, что если им вместе идти домой, то она готова. Алеша удивленно посмотрел на нее, потом нерешительно протянул руку за книжками, она доверчиво отдала ему, и они пошли.

Так велико было раскаянье Таси, что она даже согласилась погулять немного около калитки.

— Только немного,— торопливо предупредила она.

Они гуляли до часу ночи, и Алеша впервые за свою жизнь поцеловал девочку.

Поцеловал — и испугался: обидится Тася. Но Тася не обиделась. Она вздохнула глубоко-глубоко и сказала:

— Вы не умеете целоваться, Алеша. Ну, я выучу... хорошо?

И Алеша терпеливо обучался искусству целоваться. Он не обнимал Тасю за шею и старался не тыкаться носом.

— Я на тебе женюсь,— сказал он ей однажды.— Только вот вырастем оба...

Он был твердо уверен в том, что полюбил Тасю на всю жизнь. Он раскрывал перед нею свои планы.

— Вот кончим школу,— рассуждал он,— и поженимся. Уедем отсюда.

Они бродили, прижавшись тесно друг к другу, беседа их часто переходила в горячий шепот. Был май.

— Кем же ты будешь?

Алеша не знал. Разве это важно? Он знал, что будет большим человеком. Сейчас, после избрания его председателем учкома, он совсем твердо верил в это. Возможно, он будет большим администратором, руководителем чего-нибудь такого гигантского, комиссаром, что ли, или председателем...

Но Тася однажды сказала, качая головой:

— Прежде чем ты не станешь хорошо зарабатывать, папа не отдаст меня.

— Папа? — удивился Алеша.— При чем тут папа? Я же не на папе женюсь...

Тася обиделась.

Но обычно они разговаривали дружно. Бродили и говорили. Говорили и бродили. Это очень хорошо: бродить вдвоем и говорить, говорить, говорить...

Когда у Таси уставали ноги, парочка находила где-нибудь около чужих ворот скамеечку. Их часто гнали отсюда. Тася тогда прятала смущенное лицо в воротник, а Алеша надвигал на нос кепку и бурчал под нос:

— Скамейки им жалко!

Они бродили так до «дворников», до тех пор то есть, пока не появлялись дворники и не начинали мести улицу. Это значило, что скоро начнет светать.

Тогда испуганно убегала домой Тася, а Алеша пускался в длинный путь: домой, на Заводскую. Его шаги гулко цокали на камнях пустынной мостовой, и Алеша вспоминал, улыбаясь, как в детстве привязывал к босой ноге железки, воображая, будто они звенят, как шпоры,

малиновым, лихим звоном. Ему нравилось сейчас ухарски поцокивать подковами сапог; молчаливые здания, запертые магазины, мастерские, парикмахерские, необычайно чистенькие в этот предрассветный час, почтительно слушали это цоканье.

«Хорошее имя: Тася! — думал Алеша.— Та-ся... Та-сёк... Как это полностью будет? Таисия? Нет, вряд ли. Надо будет со временем перебраться сюда, в центр. А то ходить к Тасе далеко.— Потом засмеялся: — Вот чудак! Я ж тогда вместе с Тасей жить буду, и никуда ходить не надо. И мы уедем. Куда? Го! Столько городов есть, я нигде не был! Вот, говорят, Мариуполь — хорош городок. И море там и порт. И отсюда недалеко. Вот в Мариуполь. Или в Москву. Нет, это здорово будет — в Москву! Да... в Москву... Ленина увидать. Ильич, какой он в жизни? Наверное, старее, чем на портретах. Старый-старый, наверно. Вот его увидать. Подойти и сказать: «Владимир Ильич...»

Как Алеша попадет в Москву? Очень просто. На съезд. Очень важный этот съезд. Съезд, скажем — съезд комсомола... Или нет: партийный съезд. Алеша, понятно, партиец. Итак, съезд. Люди, сколько людей! Автомобили, мотоциклеты, трамваи, конечно... Милиция... Съезд, ясно, в Кремле. Вот Алеша приехал. Выходит на перрон, озирается. «Как, спрашивает, на съезд проехать? Я не здешний».— «На съезд? Пожалуйста, товарищ». Машина. Сели. Мчатся. Улицы, театры, музеи, магазины. Все это уже где-то видел Алеша. Где же он видел? Снилось? Ах, да! В кино видел!

Потом съезд. Вот Алеша берет слово.

«Товарищи! — говорит он, и все затихают, слушая его.— Товарищи!» Ну, дальше он говорит что-нибудь интересное. Сейчас он, конечно, не знает что, но там видно будет. Во всяком случае, ему аплодируют. Он хочет идти на место, но к нему вдруг подходит Ленин. Да... сам Ильич... Он не такой, как на портретах. Он старый-старый. Седой весь. И борода седая. А глаза молодые, прищуренные. «Вы, товарищ Гайдаш,— говорит он Алеше,— идите-ка сюда. Вы мне о себе расскажите». И Алеша начинает рассказывать. Об отце, кашляющем в руку. О граммофоне. О том, как спиртные склады горели. О совнархозовском пайке. О школе. И вот уже ему больше нечего рассказывать, короткая у него жизнь. И Алеше становится стыдно: на фронте

не был, в боях не был, не ранен, ордена не имеет... Да... А ведь у всех делегатов, у всех ордена. У одного Алеши нет ордена. Нет и нет. Откуда он у него будет?!

Алеша растерянно смотрит на небо,— оно бледнеет, край его дрожит мелкой рябью, там происходят сейчас большие события: готовится к выходу солнце. И по всей улице дрожат бледные тени, они бьются, трепещут на камнях мостовой: не то ожидают рассвета, не то боятся его. Алеша рассеянно смотрит на небо.

А Мотя с орденом... Вот он идет. «Здоров, Алеша!» У него орден. И красная ленточка подложена. Да. И Ленин смотрит и говорит Моте: «Такой молодой, а у вас уже орден».— «Да,— отвечает Мотя,— я четырнадцати лет ушел в армию». Алеша тогда говорит краснея: «Он, товарищ Ленин, старше меня на два года. Я не успел».— «М-мда... вот именно... Ну, так...»

Алеша пытается отмахнуться от неприятных мыслей. Он начинает по-новому.

«А вы хорошую речь произнесли,— говорит Алеше Ильич.— Где вы учились?» Тут Алеша ему рассказывает о школе, как учился, как боролся с ковалевщиной. Рассказывая, он бросает на Мотю торжествующий взгляд и небрежно заканчивает: «И эту контрреволюцию мы в школе сломили с корнем».

Ну, Ленин жмет ему руку. Все делегаты жмут ему руку. Потом начинаются выборы. Кто-то кричит: «Гайдаша! Гайдаша!» — «Ну, я голосую за Гайдаша»,— говорит председатель. А Алеша опускает голову, чтобы не видеть, как голосуют. Он краснеет, как и тогда, на школьных выборах. Потом он слышит: «Прошел Гайдаш!» — и подымает голову.

Ну вот! Потом Алеша переезжает в Москву! И Тася с ним. Мать Алеши тоже. И братья маленькие. А отец? Ну и отец. Только Алеша говорит ему: «Ты, отец, свои молитвы и псалмы брось! Мы будем в Москве жить, там этого не любят!» Вот. Квартиру дали Алеше хорошую. Каждому по комнате. Отцу с матерью — комнату. Алеше — комнату. Тасе — комнату. Потом автомобиль. Потом телефон дома. Потом портфель, большой, желтый, с пряжками. Да. А потом Алеша в командировку едет. Вот ездил-ездил, приезжает. Выходит из вагона. Тася встречает, целует, а Алеша небритый, усталый, пыльный. «Как ты похудел!» — говорит

Тася и опять целует. Вот они едут в своей машине домой. Вот приезжают. Завтрак.

И тут Алеше вдруг становится скучно. Что в самом деле: автомобили, портфели! Почему-то опять вспоминается Мотя. Он в рваной рубахе, в фуфайке нараспашку, в шлеме с ободранной матерчатой звездой. Мотя такой, как на карточке, которая пришла Алеше в заблудившемся письме.

Нет, не так. Алешу избирают на съезде, но он говорит: «Нет, товарищи, я на фронт пойду!» Да!.. На фронт?.. Но фронтов нет. Нет фронтов. Нет... Опоздал Алеша. Опоздал.

Он опять посматривает на небо. Там тают звезды, как снежинки в теплый зимний день.

Нет! Вот как: он едет на Запад. Едет делать революцию. Да, да! И Тася с ним. Вместе едут. Вот они в подполье. Жандармы ищут Алешу. Но он искусно прячется от них. Ездит по заводам, подымает стачки. Вот восстание, революция, баррикады. Алеша на баррикадах. «Умрем или победим!» — кричит он и размахивает знаменем. Полицейские открывают огонь. О, Алеша дорого продаст свою жизнь! Он бросается на жандармов. Раз-раз, раз-раз... Но предательский удар в спину — и Алеша падает. Он смертельно ранен. «Товарищи,— говорит он слабеющим голосом,— боритесь и не сдавайтесь!» Тася наклоняется над ним, плачет и целует. Потом похороны, почетный караул. Знамена, салют...

И Алеше становится жаль себя до слез. Такой молодой, здоровый, хороший в сущности парень — и погиб от дурацкой пули.

Нет, его ранят, но он не умирает. Он лежит, истекая кровью. Тася, конечно, целует его, а рабочие переходят в наступление, бегут, бегут, кричат: «Ура, ура!..» Дрогнули жандармы. Войска на стороне рабочих! Мировая революция! Победа! Знамена, целое море знамен. Несут Алешу, он ранен, но жив. «Да здравствует мировая революция! Да здравств...»

Сам не замечая того, Алеша уже не идет, а бежит. Сапоги его выстукивают бурю. Дрожащее предзорье стоит над городом.

Он мечтал о будущности государственного деятеля, которому подвластны судьбы стран и народов, его будоражили горячечные сны, наполнявшие его надеждами

и беспокойством, а наяву он томился в длинной очереди безработных, и гроза биржи — Васька Косой, байстрюк с перевязанным глазом, кричал ему, хохоча: «Эй, малец! Ставь бутыль самогону — будет тебе работа...» Но у Алеши не было самогона.

Отец с каждым днем все сердитей бурчал под нос свои псалмы. Вместе с сытостью улетучилась из дому и кротость. Отец еще ничего не говорил Алеше, но уже ворчал. И Алеша еще яростнее искал работу.

В 1922 году это было нелегким делом.

Юноша сегодняшних дней — дней сталинских пятилеток — прочтет рассказ об Алешиных мытарствах, как отрывок из древней и, может быть, малопонятной ему истории. Сам он не знал и никогда уже не узнает безработицы, не увидит частного хозяйчика; все дороги в жизнь распахнуты перед ним широко и заманчиво.

А Алеше приходилось туго.

Весь день Алеша толкался в двери других мастерских. Но везде ему или отвечали отказом, или ехидно отсылали на биржу, или неопределенно говорили: «Зайдите, этак, днями...»

В школу Алеша не пошел, домой тоже. Ночевать он отправился к Ковбышу. Лежали с Федькой Ковбышем на крыше, разговаривали:

— Убежим на Волгу! — уговаривал Федька.— Наймемся в грузчики: там народ нужен, а? Как считаешь?

Алеша качал головой.

Наутро он снова пустился в поиски. На перекрестке он увидел телегу, на которой стояли корзины с бутылками фруктовой воды. Алеша ударил себе по лбу:

— Го! Вот где нужны рабочие! Как же я-то?

Он побежал искать «лимонадный завод» и скоро нашел его. Сладкий, липкий запах встретил его здесь. Еще пахло почему-то мылом. Кучка людей громко спорила около входа.

— Ситро «Дюшес»! — кричал один.— «Дюшес» — какие тут могут быть разговоры!

— «Дюшес»! — смеялся другой.— Еще скажете: «Бумажный ранет»! Аполлон Иванович, вашему вниманию только «Греза», и это выразительно, как я не знаю что! Это говорит само за себя, как наше ситро...

— А я говорю, Аполлон Иванович, надо просто,—

убеждал третий,— надо по-деловому и без дураков: «Натуральный ситро на чистом довоенном сахаре». Как вы думаете, а?

Маленький толстяк с огромной гривой волос кричал:

— Не, не! Не подходит!

Он чмокал жирными и большими, как оладьи, губами (казалось, что на них шипело масло), и Алеша решил: это хозяин.

Алеша пошел за ним.

— Товарищ хозяин!

Не оборачиваясь, хозяин вошел в свою контору и закрыл дверь перед самым Алешиным носом.

Но Алеша решил не отступать.

«Ну, выгонит — выгонит!» — беспечно подумал он и осмотрелся, как человек, готовящийся к бою. Кругом стояли ящики с бутылками, валялась солома, обрезки проволоки, пробки, было грязно и сыро.

Алеша смело толкнул дверь конторки и вошел. Хозяин был один. Он с ногами забрался в большое пузатое кресло, украшенное позолоченной резьбой. В конторке было грязно: на убогом письменном столе в беспорядке лежали счеты, ножницы, какие-то бумажки, наклейки, шпагат. Стекло в окне разбито, пол давно не метен. Зато кресло было замечательное. Алеша не видел никогда таких: не то оно кресло, не то диван, не то карета боярская.

— Товарищ хозяин! Я насчет работы...— Алеша считал себя в эту минуту большим дипломатом: желая задобрить хозяина, он говорил ему «товарищ». «Сволочь ты, а не товарищ,— думал он в то же время.— Я насчет работы, товарищ хозяин!»

«Товарищ хозяин» не пошевельнулся.

— Я грамотный,— продолжал Алеша,— семилетку кончаю. Нужда только и заставляет... Я все могу делать.

Опять не пошевельнулся.

— Я умею считать,— продолжал Алеша теряясь,— алгебру, геометрию прохожу. Физику тоже... Вам я пригожусь. Химию тоже... По физике мы уже механику прошли...

На толстых губах Аполлона Ивановича родилась улыбка.

Алеша увидел ее и повеселел. Он считал себя уже служащим завода.

— Да? — приветливо улыбнулся Аполлон Иванович.— Уже механику? И химию? И бином Ньютона, и, может быть, астрономию, и климатологию? И бактериологию? И ботанику? — Он вскочил на ноги и, хлопнув ладонью по столу, закричал:— Бутылки мыть!

Алеша растерянно попятился к двери.

— Эй, вы, как вас, товарищ физик! — закричал ему вдогонку хозяин.— Я нанимаю вас! Да, нанимаю. Бутылки мыть. По всем законам науки и техники. А? Идет? — И он расхохотался вслед убегающему Алеше.

Поздно вечером побрел Алеша домой. В школе он опять не был, но и к Ковбышу не пошел. Ему хотелось только одного: спать! Все остальное — завтра.

Он постучал осторожно в окошко.

«Только бы не отец!» — мелькнуло в голове. Но дверь открыл именно отец. Он распахнул ее широко и радушно, словно для дорогого гостя. Держа над головой фонарь, он застыл на пороге.

Алеша съежился и проскользнул в дверь. Отец медленно опустил фонарь и шумно задвинул засов.

«Неужто бутылки мыть? — подумал тогда Алеша и, расстелив на сундуке тулупчик, стал готовить себе постель.— Неужели бутылки?»

3

Отличная весна в этом году, отличный май.

Может быть, потому, что впервые за восемь лет не было ни фронтов, ни банд, ни выстрелов за околицей, ни санитарных поездов на вокзалах. Даже наверное: именно поэтому люди увидели, какая это замечательная и кроткая пришла весна. Передовая в газете начиналась так: «Горняки Донбасса! Худшее осталось позади...»

В эту весну Алексей входил взрослым парнем. Его руки уже знали тяжесть труда, а ноги — горечь безработицы. Его губы уже знали солоноватый вкус девичьих поцелуев. Нет, правда! Он сразу вырос в эту весну.

Раньше он брал весну на зуб. Весна несла с собой душистые лепестки акаций, их можно было есть. В скверах на серебристой маслине в июне появлялись маленькие, шершавые на ощупь плоды, продолговатые косточки, покрытые кожицей. Маслины не вызревали здесь, но и то, что получалось, годилось в пищу. Слад-

коватая кожица вязла на зубах; косточки выбрасывались.

А шелковица? Она беспризорно росла в стороне от вокзала, в почти вырубленном саду какого-то заброшенного имения. Разве есть что-нибудь слаще шелковицы?

А дикий терн, от которого зубы становятся синими?

А вишенки, щербатые вишенки, искрасна-черные, как тлеющие угольки?

Алексей брал весну на зуб, на вечно голодный, острый зуб. Ему не было дела до цветения и ароматов весны, он был парень практичный и голодный.

Но сейчас, бродя с Тасей по запущенному скверу, он вдруг почуял какой-то пряный, до жути знакомый запах. И не мог вспомнить, что это. Запах густел, наливался силой, наполнял все вокруг, запах становился тяжелым и плотным, осязаемым, как кисель. Вот уже все кругом облито этим буйным ароматом, в котором к острой, приторной сладости вдруг примешалась едкая горечь.

Цвели маслины...

Серебристые ветви тянулись к Алеше, царапали его куртку. Алеша впервые увидел, что маслина цветет ясным, желтым, как огонек, цветом,— и тогда он вдруг наклонился, бережно сломал ветку и церемонно преподнес ее Тасе.

И покраснел.

А Тася взяла, смущенно повертела ветку в руках и уткнулась в цветы сморщившимся носиком.

Отличная это была весна и отличный май!

По вечерам ребята ходили за город в лесок. Алеша прихватывал с собой Вальку. Шел неизменно и Рябинин; у него зажила нога, он отбросил костыли и ходил теперь, чуть прихрамывая и опираясь на палку. Ему уже давно пора было бросить возиться со школьниками и, закинув ноги на плечи, идти искать настоящее дело. Но он все откладывал и откладывал. Ребята крепко привязали его к себе. Он ходил с ними по вечерам в лесок, разжигал костры, лежа ничком на сырой земле, раздувал пламя.

А ребята растекались по лесу, прятались за стволами деревьев, пели, баловались, разыскивали цветы. Юлька неслышным, легким шагом скользила по тропинкам. Она хваталась руками за тонкие стволы деревьев, за гибкие ветви орешника, шуршала листвой.

— Это что? — насмешливо спрашивала она у Алеши и раскачивала над его головой ветвями.

— Дерево,— ворчливо отвечал Алеша.

— Сам ты дерево! А какое дерево?

Алеша пожимал плечами. Все деревья были для него на один лад: дерево — дрова.

Юлька, став на цыпочки и покраснев от напряжения, срывала с ветки лист.

— Какой лист? — спрашивала она у Алеши и сама отвечала:— Кленовый это лист. Видишь, лапчатый, как у гуся лапка.

Радостно расширив глаза, она брела по лесу. Она знала, что у осины лист на длинном черенке, оттого осина и дрожит всегда мелкой дрожью, и названье ей — горькая осина. Она знала, что белый гриб нужно искать под березкою. А раннюю землянику — на пригорочке, под солнышком. Знакомыми приметами, нехитрыми тайнами открывался перед девочкой лесок.

Рябинин раскладывал костер всегда на одном и том же месте — над обрывом. Отсюда хорошо был виден город, и Юлька задумчиво смотрела, как тихие сумерки наползают на улицы и дома. Бурые бугры окружали город со всех сторон. Бугры эти были какие-то неприятно круглые и выпученные. Ни леса, ни оврагов, ни даже кустарника не было на них, только рыжие полосы обнаженной глины да сухая, как стриженый ежик, трава. А кругом была степь, пустая и тусклая, как оловянное блюдо. Сухой ветер шел по ней.

— Грустная у тебя родина, Алексей! — тихо сказала Юлька и отошла к костру.

— То ли дело у нас! — подхватил Рябинин.— Волга! А? Вол-га-а! — Он широко развел руками, потянул воздух и захлебнулся дымом.

Юлька, поджав под себя ноги и охватив коленки руками, плавным своим, певучим голосом стала рассказывать о своей родине. Она была из Средней России, где луга — так луга: заливные и зеленые; где река — так река: широкая и глубокая; где леса — так леса: синие-синие...

Валька скучно смотрел на серую степь, по которой, подымая рыжую пыль, шел легкий ветер, и думал: «Какие же тут стихи писать об этой черной и грустной родине?» Бесхитростный рассказ Юльки, которая знала только зеленую и синюю краски, все же волновал Ба-

кинского, напоминал ему прочитанное. «Бежин луг». Вот тоже костер, тоже дети, а не то!.. А?

Он толкнул Алешу в бок, желая сказать ему об этом, но тот и не пошевельнулся. Прищурив глаза, Алексей смотрел на город, на рыжие, точно ржавые бугры, такие ржавые, будто это горы железного хлама. Железо! Оно всюду! Железо и уголь — Алешина родина. Он смотрел, прищурившись, на тусклые огни городка, и вдруг что-то теплое прошло по всем его суставам. Теплое и волнующее. Даже к горлу подступило. И Алексей впервые почувствовал, что он здешний, глубоко здешний, коренной. И, подвинувшись к костру, пробурчал:

— Моя родина лучше всех!

Тонкие струйки дыма подымались над городом. Алексей мог сказать, откуда они, с каких заводов. И ему подумалось: «Ну ладно, пускай бутылки мыть, в чем дело?» Он дернул плечами и стал слушать песню, которую завели ребята.

Звонче всех пела Юлька. Она покачивалась в такт своей песне, она вся отдавалась ей.

— Вот весна,— пела она,— вот лес шумит, огни горят внизу, в городе жить, в общем, интересно и весело, зачеты идут к концу, я выучусь, стану инженером. Ну, разве не хорошо петь вечером у костра в компании своих ребят?

Так пела Юлька.

У нее, однако, были уже и заботы — она только не хотела сейчас думать о них. Ее вдруг стали на уроках бомбардировать нежнейшими записками. Когда она собиралась после занятий домой, около нее вырастали молчаливые рыцари, дующиеся друг на друга и требующие, чтобы она тотчас же решила, кто пойдет ее провожать.

— Все! — отвечала она.— Все вместе.

А они обижались.

Юлька не могла понять, почему они обижаются. Ведь действительно компанией идти веселей, спеть можно. Но особенно докучал ей своей любезностью Толя Пышный.

— Вы свели меня с ума, Юля,— задыхаясь, прошептал он однажды и покорно наклонил свою рыжую голову с безукоризненным пробором.

Юлька даже чуть не заплакала от жалости к бедному парню.

— Я... я... не хотела...— пробормотала она извиняющимся тоном.— Что же я могу сделать? — И несколько дней она носила на своем сердце тяжесть чужой неразделенной любви.

А потом она случайно услышала, как тот же Толя Пышный тем же горячим шепотом говорил Соне Коробовой:

— Вы свели меня с ума, Соня,— и тоже наклонил голову.

Юлька засмеялась и повеселела.

Но однажды в школу пришел комсомолец Тарас Барабаш. Длинный, нескладный, долговязый, он терпеливо вышагивал по коридору и, нарушая школьные правила, беспрерывно курил махорку.

Как-то так получилось, что он подружился с Юлькой, рыцари перестали ее сопровождать, и Юлька с Барабашем часто шли теперь одни. Они шли молча. Юлька не знала, о чем можно говорить с этим огромным, большеруким парнем, рябое и словно побитое лицо которого напоминало ей старый, щербатый пятак.

Барабаш тоже молчал. Он не умел разговаривать. Ему нравилось приноравливать к ее легкой походке свой большой тяжелый шаг, в который можно вложить три Юлькиных. Ему было легко и покойно в этом повисшем над ними суровом молчании. Так доходили они до детдома. Юлька, тихо улыбаясь, говорила: «Пока!», а Барабаш медленно и сурово прикладывал ладонь к форменной фуражке.

Юлька скоро научилась ценить это сдержанное молчание. Большое чувство, думать о котором она боялась, скрывалось за ним.

Раз Барабаш пришел в школу со своим приятелем.

— Шульга! — представился тот Юльке и засмеялся.

Юлька тоже засмеялась, и даже у Барабаша дрогнули губы. Они шумно вышли на улицу, Шульга взял Юльку под руку. Та смущенно и резко выдернула руку.

— В чем дело? — удивился Шульга.

— Не надо...

Шульга пожал плечами и оставил Юлькину руку в покое. Зато он стал беспощадно высмеивать Юлькину косу, Юлькину легкую походку, краснеющие щеки, пухлые губы. Он довел девочку до слез, а потом высмеял и слезы.

А она кусала губы и ускоряла шаги. Она почти бежала. Теперь Тарасу не приходилось семенить. Она почти бежала, и все же улицы медленно расступались перед нею, до детдома было далеко, а Шульга становился все злее и злее.

— Ах, Юлечка, родненькая! — говорил он, зачем-то картавя.— Ах, мамочка тебя заругает, зачем с комсомольцами гуляешь! Мамочка спросит: где была, доченька? Кто с тобой под ручку кренделем шел? А, Юлечка?

Тут у Юльки брызнули слезы: она вспомнила, что мать до сих пор не зовет ее обратно. Сестренки — те уже давно стали бегать к Юльке в школу и в детдом. Они просиживали у нее иногда до вечера: она зашивала дыры на их рубашонках, водила в детдомовскую большую умывальню и устраивала им там «мировое мытье». Мать знала об этом, но и виду не подавала. А сестренки, плача, рассказывали Юльке, что мать и имени ее слышать не хочет.

Но ничего этого Юлька не сказала сейчас Шульге. Она только съежилась, чуть слышно всхлипнула и зашагала еще быстрее.

«Они меня дурочкой считают,— горько думала она.— Мещанкой. Но ведь Тарас знает... Почему он молчит? Почему?»

Она будет избегать их, решила она, наконец, она будет избегать их теперь. Она всех будет избегать. Какие все злые и несправедливые!

Она вдруг, не помня себя, пускается бегом и, не слыша, что ей кричат вдогонку ребята, не чуя под собою ног, мчится по улице и, наконец, вбегает к себе в детдом.

Все следующие дни она испуганно ждала: вот опять придет Шульга. Она беспокойно высиживала на последних уроках, трусила, выходя из классов, осторожно пробиралась коридором. Только бы не встретиться с ним!

Зачеты подходили к концу. У Юльки они проходили благополучно. Даже математику она сдала хорошо.

Карпенко, учитель математики, заменивший Хрума, сказал ей с удивлением:

— Ну, милая барышня, я от вас не ожидал! Ведь вы — всё прения, да выступления, да повестка дня! Где же тут до уравнений с двумя неизвестными! А вы вот

какая! Вы математичкой будете, будьте благонадежны,— добавил он.— Это я вам говорю.

— Нет, инженером,— пролепетала смутившаяся Юлька.— Правда. Инженером-электриком.

Счастливая, она вышла из класса и столкнулась с Шульгой. Она вскрикнула, первая мысль была: бежать. Но Шульга уже взял ее за руку.

— Здравствуй! — сказал Шульга.— Ну, как жизнь молодая?

— А Тарас где? — невольно прошептала Юлька и оглянулась.

Тарас был ее последней надеждой. Теперь она хотела, чтоб обязательно был Тарас.

— Тарас уехал,— ответил Шульга улыбаясь.— Зачем тебе Тарас?

Они вышли на улицу.

Шульга не сделал даже попытки взять Юльку под руку. Он вообще был какой-то другой сегодня, мягкий, спокойный, улыбающийся.

Юлька недоверчиво смотрела на него.

— Ну, как зачеты? — спросил вдруг Шульга.

— Ничего...— уклончиво ответила она. Ее голос дрожал, она заметила это и рассердилась на себя.

Шульга стал рассказывать о том, как он «учился».

— Никаких зачетов не знали, а чуть что — взял тебя хозяин за шиворот, ткнул носом в наборную кассу, хрястнул по зубам...

Потом он рассказывал о своем детстве, о том, как сначала отец гонял за водкой, потом дьячок, потом старший наборщик,— дорогу в казенную лавку Шульга знал лучше, чем дорогу в школу. В его голосе появилась какая-то задушевность и теплота. Юлька удивилась: тот ли это Шульга? Ей хотелось верить: не тот. Другой. Хороший. Они шли рядом, дружно болтая. Юлька смеялась звонко, словно удивленно. И Шульга гулко вторил ей.

Какая хорошая погода стояла на дворе, какой славный и ласковый ветер! Словно дымились улицы, словно пар, волнующийся и теплый, шел от них.

Они остановились около калитки. Деревянные мостки тротуара вздрагивали под ногой. Откуда-то доносилось хриплое и пьяное пение.

Шульга положил на Юлькино плечо руки и вдруг притянул девочку к себе.

— Не надо! — прошептала она.— Шульга, не надо!..

А он еще крепче притянул ее, и она почувствовала себя маленькой и беспомощной возле этого большого и грубого тела.

— Не надо, Шульга! — просила она, но он не слушал и, закинув ее голову назад, начал целовать щеки, губы, шею.

— Пу-сти-те! — кричала Юлька.— Я не хочу!..

— Ну, брось,— прохрипел он тогда сердито,— брось!

Юлька заплакала. Она плакала тихо и горько — так плачут только дети.

Шульга растерялся.

— Ну, чего ты? Чего? — пробормотал он.— Плакса! Я же не съем тебя. Я же понимаю, что ты еще ребенок... Ну, что ты? Я только поцеловал...

Он выпустил девочку из своих объятий; растрепанная и жалкая, она стояла перед ним, опустив руки, и плакала.

— Тьфу! Ерунда какая! — дернул плечами Шульга.— Ну и плакса ты! Плакса — и все. Кисельная барышня. Тьфу!

Он сплюнул и, круто повернувшись, убежал.

Не так себе представляла свой первый поцелуй Юлька. Вот ее впервые поцеловал парень. Она думала: все произойдет иначе. Как — не знала, но иначе, лучше.

«Как это гадко случилось! — думала она под одеялом.— Схватил и чуть ли не за горло взял. Разве можно так? Ведь еще она не знает совсем Шульги. А поцелуй — это ведь накрепко, надолго, может быть, на всю жизнь».

Нет, нет, совсем не соловьи ей нужны. Пусть это будет... ну, в клубе. Даже так лучше: в клубе. Вот остались они случайно в читальне, и никого, кроме них, нет. Знают давно друг друга, говорили о разных вещах, у них общие взгляды, вкусы, характеры. И вдруг он просто посмотрел на нее, а она на него,— и вот просто, мужественно, смело и, главное, дружески он наклонился к ней и целует. И она его. А дальше что? Дальше — ясно. Раз поцелуй — значит, потом жить вместе: у него или у нее. Вместе работают, вместе учатся — и это накрепко, надолго, может быть, на всю жизнь.

Вот так она представляла себе свой первый поцелуй, если уж он случится. «Но он не случится»,— думала она

еще вчера. Не случится, потому что Юлька не выйдет замуж. Ей нельзя выходить замуж,— она должна ведь стать инженером-электриком.

А Шульга шел домой и тоже морщился.

«Ну зачем это я? Ну зачем? Хорошая в основном девочка. Верно, хорошая. Зачем я?»

Но уже ничего нельзя было исправить.

И когда Рябинин, встретив на другой день Юльку, удивленно спросил ее: «Ты что, больна?» — она только подобралась вся и пробормотала:

— Нет... Ничего...

Ей показалось, что и Рябинин смотрит на нее, как Шульга.

А в школе уже надвигались выпускные вечера, и небритые семигруппники сдавали последние зачеты.

Запоздалая нежность к школе росла у них по мере того, как число несданных зачетов уменьшалось. Размякшие, они ходили по школе, как уезжающие бродят по комнатам опустевшего дома, где сняты со стен картины и фотографии, сдвинута мебель и уложены чемоданы.

И, как отъезжающие, они уже ощущали пространство и дорогу.

Они собирались по вечерам у окон и негромко разговаривали:

— Ты куда?

— А ты?

Ковбыш мечтал о море. Ему рассказывал кто-то о Новороссийске, о городе, который качается на воде, как лодка. Ковбыш завидовал выпускникам и проклинал школу.

А Алеша, мечтавший о будущности государственного деятеля, пришел, наконец, на «лимонадный завод» и, кусая губы, сказал хозяину:

— Ну ладно, давай бутылки мыть!

И хозяин долго смеялся, под пикейной рубашкой-апаш колыхался круглый животик.

А Лева Канторович, которого бабушка хотела видеть знаменитым адвокатом, поступил кассиром в бакалейный и москательный магазин своего дяди.

Колтунов пришел туда покупать краски и беседовал с Канторовичем.

— Я думаю о вечности,— говорил другу Лева, принимая у покупателей деньги.— Вы платите за подсолнеч-

ное масло? Тогда правильно. Я думаю о вечности, Арсений, вот почему я мирюсь. Это жалко, правда,— кассир в бакалее? Да? Но что мы знаем о вечности? Получите чек, гражданка. Что мы знаем? Я мыслю, я чувствую, я трепещу перед закрытым занавесом и пытаюсь приподнять его,— и что мне тогда бакалея? Может быть, так надо, чтобы я был в бакалее? А ты? Останешься в городе?

— Зачем? — пожимал плечами Колтунов.— Я еду.

— Едешь? А, да! Это хорошо. Едешь? Да. Хорошо это. Здесь бывают часы, когда мало покупателей, я могу читать тогда. Вот у меня «могучая кучка»,— он нежно погладил рукою стопку книг.— А когда я читаю, кто равен мне в этом мире? Бакалея! Ха! Я даже могу писать здесь. У меня есть кое-какие мыслишки, но это потом, как-нибудь. Мы поговорим еще. Да, ты едешь... Куда собственно?

— В д-д-деревню...

— В деревню? Что?

— Я б-буду учителем. Это надо сейчас. Ш-шкрабом...

— Шкрабом?.. Школьным работником, значит?.. Это нехорошее слово: шкраб. У этого слова клешни... Говорят, они голодают, деревенские шкрабы? А?

— Наверно... Н-но это неважно...

— Ну да! Конечно. Впрочем, ты все равно сбежишь оттуда через месяц... Там не топят школы зимой. Что ж, ты не мог остаться здесь? Я тебя устрою.

— Спасибо... Я хочу в деревню. Я жил в ней все детство. Мой отец там умер. Он был земский врач.

— Да? Ну, прощай... На выпускном вечере будешь? Я провожу тебя до дверей. Не зацепись за этот бочонок. Масло. Какая погода хорошая!

— Июнь...

— Да... Что я еще хотел сказать тебе? Да... Вот что. А может быть — ты думал над этим? — может быть, мы и в самом деле,— я, еще другие,— может быть, мы опоздали родиться? А? Вот что я тебе хотел сказать.

Колтунов рассеянно посмотрел на Канторовича и ответил, протирая очки:

— Н-не думаю...

Пух с тополей летит по городу.

Утром за чаем мать робко спросила Руву:

— Ну, Рува, ну, что же это будет, ну?

Воробейчик сердито отодвинул чашку с голубыми китайцами и встал.

— Я знаю? — пожал он плечами.

Разговор этот был ему неприятен. Он начал искать кепку.

— Ты перешел в седьмую группу, Рува...— говорила мать умоляюще.— Ты уже большой, ты уже не маленький. Что же будет? Пойди к отцу или брату Соломону, надо же. Или, хочешь, я тебя в фотографию устрою? Это хорошее, выгодное дело. Сейчас все хотят иметь портреты.

— Мама!

— Или нет? Ну, хорошо, реши сам. Но когда же?

Воробейчик нашел кепку: она валялась за сундуком.

— Фотография! — мрачно усмехнулся он.— Ах, мама, если бы вы знали, что у меня на душе!

Он открыл дверь. Пух метался над городом. Одна пушинка села на Рувкину кепку, другая, покрутившись по комнате, обессиленно упала на пыльный пол.

— Здесь не вырастет тополь,— покачал головой Рувка,— никогда! — Он растер пушинку ногою и вышел на улицу.

Мороженщик стоит на перекрестке. Баба над корзиной семечек — как наседка. Мальчик с коробочкой липких ирисок. В деревянной будке продают черный квас. Как изобильна жизнь!

— Есть вафли с именем вашей невесты, молодой человек,— небрежно говорил Рувке мороженщик.— Прикажете наложить?

Рувка растерянно смотрит на косую бороду мороженщика.

— Вы были бутафором в театре,— говорит Рувка,— я вас знаю. Вы брали у нас подсвечники, шандалы для пьесы «Миреле Эфрос».

— Какие теперь театры!

— Вы взялись за мороженое? Почему?

— Жара...

У Воробейчика нет невесты. У мороженщика нет вафли с именем «Рува».

— Это очень редкое имя,— извиняется мороженщик.— Я положу вам вафлю с именем вашего лучшего друга.

Воробейчик разводит руками...

— У меня нет друзей...

Сонный мальчик с ирисами прислонился к забору. Жара такая, что ирисы вот-вот потекут грязной и тощей струйкой.

— Теперь нет таких великих артистов,— зевает мороженщик.— Вам еще одну порцию? Или вот Мамонт Дальский...

— Вы работали с ним?

— Молодой человек! Я единственный из бутафоров, которого Мамонт Дальский не бил!

Какая скука! Рувка съедает третью порцию и не знает, что ему делать дальше.

— А, Юлий Цезарь из Конотопа! — раздается сзади.— Вот кого мне привелось увидеть на прощанье.

Рувка вздрагивает. Никита Ковалев, размахивая чемоданом, подходит к нему.

— Ну, здравствуй! — весело говорит Никита, а Воробейчик бледнеет.— Не бойся!

Ковалев ставит чемодан наземь, поднимается пыль.

— Угощаешь?

— Да, да, разумеется... Пожалуйста... Дайте порцию...

— Позвольте узнать имя вашей невесты? — осведомляется мороженщик и энергично полощет вафельницу в мутной воде.

— «Удача» — имя моей невесты,— отвечает твердо Никита, а Воробейчик гадает: не пора ли удрать? — Я давно не видал тебя, Рува. Ты проворнее зайца. Почему тебя нигде не видно?

— Зачеты... Некогда...— бормочет Рува.

— Ах, да! Ты ведь не исключен из школы. Это странно, что тебя не исключили вместе со мной. Ты не находишь?

— Нет. Почему же?..

— А Хрума выслали. Забавный был человек, между прочим. Любил огурцы к чаю.

Молчание. Мороженщик торжественно подает вафлю.

— Такого имени нет: «Удача»,— говорит он улыбаясь.— Молодой человек шутит. Я служил на сцене, я умею понимать шутки. Кушайте на здоровье!

— Спасибо! — Ковалев берет вафлю.

Мороженое тает в руке. Молоко течет по пальцам.

— Ты уезжаешь? — неуверенно спрашивает Воробейчик.

— Как видишь.

— Далеко?
— Отсюда не видно.
— Зачем?
— Искать «Удачу» — мою невесту.
— Желаю найти!
— Найду! Спасибо за мороженое. Мокрое. Хорошо.— Никита подымает чемодан и взмахивает им.
— Ты выдал? — тихо спрашивает он.
— Не я, не я...— лепечет Рува.— Слово чести — не я... Они сами...
— Ладно... Прощай!

Никита пренебрежительно машет рукой и пускается в путь.

Воробейчик смотрит вслед: ровное колыхание удаляющейся спины, покоробленный тротуар, длинный тополек, похожий на нескладного подростка, пух...
— Никита! — вдруг кричит Воробейчик и бросается догонять Ковалева.

Нужно обязательно догнать. Так нельзя ему уехать. Он не должен плохо думать о Рувке. Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Мир не велик!
— Никита!
— Ну? — останавливается Ковалев.
— Может, тебе... нужны будут... деньги...— бормочет Воробейчик.— Так пиши... Не стесняйся! Базарная, тридцать семь... квартира пять...

Никита с интересом подымает глаза на Рувку.
— Да! Это идея. Деньги? — спрашивает он насмешливо.— Ну что ж, давай деньги! Пригодятся. Сколько у тебя есть?

Рувка бросает испуганный взгляд на Ковалева.
— Сейчас? — Он шарит по карманам.— Вот все... Немного...
— Спасибо и за это,— Ковалев сует мелочь в карман и с любопытством смотрит на Воробейчика.— Откупился, рыжий? Ну-ну... Тебе это зачтется. Пока! — Ковалев уходит.

Воробейчик растерянно смотрит вслед.

Он смотрит долго. Уже скрылась покачивающаяся спина. Уже пыль, поднятая небрежными шагами, осела на чахлые листья тополя. Уже новые спины и новая пыль возникли в желтом тумане улицы.

Рувка вдруг срывается с места и бежит. Он бежит, прижимая к бокам круглые локти, высунув язык, зады-

хаясь. Пересыхает горло. Сухой язык туго ворочается во рту. Кажется, что он скрипит. Иногда Воробейчик останавливается. Чтобы остановиться, он замедляет бег. Шатаясь, делает еще несколько шагов и только тогда останавливается. Иначе не выходит.

Вот окраина. Вот Заводская улица. Вот домик под толевой крышей.

— Гайдаш... здесь... живет? — задыхаясь, спрашивает Воробейчик у бабы и, увлекаемый инерцией бега, проносится мимо. А та, словоохотливо открыв рот, замирает в изумлении.— Алеша!.. Алеша!.. Знаешь? А-а...

Воробейчику не хватает воздуха. Он останавливается. Равнодушное лицо Алеши. Почему-то здесь Ковбыш. Рассохшаяся бочка, еле стянутая ржавым обручем. Зачем он бежал? Или ему стало жаль мелочи, которую на ходу отобрал Никита?

И уже без всякого воодушевления Воробейчик заканчивает:

— Говорит, еду искать удачи... Хорошенькое дельце, а? — и разводит руками.

Алеша сосредоточенно думает.

— Да-а!..— роняет он.— Ну, да-а!..

Веселая улыбка вспыхивает на его губах.

— А мы ведь тоже,—подмигивает он,— мы тоже вот с Ковбышем идем шукать удачи.

Он рассказывает: на «лимонадном заводе» работать никакой возможности не стало. Целый день над Алешей стоял хозяин и упражнялся в остроумии. Хозяину, видишь ли, не повезло в ученье: он мечтал стать поэтом или ученым и сделался мелким буржуем. Как же может Алеша учиться после этого?

— Ну его к черту! Неужели мы себе места не найдем? Район большой. Как считаешь?

— Да, да,— соглашается Воробейчик.

— Пешком пойдем. Мешок за плечи. Что нам? — Он вытягивает перед собой руки.— А?

Ковбыш разворачивает плечи.

— Найдем! — говорит он решительно.

— Да, да!.. — бормочет Воробейчик. —Да, да!..

Он присутствует потом при прощанье Алеши с родителями. Его поражают короткие равнодушные эти проводы. Он помогает Алеше надеть мешок. Вытягиваясь на цыпочках, так что пальцы ног хрустят, он помогает и Ковбышу. Потом он провожает их до околицы, тороп-

ливо трясет им руки. Долго смотрит им вслед, как смотрел вслед Ковалеву. И пыль, и спина, и мешки, подпрыгивающие в такт...

«А где же моя дорожка?» — вздыхает Воробейчик.

Или идти крутить мороженое? Жара. Сейчас все люди хотят иметь портреты.

Пух летит с тополей.

— Пух, пух,— бормочет Воробейчик и ловит пушинку.— Пух...

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

1

Почему они выбрали путь на Голубовские хутора? Было много других дорог, ничем не хуже этой. Разве не таким же был путь на лиманы? Или на шахты? Или на Черный яр?

Растрепанные вербы, горбатые колеи, пыль и камни были и там. Пыль везде одинакова, на всех дорогах.

Станьте лицом к любой. Почему этот ветер кажется попутным?

Ветер везде одинаков. Летом он ленив и неповоротлив. Он, как обжора, объевшийся за обедом. Он тучен. Его клонит ко сну.

Просто, когда обсуждали план этого «похода в люди», Ковбыш обронил:

— Пойдем на Голубовские хутора. А там видно будет.

И Голубовские хутора вошли в их мечты плотно и материально, как буханка хлеба, которую нужно достать и взять с собой, как мешок с лямками, как финский нож, без которого весь поход бессмыслен.

Во всяком случае, Алеше было все равно, куда идти. Ни родственников, ни друзей у ребят вблизи не было. Да и зачем они им? У них есть руки, узкие, мальчишечьи, с грязными ногтями руки, и вера в то, что эти руки всем нужны.

Итак, на Голубовские хутора! А там видно будет.

Они устали болтать уже на шестом километре. Если бы они были опытными ходоками, они знали бы, что как раз время сделать привал. Но они рвались и рвались вперед. Они бежали бы, если бы могли. Пот вы-

ступил на их напряженных лицах. В каждой капельке пота играло солнце. Лица сияли. Так весною солнце — в каждом выплеске воды. Как хорошо идти с мешком за плечами по горячей дороге! Сладкий пот.

Они сбросили мокрые рубахи.

«Идем. Идем. Идем, идем-идем,— думал Алеша в такт своим шагам,— как здорово идем! Как здорово идем!.. Сколько так пройдем? Сколько так... За Ковбышем не угонишься... Он лошадь. Хорошо бы на лошади. Или верхом? Идем... Идем... Тася посмотрела бы. Почему бы мне не стать военным? Тася посмотрела бы... Идем. Идем... На лошади верхом... Что Тася сейчас? Часов, жаль, нет. Сколько уже? Какое смешное облако: оно как грива лошади. Почему лошадь? Идем. Идем... На лошади верхом... Тася посмотрела бы. Мокрые. Это пот... А Ковбыш? Я отстану так. Черт! Далеко ли еще? Чудаковатый тополь какой... словно глиста. Глистой болеют. Мы бы могли уже привал сделать. Почему в хутора? Что там? Все Федька... Лошадь...»

Ковбыш шел, чуть склонив голову. У него был широкий и ровный шаг. Такими шагами мерили раньше в деревнях спорную межу. Как здорово пришелся Ковбышу мешок на ладную спину! Словно всегда так уверенно и могуче лежал на круглых лопатках.

«Верст шесть отмахали,— думал Ковбыш.— Надо бы раньше выйти... Отец. Ну, с отцом что же? На то и отец. А то б раньше вышли. Вышли б раньше, вот... так... раньше и пришли бы. Это всегда так: раньше выйдешь — раньше придешь. А то отец... Что отец? Сапожником я все одно не буду. А ученым? Где мне ученым! Это Алеша. Да. Нехай Алеша. Мне бы — чтобы простор. Вот. Простор. Раньше выйдешь... Да... А то отец... Ну, раньше Голубовских хуторов нигде не задерживаться. Тут все одно что дома. И уходить тогда не надо бы... Не надо бы... А уйти надо было. На море надо бы... Новороссийск. Алеша — хорош парень. Ничего не скажешь. Хорош. А то бы в Новороссийск... И отец — ничего. А столбы? Должны бы столбы быть... Ну, я и так знаю: семь верст отмахали. По ногам знаю: семь. Ничего! Ишь ты! Семь! Алеша худой-худой, а крепкий. Ишь дует. Ну, ладно. Дуй! Авось и я не отстану...»

На восьмом километре оба думали только о привале. Оглядывались друг на друга, словно прощупывали му-

скулы ног товарища: крепки ли еще? Не обмякли? А дыхание?

И каждый хорохорился под взглядом приятеля... И, не останавливаясь, шли. Ковбыш — еще ниже наклонив голову, Алеша — обессиленно мотая руками.

Скоро ли? Скоро?

Подходили к какой-нибудь группе деревьев, или спускались в лощину, или просто большой межевой камень попадался на пути — Алеша думал: «Вот хорошее место для привала». Но он ничего не говорил Ковбышу, и они проходили заманчивую группу деревьев и тенистую лощинку. И шли, шли, шли, то подымались на косогор, то юлили на бесчисленных поворотах. В стороне оставались выселки, хутора, дома. Веселый дым кружился над хатами.

«Вот завернуть бы!» — думал Алеша, но ничего не говорил Ковбышу и, размазывая на лице грязный пот, шел дальше.

— Будет! — вдруг сказал Ковбыш и сбросил мешок наземь.— Тут.

Их план был прост: прийти на Голубовские хутора и пойти по хатам, предлагая свои руки. Они недорого просят — их возьмут. На крайний случай — наняться за одни харчи. Две недели прожить в хуторах — и дальше. Там видно будет.

— Возьмут ли еще нас в работники? — сомневался Алеша: четыре месяца он был безработным, он хорошо знал, что это такое.

Но Ковбыш ни минуты не сомневался: возьмут! С руками оторвут! Теперь в деревне работники нужны.

— Смотри,— он показал на дорогу.

Алеша увидел: пыль, навоз, камни. Легкая золотая нить соломки прошила всю дорогу.

— Ну? — пожал он плечами.

— Навоз,— коротко ответил Ковбыш.— В прошлом году не было на дорогах навоза.

Он замолчал, доел хлеб и, стряхивая крошки, добавил:

— Будет работа нам, Алеша. И хлеб будет. Пошли!

К вечеру они подошли к Голубовским хуторам.

Алеша был городской парень. В детстве он играл с ребятами на заводской свалке. Из железного хлама он строил гигантский завод. Он клал рельсы, рыл глубокие шахты,— пальцы Алешиной руки не всегда могли до-

стать дно. Он соединял шахты с заводом железнодорожной веткой. Между рельсами он не забывал положить кусочек дерева — шпалы. Он был уверенный реалист. Его отец работал на заводе.

Алеша все свое детство провел на улице. Он знал, как ведут бои в городе. Он любил переулки, ненавидел проспекты. Спрятавшись за водокачкой, он ждал врага. Потом делал перебежку к театральной тумбе. Потом наступал, укрываясь в больших воротах. Каждый телеграфный столб, каждый фонарь были ему прикрытием. Он знал окраины и подступы к городу, как мужик знает свой клок земли. Его отец родился в городе.

Почему отец построил свой домик? Об этом мечтал дед. Дед был из деревни, воронежский, Валуйковского уезда. Голод пригнал его в город. Дед мыкался по слободкам и жил в бараке. Дед строил чужой завод и мечтал о своем доме. С этой мечтою он умер.

Алеша мечтал о пожаре: налетит пожар и сметет их домишко. Толевую крышу в заплатах, срубы, осыпающиеся трухой, кривые ворота, шаткое крыльцо — все сметет пожар. Советская власть даст им комнату в коммунальном доме. Он иногда мечтал о хорошем пожаре.

А Ковбыш входил в деревню, как свой. Он надел рубаху перед самыми хуторами и заправил ее широким солдатским ремнем. Первому встретившемуся мужику он сказал: «Здравствуйте, бог в помощь!»

Он улыбнулся дивчатам, идущим с ведрами к колодцу. Но дивчата скользнули по его рубахе пренебрежительным взглядом. Ковбыш нахмурился и пробормотал:

— Подозрительный народ пошел,— и развел руками.

Темнело. Ребята нерешительно остановились среди улицы. Хаты беспорядочно столпились вокруг них. Воинственно брехали собаки, стадо входило в улицы. Теплый пар шел от коровьих следов. Мальчишка-пастух щелкал бичом и чихал от пыли. Он был свой здесь, он чихал весело и звонко. Вытерев нос, он посмотрел на ребят.

— Беспризорники! — крикнул он им, задирая.— Эй! — И хлопнул бичом.

Это было приглашение к бою, но ребятам было не до того.

Все хаты повернулись к ним своими окнами. С какого окна начать?

Ковбыш решительно направился к крайней хате.

Он громко забарабанил в окно.

— Мы и не беспризорники и не нищие! — закричал он.— Мы — ребята, желающие работать! Есть у вас работа?

Чернобородый мужик выглянул в окно.

— Есть у вас работа? — снова крикнул Ковбыш, не отходя от окошка.

Мужик медленно пожевал губами и лениво позвал:

— Панкра-ат!

— Чего, папаша? — отозвался бас.

— Покажи им дорогу.

И прежде чем ребята поняли, в чем дело, к ним вышел высокий парень с двумя мохнатыми собаками.

— Пошли! — мрачно сказал парень.

Собаки прыгали около него рыча.

— Куда?

— Та вже пойдемте...

Мальчики покорно пошли за ним. Прошли улицу, огород, мост через речку. Село осталось сзади. Свет месяца на церковном куполе. Вот и дорога. Парень остановился. Собаки лизали его жирные чоботы.

Он поднял кнут и показал на дорогу. Голубая, она падала вниз. Ковбыш посмотрел туда: ни огня, ни пахоты.

— А мы не пойдем,— сказал он глухо.

— Та нет, пойдете!

Ребята поправили мешки за плечами и пошли. Они шли молча, не оглядываясь. Теперь только чувствовалось, как устали они за день. Ноги просто никуда не годились. На повороте дороги ребята разом обернулись: Панкрат стоял еще на косогоре, широко расставив ноги. Месяц мягко освещал его.

Становилось зябко. Алеша надел куртку, Ковбыш — отцов пиджак. Пиджак был тесен ему, потрескивал на лопатках.

Обнявшись, они пошли дальше. Они шли молча и в ногу. Алеша крепко держал Ковбыша за пояс. Так, обнявшись, они шли по вспыхивающей голубыми искрами дороге.

— Это камни,— тихо сказал Ковбыш, и Алеша понял его: это луна зажигает гальку, и та поблескивает. Это камни. Они хрустели под ногами.

Большое небо дрожало над их головами. Все было непрочно и обширно: мир, ночь, дорога, мальчики на

ней. Обнявшись, они шли сквозь ночь своей дорогой. Мальчики, им вместе тридцать один год.

— Костер! — радостно закричал Ковбыш и показал Алеше: в стороне, в полуверсте от них, полыхал большой костер.

— Пойдем? — спросил Ковбыш.

— Прогонят! — мрачно возразил Алеша.

Он никому теперь не верил. Он крепко схватил Ковбыша за пояс: верна только дружба. Парня с парнем. О Тасе он не вспомнил.

— Все равно пойдем,— сказал Ковбыш.

Они свернули с дороги и пошли на огонь. Скоро им навстречу забрехали собаки.

— Кто идет? — закричал от костра испуганный детский голос.

— Свои,— ответил Ковбыш.

— Кто свои?

— Из города. На заработки. Уйми собак-то...

Они ближе подошли к костру. Теперь было видно: вокруг огня сидело и лежало человек шесть ребят. В стороне стреноженные лошади жевали траву.

— Что, беспризорники? — спросило сразу несколько голосов.

— Нет, на шахты идем,— ответил Ковбыш.— Мы дальние,— и толкнул Алешу в бок.

— А откуда дальние?

— Из Брянска. Леса Брянские знаете?

— Слыхали...— неуверенно ответили от костра.— Лешие, значит?

— Как есть лешие,— согласился Ковбыш.— Вот с дороги сбились. Можно с вами ночь переночевать?

Ребята пошептались между собой, искоса поглядывая на лошадей.

— Та ладно! Ночуйте! — наконец, сказал старший.— Только, если что, мы крикнем. В хуторах слышно.

— Мы не босяки,— успокоил Ковбыш,— мы на шахты... Голод у нас.

— А все к нам, все к нам! — колюче, как взрослый, сказал рябой паренек в большой шапке.

Алеша снял мешок и куртку. Куртку расстелил на земле около костра и лег на нее. Мешок положил под голову.

От костра тянуло дымом. Алеша закрыл глаза, и ему показалось, что он дома, а мать раздувает самовар. Звенят на столе чашки. Вспомнилась Тася. Алеша удивился: почему он так мало думает о ней? Он хотел представить себе ее тоненькую фигурку, но не мог, видел только оборочки беленького платья, потом бант в белокурых волосах, чулочки. Потом все это смешалось в невообразимой путанице.

Валька вспомнился ему отчетливей.

«Вот бы Вальке здесь... Ночь... Костер. А? Какие стихи!» — Он хотел представить себе Вальку с мешком за плечами и засмеялся.

Ветерок дул в лицо. Алешу обдало дымом. Он закашлялся и открыл глаза. Ковбыш лежал рядом. Ребята вытаскивали из золы картошку. Они втыкали в картофелину палочку и вертели перед собой. На картофелине медленно гасли искры.

«Валька сказал бы: «Бежин луг»,— подумал Алеша.

Ему самому казалось, что вся эта колеблющаяся в дыму картина не явь, не действительность, а вычитана из книжки, из любимого Горького или из «Бежина луга».

«Они о ведьмах должны говорить,— подумал он о ребятах,— о страшном»,— подвинулся ближе к костру.

Ковбыш уже храпел. Он широко разметал руки, а голову закинул назад так, что остро торчал подбородок. Никогда, должно быть, Ковбыш не спал так вкусно в городе. Как плотно припали к земле его руки! Мокрая трава запуталась между пальцев.

Около костра говорили о страшном.

— Он все по лесу шугав,— тихо рассказывал рябой паренек. Папаха часто сползала ему на нос, и он, не останавливаясь, поправлял ее все одним и тем же движением: всей ладонью проводя по лицу снизу вверх, от носа до рваного малинового верха папахи.— Он все по лесу шугав. Где балка, где яр — там ему хорошо... Скаженный був.

— Брехня,— лениво возразил разметавшийся около самого огня хлопец. Он неподвижно лежал с закрытыми глазами, иногда только медленно поворачивался к огню то одним, то другим боком.— То брехня! То люди брешут.

— А Максым Кулык — це тоже брехня? Га? Га? Митрофан? — набросились на него все разом.

— А що Кулык? — не шевельнувшись, спросил Митрофан.

— Тю! Та ты не знаешь?

— Не знаю.

— Про Кулыка не знаешь?

— Не знаю. А що?

Парень поправил папаху и посмотрел в лес.

«Ну, сейчас будет история про лешего, что жил в лесу и пугал народ»,— весело подумал Алеша и опять пожалел, что нет с ним Вальки.

— Поихав Максым Кулык в город,— обстоятельно начал рябой хлопец.— От поихав. А була у него коняка хорошая. То наша коняка, я ее добре знаю, у нас ее ликвизирували. Справный конь. Жеребец. Гнедой.

— У його запал, у вашего коня, я знаю,— перебил его хлопец с кнутом.

— Запал? У кого? У нашего? У Гнедка?

— Та хоч бы и у вашего. Що ж, я його не бачив?

— Чим ты бачив? — вскочил рябой.

— Чим уси бачат. Та ты не дуже,— и он также поднялся на ноги.

«А драка будет»,— подумал Алеша.

— Так що ж Кулык? — лениво промычал Митрофан и не спеша перевернулся к огню другим боком.

— Запал...— ворча, уселся на место рябой и воинственно поправил папаху.— Запал... Добрый конь, так усим очи застит. Запа-ал... Ну так от, поихав Кулык в город... А ночь була скаженна. Ой, и ночь була, хлопци...

Детвора ближе подползла к огню. Алеша тоже подвинулся ближе. Он лежал теперь на спине и смотрел то в небо, то в огонь. Он смотрел в небо, и звезды казались ему искрами; он смотрел в огонь, и искры показались ему звездами. Он глядел в рябое лицо паренька в папахе и думал: кто его опалил снопом искр? Все чуть колыхалось перед Алешей: ночь, лес, огонь, ребятишки. А то, что должно было колыхаться — дым,— напротив, застыло и тяжело оседало, весомое и плотное. Лес показался Алеше теперь совсем близко. Он подступал к костру, всеми деревьями слившись в одно; лес сжался и, наклонив ухо, слушал рябого рассказчика. Через этот спаявшийся лес, через колыхающийся огонь, через путаницу звезд и искр, цепляясь за тяжелые тучи дыма, плыл милиционер Максим Кулик на добром гнедом ко-

не, плыл навстречу несчастью. Он плыл над деревьями, выезжал на поляны, он негромко пел песню. Он качался в седле. Курил, откидывал ветки, бьющие по плечам. И ехал, ехал...

— Вы, мабудь, уси знаете, где Черный яр? — не спеша, со смаком продолжал паренек в папахе.— От туды доихав Кулык. Черный яр — скаженне мисто! Яр велыкий, глыбокий, а кругом така чащоба, спаси и помилуй. От вин подъихав. Когда: «Сто-ой! Стой!» — и хвать Гнедка за вуздечку. «Сто-ой!» — хвать наган. А вже ж йому и руки назад. Вже и на земли вин. Вже и на живот ему коленом!

Он достал из золы картошку и начал медленно есть.

— Так что ж Кулик! — закричал нетерпеливо Алеша.— А леший?

— Який леший? Кулыка на другой день нашли. У нас на селе и хоронили. А Гнедко пропав! От конь був! Гнедка увели. Хорош був конь. Я его сам поить водыв.

— Брехня! — промычал Митрофан.— Брехня! Хто ж це був?

— Хто був? — засмеялся рябой.— Це ж уси знають, хто був. Зеленые паны булы, бандиты. Печеный Мартын, що весной расстреляли. Та Авдоха Комарев був, та Антон Иваныч Задыка, та Григорюк, та ще Михаленко з ными путався. От кто був. Их усих найшли. И оружие. И все. А Гнедка не найшли... Хорош був конь. Мабудь, продали...

Максим Кулик лежал на земле перед Алешей. Алеша ясно видел убитого милиционера, как лежал он, скрючив пальцы, не дотянувшись до нагана, как выбился из-под фуражки лихой кудрявый чуб, за который его любили хуторские девки, как струйка крови стекала по пухлым губам и круглому подбородку.

— Брехня! — дрожащим голосом сказал кто-то сзади Алеши.— Це неправда.

Алеша увидел, как к костру подходил парень, которого он раньше не замечал. Кнут дрожал в его руках.

— Неправду ты кажешь, Юхим, неправду! — обиженным голосом сказал паренек.— Печеный був, Задыка Антон Иваныч був, Комарев Авдоха був. А мий батько не путався з ными, не був вин. Це грех казать. Це грех...

Молчание прошло над костром. Алеша отчетливо услышал, как задвигался каждый. Тяжело повернулся, хрустя хворостом, Митрофан. Засопел и завозился Юхим, стал хлопать кнутом Андрей — парень, споривший из-за гнедого коня. Шумное и неловкое было молчание. Вот и привелось Алеше стать невольным свидетелем чужой драмы. Он искоса бросал взгляды на паренька, защищавшего своего отца: кнутовище прыгало у того в руке.

— Може, и не був,— сказал, наконец, Юхим.— Я знаю: его выпустили. Може, и не був.— Он поправил папаху и вдруг закричал: — А хто у гайдамаков служив? Мий батько? Мий батько чи твий? Га? Панас? Чий?

— Так вин не по своей воли,— тоскливо возразил Панас.— Не по своей. Узялы его.

— А чого мого батька не узялы? Чого?

— Та почем я знаю?

— Не знаешь? А? Того, що мий батько сам в Красную Армию пишов. А твий де був?

— Воны Красну Армию не люблять,— засмеялся Андрей,— у них понятия не така.

— А яка? — со слезами на глазах закричал Панас.— Яка в нас понятия? Ну, скажи, черт-цыган, яка?

— А така.

— Яка така? Яка?

— А ну, цытьте! Цыть! — загремел вдруг Митрофан.— Цыть! От грачи! А то — ой встану, ой встану...

Спорщики сразу утихли.

Юхим бросил в костер охапку хвои. Она зашипела и скорчилась. Огонь стремительно побежал по веткам, иглы мгновенно стали ярко-красными — такой узор! — потом начали светлеть, потом сразу стали темно-пепельными. Юхим задумчиво смотрел на них, потом покачал головой.

— Баловство! — и подбросил дров. Дрова горели основательно.

Было странно сейчас Алеше думать: где-то есть город, школа, учком. Только вчера он там был. А сегодня — степь, костер, кони, лениво жующие траву, детвора со своими историями. А где-то Павлик, Мотя, Тася... А где-то столица. А кругом полустанки, разъезды, выселки — и в каждом свои жизни, страхи, поступки. И никто не знает там Алешу, не думает о нем. Кто же,

кто сейчас, в эту длинную и единственную минуту, кто думает о нем? Мать? Конечно. Она укладывается спать, вспоминает своего странствующего сына и вздыхает. Тася? Может быть. Валька? Возможно. Вряд ли, впрочем. Кто же еще?

Сон ушел от Алеши. Свернувшись калачиком, Алеша слушал всё новые и новые рассказы ребят. Андрей рассказал, как погиб его брат, убитый в бою под Лисками. Юхим — о том, как коммуне «Красная заря» бандиты подбросили письма: «Если не разойдетесь по хатам, спалим вас». Бабы уходили ночевать в чужое село, мужики несли стражу.

— А коммунары все ж таки не разошлись по хатам! — торжествующе закончил Юхим.— Не перелякались! Ни! На то ж воны и коммунары!..

Тогда Алеше захотелось рассказать о городе. Он выждал минуту и произнес:

— Да. А вот у нас как было...

Все обернулись к нему: они думали, что он спит.

Алеша рассказал о Василии Павловиче, отце Павлика, которого повесили на Миллионной улице. Потом Юхим рассказал о банде Зеленого. Осмелевший Панас вмешался и рассказал о своем дядьке, вернувшемся из плена. Презрительно выслушавший его Юхим рассказал о дезертирах.

— Что же леший? — вдруг вспомнил Алеша, слушая очередной рассказ, и засмеялся. Потом потянулся в приятной ленивой истоме: спа-ать!

Он не помнил, на чьем рассказе заснул. Когда он проснулся, сияло утро, ребят не было, костер погас. Ковбыш сидел около кучи золы и резал хлеб.

— А где же?..— протирая глаза, пробормотал Алеша.— Где же?..

— Друзья твои? — смеясь, отозвался Ковбыш.— Велели кланяться. Да вот картошек тебе оставили. Садись, поедим.

2

И вот снова дорога, пыль и колея, и мешок за плечами. И снова отползает назад колеблющаяся линия горизонта. А что за ней? Та же дорога, и пыль, и колеи, золотая соломка.

— Пошукаем удачи в других селах,— сказал Ков-

быш,— а там и до шахт дойдем. На шахтах всегда народ нужен.

Хорошие сны снились ему ночью у костра. Будто бы он на море. И будто ветер в корму. И будто солнце. И широко-о-о... Вспоминая сны, он закрывал глаза. Тогда дорога казалась ему палубой.

Раскаленная дорога горела под ногами. Словно все солнце, сколько было его в небе, вылилось на нее бешеным, пылающим ливнем.

— Без подметок придем,— пробурчал Ковбыш; он, сын сапожника, знал в этом толк.

По лицу, по шее, по голой груди Алеши ползли щекочущие капли пота. Алексей был теперь весь влажен, как трава поутру. Больше всего он хотел вытереться полотенцем с головы до ног, насухо.

Уже долгое время рядом с ними плелась пустая телега. Тощий рыжеватый мужичок дремал, изнывая от жары. Когда телега подпрыгивала на ухабе, он испуганно вздрагивал и хватался за вожжи.

Алеша шел рядом с телегой. Он мог достать ее рукой. Он мог пересчитать все спицы в колесе,— так медленно она катилась. Он мог схватить растрепанные, похожие на вытянутую мочалу вожжи и вскочить на дребезжавшую телегу. Он ударил бы тогда по лошади, он гикнул бы, встал бы на ноги и стоя гнал лошадь, только пыль бы вертелась за ними. Они мчались бы через испуганно расступающиеся села, через шарахающиеся хутора, через пригибающиеся леса.

— Дядь, подвези! — прохрипел Алеша и облизал сухие губы.

Рыжеватый мужичонка испуганно посмотрел на него и закричал визгливо:

— Пошел! Пошел! Много вас таких!..

Он ударил вожжой по лошади, та лениво пробежала немного и снова поплелась, понурив голову и отмахиваясь хвостом от мух. Ковбыш равнодушно заметил Алеше:

— Ничего, так дойдем.

Они скоро опять поровнялись с телегой. Алеша снова увидел растрепанные вожжи, редкий хвост и медленно ворочающиеся колеса. Вожжи вздрагивали, хвост равномерно подымался, хлопал по разъеденной мухами ране и опять опускался. Колесо медленно ворочалось: все спицы были видны. Одна спица завязана вревоч-

кой. Все это сливалось в тугой, медленно распутывающийся кошмар. Алеша старался оторвать глаза и не мог. Сухой зной обволакивал лошадь, телегу, мужичка, Алексея с приятелем; зной согнал их вместе, одного к одному, и все это обессиленно, едва-едва двигалось по раскаленной дороге. Алеше стало невмоготу. Он закричал что есть силы, хотя Ковбыш был рядом:

— Федор!

— Чего тебе? Чего орешь? — всполошился тот.

— Ты слыхал, Федор,— кричал Алеша,— новый декрет вышел?

— Какой декрет?

— Интересный декрет, Федор. О деревне декрет.— Алеша искоса посмотрел на мужика, дремлющего в телеге. Алеше хотелось сейчас выдумать что-нибудь такое, сумасшедшее, дикое — все равно, только бы разорвать эту покачивающуюся дремоту, повисшую над всеми.— Вышел декрет, Федор! — Алеша кричал неестественно громко, как в цирке.— Декрет такой: запрещается мужикам заниматься хлебом.

— Чево? — неистово закричал мужик.

Он рванул вожжи: лошадь остановилась, колесо остановилось, спица с веревочкой остановилась — кошмар кончился.

— Да, Федор,— негромко закончил Алеша,— да, такой декрет.

— Якой декрет? — дрожащим голосом спросил мужик.— Та цього не может быть.

— За подписью Совнаркома. В газете «Известия» от вчерашнего числа.

Лошадь понуро двинулась вперед. Мужичок растерянно взмахивал вожжами.

— А ты слыхал, Федор? — начал снова Алеша.— Вот в Сибири...

Он нарочно замедлил шаг. Они начали отставать от телеги. Мужик увидел это и придержал лошадь.

— Эй, хлопцы! — закричал он.— Сидай, будь ласка, та расскажи: що ж там, у Сибири? Хоть и далеко, а все ж таки, може, и нас касаемо...

Какой великолепной вдруг оказалась дорога: высокая, желтеющая уже пшеница колыхалась вокруг. Она доходила до леса и прижималась к бронзовой стене сосен. Сосны горели, как свечи в медных подсвечниках. Какое солнце!

Алеша рассказывал о Сибири, о Москве, о Поволжье, об Америке и Франции, он ничего теперь не врал. Он сказал даже в заключение по-честному:

— Я соврал насчет декрета. Такого декрета нет,— и поднял свой мешок, понимая, что нужно слезать с телеги.

Но крестьянин обрадованно захлопал рыжими ресницами.

— Так я ж говорил, не может быть такого декрета. Мужик — вин же обязан заниматься хлебом. Хлеб — це ж його планета.

К сумеркам они приехали в село, и дядька Тихон пригласил ребят к себе «отдохнуть с дороги». Алеша взял свой мешок, пошел в овин, вымылся и обтерся с головы до ног сухим и колючим полотенцем.

Вечером дядя Тихон долго беседовал с ребятами о политике. Осторожно прихлебывая кипяток, он спрашивал Алешу:

— Як считаешь, га, власть эта крепкая? — Ложечкой он постукивал о чашку.

У него было маленькое, морщинистое лицо. Когда он сжимал свою рыжую бородку в кулак, то кулак этот, черный и жилистый, казался больше всего его лица, заросшего ржавой щетиной.

— Много посеял, дядя Тихон? — спрашивал Ковбыш.

Тихон виновато разводил руками.

— Какая моя богатства! Ото як бачите...

— А другие как? Сеют?

— Люди сеют. Як же! Як же не сеять? Мужик должен сеять. И я як люди. Я — щепка, а народ — лес.

Этот разговор не был ему интересен. Он сворачивал на свое.

— Изменение, выходит, политики? Га? — осторожно спрашивал он ребят.— Это хорошо! А многие не доверяются. Теперь народ недоверчивый пошел, войной учен.

Алеша глядел на него и смеялся. Ему казалось, что он насквозь видит всего этого нехитрого мужичка с его страхом и сомнениями, с его беспомощно хлопающими рыжими ресницами.

И Алеша радовался: это жизнь. Это жизнь открывается перед его жадным и любознательным взором. Посмеиваясь, он слушал мужика.

— Тут у нас рядом коммуна,— рассказывал дядя Тихон.— Артельно живут. Ничего — стараются...

— А вы что же в коммуну не идете?

— Та як же пойдешь? — удивился дядя Тихон.— Это ж дело неизвестное, новое. Мы ж к этому ще не привыкли.— Он покачал головой и пошел провожать ребят на сеновал.— Великое, великое кругом беспокойство! Нет, ты мне ясно скажи: сколько мне и сколько з меня. Вот и уся политика.— Он закрыл дверь и пошел в хату.

...И вот уже не степь. Вот уже крыша над головой. Сложенная из седого очерета. И сено. И чужие шорохи. Откуда взялся этот растрепанный мужик Тихон? Еще вчера, валяясь у чужого костра, совсем не знал Алексей никакого Тихона. А сейчас этот раскидисто шагающий по двору мужик — самый нужный ему человек. Где мать? Где город? Где Тася? Ничего нет. Один только Тихон есть, Тихон, фамилии которого даже не знает Алеша. Как странно все в этом большом мире!

— Сколько отсюда до шахт, Федор?

— Верст сорок.

— Сорок? Пустяки! А до Ростова, я думаю, верст двести...

— Да, больше не будет. От Ростова до Новороссийска — совсем чепуха.

— Новороссийск? Да это уже море. Черное.

— Да. Оно синее. Я читал. Новороссийск — Батум — прямая линия. Тепло в Батуме.

— Кавказ. Оттого и тепло.

— Раньше туда много заграничных пароходов заходило.

— Да. А то сел на пароход — и куда хочешь. Турция. Египет. Греция... Вот я бы тогда древнюю Грецию нашей Рыжухе на совесть сдал.

— Чудак! Так то ж древняя Греция, а это современная.

— Место ж одно.

Только в дороге так быстро и трепетно ощущается пространство. Когда живешь в окруженном степями или лесами городке, движешься по знакомым дорожкам и смотришь на знакомые холмы — кажется: все, что находится за этим, неосязаемо и нереально. Во всяком случае — где-то далеко.

Но сел в поезд или в лодку или стал с мешком за плечами на дорогу — и сразу по коже, по телу прошел,

пробежал волнующий ветер: ветер пространства. Все реально. Эта дорога ведет недалеко: на хутора, но она же может перебросить тебя на дорогу до Званки. А там уже проходит экспресс «Москва — Батум». Куда хочешь? Север? Юг? Тундра? Тропики? Море? Степь? Пространство осязаемо. Оно в руках. Оно между пальцев. Оно в железнодорожном билете.

— Место одно, да время другое,— раздумчиво говорил Алеша.— Вот и здесь, где мы спим, когда-то спал скиф. А, Федор?

— Всяко было.

— А теперь мы спим. Чудно! Ты задумывался над этим?

— Нет.

— И я раньше нет. А теперь о чем только не думается! Ты спишь?

Поутру их разбудил дядя Тихон.

— У меня кум есть,— сказал он ребятам,— большой человек по нашей местности. Может, слыхали — Яков Петрович Гонибеда?

— Нет.

— Ну да... Где ж вам! Вы ж не тутошние... Яков Петрович! Го! Голыми руками не берись.— И со стыдливой гордостью добавил: — Он кум мне.

— Кто ж он такой?

— Лавку имеет! — многозначительно поднял палец мужик.— Большой человек!

Они пришли к большому каменному дому, возле которого, как возле трактира, мятая и грязная валялась солома, толпились телеги.

Тихон ввел ребят в лавку. Здесь пахло керосином и шорницкой кожей.

— Яков Петрович,— обратился Тихон к бородатому мужику,— оце самое...— Он развел руками и отошел в сторону: мое дело сделано, а дальше — сами.

Лавочник молча посмотрел на ребят. Он ощупал Ковбыша с головы до ног медленным, оценивающим взглядом. Федька даже невольно руки вытянул перед собой: смотрите, мол, лучше — товар лицом. Потом лавочник перевел взгляд на Алешу и начал его щупать с ног до головы. Алеша постарался принять вид посолиднее, надулся, развернул плечи.

— А сколько будет,— вдруг спросил лавочник тихим, чуть слышным голосом,— а сколько будет, молодой

человек: триста восемьдесят девять, помноженное на семнадцать? — и застыл, ожидая ответа.

Алеша удивленно потянулся за бумагой.

— Нет! — закричал лавочник. — Ты в уме, а? — Он закрыл глаза и, положив голову на руки, стал ждать.

Дядя Тихон трепетал в стороне, Алеша побагровел. «Экзамен? — подумал он насмешливо. — Ну, ладно!» У него была своя система устного счета, в которой он наловчился в школе. Через минуту он сказал:

— Шесть тысяч шестьсот тринадцать.

Тихон ахнул, а лавочник закричал:

— Сколько? — и посмотрел в бумагу, лежавшую перед ним.

Алеша медленно повторил:

— Шесть тысяч шестьсот тринадцать.

— Правильно, — прошептал лавочник.

— Еще не дадите ли задачки? — насмешливо спросил Алеша.

Тихон восхищенно смотрел на него.

— Беру я вас к себе в работники, — торжественно сказал лавочник. — Тебя, — ткнул он пальцем в Ковбыша, — тебя тоже беру. Будешь в поле. Жалованья не положу, не серчай. Харчи будут тебе хорошие. За харчами не постою. А вас, молодой человек, — обернулся он к Алеше, — вас, если у вас охота есть, попрошу в лавку ко мне, в бухгалтера. — Он тихо засмеялся. — Жалованье и харчи. По рукам, что ли?

Тихон умиленно кашлял в сторонке.

Теперь ребята встречались только по вечерам. Они спали вместе на сеновале. Ковбыш приходил утомленный, потный; по загорелому лицу у него пошли белые сухие пятна от ветра и зноя. Алеша тоже хотя и назывался у лавочника «бухгалтером», но приходил с мозолями на руках: ему приходилось таскать мешки, помогать разгружать подводы. Алеша сначала удивлялся: зачем столько товаров? Куда же эту муку? Это хоть бы городу — и то хватило. Но скоро он увидел, что и товары и мука текли через лавку по неведомым ему каналам. В самой же лавке покупателей было немного: крестьяне сидели без денег.

Алеше противно было работать в лавке. Он с охотой пошел бы в дружной супряге с Федькой — звенеть косами. Но он знал: лавочник не возьмет его в батраки.

— Вот я дожил,— сказал он усмехаясь,— до приказчика у мироеда дожил!

— Поживем немного, заработаем — сорвемся с места,— утешал Федор.

— А там что?

— А там видно будет.

Алеша зло расхохотался.

— Видно будет! Ничего там не будет видно! Работы нет — вот и все виды!

Он ворочался на прошлогоднем колючем сене, как на иголках.

— Сена не может свежего дать,— пробурчал Алеша.— Кровосос!

Федор лежал пластом: ему всюду было удобно спать. Спать он любил.

Иногда Алеше хотелось обладать счастливым уменьем Ковбыша спать и не думать. Легко жить на свете Федору: он счастлив, если спит, если ест, если работает. Ему легко.

Допустим, Алеша кончит школу. Он будет знать, что ромашка принадлежит к семейству сложноцветных.

— Как ты думаешь, Федор, который теперь час? Ты спишь?

Возможно, что Алешу пошлют на работу в канцелярию какого-нибудь учреждения, в клуб, в кооператив. Отец будет счастлив. Старик мечтал: сын станет конторщиком. Перед домиком, который выстроил старик, сын разобьет палисадник — настурции, тюльпаны, гвоздики. Сын будет пить чай в палисаднике. Чай с вареньем.

Алеша гадает: устроило бы такое счастье его раньше, до революции? Он хочет быть честным с собой наедине: может быть, устроило. Очень может быть.

Как все переменчиво! Старик мечтал о палисадничке, а Алеша — о степи с костром. Котелок солдатский над костром. Шинель рваная, с обгорелыми полами.

— Ты спишь, Федор? Что-то прохладно...

Рабочий день Алеши начинался рано. Иногда сам лавочник приходил будить его. На дворе еще было темно, только серые тени дрожали на востоке.

«И когда он только спит, старый черт?» — думал Алеша про хозяина.

Вместе они приходили в лавку. Алеша доставал толстую конторскую книгу и, зевая, писал под диктовку лавочника:

— «Отпущено Иванову муки пудов столько-то, отпущено Петрову зерном пудов столько-то».

Никогда не видал Алеша этих Ивановых и Петровых, никогда не видал, чтобы в лавке продавалась мука. Торговали в лавке спичками, керосином, подсолнечным маслом, сбруей.

Были и еще более удивительные записи: «Выдано под рыбу Константину Попандопуло задатку рублей столько-то», «Выдано Петренке под урожай в фруктовом саду задатку рублей столько-то».

Иногда лавочник просил Алешу на особом листке подсчитать кое-что. Алеша брал лист и, вслушиваясь в прерывистый шепот старика, умножал вагоны на пуды, пуды на деньги, деньги опять на вагоны. Было скучно, зевалось: ни к вагонам, ни к пудам интереса не было.

Но однажды Алеша увидал живого Попандопуло. Черноусый огромный грек стоял без шапки перед хозяином и просил:

— Греческое слово твердо. Какой улов — твой улов. Дай муки, хозяин.

Вечером Алеша спросил Федора:

— До моря до Азовского далеко ли от нас, а, Федор?

— Верст семьдесят,— охотно ответил Федор.

— А я думал — меньше.

И впервые Алеша с интересом подумал о лавочнике: «Какой он мужик! А? Семьдесят верст!»

Утром он с любопытством посмотрел на морщинистое лицо лавочника. Опухшие веки, тусклые глаза, дряблая кожа, редкая бородка — все казалось Алеше значительным. Может быть, именно в этих опухших веках и есть весь секрет удачи?

Гнусавым голосом диктовал лавочник:

— Попандопуло Косте, рыбаку, вновь под рыбу задатку пудов муки...

— А зачем вам эта рыба, Яков Петрович? — вдруг спросил Алеша.

Лавочник вздрогнул.

— Ты пиши, пиши,— торопливо пробормотал он,— ты знай пиши...— и боязливо, недоверчиво посмотрел на Алешу.— Мне все нужно: и рыба, и хлеб,— сказал

он,— потому — я благодетель людей, вот кто я. Мне богом тут путь указан, вот кем. Рыбака я поддержал,— он хоть грек, да греки тоже православные. От них мы крещение приняли. Ты пиши знай...

Алеша писал. Теперь ему это было интересно. Он писал: «Рыбаку Попандопуло под улов рыбы дан задаток...» Он видел сквозь строки этого рыбака в засученных по колено парусиновых штанах. Он видел море, рябое, как лицо моряка. Рыбу в серебряной чешуе. Рыба подрагивает хвостом.

Он умножал вагоны на пуды. Он видел эти вагоны. Тяжело нагруженные, разбухшие от мешков, они ползли по железной дороге, стены вагонов трещали, бегали грузчики, кричал хозяин.

Алеша видел горы товаров, арбузов, фруктов. Белые арбузы. Белые с зелеными пятнами. Зеленые. Полосатые. Он умножал все это на рубли,— рубли подпрыгивали, катились, плотно сбивались в кучу. Куча росла. Гора. Хребет. Это было богатство. Он путался в цифрах. Он сбился, наконец, со счета. Взволнованно вытер вспотевший лоб.

— Давайте сначала... Я сбился...

Он ничего не сказал вечером Ковбышу. Лежа рядом с ним на прелом сене, он снова умножал вагоны на пуды. Над лавочником он смеялся: что он понимает в цифрах, лавочник? Все расчеты этого нехитрого старика состояли в том, чтобы кого-то прижать, притиснуть в угол и обобрать. Он даже считать не умеет, этот тощий «благодетель» человечества.

Если бы деньги Алеше! Он взял бы другой масштаб. Он учил алгебру, геометрию, физику. Это хорошие науки. Моря с рыбами, недра с углем, поля с хлебом — все стало бы подвластно Алеше. Он вел бы деньги в атаку.

Он видел в эту ночь чудовищные сны: рыбы и деньги. Рыбы, начиненные деньгами. Деньги во вспоротых животах акул. Брезентовый грек Костя Попандопуло крестит в море лавочника. Алеша летает над морем. Падает и взлетает, как на кровати с пружинной сеткой... Море рябое, как лицо рыбака.

— Хорошо быть богатым, а? — сказал на другой день Алеша своему другу.

— Да-а-а!..— зевнул Федор.

— Начинают с малого, с ничего. Надо только уметь начать. Деньги будут сами гореть в руках.

Торопясь и волнуясь, он стал шепотом выкладывать свои планы, неожиданные для него самого, приснившиеся ночью, в горячечном сне.

— Нет,— зевая, перебил Ковбыш,— с пятака — это долго.

Через несколько дней Алеша получил первое жалованье. Он удивился: как быстро пробежал месяц. Хозяин был доволен им и подарил еще пиджак. Не новый пиджак, но приличный.

— Продать его — и то полпуда муки,— щедро сказал хозяин.— Нет теперь таких пиджаков.

Продать? И в самом деле, почему не продать? Потом тут же купить еще что-нибудь — соли там мешок или сапоги и опять продать. Так завертится. Потом остается завести конторскую книгу, умножать вагоны на рубли и командовать миром. В каком это романе из американской жизни тоже вот о таком писалось?

В воскресный день Алеша отправился на базар в соседний поселок. Он нес с собой пиджак, бережно завернутый в газету. Взволнованно вышел на дорогу...

Дорога вилась среди чересполосицы пашен. Рядом с клочками высокой и желтой пшеницы лежали огромные пустыри.

«Все Якова Петровича будет,— завистливо подумал Алеша.— Все его».

Тогда он ускорил шаги. Он словно испугался вдруг, что опоздает на базар, упустит свое богатство, отдаст Якову Петровичу.

«Он ловкий, чертов хрыч! Он ловкий!»

Из-за пустяков не стоит начинать. Стоит начинать с пиджака затем, чтобы кончить, как в сказке, где ни словом сказать, ни пером описать. Керосиновая лавка? Шорницкие товары? В торгаши не тянет Алешу. Все будет иначе: пиджак — это только зацепка, червячок. Все будет, как в книжке.

Мать придет — на тебе, мамаша, дом с садом. Валька придет — на тебе, Валька, типографию, печатай свои стихи. Тася придет — ты будешь королевой, Тася. Что хочешь? Федя придет — он компаньон. Все пополам, Федя, все пополам. Мы вместе гнули горбы на Якова Петровича! Мотя придет... Придет Мотя, рваный, в красноармейском шлеме с ободранной матерчатой звездой. Что же дать Моте?

Мотя посмотрит, посмотрит на Алешу, на банки, на автомобили.

«Буржуй! — крикнет Мотя.— Буржуй! Гад!» — и все возьмет сам.

Алеша уже перед самым поселком. А может, пойти назад с пиджаком, бережно завернутым в газету? Алеша нерешительно топчется на месте.

— Пойду посмотрю,— наконец, решает он и неуверенно входит в поселок.

Базар — в центре. Возы. Коровы, привязанные к возам. Навоз. Грязная солома. Продуктовые ряды. Галантерейные. Гребешки, брошки, карманные зеркальца,— смотришь в зеркальце — видишь кусочек лба, глаза и переносицу. Слепой сидит на камне, уныло играет на бандуре и тягуче, гнусаво поет. Шарманщик вертит шарманку. Попугай вытягивает пакетик со «счастьем». «Холодный» сапожник набрал полный рот гвоздей. Прошмыгнул беспризорный. За ним несется разъяренная толпа: «Держи! Держи!» Мужчина в изодранной шляпе с дощечкой на груди: «Угадываю будущее, происшедшее и настоящее». Угадай, будет ли Алеше счастье?

На толкучке волнами ходит народ. Сквозь толпу продираются потные люди.

— Пиджак? Эй, пиджак! — кричат возле.

— Продаешь пиджак?

Руки уже тянутся к Алешиному пиджаку.

— Продаешь?

Здесь всё продают: сапоги, ведра, мыло, железный хлам, ворованный на заводе, проволоку, подошвы, сахар, ворованный в кооперативе, калоши, пиджаки, чулки, граммофон без трубы, корыто, посуду, кровать, свое и ворованное — все продают здесь. Неизвестно еще, что хуже: воровать или торговать.

— Нет, я не продаю пиджак,— отвечает Алеша,— я не торговец.

С трудом он выбирается из толпы. Полой пиджака вытирает вспотевший лоб. Равнодушно замечает, что рукав пиджака лопнул.

— Дайте мне стакан квасу. И, пожалуйста, не очень теплого.

Он выпивает три стакана и смеется над собой.

Наваждение прошло. Ведь это и было наваждение. Как мог Алеша поддаться ему? Ну, теперь это прошло. Он облегченно вздохнет.

«Торговец! Ах, как хорошо: торговец!»

Ни одного лишнего часа не останется он у Якова Петровича. Это ясно. Пусть ищет для своих темных дел другого «бухгалтера».

Наутро Алеша и Федор уже подходили к железнодорожной станции Удачная. Не могло быть, конечно, и речи о том, чтобы покупать билеты. Кроме того, Алеше еще неясен был маршрут. В конечном счете, какая разница? Осталось болтаться еще полтора месяца. Безразлично где. Все решит первый товарный поезд.

— Сколько у нас денег, Федор?

— У меня — ничего.

— Немного на первый раз. Итак, основывается компания Гайдаш — Ковбыш с основным капиталом: нуль рублей нуль копеек. Зато без торговли и спекуляции. Только свой труд. Ах, друг ты мой сердечный! Впрочем, есть еще мое жалованье. А там видно будет.

Он обнял Федора за пояс, и так они вошли в вокзал.

Люди выбегали на перрон с мешками и сундуками. У выхода бурлил водоворот. Сундуки бились над головами. Алеша заметил семью: отец, с плотницкими инструментами за плечами, держал на руках семилетнюю девочку, мать успокаивала грудного ребенка.

— В дороге родился,— растерянно говорил отец.— Пустите, добрые граждане.

Приглушенно стуча колесами, к вокзалу медленно подходил унылый товарный состав.

— Куда поезд? — спросил Алеша.

— А кто его знает!

А может быть, вот это и есть настоящая, счастливая, беззаботная жизнь? Ехать — не спрашивая куда? Стремиться — неведомо зачем? Искать — незнамо чего? Рожать детей в дороге? Любить на ходу? Жить на колесах? И, как страницы увлекательной книги, перелистывать города и дороги, годы и километры.

— Что ж, пошли, Федор! — И ребята бросились на поезд.

Только один человек во всем городе был абсолютно и безмятежно спокоен — это Семчик. Вокруг него суетились и размахивали руками люди. Они шустро бегали по улицам, словно боялись куда-то опоздать. Город стал похож на вокзал.

Семчик не замечал этого,— он жил, как всегда: жил, как живется. Ему казалось, что так вот и следует жить каждому комсомольцу.

— Мне думать о себе нечего,— говорил он брату.— За меня уком думает: куда нужно — туда и пошлет.

А в укоме толпились комсомольцы. Они беспокойно ждали: вот их кликнут, вот двинут в дело, вот дадут работу.

— Я бы в армию пошел,— говорил один.

А другой, в буденовке, смеялся над ним:

— Демобилизуют, брат. Я бы на завод.

Ребята толкались, курили, ждали, спорили. Мечтали: можно стать к станку или пойти учиться. Хорошая еще специальность — шофер. Все вдруг стали недовольны своим положением. Парню, стоявшему у наборной кассы, казалось, что он задыхается от свинцовой пыли, просторы мерещились ему, столица, съезды, большая комсомольская работа. А заваленный бумагами заворг укома мечтал о наборной кассе. Он заходил иногда в типографию, бродил по цеху и перепачканными чернилами пальцами задумчиво вытирал пыль с реалов.

Один Семчик был всем доволен: жил и радовался. Удивлялся, как это могут в такое хорошее, веселое время хныкать другие. Он слышал, как однажды отец сказал брату:

— Раньше одна большая дорога была для всех нас — других нет. Шли мы все строем, колонной. А теперь эта большая дорога разбежалась многими тропками. Все тропки нужны. Каждая тропка нужна. Выбери себе тропку! Иди. Держись верного курса, не бойся, не заблудишься. Что хочешь? Хозяйственником? Милиционером? Красным коммерсантом? Учителем? Что хочешь?

Брат пожимал плечами и, надутый, уходил.

Никакой тропинки не искал себе Семчик. Его несло, крутило в ежедневном водовороте, усталого выбрасывало на рваный кожаный диван,— об остальном пусть уком думает. Семчик только скучал без Алеши.

— Куда Алеша девался? — спросил он, встретив однажды на улице Вальку Бакинского.

Валька объяснил.

Семчик развел руками:

— С места на место бродит? А где ж он на учете будет стоять? — Потом, вспомнив, что Алеша не комсомолец, успокоился.

О себе Валька рассказывал путано: сейчас ничего не делает, есть планы, мечты.

— Удирать отсюда надо. Удирать! — много раз повторил Валька.

— Куда-а?

— Удирать в культурный центр. В столицу. В Москву. Знаешь, в Москве в театрах снова ежедневно платные спектакли для всех граждан.

— Ну?

— Вообще. Культура. Музеи. Литературные вечера. Вот ничевоки появились.

— Кто?

— Ничевоки. Литературное течение такое.

— А, ну да! — равнодушно отозвался Семчик.

От этого разговора остался у него кислый осадок, словно его лично обидели. Он растерянно оглядывался кругом: чуть затуманенные сумерками улицы, театральная тумба, афиша: «Красный шквал» — вход «свободный»; воробьи прыгают по мостовой; грузчик едет, — ну чем здесь плохо? Чем плох этот городок?

«Ах ты, ничевока!» — подумал он о Вальке.

Скоро, впрочем, он забыл и о ничевоках, и о Вальке, и о людях, которые жадно выбирают себе тропинки.

Весело и широко размахивая руками, он шел по улицам. В шесть часов должно было состояться городское комсомольское собрание. Он снова был абсолютно безмятежен.

О ничевоках Валька вычитал в газете. Потом попалась книжка, из которой Валька узнал, что есть еще футуристы, имажинисты и акмеисты. Он обрадовался: краешек завесы открывался перед ним. Где-то за ней, недоступный, блистал огнями храм литературы. Все-таки Валька знает теперь, что есть футуристы и акмеисты.

Он жадно читал новых авторов. Классиков бросил. Классики были доступны, как хрестоматия. Все их растрепанные тома были расчерчены аккуратным отцовским почерком: «от сих пор», «до с. п.». Это отец когда-то задавал Вальке уроки.

Только к лермонтовскому Печорину сохранял еще Валька стыдливую нежность. Другой костюм был на этом Печорине: герой щеголял в добротном франтоватом

френче с накладными карманами, в темно-синих галифе и шевровых сапожках с застежками на боку. И все-таки это был тот же старый Григорий Александрович, небрежный покоритель женских непрочных сердец, человек, которого не понимают. Иногда он, впрочем, выступал в зеленой широкой толстовке с фиолетовым бантом и тогда был удивительно похож на Валю Бакинского.

Верный своему герою, Валька усвоил по отношению к девочкам пренебрежительный тон, но от случайных поцелуев с пухленькими школьницами у него оставался на губах только запах молока: будто девочки питались одной простоквашей.

А в руках, в кончиках пальцев, в ногтях даже ощущал Валька нестерпимый зуд: нетерпеливо хотелось создавать замечательные вещи. Он брался за карандаш: ему казалось, что вот он возьмет и нарисует прекрасную картину. Вот возьмет — и вот нарисует. Какие-нибудь взволнованные лица, поднятые вверх руки, на которых жадно набухли мускулы. Или сиреневые сумерки на какой-нибудь древней базилике, на потрескавшихся серых колоннах... Он хватался за карандаш и осознавал свое бессилие.

Целую неделю он учился играть на скрипке. Ему казалось, что он любит музыку. Ему хотелось вырвать из струн симфонию необычайной мощности. Раньше ему снилось: он садится на велосипед и едет. Замечательно едет, не падая и не качаясь. Ему хотелось так же — сразу — научиться играть: играть так, чтобы потрясать людей, чтобы исступленно плакали и бились в экстазе на каменных плитах площадей. Но струны хрипели и выли под его неумелым смычком: любя музыку — он бросил скрипку.

Неужели он так и пройдет стороною, не создав ничего своего?

Закрыв прочитанную книгу, он еще долго думал о ней. Он лежал на кушетке и, сощурив глаза, всматривался в ветхие обои. Он написал бы иначе. Он написал бы вот так и этак. Он вознес бы своего героя на снежную высоту,— такой высоты еще не знали. Он бродил за героем по свету,— какие страны, какие дороги открывались перед ним! У него кружилась голова. Потом он узнавал обои: виноградная ветка вокруг груши. Конечно же, все несчастье было в том, что он прикован. Прикован к маленькому, пошлому городку. К улицам

этим нескладным, к чахлым скверам, к школе, пропахшей дезинфекцией.

— «Как Прометей, прикован я к скале»,— декламировал он.— Какие уж тут стихи! О чем? — Он горько смеялся.

Липкая жара растекалась над городком, человек шел по улице, еле двигая ногами. Потом лениво останавливался: казалось, прилипал.

Валька теперь целыми днями лежал на кушетке.

Иногда он насмешливо вспоминал Алешу и Ковбыша.

«Путешественники! В такую жару?!»

Он не хотел признаться себе, что завидует ребятам. Может быть, сложились бы хорошие стихи о дороге?

Он не мог пойти с ними. Отец. Мать. Что скажут соседи? Прикован. Как Прометей, прикован он к скале!

Алеше все-таки пришлось продать пиджак. В Кривом Байраке они оказались без работы. Два дня ребята стойко голодали, на третий Алеша пошел на базар. Он продал пиджак за бесценок первому попавшемуся, торопясь уйти с толкучки.

Федор смеялся над ним:

— Плохой ты торговец, Алексей Иваныч! Плохой!

Они оба пообтрепались в дороге. Зато загорели. Ковбыш, разбив ботинки, ходил босиком. У него были огромные лапы с растопыренными пальцами.

Сначала Алеше нравилась такая жизнь. Простудившись после одной ночевки в лесу, он охрип. Но и это нравилось ему: хриплый, надсадный, взрослый басок. Он стал курить. Курил махру. Цигарку держал не между пальцев, а как мужики: большим и указательным. Он стойко выносил непогоду, голод, дорогу. Когда шел дождь, он снимал кепку и подставлял ливню лицо.

— Бей, бей сильнее,— кричал он дождю,— крепче будем, бей.

Федор смеялся, тоже срывал кепку, распахивал ворот рубахи.

Счастливые, они, спотыкаясь, бежали и под проливным дождем. Ливень — это хорошо, это здорово.

Но дороги раскисали, колеи расползались под ногами, жидкая, вязкая грязь прилипала к босым ногам,— было трудно и скучно идти. Промокшие штаны приста-

вали к телу, а по спине уныло ползла холодная струйка воды. Это было очень неприятно.

Ребята приходили в поселок. У них не было теплого угла, места под крышей. Их гоняли с вокзалов. Они спали в скверах, тесно прижавшись друг к другу. Алеша долго не мог уснуть.

«Какое большое небо,— думал он,— как много на земле места и как мало крыш!»

Ребятам часто приходилось спать, или ездить, или ходить в компанию «летчиков».

— Мы — летчики, веселые молодчики, у нас пятки горчицей мазаны, нам нигде пути не заказаны. Хотим — летим, хотим — лежим, хотим — в небо плюем-поплевываем...

С автором этих частушек ребята познакомились на открытой платформе товарного состава. Была ночь, по-южному холодная, гулял ветер, поскрипывал состав. Прижимаясь к доскам и друг к другу, лежали люди. Алеша, Федор, еще кто-то. Дрожали звезды. Босой парнишка в рваном длиннополом пиджаке судорожно плясал, стучал ложками и сочинял веселые частушки. Тогда Алеша еще думал, что это самая замечательная профессия в мире: ехать неведомо куда и зачем.

Скоро Алеша разочаровался в «летчиках». Они только с виду казались такими счастливыми и беззаботными. Прежде всего — они лентяи. Целыми днями они уныло валяются на вокзалах, лениво ищут окурков и, зевая, справляются о поездах. Всегда они хнычут, всегда в три горла врут и воруют у товарища последнюю сорочку. Ничего в них нет интересного, ничего геройского — никчемные, ленивые люди, обломки людей. От людей у них остались только: рты — чтобы есть и врать, руки — чтобы воровать, и спина — чтобы на ней лежать на солнцепеке. Вот как думал теперь о «летчиках» Алеша.

Он встретил одного «психа». Это хлебная квалификация: «псих», работающий под моряка, или партизана, или наводчика с бронеплощадки, является в страхкассу или в собес и, стуча кулаком в грудь, просит «на билет». Если не дают — бьется в припадке или швыряется чернильницами. «Псих», встретившийся Алеше, работал под конного разведчика из бригады Котовского. У него был на щеке сабельный шрам. Алеша поверил ему.



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

— Ты меня слухайся,— сказал Алеше при знакомстве «псих».— Я тебя и убить могу, и мне ничего за это не будет. Я — псих.

Он сказал это хвастливо, с гордостью, как чиновник, сообщающий свой чин-звание.

— Откуда шрам? — жадно спросил Алеша и этим погубил себя.

«Псих» стал помыкать им, заставлял писать прошения, письма с угрозами, длинные и жалостливые биографии, гонял за кипятком, за самогонкой, отбирал заработанные деньги, ссорил с Ковбышем.

Алеша терпел-терпел, а в одну тихую ночь сбежал вместе с Федором, примостившись на случайном грузовике и оставив сонного «психа» в привокзальной будке.

По дороге от Щебенки к Харцызску к ребятам пристал благолепный седенький старичок. Даже лапти у него были беленькие и благолепные; звали его Афонюшкой.

— Куда идете, детушки? — спросил он, кланяясь.

— В Москву за песнями...

— А-а-а! Ну, нам никак по дороге.

Афонюшка оказался не в меру разговорчив, профессионально разговорчив, как конферансье или парикмахер. Профессия у Афонюшки раньше была прибыльная и легкая: богомолец. Шел, переваливаясь, из обители в лавру, из лавры в пустынь, шел неторопливо, подолгу гостя у добрых купчих, обожавших его за кротость и беленькую чистоту. Ничего другого он делать не умел, ничего другого никогда не делал, ни о чем не задумывался: верил по профессии и привычке в бога, знал, в каком монастыре лучше кормят, пристрастился к сладенькой наливочке, в которую для крепости подливал он водку, вздыхая о своей человеческой слабости; так и умрет, думал: легко и сладостно. Была мечта, которую выговаривал про себя, шепотком, зажмурившись: по смерти за долгие его богу угодные хождения причислят его к лику святых,— теперь в них большая нехватка. Или по крайности могилку в монастыре сделают чудодейственной; монастырю — доход, и Афонюшке на том свете радостно будет. Больше всего он боялся одного: умереть где-нибудь вне святой обители.

Но не в почете были теперь богомольцы. Афонюшка еще ходил, ничего другого не умея делать, но чувствовал себя плохо.

— А теперь кому я? Куда мне? А, детушки? — обиженно бормотал он.— Вот ходил, ходил, всю жисть ходил, чего же я себе выходил? Растерянный я сейчас человек...

В Харцызске он свернул на запад — к Святогорску. Звал ребят с собой.

— Горы там, ах, горы, детушки, святые горы! А река, господи! Донец-река...

— Пойдем, что ли? — спросил Алеша товарища.

— Нет,— упрямо мотнул тот головой.— Нет! Нам сейчас на Волноваху надо.

Алеша засмеялся: «Надо»! Почему «надо»? Не все ли им равно, куда идти? Они брели сейчас по угольному району.Четыре-пять дней болтались на каком-нибудь руднике, потом Федор начинал нервничать:

— Ну, засиделись мы тут. Пошли дальше.

Алеше самому сначала нравилась эта кочевая жизнь. Он подчинялся Федору. Шли дальше. Федор совсем оборвался: у него теперь был вид настоящего босяка. Босой, в разорванной рубахе, рыжая волосатая грудь... «Летчики» перестали звать его «фрайером» и относились как к своему. Алеша обижался, когда его гнали с вокзалов в одной кучке с «летчиками». Он привел в порядок свою куртку, свои сапоги, он тщательно мылся, стал даже причесываться, по утрам долго воевал с вихрами,— без зеркала и щетки это было безнадежно...

Ему уже начинали надоедать эти бесконечные странствования. Раньше ему нравилось говорить себе, вступая в новое селение: «Вот я еще и тут побываю», и гордо попирать землю сапогом как завоеватель. Но все эти поселки были так однообразны! Алеша начинал думать, что пора домой.

Вечером он нашел в здании вокзала подробную карту губернии. Земля, которую он топтал рваными подошвами своих сапог, лежала теперь перед ним, обрезанная четырьмя линиями рамки. Он вспомнил: учительница показывала средневековый рисунок — путешественник лежит на краю земли и заглядывает в пустоту: что там? У путешественника в глазах страх и любопытство. И рука с растопыренными в волнении пальцами. Очевидно, за четырьмя рамками губернии есть еще города и дороги. Это в общем забавно.

Алеша без труда нашел свой городок. Вот отсюда они вышли на юг. Голубовские хутора. Отсюда их вы-

гнали. Село Ровное. Лавочник. Отсюда они ушли на юг. Станция Удачная. Отсюда опять на юг... Какая прямая линия! Что это? Случайность? Кривой Байрак, Щебенка... Опять прямая, как стрела, линия: на юг. Харцызск... А теперь Волноваха? А-а-а, так вот что...

Продолжая улыбаться, он рассматривал карту. Волноваха лежала уже совсем недалеко от синего моря. Железнодорожная линия, извилистая, как виноградная ветка, со всего разбега падала в море. Алеша представил, как длинный товарный состав врезается в мутные азовские воды. Пена бьется вокруг колес.

Потом он задумывался: что же, идти на Волноваху? Ковбыш тянул к морю, он угадывал дорогу, как перелетная птица,— безошибочно, нюхом. Или у него маршрут давно подготовлен? Что же, идти на Волноваху? Или свернуть назад, домой?

Домой? Зачем? На биржу? А к морю зачем? В грузчики? На пароходик? Соленая профессия, конечно, у моряка — профессия подходящая. Но Алешина ли она? Что же, идти на Волноваху?

Он пошел бродить по перрону. Теплый ветер обнял его за плечи, как старший брат обнимает младшего. В депо шипели паровозы. С рудника доносилась песня. Что же, идти на Волноваху?

Федор твердо хочет стать моряком. Павлик — слесарем, Юлька — инженером-электриком. Чего же он хочет? Ведь ему уже шестнадцатый год идет!

Последние дни они с Федором работали на маленькой шахтенке, у арендатора Мандрыки. Это была плохая шахтенка. По кругу ходила унылая лошадь и вертела большой барабан. Вокруг барабана медленно обвивался канат. Когда канат полностью накручивался на барабан, из шахтенки выползала пузатая и словно удивленная бадья с углем. Когда канат раскручивался, бадья, медленно покачиваясь, скрывалась обратно. А лошадь все ходила вперед и назад по кругу, понурив морду и постыло отмахиваясь хвостом от мух. А за ней, спотыкаясь, брел погонщик и хрипло покрикивал:

— Но! Но!

Алеша и Федька стали работать вместе с добрым десятком таких же, как и они, ребят и дивчат наверху: на разгрузке, на относе штыба, на сортировке. Алеша стал на работу в семь утра, а в час дня он спросил у соседа, курносого парнишки:

— Где тут у вас руки моют?

— Зачем?

— Как зачем? Шабаш, брат...

Все бросили работу, чтоб посмотреть на чудака: ишь какой прыткий! Кто-то зло объяснил Алеше, что здесь работают двенадцать часов. Алеша объявил забастовку.

Сам Мандрыка прибежал успокаивать разбушевавшихся ребят. Алеша в тот же день побывал в профсоюзе... Хозяйчика тотчас же крепко оштрафовали, для ребят установили шестичасовой рабочий день, но Алеша с Федором уже пошли дальше. Восторженная ребятня провожала их до околицы.

Вот какой у него был талант и какая ему мерещилась профессия: владеть людьми, двигать ими, двигаться вместе с ними и во главе их.

Так что же, идти на Волноваху?

Ничего не решив, он вернулся на вокзал. Проходя мимо карты, он остановился. Вот городок. Вот Кривой Байрак. Вот Волноваха. Какое-то длинное слово, неразборчиво написанное, очутилось вдруг рядом с Харцызском.

— Белокриничная,— с трудом разобрал он и вдруг ударил себя по лбу: — Белокриничная! Да ведь там Павлик!

— Мы не пойдем на Волноваху завтра,— сказал он твердо Ковбышу,— я хочу зайти в Белокриничную. Там у меня друг есть.

И где-то шевельнулось: «Может, больше и не придется свидеться».

— Ладно,— ответил, подумав, Ковбыш,— тут двенадцать верст. А оттуда — на Волноваху.

— Там видно будет.

Они вышли утром. Шли не торопясь и к полудню уже были в Белокриничной. Алеша не знал, как найти в поселке Павлика, и решил идти прямо на завод. Они прошли через главные ворота. Никто не спросил у них пропуска. Механический цех был ближе всего к воротам, и здесь они без труда нашли Павлика. Наклонившись над верстаком, Павлик обмеривал кронциркулем шпонку. Павлик был в темно-синей рубахе без пояса, мелкая железная пыль блестела на ней. Вокруг Павлика бродил солнечный луч. Он то бросался к ногам молодого слесаря, то перебегал по блестящей, как чешуя,

рубахе, то полз по инструменту, золотя его и как бы подсовывая Павлику.

И Алеша смущенно подумал, что в сущности ведь Павлик занят, а они пришли ему мешать. Взглянул на босые ноги Ковбыша, на свои рыжие сапоги и решил, что надо уходить. В Волноваху? Там видно будет.

Что-то еще, какое-то еще чувство бродило в нем: зависть? обида? Он оправил рубаху и двинулся к выходу. Но в это время Павлик заметил его и удивленно окликнул. Они бросились друг к другу, оба смущенные и радостные.

— Ну, ну!.. Ну как?

— А ты?

— Нет, здорово!

— Да, да!..

Они не могли найти настоящих слов, мяли друг другу руки и взволнованно смеялись. Наконец, Алеша спросил:

— Как жизнь? Работаешь?

— Работаю... А ты?

Алеша смутился и ответил тихо:

— А я хожу...

Павлику нельзя было долго разговаривать: уже сердито поглядывал на него мастер Абрам Павлович.

— Вы подождите меня,— сказал Павлик ребятам,— скоро шабаш.

— Хорошо!

Ребята вышли из цеха и очутились на тесном заводском дворе. Мимо них, пронзительно крича, пронеслась «кукушка». Машинист высунулся из окошка и что-то сердито крикнул Алеше. Только сейчас Алеша понял, что его чуть было не задавило. Он растерянно улыбнулся и сказал Ковбышу:

— Тут гляди, Федя, в оба!..

Из котельной со свистом и шипением вылетал пар. Он рвался, хрипя и беснуясь, словно кто-то схватил его за глотку и не пускал. Со всех сторон неслось гуденье, дребезжание железа, лязг,— звуки бушевали вокруг ребят, сшибали их, мальчики совсем потерялись в этом шуме.

Люди пробегали мимо них, хрипло крича. Они говорили, приложив ладонь ко рту, слабые их голоса то-

нули в заводском гуле, и Ковбышу показалось, что на заводе случилось несчастье, катастрофа, все взволнованы, все в смятенье, все бегут и кричат, не слыша друг друга.

Он испуганно осмотрелся вокруг: куда деваться? — и вдруг увидел: на опрокинутой «козе» лениво лежит каталь и курит, медленно и смачно выпуская дым. Синий легкий дымок колеблется в воздухе и тает. Каталь затянется, выпустит дым, зевнет и опять затянется.

— Никогда я не видел завода,— тихо произнес тогда Ковбыш и вытер пот со лба.

Но и Алеша стоял как пришибленный. Он тоже не видел никогда такого большого завода. Разве завод, где работал отец,— завод? Мастерская!

Раньше Алеша считал себя заводским человеком и гордился этим. Но вот что-то гудит нетерпеливо и неукротимо,— похоже, что ветер бьется, скованный железом. Что это? Лежит кирпич странного цвета: светло-розовый. В нем круглые дырки. В одной кирпичине — одна дыра, в другой — три, в третьей — вовсе желобок. Зачем? Откуда-то сбоку из-за печи вырывается ровное синее пламя,— что случилось?

Опять пронеслась мимо, крича, «кукушка». Алеша еле успел отскочить. Его обдало паром, влажные капельки, как сырость, осели на его лице.

Он хотел разобраться: куда идти? Железнодорожные пути то разбегались во все стороны, то вдруг спутывались в клубок, то неожиданно бросались вбок и, извиваясь, замирали в тупиках. Провезли ковш горячего чугуна. Несколько искр упало на рубаху Алеши; он испуганно начал гасить их под насмешливый хохот дивчат, работающих на разгрузке.

Алеша покраснел и пошел дальше наугад, стараясь шагать небрежно и смело. Федор послушно шел за ним, считая его заводским человеком, разбирающимся во всем, как в книге.

Они шли мимо черных корпусов, перескакивая через кучи какого-то серого камня и серебристого порошка, они проходили под железными трубами, такими гигантскими, что внутри каждой из них мог идти человек,— и Алешу подавляло не то, что вокруг все огромно, а то, что все непонятно.

Он был как в лесу, где каждое дерево имеет свое название, привычку, цель, неизвестные Алеше. И как

там для него все деревья были дрова, так здесь для него все было железо.

Вдруг ребята вышли на проспект. Великолепный, неожиданный здесь проспект был вымощен ржавыми железными плитами. Между ними пробивалась желтая, сухая трава. Рудная мелочь поскрипывала под ногами. Где-то в конце проспекта копошились коричневые люди. Они волочили двухколесные тележки и опрокидывали их куда-то. Ребята слышали, как катился, грохоча и стуча о железо, камень, как подпрыгнул и замер последний кусок.

Алеша догадался: это руду подали в домну. Его обрадовало это открытие. Он хотел уже гордо объяснить Федору: вот домна, вот руда, из руды будет чугун, дело, в общем, нехитрое! — как вдруг откуда-то сбоку рванулось синее пламя.

— Смотри! — закричал Ковбыш и бросился туда.

Высокая раскаленная стена, толкаемая неизвестной силой, слепо шла вперед,— синие языки пламени бежали впереди нее.

— Что это? — прошептал Федор, и Алеша не мог ему объяснить.

Ребята глядели, жадно расширив глаза, как шла на них эта бледно-розовая стена. Она начала чуть синеть,— так синеет от холода розовое тело купальщицы. Стена шла и шла вперед, озаряя все вокруг ровным розовым светом, и Алеша подумал, что он никогда не видел картины красивее этой. Он любовался нежно-розовым сиянием! Ему захотелось привести сюда Юльку и сказать ей: «Что твои закаты? Что твои леса и реки? Гляди! — И гордо добавить: — Вот моя родина».

Но вдруг стена дрогнула, что-то ударило в нее, она окуталась черным, удушливым дымом и съежилась. Только теперь ребята увидели, как, прикрываясь тряпками, платочками, рваными рукавами кацавеек, к раскаленной стене подступали бабы с шлангами в руках. Они направляли сильную струю воды в пылающую стену и крушили ее, задыхаясь от дыма и едкого газа. Кашляя и чуть не плача, бабы подступали все ближе и ближе,— и стена закачалась, скособочилась, потеряла величественный вид и, наконец, рухнула. На железную рампу упали тяжелые куски кокса, они покорно сползали вниз и гасли.

В пустой печи еще ходил розовыми волнами жар,

но скоро дверку закрыли, и все вокруг потускнело. Стало холодно и неуютно.

Ребята побрели прочь и неожиданно очутились у реки, которая мирно текла по окраине завода. Они взошли на мост и стали глядеть в воду. По одну сторону моста вода была чистая, светлая, она лениво колыхалась и играла под солнцем, она была такая же чуть зеленоватая и чуть пахла рыбой, как и вода всякой другой речки, и Ковбыш сказал умильно: «Как в деревне!», но Алеша, который смотрел в воду по другую сторону моста, отозвался:

— Что ты! Вода грязная!

Федор подошел к нему и увидел: действительно вода была грязно-серая, по ней расползались масляные фиолетовые пятна.

Заводской шум доносился до ребят глухо. На реке стояли градирни; веселые брызги, как пыль, носились в воздухе. За рекой стояла лошадь и мирно жевала овес. Около лошади — бричка. Что, это тоже заводское?

Алеша никак не мог связать в одно целое: синее пламя на коксовой батарее, гул работающего завода, бричку, из которой торчит рыжая, прелая солома.

Ребята с трудом нашли дорогу обратно в Павликов цех. Павлик уже кончил работу. Он ждал товарищей и пошел к ним навстречу.

— Ты долго здесь будешь работать? — неожиданно спросил Алеша.

— Всю жизнь,— недоуменно ответил Павлик и пожал плечами.— Всю жизнь. А что?

— Всю жизнь? — И Алеша не знал, что же — жалеть Павлика, что не увидит он ни Мариуполя, ни синь моря, ни дальних стран, или же завидовать ему?

Павлик шел по заводу, как хозяин. Он все знал здесь. Он знал, зачем розовый кирпич с дырками: для мартеновских канав. Знал, что это гудит в железе: воздух, подаваемый в домну. Он полез с друзьями на верх старой домны и, щурясь от солнца, показал ребятам завод.

— Смотрите! — шептал он восхищенно.— А? Смотрите!

Хаос труб открывался перед ребятами — здания, газопроводы, шум, неразбериха, толкотня.

Но Павлик, потерявший здесь свою застенчивость, возбужденный, преображенный, сияющий, такой, каким

никогда не видели его ребята, легко распутывал эту неразбериху. И ребята видели, как входит в завод мертвая, тусклая руда, перепачканная глиной, как превращается она в чугун, в сталь, а сталь — в болванку и болванка — в рельс. Сизый, поблескивающий рельс выходит из завода и ложится наземь, уничтожая пространство.

— Езжай куда хочешь!

— И к морю? — спросил зачем-то Ковбыш.

— Да! И к морю!

— А ты,— восхищенно закричал Алеша,— ты что на заводе делаешь?

Павлик смутился.

— Сейчас гайки строгаем...

— Гайки? Гайки? — расхохотался Алеша.— Где они, гайки?

Он видел домны, он видел цехи; вон коксовая стена, вон ковш с чугуном,— но где гайки? Нет, если работать на заводе, то надо все, все схватить в свою пятерню. Он не пойдет на Волноваху. Он не пойдет к морю. Он не останется здесь, на заводе. Нет! Он вернется в город. Будет учиться. Ему все станет ясно. Как много может сделать человек! Человек выстроил этот замечательный завод. Человек снарядами разрушил его. Человек, голодая, голыми руками, ободранными в кровь ногтями восстанавливает его. Человек все может! И Алеша будет таким. Будет!

— Вон мои гайки,— пробормотал Павлик, когда они спустились вниз и остановились возле ремонтирующейся второй домны.— Без гаек нельзя печку выстроить.

Ранним утром следующего дня, до гудка, три товарища вышли на дорогу. Поселок остался сзади. Над дорогой уже поднималась легкая, сухая пыль. Ковбыш перебросил мешок через плечо и протянул Алеше руку.

— Ну, прощай, брат! Может, когда встретимся. Отцу моему поклон. Нехай не ругается. Каждому, я так считаю, свой путь. Я сапогов шить не стану. Прощай, Павлик!

Они обнялись, поцеловались, еще раз крепко пожали друг другу руки. Наступило молчание. Ковбыш потоптался на месте, а потом рывком бросился в путь.

Мохнатые подорожники приветственно кивали ему седыми головками. Голубое море плескалось над ним, облака, как парусники, плыли по пути. Босой ногой

Ковбыш ощущал дорогу, попутный ветер, как крылья, висел за его спиной. Что впереди? Море, соленая жизнь, воля,— чего еще?

Ребята долго смотрели ему вслед. Потом Павлик встрепенулся:

— Гудит. Слышишь?.. Пора!..

Над степью широко раскатывался заводской гудок.

Павлик побежал вниз, в поселок.

Алеша медленно пошел на вокзал. Через час на площадке товарного поезда он уже ехал домой, в город.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Ах, томик помятый!
Ах, старый наган!

В. Саянов

1

Комсомолец с залихватским чубом, в кепке, огромной и пятнистой, как глобус, в зеленой австрийской шинели, туго перепоясанной матросским фартовым ремнем,— ты улыбаешься мне со стены, с желтой, выцветшей фотографии, у которой косо оборван угол. Я недоумеваю: зачем ты всегда фотографируешься с наганом в руке? Спрячь наган в кобуру,— я твой друг. Пришей хлястик. Я люблю тебя.

Екатеринославский слесарек в замасленном отцовском «блине», парень с голубыми бугорками на ладонях, ты однажды аккуратно вымыл мылом с опилками руки и пошел на собрание молодежи. Там записывали на фронт, и ты стал фронтовиком раньше, чем комсомольцем.

Одесский парень, ученик часовых дел мастера, ты затеял как-то идейный спор с хозяином. Он сказал плохое слово о большевиках, и ты побил стекла в его лавчонке. Самый большой будильник ты растоптал ногами и пошел бунтовать Молдаванку. Во главе босоногой орды ты пришел стучаться в двери эвакуирующегося комсомола. С ним ты прошел сквозь огонь и воду.

Голубоглазый хлопец в вышитой васильками сорочке, ты пришел, разиня рот, с хутора в Киев искать такую семинарию, где б всем наукам обучили враз. Ты искал ее, окликая прохожих. Мешок с паляницей, с ку-

ском сала и «Кобзарем» Тараса болтался у тебя за спиной. Ой, в хорошую семинарию ты попал, хлопче! Тебе дали шинель, винтарь и папаху. Выцвели на сорочке васильки. Твоего друга убили под Трипольем. На хутор ты писал редко.

Земляк, кадиевец, курносый лампонос в рваной шахтерке, у тебя под глазами только-только появилась неистребимая кромка угольной пыли, тебя только-только перевели в тормозные, когда на шахту вдруг надвинулись деникинцы. Твой отец кликнул тебя, и вдвоем вы пошли разбирать винтовки из шершавого ящика. Ты выбрал себе полегче. Ты прозвал ее Машкой,— так звали гнедую лошадь твоего коногона. Вдвоем с отцом вы попали в железный полк шахтеров Донбасса. Отец стал большевиком, ты — комсомольцем. Под Барвенковом отца убили. Он упал, что-то крича тебе. Ты не расслышал что.

Такими-то разными дорожками вы пришли в комсомол, чубатые парни.

Вот глядишь ты на меня со стены, с желтой фотографии, у которой косо оборван угол. Чуб упал тебе на лоб, кепка сбилась набекрень, рот разинут.

У тебя была зычная глотка. Ты ничего не умел делать тихо. Когда ты ел — было слышно, как трещит за ушами. Есть ты умел. Впрочем, голодать — тоже.

Ты всегда жил в общежитии. Ты говорил: «Я не понимаю, комнаты, в которой меньше десяти коек!». Когда тебе в двадцать четвертом году дали отдельную комнату, ты метался в ней. Ты хотел вышибить стекла, чтобы ветер пришел к тебе в соседи. Ты болтался без толку по кривым улицам города, чтобы только не идти домой, в пустую комнату. Скоро ты взял к себе товарища, стали жить вдвоем.

Тебя тянуло в клуб, в ячейку, на люди. День, когда ты не был с ребятами... Впрочем, такого дня не было: ты всегда был с братвой, шумной, галдежной и непременно сбившейся в кучу. Почему комсомольцы всегда сбиваются вместе, в кучу? Твой день был открыт для всех взоров, как и твоя жизнь.

У тебя никогда не было своей собственной вещи, безраздельно принадлежащей тебе. Валенки, раздобытые тобой где-то в цейхгаузе, носились всеми жильцами «коммуны номер раз». Как и все, ты терпеливо ждал своей очереди. Все сундуки, ящики, чемоданы, даже

карманы ребят были открыты для тебя. Ты не знал, как скрипит ключ в замке.

Ты любил ясноглазых дивчат нашей породы. Они носили длинные черные юбки, сапоги с подковами и лохматые папахи. Свои тонкие талии они перепоясывали ремнем. Поэты говорят сейчас: «Такова была мода военного коммунизма». Бедные, они не знают, что законодателем этой моды был рыжий каптенармус из вещевого склада.

Ты ходил, закинув винтовку за спину, дулом вниз. Наган бил о твои бедра. Ты любил оружие так же, как охотники и старушки любят собак. Ты умел умирать просто и тихо — это единственно, что ты умел тихо делать. Как много умирало вас!

Что ты еще умел делать?!

...Говорят, ты сейчас инженер. У тебя комната в новом доме. Две даже. Да, я вспоминаю теперь, что ты мне писал как-то и о чем-то просил... Ах да! Ты просил выслать тебе, если достану, новых пластинок для патефона. Неужели я не послал? Одновременно ты сообщал мне, что закончил проектирование пресса в десять тысяч тонн. Да, теперь я вспомнил: ты действительно инженер. Инженер-конструктор.

Но со стены ты глядишь на меня парнем с залихватским чубом, в кепке, огромной, как глобус; ты такой, каким навсегда остался для меня в песнях и рассказах и каким я не успел быть.

Я пришел в твою организацию, когда винтовку ты уже сдал под расписку в райвоенкомат. Ты носил еще австрийскую шинель, но уже достал где-то легкую голубую рубаху. В коммуне была уже прачка, и рубаха твоя каждые две недели систематически линяла. Она достиралась в конце концов до цвета серого осеннего утра. Я глядел на тебя с благоговейным почтением. Я хотел быть таким, как ты. Я завидовал тебе, я проклинал свою незадачливую судьбу. Чудак, я не знал еще, что каждое поколение имеет свои замечательные сроки, свои волнующие дороги, свою прекрасную судьбу.

В августе Юльку принимали в комсомол.

— Не принимать! Не принимать! — закричало собрание, когда перепуганная и красная Юлька появилась на сцене.— Не принима-ать!

Но Юлька не расплакалась, как год назад, не убежала, а схватилась обеими руками за край трибуны и храбро посмотрела в зал. «А вот не сбегу отсюда,— упрямо решила она.— Вот не сбегу. Почему они не хотят меня принимать?»

Громче всех кричали печатники. Они сидели в первом ряду, перебивали ораторов, шумели и чувствовали себя здесь хозяевами.

— Сейчас много найдется охотников в комсомол,— кричали они,— а где они были, когда черти дохли?

— Почему они не хотят принимать? — удивлялась Юлька.— Ведь лучше же, когда больше комсомольцев будет.

В защиту Юльки выступили ребята из детской группы и Рябинин.

Рябинин сказал:

— В лице Юлии Сиверцевой, товарищи, к нам в комсомол впервые приходит новое поколение. Откуда оно? Оно из детской коммунистической группы. Это наша смена идет, товарищи!

И собрание вдруг разразилось теплыми аплодисментами. Громче всех аплодировали печатники. Они хлопали долго, дружно, по-комсомольски. Юлька чуть не расплакалась, теперь уже от счастья. Она хотела закричать: «Ребята! Вы не напрасно берете меня в свои ряды. Я буду хорошей комсомолкой. Правда!» Больше всего ей хотелось убедить в этом печатников. Но она не знала, как, какими словами сказать это так, чтобы ей поверили, и, смущенно хлюпая носом, сбежала со сцены.

К ней подошел Рябинин, улыбаясь, протянул обе руки.

— Ну, поздравляю, Юлеша. Поздравляю нового члена комсомола!

— Рябинин! — взволнованно ответила она.— Рябинин! Ты увидишь! Я буду хорошей комсомолкой. Вот ты увидишь! Правда!

— Я верю,— засмеялся он.

Но ей казалось, что он легкомысленно относится к ее словам. Зачем он смеется? Она уже не девочка. Вчера еще, даже сегодня, даже два часа назад она была девочкой. Сейчас — нет. Сейчас она комсомолка. В Италии комсомольцев бросают в бездонные тюремные колодцы. В Китае комсомольцам рубят головы. Нет,

она уже не девочка, и ей стыдно, что она чуть не расплакалась на собрании от счастья, от счастья быть в комсомоле. Комсомольцы не плачут.

Она шла, счастливая и растерянная, домой, в детдом, и взволнованно думала: «Я комсомолка? Это правда?»

Она удивленно озиралась вокруг: все было на месте, все было, как вчера, как тогда, когда она еще не была комсомолкой.

Так же круто подымалась в гору кривая немощеная улица. Юлька то попадала ногой в воду — лужа, то спотыкалась ногой о твердое — камень. Так же поскрипывали под ногой деревянные мостки, переброшенные через канавы. На реке дружно квакали лягушки. Юлька мельком подумала, что и реки-то здесь настоящей нет. Посреди улицы задумчиво стоял единственный фонарный столб, он казался заблудившимся в тугих поворотах кривой улицы, среди толпы скучившихся домиков. Он наклонился вперед, словно искал дорогу, чтобы убежать отсюда.

Все было, как вчера.

Юлька прислушалась к своим шагам — легкие, еще детские, они рассердили ее. Она стала ступать тверже, крепче, она вколачивала шаги в тугую каменную землю,— и все же шаги ее оставались такими же детскими, как вчера.

Ей казалось, что когда она станет комсомолкой, все будет не так, как раньше. Все сразу вдруг изменится, станет другим. Она ждала каких-то крутых физических изменений и в себе, и в окружающем мире. Ведь сегодня не то же, что было вчера! Равнодушие мира к ее счастью ее глубоко обижало.

Целую зиму, прячась от матери, она ходила в комсомольский клуб; ради комсомола она ушла от семьи, бросила Наталку и Варюшку. О комсомоле мечтала, глотая детдомовскую шрапнельную кашу без масла. И вот она — она комсомолка, а вокруг ничто, ничто не изменилось, все течет по-прежнему: и лягушки обидно квакают, и редкие прохожие равнодушными, пустыми взглядами провожают члена комсомола, и шаги у нее, как и вчера, некрепкие.

Но это минутное разочарование тонуло в радости. «Я комсомолка! Я комсомолка!» — пело все в ней.

«Но как же теперь жить? — вдруг испугалась она.— Что теперь можно, что нельзя? Теперь не то, что вчера. Теперь уже нельзя беззаботно бегать по улицам. На меня смотрят. Я комсомолка. Ах, как много врагов вокруг! Мы живем во враждебном окружении,— озабоченно думала она.— Как же мне поступать теперь? Я вот что буду: прежде чем что-нибудь сказать или сделать, я буду думать, можно так комсомолке или нельзя».

Она решила даже, придя домой, составить твердые заповеди поведения; комсомол стал казаться ей храмом, не таким, конечно, в какой водили молиться в детстве, но еще более торжественным, еще более светлым, храмом без бога, но со строгой, требовательной, беззаветной верой. И она давала себе тысячи обетов, твердо веря, что выполнит их.

Я встретил его в Москве, на Советской площади. Говорят, она называлась раньше площадью Скобелева.

Я люблю этот район в предутренний час. Бледная холодная заря подымается над морозными университетскими улицами — Моховой и Никитской. Заря похожа на жидкий остывший чай. Эх, чай — теплый участник студенческих споров.

Задумчиво иду по переулкам.

Какое-то ожидание волнует меня. Мне кажется, что вот из-за угла, где над кружком зеленого снега качается фонарь, вдруг вывалит мне навстречу шумная гурьба молодых людей в распахнутых шинелях и шубах. Они устали от споров. В дымной комнате, которую они только что покинули, на смятой скатерти стаканы недопитого остывшего чая, в них утомленно плавают окурки. Молодые люди шире распахивают шинели, облизывают пересохшие губы, жадно глотают морозный воздух,— он плотен, как снег, и так же тает во рту.

Мне кажется, я узнаю их: длинные вьющиеся волосы одного, впалые, желтые щеки другого, высокий лоб третьего. Я хочу броситься к ним и, содрав с головы кепку, сказать:

— Здравствуйте! Я вас знаю. Мы все знаем вас.

Но я подхожу к фонарю, который качается над кружком зеленого света, и никто не выходит мне навстречу. Мне кажется теперь, что я брожу по литературному кладбищу. Улицы и переулки лежат, как мо-

гильные плиты. Я, щурясь, читаю высеченные на них имена: Герцена, Белинского, Грановского, Огарева, Станкевича. Они лежат здесь, рядом. Это была прекрасная молодежь.

Парня же я встретил днем на Советской площади. Он прошел мимо меня, бросив равнодушный взгляд прищуренных близоруких глаз. А я остановился и застыл.

«Стой!» — чуть было не крикнул я.

И вдруг усомнился: он ли? Я знал, кого мне напоминает парень: двадцать второй год, «коммуну номер раз», Бенца — Бенцмана.

Бенц вспомнился мне в странном виде: босиком, без всяких признаков рубахи, в подштанниках, подвороченных выше колен, и в зеленой кепке с огромным козырьком, который все-таки не закрывал всего Бенцова носа, ибо нос его был вне конкуренции.

Бенца я помню худощавым порывистым парнем, с вечно вытянутой вперед головой; долгошеий, он был похож на аиста.

Этот же парень шел, раскачиваясь, уверенно размахивая чемоданчиком; парень был полноват, даже рыхловат, пожалуй. Москвошвеевский костюм туго сидел на нем. Так и казалось: костюм потрескивает, а пуговицы стонут. И нос у парня был не большой, а в меру. Мясистый этакий, хороший, подходящий нос. Нет, это не Бенц!

Так и шли впереди меня эти два образа: Бенцмана-аиста в подвороченных подштанниках и рыхлого парня с кожаным чемоданчиком в руках. Оба эти образа шли рядом, как знакомые, но не близкие люди, не сливались вместе, не обгоняли и не заслоняли друг друга.

А я шел сзади, сомневался, мучился и не решался ни окликнуть, ни отстать.

И вдруг парень сделал почти незаметный, но такой характерный жест: быстро, суетливо, одними локтями он поддернул брюки. Бац! Оба образа слились воедино, и я, уже не сомневаясь, закричал во все горло:

— Бенц! — и бросился к нему.

Но надо рассказать о подштанниках.

Летом 1922 года Бенцмана послали в Крым, на курорт.

— Езжай, Бенц! Загорай, Бенц! Пиши, Бенц! — провожали мы его всей ордой.

А он только смущенно размахивал зеленой кепкой и потел. Его нос блестел, как казацкая пика.

Прошел месяц, и вот в полдень мы вдруг услышали дикий вой под нашими окнами. Я выглянул — и ахнул: толпа ребятишек плясала и завывала вокруг черного и почти голого парня. Он был в одних подштанниках, подвороченных выше колен. По зеленой кепке и единственному в мире носу я узнал Бенца. Ребятишки выли и бесновались вокруг него, они швыряли в Бенца камнями, они улюлюкали и свистели, но он был невозмутим. Расталкивая толпу, он шел, вытянув длинную шею; казалось, он не замечал ни насмешливых мужчин, ни улюлюкающих ребят, ни сердито сплевывающих баб.

— Что случилось, Бенц? — бросились мы к нему.

Он равнодушно пожал плечами:

— Штаны разодрались вдрызг. Выбросил. Других нет. Здравствуйте! Пленум горкома был?

Мы пошли по всей коммуне с воззванием.

— С миру по нитке,— взывали мы,— Бенцу штаны.

— И рубаху,— добавляли практичные дивчата.

Но Бенц сконфуженно умолял:

— Не надо... На дворе еще август. Это чудесный месяц. Я знаю. Я обойдусь.

Но мы все-таки сшили ему штаны и рубаху.

— Это было замечательное время,— растроганно сказал мне на Тверской Бенц.— Это было замечательное время!

Что делают два парня, не видевшихся десять лет? Мы пустились вспоминать. Всех жильцов «коммуны номер раз» мы вспомнили и перетряхнули. Вспоминали, как промышляли еду, как добывали дрова, как любили дивчат, как голодали и мерзли, как пели и спорили, как... Эх, об этом надо писать книги!

Наконец, мы спустились на землю. Я теперь только вспомнил, что ведь не узнал с первого взгляда Бенца. Где нос, как казачья пика? Я всмотрелся и увидел: нос был по-прежнему велик, но лицо стало шире, мясистее.

— Где тебя так кормят?

— Я директор консервного комбината.

— А-а-а-а! — расхохотался я.

— Вот! Вот! — рассвирепел он.— У вас всегда такое отношение... Знаешь ли ты, что мы будем выпускать

консервных банок на моем комбинате больше, чем в крупнейших предприятиях Чикаго?

Но меня уже не удивляет превращение комсомольцев в директоров, даже в директоров консервных комбинатов. Старый комсомолец Жора Прокофьев поднялся на стратостате «СССР» на высоту, которой люди не знали. Он послал оттуда земле комсомольский привет. Но и это меня не удивляет. Что же! Земля вертится. Не знаю, было ли это видно Прокофьеву сверху, но нам это видно очень. На партийной чистке нашей ячейки выяснилось, что восемьдесят процентов руководящих работников — бывшие комсомольцы. Они признавались в этом с хорошим волнением. Что же! Ведь будет и такой день, когда председателем Совета Народных Комиссаров станет бывший комсомолец. Земля вертится!

Юльке скоро дали нагрузку: назначили ее техническим секретарем городской ячейки. До этого в ячейке никакого техсекретаря не было: скомканные и помятые бумажки валялись в карманах широких галифе секретаря ячейки вместе с крошками хлеба и табачной пылью.

Но новое время стояло на дворе. Горком стал требовать регулярной присылки протоколов, списков, анкет; однажды зашел в ячейку инструктор и заставил секретаря вытряхнуть на стол все бумаги. Секретарь вытряхивал их из кармана вместе со сломанным перочинным ножом, солдатской пуговицей и крошками махорки.

Став техсекретарем, Юлька бережно расправила помятые бумажки, выклянчила где-то папки и завела «дела». «Дело № 1 городской ячейки комсомола»,— не дыша, вывела она на сиреневой папке старательным, круглым почерком,— таким она подписывала свои школьные тетрадки: «Тетрадь для математики ученицы 6-й «А» Ю. Сиверцевой». Список ячейки она переписывала чуть ли не ежедневно. Список был маленький: всего сорок человек.

Я немало лет в комсомоле; был во многих ячейках, но никогда не видел техсекретарем ячейки парня. В укомах, в губкомах управделами сидят парни, именно парни. Но в ячейках вся канцелярия в руках у тихих (они всегда тихие), скромных, милых комсомолок.

Их не замечают. Их никуда не выбирают. Их фамилий не помнят и называют Любушками и Аннушками. Грозный, вихрастый секретарь всегда кричит на них, но без них он не может ступить шагу.

Как они болеют — эти Любушки — за ячейковые дела! Какие они патриотки своей ячейки! Как они отважно отстаивают перед прыщавым управделом горкома свои ячейковые интересы!

Я считаю своим комсомольским долгом, долгом секретаря с многолетним стажем, сказать здесь теплое слово о наших техсекретарях.

По ячейковым делам Юльке часто приходилось бывать в горкоме.

Горком помещался в двух грязных полуподвальных комнатах; сквозь немытые стекла сюда скупо сочился бледный, чахоточный свет. Здесь всегда было накурено, всегда толпились люди, входили и выходили, гулко хлопая тяжелой дверью. Здесь всегда говорили громко, чтоб перекричать общий шум, и от этого шум становился еще сильнее. Всегда казалось, что люди забежали сюда впопыхах сообщить о какой-то большой катастрофе. Горком походил на вокзал или на эвакуационный пункт.

Юлька всегда с замирающим сердцем приходила в горком. Она осторожно тянула к себе тяжелую дверь и робко входила. Ей казалось, что здесь решаются мировые дела. Ведь здесь же решилась однажды в полдень и ее судьба: они, очевидно, долго совещались о том, принимать девочку Юлю в комсомол или не стоит.

Секретарь горкома, насмешливый Глеб Кружан, парень в поскрипывающих сапогах, казался ей недоступным и таинственным существом. Когда он глядел на нее своими прищуренными голубыми глазами, Юльке казалось, что он видит ее насквозь, что ему известно даже то, о чем сама Юлька смутно думает. Она завидовала ребятам, которые свободно разговаривают с Кружаном и хлопают его по плечу. Особенно она завидовала Катьке Верич.

Катька бесстрашно подходила к Кружану и хрипло говорила (она нарочно хрипела):

— Дай закурить!

А когда Юлька разговаривала с Кружаном, она давилась словами, краснела, «парилась», легкий пот выступал на ее веснушчатом лице.

Кружан разговаривал с ней пренебрежительно, все время усмехаясь.

— Ну еще что? — фыркал он.— Так в чем же дело? Что еще тебе? Все?

— Все,— торопливо соглашалась она и убегала, не решив и половины дел.

Но однажды Кружан встретил ее на улице и остановил.

— Ну, как жизнь? — спросил он насмешливо.

— Ничего...— растерялась она.

— Это плохо, если ничего. Надо, чтобы было хорошо. Ты что — от масс отрываешься?

— Я? — испугалась Юлька.— Я не отрываюсь...

— Ты что ж никогда в коммуну не придешь?

— Нет, я бываю...

— Знаю. У Рябинина. Рябинин не масса. Ты к нам заходи. Вот сегодня вечером и заходи. У нас компания соберется. Так ты заходи.— И он пожал ей руку.

— Зайду,— пролепетала она.

Она долго не могла опомниться: неужели это в самом деле ее пригласил Кружан прийти в коммуну? Она так и думала всегда, что активисты собираются по вечерам вместе. Пьют чай, спорят, шумят, поют. Она читала где-то о студенческих сходках,— ей мерещилось: лохматые головы, наклонившиеся над столом, дым...

— Я приду,— шептала она, хотя Кружан был уже далеко,— я обязательно приду...

Вечером она трепетно постучала в дверь, на которой было написано:

«Здесь келия великомучеников Бориса и Глеба и иже с ними».

«Глеб — это Кружан, Борис — управдел»,— подумала Юлька и затаила дыхание.

Но никто не вышел к ней. Из-за двери доносился веселый хохот. Тогда Юлька сообразила, что она очень тихо постучала и ее не услышали.

«Надо громче,— подумала она.— А то так и буду стоять в темном коридоре. И ничего не услышу...»

Она набралась храбрости и постучала снова.

«Войду и забьюсь в угол. Только слушать»,— успела еще подумать она.

Дверь отворилась, и Юлька очутилась в комнате, в которой было весело, дымно и шумно.

— А-а-а! — закричало ей навстречу много голосов.— Вали, вали, дочка!..

Свет ослепил ее, она зажмурила глаза и растерялась.

— Что же ты на пороге застыла? — по хриплому голосу Юлька узнала Катьку Верич.

Но девочка действительно застыла на пороге. Что происходило здесь! Наконец, она попятилась назад. Она уперлась спиной в дверь. Дверь заскрипела.

«Бежать! Бежать! — наконец, догадалась Юлька.— Что они делают!»

Она рванула дверь и выбежала в коридор. Дверь шумно грохнула за нею. Юлька промчалась, натыкаясь на стены, через весь длинный переход и выбежала на лестницу. Здесь она остановилась, чтоб перевести дыхание. Но ей вдруг послышались торопливые шаги сзади, и она опять заметалась, покатилась вниз по лестнице, хватаясь руками за перила. Внизу жил Рябинин. Она помнила это. Задохнувшаяся, растрепанная, она ворвалась в его комнату.

— Рябинин! — закричала она и бросилась к Рябинину.— Рябинин! Они пьют!

— Что случилось? — всполошился тот.— Юлька, что случилось? — Он был один в комнате, сидел и брился. Бритва упала на стол и звякнула.

— Они пьют...— плакала Юлька на груди у Рябинина.

Мыльная пена стекала с его щеки. Он осторожно усадил девочку на стул, вытер полотенцем мыло и тихо спросил:

— Кто они?

Захлебываясь и плача, Юлька рассказала ему, как ее позвали в гости к Кружану,— она думала, что будут пить чай и говорить о жизни; она пришла, а они пьют водку!

Когда Юлька немного успокоилась, Рябинин сказал ей:

— Ты посиди. Я сейчас.

Через десять минут он вернулся, осунувшийся и посеревший.

— Они пьют? — спросила Юлька.

Рябинин не ответил. Он ходил крупными шагами по комнате, пыльный паркет потрескивал под его ногами.

— Я никогда — слышишь? — никогда не видел пьяного комсомольца,— произнес он, наконец, остановившись перед Юлькой.— Я видел голодных комсомольцев, я видел мертвых комсомольцев, но пьяного комсомольца я не видел ни разу.

— Ты им сказал?

— Они смутились и разошлись.

Юлька опять заплакала.

— Не надо,— поморщился Рябинин.— Зачем?

— Я шла в комсомол, как в храм,— всхлипнула она.

— Храм! — расхохотался Рябинин.— Ты говоришь — храм, а Сережка Голуб требует, чтобы комсомол был военной казармой. Что вам комсомол — здание, что ли? Мы сами и есть комсомол.

Но Юлька еще сильнее заплакала. Рябинин придвинул стул к Юльке, сел, обнял ее и положил ее голову к себе на плечо.

— Ну, не надо! — сказал он ей, как маленькой, и начал гладить каштановые волосы.

В комнату вдруг вбежал Сережка Голуб. Он удивленно заметил обнявшуюся парочку и остановился; улыбка медленно поползла по его губам.

— Ну-ну... Не буду мешать...— прошептал он и, подмигнув Рябинину, скрылся.

Рябинин пошел провожать Юльку домой. Он шел без костылей и палок, чуть-чуть прихрамывая.

Рябинин часто говорил себе: «Через неделю уеду...» Но проходила неделя, а он даже и не собирался в дорогу. И опять говорил себе: «Ну, теперь через неделю». Он сам не мог понять, что держит его здесь. Неужели в самом деле держит дружба с этой маленькой веснушчатой девочкой, у которой длинные каштановые косы?

А Юлька шла и грустно думала, что вот, оказывается, нельзя никому верить. Она вспомнила Шульгу. Встречаясь с ней сейчас, он шарахается в сторону.

И вдруг ее поразила ужасная мысль: «Но почему, почему именно меня позвал Кружан? Почему именно меня поцеловал Шульга? Неужели я...»

— Рябинин,— дрожащим голосом спросила она.— Рябинин, скажи мне правду, неужели я похожа на пустую девчонку? Скажи мне правду, Рябинин.

— Ах ты, девочка!! — засмеялся Рябинин.— Когда ты вырастешь?

Он стал говорить с ней о жизни. У него была мать — тихая, забитая женщина. Когда он уходил из села на заработки с плотничьей артелью, она грустно и молча смотрела вслед. Когда возвращался — тихо улыбалась и плакала. Она ни слова не сказала ему, когда он уехал в уездный город. Он скоро вернулся, обвешанный бомбами и наганами, наводить советский порядок в деревне. Она вышла потом на порог и, взявшись рукой за косяк двери, молча смотрела, как вилась пыль под копытами его лошади. Скоро она умерла. Курица вывела утят. Они радостно бросились в реку. Плавают, отряхиваются. А курица мечется по берегу, кудахчет, хлопочет: «Утонут! Утонут!» Бедная мать!

У Рябинина был рыжий дядька-плотник. Он взял Степку Рябинина с собой и повез на шахты. Всю зиму они плотничали там. На руднике работало много китайцев. Они были грязны, рваны и голодны. Они жили в землянках в поселке, который прозвали «Шанхаем». Их переводчик ходил в галстуке и манишке. Он получал для всех получку и сам раздавал ее землякам. Из каждого рубля он оставлял себе пятак. Однажды его нашли на рельсах с перерезанным колесами туловищем. Полиция арестовала трех китайцев. Через пятнадцать минут весь «Шанхай» привалил в полицию. Китайцы кричали: «Он жулика был, он деньги мотал, мы все ему машыныка ломал. Всех сажай». Арестованных выпустили, дело замяли. Дядька тихо говорил, что не худо бы русским плотникам у китайцев поучиться. Он намекал на подрядчика.

У Рябинина был друг. Они встретились впервые на уездной конференции комсомола. Отсюда они вместе отправились на фронт. Они делили между собой последнюю щепотку махорки. Они искали друг друга после боя и щупали: «Жив ли, друг?» Однажды ночью друг перешел к белым. Его скоро поймали и расстреляли. Оказалось — генералов сын.

Юлька слушала рассказы Рябинина и думала: «Вот две недели тому назад я шла здесь счастливая-счастливая. По этой же улице шла. Вот на этом мостике я остановилась и сказала себе: «Я комсомолка? Это правда?»

— Я знаю, что я глупая,— пробормотала Юлька,— но я никогда, наверно, больше не буду счастливой.

— Ах ты, девочка!

— Нет, нет... Я уже не девочка...— торопливо прервала она.— О, я уже не девочка.— Но тут же вспомнила, что и две недели тому назад она говорила, что уже не девочка. Значит, она все-таки осталась тогда девочкой? Или так и будет всегда, что она будет расти и расти, словно подыматься по ступенькам? И на каждой новой ступеньке, оглянувшись назад, будет думать: какая я была маленькая внизу!

Когда, проводив Юльку, Рябинин вернулся домой, мы встретили его многозначительным кашлем. Мы кашляли дружно, громко и деликатно, но все разом, так что Рябинин, наконец, не выдержал:

— Ну? Ну, в чем дело?

— В шляпе,— отозвался Сережка Голуб и захохотал.— В шляпке...

— Точнее: в юбке,— загрохотал Говоров.

Но тут Рябинин стукнул ладонью по столу и сказал:

— Точка. На эту тему разговоры отменяются.

Он произнес это с такой силой, что действительно все стихли.

А я поморщился и подумал: «К чему он так? Шутим ведь. В чем дело?»

Но уже на следующий день я увидел, что тут дело не шуткой пахнет.

Меня встретил в коридоре коммуны управдел горкома Борька, отвел в сторону к окну.

— Ты что про это дело знаешь? — спросил он шепотом.

— Про какое дело?

— С Юлькой Сиверцевой?

— Ничего не понимаю...

— Ты что, не в курсе или молчишь? — подозрительно посмотрел на меня.

— Не в курсе.

Он оглянулся.

— Грустная история, брат. Темная. Будем еще расследовать. Известно лишь, что Рябинин привел в коммуну эту девочку и...

— Это ерунда! — вскричал я.

— Будем расследовать,— торжествующе закончил Борька.

Я побежал искать ребят. На койке, как всегда, валялся Сережа Голуб. Он лежал молча, отвернувшись к стене. Я сел к нему на кровать.

— Сергей! — произнес я тихо.— Что все это значит?

По моему взволнованному голосу он понял, о чем речь. Сам он выглядел очень смущенно.

— Я не знаю...— пробормотал он.

— Врешь! Знаешь! Говори!

— Да чего говорить? — вспыхнул он.— У Рябинина какие-то дела с девчонкой, а я при чем?

— Это ты первый слух пустил? Ты?

— Чего пристал? Ничего не знаю...— Он подобрал ноги и уставился в стенку.

— Врешь! Ты слух пустил. Ты и нам вчера первый рассказал, что Рябинин сидел с девочкой.

— Ну, рассказал. Ну, видел.

— Сплетник ты! Какая ерунда пошла-а!

Это вырвалось у меня, как стон, и Сережку это проняло. Он повернулся ко мне и растерянно развел руками.

— Слушай, тезка, я ни при чем,— пробурчал он виновато.— Так было дело: вчера я забежал сюда, а они сидят обнявшись. Ну, я вышел, чтобы им не мешать. Стою за дверью, чешу в затылке. Вдруг идет Катька Верич. «Что стоишь?» А я возьми и ответь: «Тсс! Тсс!» — и пальцем на дверь показываю. Ну, пошутить захотел, понимаешь? Ну, не со зла, а так. Ну, понимаешь? — Он умоляюще посмотрел на меня.

— Дальше...

— Ну, дальше что? Она спрашивает: «Кто там?» Я говорю: «Молодожены». Она стала рваться — посмотреть. Я не пускать. Тогда она спрашивает: «Кто?» Я сказал. Она ушла. Через минуту прилетает Борька: «Рябинин с Юлькой там?» Я отвечаю: «Там». А самому мне смешно. Они там сидят, а я сторожем стою. «Тсс! — говорю Борьке.— Тсс, не волнуйте наших влюбленных». Тут он ушел. Вот все...

— Все?

Он замялся.

— Все?

— Ну, еще двум ребятам сболтнул,— признался, наконец, он.— Очень уж, понимаешь, смешно вышло: они там сидят, а я сторожем...

Во мне кипело сильное желание вцепиться этому нелепому парню в глотку, тряхнуть его лохматой головой об пол, избить, но я видел, что он снес бы сейчас все

побои,— так он был смущен и напуган тем, что произошло.

— Надо, чтоб эта глупая болтовня не пошла дальше коммуны,— сказал я тогда Голубу.— Идем!

— Куда?

— Идем!

Он неохотно слез с койки и обулся.

— Оно само затихнет,— пробурчал он, но все-таки пошел.

Мы пришли к Кружану. Он лежал на койке.

— Садитесь, ребята,— прохрипел он.

— Ничего...

Сережка чувствовал себя скверно. Да и я не лучше.

— Вышла чепуха, Кружан,— решительно произнес я,— по глупости Голуба вышла...

— Горком разберет,— ответил Кружан.

— Но зачем разбирать? Здесь разбирать нечего. Надо прекратить разговоры.

Кружан вдруг вскочил на ноги.

— Нечего? — закричал он.— Замять? Замять хотите? Да? Замять? — Он наступал на меня, и я вдруг подумал, что с ним начинается припадок.

— Но ведь ничего не было,— торопливо произнес я.— Ты успокойся... Не было ничего... Все это дым, сплетня...

— Дым? — угрожающе закричал он.— Дым? А вот комиссия разберет. Разберет комиссия, какой это дым...

Мы поспешно выкатились за дверь.

2

В жизни пропасть нельзя. Даже если бы Алеша спрыгнул сейчас с поезда в глухую степь — все равно не пропал бы. Он поднялся бы на ноги, отряхнулся и пошел, ломая сухой ковыль, сквозь степь искать дорогу. Скоро он заметил бы дымок на горизонте. Где дымок — там люди. Где люди — там работа. Где работа — там хлеб. В жизни пропасть нельзя!

С площадки товарного поезда Алеше широко видна степь. Желтый колючий ветер качает ее. Она колеблется и вздрагивает,— или это поезд трясет? Она то круто подымается вверх, выше трубы паровоза, то стремительно падает вниз, бежит, припадая к колесам, стелется около рельсов, то вдруг торопливо отползает назад,

сливается с ломкой линией горизонта, затуманенного сухой, колкой пылью, подымающейся от горячей земли, и теряется там...

Но Алеша знает теперь, что скрывается за мутной дымкой горизонта. Три месяца болтался он по чужому району, по району чужих людей и чужих крыш,— что же, пропал он? Помер с голода? Ничего подобного! Загорел и окреп... Всюду — на все четыре стороны, за всеми горизонтами, на запад, на север, на юг, на восток,— всюду: люди, поселки, жизнь. Он узнал эту жизнь крепко, всеми пятью органами чувств: на ощупь, на запах, на слух, на вкус, на глаз.

Он знает ее на глаз: неоглядная, бескрайная степь, овраги, ковыль, глина. Рудники в степи. Синие горы террикоников, черные вышки копров, землянки, распластавшиеся на земле, дорожки сквозь грязь, из хрусткой жужелицы, худые собаки на окраине, тополь перед конторским домом... И на заре над степью, над голодом и отчаянием черного, мертвого поселка, над затопленной еще шахтой — вдруг первый производственный, бледный еще дымок из трубы кочегарки.

Он знает ее на слух: хриплые гудки на заре, крикливые «кукушки», дробный грохот падающего угля, озорные песни дивчат на сортировке.

Он знает ее на запах: едкий желтоватый газ, сладковатый запах жужелицы, автомобильный бензин, похожий по запаху на огуречный рассол, горечь махорки, человечьего пота, кислый запах овчин, портянок в шахтерских казармах, терпкий запах угля.

Он знает ее на ощупь: шершавый колючий уголь, глянцевая поверхность пустой породы, прохладная свежесть железа, бугорки на ладонях.

Он знает ее даже на вкус: до сих пор поскрипывает на его зубах мелкая угольная пыль.

Мир населен. Мир очень густо населен. В этом Алеша теперь лично убедился.

Ему видно с площадки товарного поезда: по дорогам цугом идут подводы, нагруженные мешками с зерном, крутолобые волы ревут, задрав голову; «цобе! цобе!» — кричат на них усатые мужики и хлопают батогами. Около станции толпятся люди, ржут кони, у коновязи вороха прелой соломы, дикий виноград ползет по растрескавшейся стене вокзального здания; проходит весело, стуча колесами, состав, груженный углем и ле-

сом; на крыше голубого флигеля лежат ребятишки и болтают босыми пятками. Крыша залита солнцем, засыпана багряными листьями тополя.

Алеша проносится мимо, мимо,— станцийка кивнула вслед водокачкой и осталась сзади. Ей за Алешей не угнаться! Снова степь, перепутья дорог, шахты, балки — скорей! скорей! — алебастровые карьеры, солерудники, кирпичные заводы — скорей, скорей! Снова голубыми волнами ходят дали, бегут километры — их можно схватить рукой, как столбы, их можно сжать, выдавить из них зеленый травяной сок. Скорей, скорей! Пляшет тонкая линия горизонта, раздвигается. Шире! Шире! «Ходу! — зычно кричит паровозный гудок.— Ходу!» Ветер швыряет в лицо Алеше пригоршню колючей пыли, ветер нетерпеливо хлопает о стенки вагонов, ветер рвет в клочья пар. «Ходу! Ходу!» — трясет вагоны, трясется фонарь в руках стрелочника, дрожат рельсы под колесами. Алеша наклоняется, смотрит вниз. Его тоже трясет. «Ходу! Ходу!» Сначала он различает еще песок, траву, одуванчики... Потом все это сливается вместе, в одну бешено бегущую рядом с рельсами узорную ленту. «Еще! Еще!» Захватывает дыхание у Алеши. Крепче хватается за поручни. Теперь не спрыгнешь в степь. Теперь держись! Еще! Еще! Вот так бы мчаться сквозь всю жизнь, как сквозь степь. «Ходу! — кричат. Ходу! Дай ходу!» Павлик идет с работы. Ковбыш бредет к мо́рю. Павлику — мастером. Ковбышу — капитаном. Юльке — инженером. Алеше... Кем Алеше? Ладно! «Ходу! Ходу! Сам знаю — кем. Сам с усам! Учиться! Учиться! Учиться! — стучат колеса.— Ходу!»

Поезд мчится сквозь степь, отбрасывает в сторону буераки, огибает курганы, пролетает над балками. Еще вчера в чащобе балок гнездились бандиты. Сейчас стадо разбежалось по зеленому раздолью, пастух машет кнутом. Маши! Маши! Как время бежит! Оно как поезд. Как километры! Как голубая влага пространства. Вчера еще голод, вода в шахтах, грачи в трубах, биржа,— сегодня хлеб, дым, работа. «Ходу! Ходу! Скорей! Скорей!» — нетерпеливо кричит Алеша. Ему теперь хочется скорее приехать в город, броситься в школу, ввалиться в комсомол, просить, чтобы приняли, двинули в дело. Скорей! Скорей! Ему кажется, что они медленно едут. Ему хочется подтолкнуть паровоз. Скорей! Скорей!

А вдруг его не примут в комсомол? А что он сделал такого, чтоб его приняли? Ничего не сделал. «Но я сделаю, сделаю! — убеждает он кого-то.— Я много могу сделать! Ого!» Ярость вспыхивает в нем, большая злость и охота к делу. Огромная энергия клокочет в парне, его можно поставить сейчас вместо паровоза — и он потянет за собой весь состав, груженный криворожской рудой! Скорей! Скорей!

Но поезд вдруг круто берет в сторону, разом сбавляет ход, и перед Алешей далеко внизу открывается его родной город.

Прямо с вокзала Алексей пошел к Семчику. Так, с мешком за плечами, он ввалился в здание укома. Большое нетерпение будоражило его.

— Семчик! — сказал он после удивленных возгласов, приветствий и расспросов.— Семчик! Я решил поступить в комсомол.

— Ну?! — радостно завопил Семчик.— Уважаю умных людей! Идем! Идем, я тебе говорю.

Они скатились с лестницы вниз, в полуподвальные комнаты горкома. Здесь было шумно, тесно и накурено. Комсомольцы толпились около всех столов, но Семчик энергично протолкался и протащил за собой Алешу. Они очутились перед столом секретаря горкома.

— Товарищ Кружан! — торжественно и звонко начал Семчик.— Вот мой друг Алексей Гайдаш. Наш парень. Я за него ручаюсь.

Кружан улыбнулся. Улыбка эта показалась Алеше теплой и печальной. Секретарь ему давно нравился. Он слышал его не раз в комсомольском клубе.

— Я буду исполнять все, что надо...— пробормотал Алеша.

Кружан опять улыбнулся.

— А ты откуда такой взялся, с мешком? — спросил он.

— Я? Я с поезда.

— Он с поезда,— вмешался Семчик.— Он от голода ездил. Он рабочего сын. Токаря?

— Да, токаря,— подтвердил Алеша.

— Я тебе говорю, Кружан, это мировой парень. Я ручаюсь. Как старый комсомолец.

— Пиши заявление,— сказал Кружан.— Там посмотрим.

Алеша дрожащими пальцами написал заявление.

— Почерк у меня плохой,— сказал он, отдавая заявление.

— Мы тоже университетов не кончали,— ответил Кружан.— Все? Можете быть свободны.

Алеша и Семчик вывалились на улицу.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Семчик.— И дело сделано. Со мной не пропадешь.

— Но он ничего не сказал.

— Кто? Кружан? Ты знаешь, что за парень Кружан?

И Семчик, захлебываясь, рассказал, что за парень Кружан.

Глеба Кружана перебросили к нам из Энска. Он был там на большой комсомольской работе. Он рано вступил в комсомол — чуть ли не в восемнадцатом году. До этого он сжег хутор отца. Старый Кружан, сивоусый, кряжистый хуторянин, послал сыну вдогонку заряд из старой двустволки и отцово проклятие.

Глеб гнал серого жеребца что было духу; в трех километрах от города конь в судорогах повалился наземь. В город Глеб вошел пешком.

В городе он ходил на все собрания и всюду громче всех кричал: «Доло-ой!» Он особенно регулярно посещал собрания в ученическом клубе. Сбив кубанку набекрень, он закладывал два пальца в рот и свистел. Он пришел однажды и на собрание рабочей молодежи. Он перебил оратора-большевика, призывавшего молодежь на фронт, и уже заложил пальцы в рот, чтобы поднять свист. Но его быстро укротили фабричные ребята. Тогда он швырнул кубанку об пол и заявил, что он сам пойдет на фронт. Он требовал, чтоб его записали добровольцем. На фронт его не послали, а направили в комендатуру города. Он ходил в малиновых галифе, бряцая шпорами; огромный парабеллум болтался на боку. Потом он работал не то в Чека, не то в угрозыске. Ходил на самые рискованные облавы. Три раза в него стреляли,— один раз пуля попала в голову. Думали — не выживет. В начале двадцать первого года он был уже на большой комсомольской работе в Энске.

Однажды ночью он выехал в район и вместе с местной ячейкой выловил с десяток бывших офицеров, по-

пов и спекулянтов. Он расстрелял их тут же без суда и следствия. За это его арестовали. Он просидел около года в тюрьме, его судили, приняли во внимание его молодость, храбрость, раскаяние и послали к нам.

— Это мировой парень! — восклицал Семчик.— Теперь таких нет. Теперь все шкурниками стали. Все в школы лезут.

— Учиться надо! — пробормотал Алеша, но Семчик его перебил:

— Если все пойдут учиться, кто тут работать будет? А вдруг банда налетит? Нам бойцы нужны.

Алеша не стал спорить, но про себя думал свое.

— Учиться...— ворчал Семчик.— Я замечаю: обабились наши комсомольцы. Жениться стали. По частным квартирам расползаются. Дай сейчас тревогу — всю ночь придется собирать ребят. Да и не соберешь! Многие жен не бросят... Не нравится мне это!

Они распрощались, условившись завтра снова встретиться в укоме.

Уже в сумерках Алеша добрался домой на Заводскую и постучал в окно, как всегда — три раза. Вся семья выскочила на этот стук и, как почетного гостя, провела Алешу в дом. Пока он мылся и переодевался, его забрасывали вопросами.

— Много видел,— отвечал он, фыркая под умывальником.— Хорошая жизнь начинается, мать. Шахты пускают — видел. Заводы работают — видел. Поля...

— А пшеница?

— И пшеница, мать...

— Дай-то бог...

Отца Алексей даже не узнал: совсем помолодел отец.

— Он опять в цехе работает,— радостно шепнула мать.— Завод-то ведь пускают.

После трех месяцев скитаний Алексей снова лежал на своей кровати, под родительской крышей. Он долго не мог уснуть. Вся его короткая жизнь прошла здесь, между сундуком и кроватью. За три месяца он видел больше, чем за всю свою жизнь. Он жалел теперь, что так коряво разговаривал с Кружаном. Надо было прийти и сказать: «У меня желание работать, как добрый паровоз. Я что хочешь буду делать. Я умею кой-чего». И Кружан сразу двинул бы его в дело.

Алеше представлялось, что Кружан сидит в горко-

ме, как в штабе или как в нарядной на шахте. К нему приходят люди, а он дает им наряды. Одному говорит: «Вали, создавай школы — готовь инженеров», другому: «Вали, пускай заводы!» Лихорадочная, бурная деятельность кипит в горкоме! Вот как себе представлял комсомол Алеша.

Утром отец осторожно спросил его:

— Ты что собираешься делать?

— Учиться собираюсь,— решительно ответил он.

— Учиться вечером можно,— пробурчал отец.— У нас ребята вечером учатся.

— Днем работать пойду. Ясно.

Отец, уже одетый в замасленную спецовку, топтался у двери.

— Кабы ты захотел,— робко пробормотал он,— я бы тебя к себе в цех взял. Я говорил с людьми... Да ты все в ученые лезешь...

— В цех? — взволнованно закричал Алеша.— Пойду в цех. С радостью!

— Ну? — удивился отец.— А я думал...— Он радостно улыбнулся.— Значит, завтра и на работу...

Мрачная тишина повисла теперь над нашей прежде веселой и дружной комнатой в коммуне. Все ходили какие-то не то злые, не то сконфуженные, друг друга избегали. Разве это бывало когда-нибудь среди комсомольцев?

— В чем дело, хлопцы? — сказал я однажды, не стерпев.— Ведь ясно же, что история с Юлькой — сплетня. Зачем же нам меж собой ссориться?

Но дело было уже не в Юльке.

Сережка Голуб вспомнил, что еще весною Костя Бережной обругал его «тунеядцем». Бережной вспылил и заявил, что ему действительно надоело кормить всю коммуну. Он служил в совнархозе и зарабатывал больше всех. Кроме того, ему присылали из деревни.

— Мне надоело это!

— Надоело? Ах, надоело? — взвизгнул Бенц.— Может, тебе и в коммуне жить надоело?

— Может быть,— отрезал Бережной.

Через два дня Бережной нашел себе комнату и ушел от нас, унося на плече своем тяжелый, обитый железом



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

сундук. Он шел, пыхтя, сгибаясь под своею ношей; в дверях он никак не мог пролезть, но никто не вызвался ему помочь.

Мы переглянулись.

— Ну? — произнес Бенц.— Кто следующий?

Следующим, к нашему огромному удивлению, оказался Сережка Голуб. Он пришел за вещами не один. Пухлая, краснощекая и голубоглазая девица вошла за ним, держа его за руку.

— Женюсь, ребята! — сказал Голуб смущенно.— Вот невеста. Будьте знакомы.

Невеста, жеманясь и хихикая, подала нам руку.

— Где ты подцепил такую? — спросил я Сережку шепотом.

— В Заречье,— пробормотал он.

Заречье было предместьем города. Мясники, шорники, конеторговцы жили там. Вот куда, значит, угодил Сережа.

Я свистнул.

Сережа взял свой узелок, шинель, перекинул через плечо пару хороших хромовых сапог и пошел к двери.

— Ну, прощайте,— сказал он, остановившись и грустно глядя на нас.— Эх, жили же мы, малина-ягодка, ребята дорогие! Не жить так никогда! — Он словно прощался с жизнью. Потом совсем тихо добавил: — Бувайте.— И ушел.

Теперь в комнате осталось нас двое: я и Бенц. Рябинин еще раньше уехал в губернский город. Вещи свои он оставил здесь, да какие это вещи! Может, и не вернется совсем за этим барахлишком.

Мы с Бенцем были теперь одни в огромной пустой комнате. Как и раньше, лежали на койках, курили.

— Помнишь, Бенц,— начинал я,— помнишь, как в прошлом году мы тебя здорово разыграли в ЧОНе? Ты спал, а мы вбежали и закричали: «Банда! Банда!»

Бенц тихо смеялся.

— Помню, помню! — И вздыхал.

Иногда к нам заходил Семчик.

— Здравствуйте, старики! — приветствовал он нас.

— А помнишь, Семчик, как мы победили твою буржуйку? Это была жестокая драма!

И мы, смеясь, вспоминали эту историю.

Буржуйка, которую Семчик с отцом «уплотнили», объявила им форменную войну. Она не позволяла поль-

зоваться телефоном, запирала на замок уборную, ворча открывала Семчику дверь, ворча проходила мимо их комнаты. Она упорно мечтала выжить большевиков из своей квартиры. Но однажды днем вдруг зазвенел телефон, и буржуйка, взявши трубку, услышала:

— Говорят из Москвы, по прямому проводу. У телефона Михаил Иванович Калинин. Позовите товарища Семчика.

Буржуйка затрепетала. Она на цыпочках побежала к Семчику и зашипела:

— Вас... к телефону... сам... просит...

И Семчик, взяв трубку, сказал басом:

— Так. Я вас слушаю, Михаил Иванович. Что новенького в Кремле? Как делишки?

А буржуйка дрожала в соседней комнате и все ожидала, что Семчик пожалуется на нее Калинину.

Через полчаса снова раздался звонок. На этот раз «звонил» Феликс Эдмундович Дзержинский.

— Из Чека,— сказал он кратко, и с буржуйкой сделался удар.

Звонили еще Анатолий Васильевич Луначарский, Семен Михайлович Буденный и, наконец, Коллонтай. Коллонтай говорила захлебывающимся, звонким голосом. Коллонтай доконала буржуйку.

Мы вспоминали все подробности, начинали снова и снова, но вместо веселья и смеха к нам приходила грусть. Плохая гостья!

И вот однажды вечером, когда мы с Бенцем, устав ворошить воспоминания и рассорившись из-за них, молча лежали на койках, в дверь вдруг шумно забарабанили.

— Можно,— тихо произнес я и повернулся на другой бок.

Но в дверь продолжали барабанить.

— Чудак,— сказал Бенц,— он же не слышит твоего «можно».

— Ну, крикни громче, если ты такой тенор.

А в дверь между тем стучали все сильнее. Дверь стонала под ударами хороших кулаков; по-моему, на них уже должна была выступить кровь.

— Бенц, надо открыть. Слышишь, стучат,— сказал я очень мирно.

— Слышу,— мирно же ответил он.— По-моему, тоже надо открыть.

— Ну?

— Ну?

— Все-таки это безобразие. Я сегодня уже ходил за кипятком.

— Мальчишка! Ты считаешься такими пустяками! Хорошо! Я, я сам открою,— драматически произнес он и перевернулся на другой бок.

Дверь открыл, конечно, я и попал в объятия Алеши и Семчика.

— Алеша! Алеша! — завопил я.— Где же ты пропадал?

Я засыпал его вопросами, но он, не отвечая на них, заявил мне, что пришел поговорить о комсомоле.

— Прекрасно! — закричал я.— Прекрасно!

Но меня перебил Бенц. Он даже встал для этого с койки и, подтягивая штаны, подошел к Алеше и уставился на него.

— Вы, молодой человек,— произнес он важно,— сами над этим думали или кто-нибудь вам помогал?

— А что? — сумрачно спросил Алеша, и я заметил, как сжались его кулаки.

Характер моего друга детства мне был известен, и я решил вмешаться, но Бенц отстранил меня рукой и продолжал в том же тоне:

— Может быть, вы ошиблись, молодой человек? Может быть, вы хотели вступить не в комсомол, а в спортклуб или драматическое общество? Вам скучно?

— Мне нечего ошибаться,— отрезал Алеша.

— А где же тогда ты раньше был? — взвизгнул Бенц, потеряв всю свою важность.— Где же ты раньше был? Почему ж ты раньше не вступал в комсомол?

Я знал эту черту «стариков»: во всех новичках видеть шкурников, пришедших на готовое, на завоеванное. Я и сам хоть и не фронтовик, но кричал новичкам: «Где вы раньше были?» Но ведь это Алеша, это свой парень. Как он мог раньше вступить? Ему всего пятнадцать лет. Он в детгруппе был.

Но Бенц, не слушая меня, кричал:

— Где ты был, когда черти дохли? Где ты с контрами боролся?

— Я боролся с контрами в школе,— смущенно пробормотал Алеша.

Но Бенц вдруг погас. Выкричался. Он отхаркнулся и хрипло сказал:

— Дай папиросу!

Мы сели. Семчик сказал, что с Кружаном об Алеше разговор был.

— За это дело я взялся,— добавил он.— Будьте уверены.

Но Алеша, очевидно, в этом уверен не был. Он спросил меня тихо:

— Как думаешь, примут?

Бенц вдруг опять подскочил.

— Молодой человек! А у вас папа есть?

— Есть,— ответил, ничего не понимая, Алеша.

— И мама есть?

— Есть и мать.

Бенц подумал-подумал и покачал головой:

— Не примут.

Тут мы все ничего не поняли. Но Бенц уже принял позу оратора, поддернул брюки и закричал:

— Есть ли у комсомольца семья? Нет, нету! Есть ли у него дом? Нет, нету! Его семья — комсомол, товарищи. И его дом — комсомол.

Я вспомнил, что действительно недавно мы обсуждали комсомольские заповеди, выработанные Бенцем, в которых третьим пунктом объявлялось: «У комсомольца нет семьи, его семья — комсомол». Бенц был докладчиком по этому вопросу. Мы много спорили и ни к чему не пришли.

Сейчас это кажется только смешным. Многое из того, что так тревожило и мучило нас когда-то, кажется сейчас только смешным. Помню, как убежденно и страстно спорили мы, например, о том, можно ли комсомольцу носить галстук. Нам представлялось, что мы решаем кардинальнейший вопрос быта.

Мы хотели построить мир по-новому, по-хорошему, на новых и справедливых началах, и мы сами хотели стать совершенно новыми людьми, свободными от всего старого, заскорузлого, мещанского. Вот почему мы так много спорили об этике и морали, о том, что можно и чего нельзя. Пусть мы во многом ошибались, «перегибали» — партия терпеливо поправляла и учила нас,— но хотели-то мы хорошего?.. Верно сказал Безыменский: «Хочешь быть комсомольцем что надо,— да не знаешь, сумеешь ли быть».

В это лето 1922 года комсомольская организация нашего городка переживала свой очередной «кризис»

роста. Гражданская война кончилась. Жизнь устанавливалась, входила в новые берега. На повестку дня встал главный вопрос — борьба с разрухой, восстановление хозяйства. Партия устами Ленина уже указала комсомольцам, что «союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин».

Но у нас, в горкоме, все еще сидел Глеб Кружан, заржавелый «обломок» эпохи военного коммунизма. Он тянул нас назад. Он не хотел, да и не умел работать по-новому, в новых условиях. Ему было скучно заниматься кропотливой, будничной работой. Он действительно торчал заржавелым осколком в здоровом теле нашей организации, и мы начинали это смутно чувствовать. Смутно — потому что для многих из нас Глеб Кружан еще был окружен ореолом боевой славы, его еще считали лихим, свойским парнем, у него были друзья и сторонники... Борьба с Кружаном лежала впереди.

— Я работать хочу, понимаешь? — сказал Алексей негромко.— Понимаешь, работать! Завтра я иду с отцом на завод. Там, говорят, есть слабенькая ячейка. Я буду работать в ней. Понимаешь? Хочу дела.

Я ничего не успел ответить Алеше: дверь широко распахнулась, и на пороге вырос Рябинин.

Ослепительная догадка вспыхнула во мне.

— Рябинин! — закричал я.— Ты ездил в губком насчет Кружана?

— Нет,— ответил Рябинин,— я ездил узнавать, нужны ли десятичные дроби или достаточно простых.

Шутка мне показалась неуместной. Не такое время!

— Я серьезно спрашиваю,— подчеркивая слово «серьезно», сказал я.

Но Рябинин только плечами пожал.

— Я серьезно. Я ездил насчет дробей. Я хочу поступить на рабфак. Ездил справиться: нужны ли десятичные дроби.

— Но ты заходил по крайней мере в губком по поводу наших дел?

— Нет. Зачем же?

— То есть как зачем?

— Меня в губкоме не знают. Меня туда не звали. Чего же я пойду?

— Но как же нам с Кружаном быть?

Сознаюсь: это прозвучало очень беспомощно. И я сам понял, что этим криком расписался в том, что я щенок, мальчишка.

Рябинин заложил руки в карманы и стал против меня. И я сразу почувствовал, что он и старше, и выше, и крепче меня. Хорошее спокойствие струилось от его широкой, ладной фигуры.

— Как же с Кружаном быть? — насмешливо повторил он мои слова.— Нам что — губком это скажет? Сами мы детишки? Да?

— А что Кружан? — вмешался Алеша.— Кружан чудный парень.— И он посмотрел на Семчика. Тот покраснел.

Рябинин взял табурет, сел на него верхом и сказал нам:

— Ребята! Есть новости.

Мы сбились в кучу возле него и приготовились слушать.

— Я был в Энске в комсомольском клубе, ребята,— сказал Рябинин.—Пришел, пру вверх по лестнице. Но меня останавливают: «Товарищ, снимите шапку. Вон раздевалка». И в самом деле, ребята,— раздевалка! Я вытер ноги и пошел по лестнице. Очень хороший клуб. Вот какие новости, ребята.

Бенц засмеялся.

— Еще что? — спросил он зло.— Потом тебя взяли за ручку и провели в зал? А там был роскошный бал и танцы до утра? Да?

— Ты угадал, Бенц. Были танцы.

— Танцы?

— Да.

— В комсомольском клубе?

— Ты опять угадал, Бенц. Да, в комсомольском клубе.

Повисло молчание.

— Нет ли еще новостей, Рябинин? — наконец, сухо спросил я.

— Есть. Я встретил Колю Савченко.

— Савченко? — закричали мы.

— Ну да. Нашего доблестного Колю Савченко. Он шел из учраспреда, получив новое назначение. Угадайте какое...

— Начальником уголовного розыска? — сказал Бенц.

— На работу за границу? — сказал я.
— Нет,— ответил Рябинин,— коммерческим агентом в Солетрест.
— Что-о?!
Я никогда так здорово не смеялся.
— Коля, Коля! Ком-мерческим агентом! — задыхался я от смеха.
Мне вторил Семчик.
— Коммерсант... Коля коммерсант... Дожил Савченко!
Но Бенц отнесся к этому серьезно.
— Ну, хорошую новость привез Рябинин,— сказал он резко.— А в швейцары наших комсомольцев еще не назначают?
— В швейцары? Не знаю,— спокойно ответил Рябинин.— Но вы Мишу Еленского помните? Так вот, Миша Еленский назначен заместителем директора ресторана.
— Что-о? — закричал Бенц.— Смеешься, Степан?!
Но тут было не до смеха. И я, хлопнув кулаком по столу, прохрипел:
— Издеваться не дам! Вот новости!
Рябинин только пожал плечами и закурил.
Бенц подошел к нему, взял за пуговицу и проникновенно сказал:
— Послушай, Степан! Я задам тебе только три вопроса, Степан. И тогда мы увидим, нужно ли еще нам с тобой разговоры разговаривать, или отныне уже не стоит говорить.
— Хорошо,— сказал, подумав, Рябинин.— Хорошо, давай!
— Скажи, Степан,— взволнованно начал Бенц,— скажи, ты считаешь правильным, что комсомолец — слышишь, ком-со-мо-лец! — работает в ресторане, казино, концессии, что он обслуживает нэпманов? Ты считаешь это нормальным, да? Да или нет? Только одно: да или нет?
— Да.
— Да? — захлебнулся Бенц.— Ну, хорошо, пускай «да». И ты считаешь также нормальным и правильным, что комсомолец — слышишь, ком-со-мо-лец! — назначается хозяйственником, коммерсантом, директором и как таковой имеет наемных рабочих, может быть, таких же, как и он, комсомольцев, и он подписывает договора с частниками, и пьет с ними чай в своем служебном ка-

бинете, и увольняет за невыход на работу или за опоздание комсомольца-рабочего, ему подчиненного? Ха! Подчиненного? Ты это тоже считаешь правильным? Да или нет?

— Да.

— Опять «да»? Ну, хорошо, Степан. Есть еще третий вопрос, и это последний вопрос. Ты считаешь правильным, что комсомолец — комсомолец! — думает о себе, о своей личной судьбе, о своем личном счастье, хочет устроить свою карьеру, как рыба ищет места, где глубже... Это правильно? Да или нет?

Мы затаили дыхание, ожидая ответа Рябинина, а он опять пожал плечами и ответил:

— Ну да!

— Ты три раза сказал «да», гражданин Рябинин! — исступленно закричал Бенц.— Ты предатель и изменник революции!

Я побледнел, услышав эти слова, и быстро взглянул на Рябинина,— тот был по-прежнему спокоен.

— Я задам тебе также три вопроса, Бенц,— очень мирно сказал он.— Три простых, житейских вопроса. Ты ответишь мне?

— Я на все отвечу,— вызывающе сказал Бенц,— мне нечего скрывать.

— Хорошо! Первый вопрос такой: как растет хлеб?

— То есть как?—растерялся Бенц.—Я не понимаю.

— Как хлеб растет? Ну, скажем, какая нужна вспашка, какое удобрение, какой хлеб где и когда лучше сеять? Очень просто. Знаешь ты это или нет?

— Н-нет... не знаю.

— Ну, а как варят сталь? Тоже не знаешь?

— Не-нет... не знаю.

— Ну, а простые дроби по крайней мере знаешь?

— Нет...

— Ты три раза сказал «нет», Бенц,— засмеялся Рябинин.— И ты неуч, болтун и бездельник.

Мы расхохотались. Бенц стоял взъерошенный и красный, поддергивал спадавшие брюки и не знал, что ответить.

— Это не резон! — закричал он, наконец.— Я могу не знать, как варят сталь. Я знаю другие вещи.

— Хорошо. Какие?

— Мало ли какие! Я знаю!

— Нет, все-таки.

— Я политические науки знаю...

— И политэкономию? И статистику?

— Политэкономию он не знает,— вмешался я,— он вчера на кружке засыпался.

Рябинин покачал головой и спросил:

— Сколько тебе лет, Бенц?

— Иди к черту!..

— Ну, сколько? Двадцать? Двадцать два? Нет, ты скажи! Скажи, что ты о себе думаешь?

— Я о себе ни-ког-да не думаю, товарищ Рябинин,— звонко ответил Бенц.

— Нам нечего о себе думать,— подхватил Семчик,— за нас горком думает. Учраспред.

— То есть Кружан?

Ему никто не ответил. Но что они могли ответить ему? Я мог подойти и вытянуть свои руки. Я — наборщик. Вот что из меня выйдет. Но что мог ответить Бенц — вечный экправ горкома?

— Нас не спрашивали, что из нас будет, когда посылали на фронт,— запальчиво сказал Бенц.

— И нечего было спрашивать,— согласился Рябинин.— Тогда людей считали взводами, штыками и саблями. Мы говорили — отряд в пятьдесят сабель, а не в пятьдесят человек. Каждый наш человек тогда был или штык, или сабля.

— А теперь человек — это «человек» в трактире? Как Мишка Еленский? Так?

— Глупости! — вспылил Рябинин, но сразу же успокоился.— Об этом потом. Так вот: каждый человек был штык или сабля. Но вот я был в Энске на партактиве и слышал, как теперь называют коммунисты друг друга. «А,— кричат одному партийцу,— здорово, Солетрест!» — «А,— зовут другого,— вали к нам, Потребсоюз!» — «А,— окликают третьего,— где ты пропадал, Югосталь!» Вот сколько теперь имен у коммунистов. Партия крепко взяла хозяйство в свои руки, с разрухой надо кончать, дела всем много. А вы все хотите, чтоб нас на демонстрации как запевал пускали, чтобы дела нам не давали. Что ты умеешь делать, Бенц? — вот о чем я спрашиваю. А если не умеешь — почему не учишься?

— Хорошо! — закричал Бенц.— Я ничего не умею. Нехай так. Я умею только защищать рабочую молодежь. По-твоему, это пустяки, я знаю. Так мне надо бросить

это, да? Бросить организацию и идти учиться на бухгалтера? Да?

— Бухгалтера сейчас очень нужны,— проворчал Рябинин.— До зарезу.

— А комсомольские работники нет, не нужны?

— Я не сказал этого.

— Были профессионалы революционеры,— сказал я в свою очередь.— Что же, не могут разве быть профессионалы комсомольские работники?

— Может быть, могут,— ответил, почесав в затылке, Рябинин,— только я их жалею.

— Разве вы не видите? — желчно сказал Бенц.— Разве вы не видите? Это линия. Но у меня есть тоже новости, Рябинин. Ты знал Романа Сурк?

— Ну да! Он работает в Камышевахе секретарем райкома?

— Нет! — звонко ответил Бенц.— Он уже не работает в Камышевахе секретарем райкома. Он убит. Убит кулаками. Это тоже был аппаратчик.

— Ромка убит?..— прошептал Рябинин.

— У нас плохие новости, Степан,— грустно сказал я.— Ты видишь: у нас голые койки в комнате.

— Что? Тоже? — тревожно спросил Рябинин и медленным взглядом обвел нас.

— Нет, хуже,— кратко ответил я. И мне не хотелось говорить больше.

— Я вчера видел Сережку Голуба,— сказал Семчик,— он венчался в церкви. Он объяснил мне, что иначе за него не пойдет невеста. А у невесты папаша мясоторговец.

— Все хотят сытой жизни,— задумчиво произнес я,— им надоело валяться на голых койках.

— Я тоже хочу сытой жизни,— задумчиво произнес Рябинин в окно.— Хорошую, чистую квартиру... Ванну... Цветы на письменном столе...

— Жену,— подсказал я.

— Жену...— все так же задумчиво подтвердил Рябинин.— Сына...

— В Заречье много невест, Рябинин! — крикнул Бенц.— С квартирами, перинами, бумажными розами, сытным борщом и битками в сметане. В Заречье много невест, Рябинин.

Я вдруг взглянул на Алешу и удивился его молчаливости. Он и двух слов не произнес во время спора.

Он сидел, безучастно уставившись в пол, как будто думая о своем. А что он думает по существу спора? Неужели не то, что я?.. Мы с ним ровесники. Неужели можно думать иначе, чем я? И я стал внимательно прислушиваться к тому, что говорил Рябинин.

— Ты, Бенц, только пустяка одного не понимаешь.

— Чего именно?

— Того, что земля вертится. Она волчок. А ты думаешь, что, упершись на ней обеими ногами, останешься неподвижным. Не выйдет! Ты думаешь, что вечно будешь таким, как сейчас? Будешь ходить в потрепанной шинельке, в зеленой кепке, с папкой растрепанных бумаг под мышкой, будешь торопиться на заседания — открывать и закрывать пленумы, будешь злиться на весну, срывающую оргработу? Будешь сидеть на своем табурете в горкоме и не пускать к себе ни новых людей, ни новых идей, покроешься сединой и прозеленью и все будешь экправом, а Борька — управделом? Не выйдет! Ты не умеешь смотреть вперед, Бенц. Завтра придет вот этот Алешка Гайдаш, скуластый черт, и скажет: «Катись! Дай я к рулю встану». Куда денешься?

— На свалку? Да? — затопал ногами Бенц.— Нас на свалку? Да? Куда нас?

— Нас? — засмеялся Рябинин и обнял Бенца за плечи.— Нас? Ого! Нам удача! Нас на учебу. В рабфаки нас! На курсы нас! Вот куда. Ребята! Да загляните же, черт вас дери, в завтрашний день! Брось папки, Бенц! Ты понимаешь, что происходит вокруг? Слепой черт, ты ни хрена не понимаешь! Я вижу твое завтра, Бенц. Ты будешь... коммерческим директором Фарфоротреста. Вот кем! Да! Да! Директором!

— Бенц — директор? — Мы подняли дружный хохот. Мы хлопали сердитого Бенца по плечам и кричали ему: — Бенц! Ты будешь коммерческим директором!

И мне жгуче хотелось увидеть, что будет завтра с нами: со мной? с Бенцем? с Алешей?

Но я не угадал ничьей судьбы, даже своей. Да разве можно было угадать, когда я, как слепой котенок, смотрел, щурясь, вперед, в судьбу моей страны.

А биография моя и моих ребят всегда совпадала с биографией моей страны.

— Загляните в завтра, ребята,— взволнованно говорил Рябинин.— Завтра мы, комса, будем хозяевами мира.

Я не узнавал Степана. Неужели это тот самый, всегда спокойный, улыбающийся и тяжеловатый на подъем парень? Он, оказывается, мечтатель, этот Рябинин!

— Мы будем хозяевами мира, ребята. Мы будем коммерсантами и инженерами, партработниками и профессорами, мореплавателями и наркомами, писателями и учеными... Да, да, учеными! Нам придется надеть роговые очки на переносицу,— ничего не попишешь, придется. Мы будем физиками и химиками — да такими, каких мир не знал. Разве вы не поняли великих слов Владимира Ильича: учиться, учиться, учиться? Вот что теперь должен делать комсомолец. А как же иначе? — Он обвел нас всех сияющим взглядом и остановил его на Алеше.— Верно, Алеша?

— Верно,— ответил тот.— Я им уже говорил: надо дело делать. Все верно, Рябинин!

И мне пришло в голову, что если есть в этой комнате двое ребят, одинаково думающих, так это Рябинин и Алеша. Самый взрослый из всех присутствующих, единственный член партии среди нас, и самый молодой, еще только мечтающий стать комсомольцем,— они думали одинаково. И это больше всего поразило меня.

— Значит, ты за своими вещами приехал, Рябинин? — грустно спросил Семчик.— Ты уезжаешь учиться?

— Нет,— ответил он внезапно и нахмурившись.— Есть еще два дела, ребята, задерживающие меня здесь. И первое из них — Кружан.

— Кружан?

— Мы должны сами справиться с Кружаном. Без губкома,— сказал Рябинин.

Меня поразило, что он ничего не спрашивает о Юльке. Весь вечер мне хотелось сказать ему: «А Юлька? Что ж о Юльке не скажешь? Не спросишь?» — и мне стоило больших трудов сдержать себя. Но тут я не выдержал:

— Что ж ты о Юльке не спросишь?

— А чего мне спрашивать?

Это меня взбесило.

— Будто ничего? Не очень-то ей весело было здесь в последние дни... одной...

Рябинин удивленно посмотрел на меня, потом подошел и сказал тихо:

— Чудак! Я ведь с нею вместе ездил узнавать насчет десятичных дробей.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Ваше представление о счастье?
Борьба.

К. Маркс

1

Есть уютные уголки на заводах и стройках — их знает каждый заводской человек. Они возникают сами, и люди быстро привыкают к ним. Сюда приходят курить, выпить чайку, переобуться, просто поболтать без дела. Лежат, сладко вытянув ноги, ведут медленные, отрывистые разговоры, спят.

Когда на площадке звенят декабрьские бесснежные морозы и рукавицы примерзают к железу, а железо становится хрупким, словно фарфор,— сюда приходят греться. Здесь темно и дремотно. Посреди комнаты пылает румяная железная печка. Стоят длинные деревянные лавки. Бак с тепловатой водой. Жестяная кружка на цепи. Около печи сидит и дремлет девочка-уборщица. Сушатся валенки. Запах паленой шерсти ползет по комнате.

И верхолаз, только что раскачивавшийся над землей на тридцатипятиметровой мачте, вваливается сюда, как в баню. Он прямо бросается к огню! Крякая, он снимает рукавицы и подносит скрюченные, иззябшие пальцы к раскаленному железу печки. Он только сейчас понимает, как чертовски замерз.

— Брр...— бормочет он и вздрагивает.

Ему хочется еще ближе стать к огню. Если бы можно, он схватил бы печь в объятия. Он топчется около нее, курит, перекидывается шуткой с сонной девочкой, наконец, медленно, в последний раз, затягивается цигаркой, натягивает рукавицы, идет к двери и вдруг, широко распахнув ее, ныряет в синий морозный сумрак.

В механическом цехе, где работал Павлик, таким уютным уголком была шорницкая — комната дежурного шорника.

В старых механических цехах он был не последним человеком. К нему шли с поклоном, когда на шкиве шумно лопался старый ремень. Шорника надо было просить, чтобы пришел немедленно.

Он, ворча, брал ремень, как доктор берет горячую руку больного, и качал головою.

— Скажи на милость, какие ремни пошли! Третьего дня чинил.

Его просили сшить аккуратнее, чтобы шов не царапал шкива. Он работал в своей темной комнатке и насвистывал песенку. Он обрабатывал кожу в цехе, где обрабатывали железо.

Ремни висели над каждым станком и придавали механическому цеху вид большой и темной сапожной мастерской. Все наверху было закрыто ими. Они густо переплетались там, сбивались вокруг трансмиссий, падали на станки, они хранили на себе пыль, скопившуюся со дня освещения цеха; они висели над головой рабочего, как клубок змей, они шипели, когда станки пускали. Человек, который впервые попадал в цех, долго чувствовал, как над ним висит какая-то тяжесть. Потом привыкал. Люди ко всему привыкают.

Когда в новых цехах поставили станки без приводных ремней и сквозь просторные, чистые стеклянные потолки в цех свободно вошло солнце, люди поняли, какую тяжесть они сбросили с плеч.

Но время новых заводов еще не пришло, когда Павлик учился слесарному искусству. Шорник в цехе был. В его темной дежурке всегда дымилась печь и под парами стоял огромный чайник. По вечерам сюда приходили рабочие вечерней смены, курили, пили чай и болтали. Сырой запах кожи смешивался с запахом махры.

Павлика не гнали отсюда. Он умел и любил угождать старикам. Он таскал воду для чайника. Он бегал в цех за махрой, забытой в инструментальном шкафике. Он почтительно и не моргнув глазом слушал вранье старика мастера о необыкновенной щуке, которую тот намедни поймал. Он даже верил в эту щуку. Он верил и другому старику, когда тот рассказывал о необычайных заработках в былое время. Павлик знал, что для мастерового главное — побольше заработать. И он сам мечтал о больших заработках в будущем, мечтал не потому, что любил деньги,— он не имел их никогда и не жалел об этом,— но потому, что так уж положено хорошему мастеровому. Чем мастеровой лучше, тем ему больше платят. А Павлик хотел стать отличным мастеровым.

И он жадно прислушивался к рассказам в шорницкой, особенно если вспоминали старых мастеров. А вспоминали их часто.

Были два сорта мастеров,— скоро понял Павлик,—

«шкуры» и «золотые руки». О средних в шорницкой не вспоминали.

Павлик удивился, узнав, что «шкурой» называли тихого мастера Каюду.

— Он тихим ходит,— говорили в шорницкой,— но зверем мыслит.

— Семнадцатым годом он прибит, но пятый год помнит.

— Он нам тачку не забудет, да и мы ему кой-чего вспомним.

Но больше всего любил Павлик слушать о мастерах «золотые руки».

— Он какой мастер был! — вспоминали таких в шорницкой.— Вот испортился токарный станок. Что-то стучит в нем, и никто ему ладу не даст. Немец разбирал-разбирал, вспотел и бросил. Русский инженер разбирал-разбирал, плюнул и бросил, а он подошел, дернул станок, послушал, как стучит, и говорит: «Вот в чем его причина: гитара расстроилась, смените вкладыш». Вот какой был мастер. На слух станок знал. Душу станка понимал.

— Он возьмет вещь, на глазок прикинет, рукой пощупает и в точности скажет, до миллиметра, какой в этой вещи размер. У него в пальцах чуткость была.

— Он уйдет, станок оставит на самоходе. Ходит. Курит. Разговаривает. Потом вдруг подымется и пойдет. «Куда?» — «У меня, говорит, через минуту самоход кончается». Что же ты думаешь! Секунда в секунду. Мы проверяли, а часов у человека нет.

И в других профессиях были такие же замечательные мастера. Кузнец Вавилов на огромном паровом молоте мог отковать любую мелкую деталь. Доменщик по цвету желтоватого газа над колошником узнавал сразу качество плавящегося чугуна. Малограмотный старый мастер мог составить шихту лучше любого инженера.

Из рассказов в шорницкой всегда следовало, что не образование и не грамота делают человека отличным мастером, а «золотые руки», практика, ухватка, опыт. Здесь всегда издевались над инженерами-белоручками. Их представляли в лицах — их брезгливые движения, их картавую речь, их ленивую походку. Всегда выходило, что инженер-барчук оставался в дураках, а старик мастер, закрутив ус, выручал дело, особенно если ему поднесут косушку. В шорницкой много спорили, какой

мастер лучше — пьющий или непьющий. И большинство сходилось на том, что пьющий лучше. У пьющего и огонька больше, и смелее он, и к людям добрее, и на расценку щедрей.

Много хвастовства было в рассказах стариков. Павлик смеялся в своем углу, глядя, как каждый выхваляет себя и свою квалификацию перед другими. Павлик отлично понимал, что без хорошего инженера не сможет жить и развиваться завод. «Зря гордятся они своей неграмотностью! — думал он о стариках.— Нет, я непременно буду учиться». Но Павлик понимал также, что без гордости человеку прожить нельзя. Чем было гордиться мастеровому? Каменных палат у него нет, жена не красуется в шелках перед соседями, дети бегают по двору, сверкая босыми пятками. Одна только и есть гордость у рабочего человека: золотые руки. Руки, умеющие придавать бесформенному куску железа смысл и красоту.

Эти золотые руки позволяли хорошему мастеру кобениться перед хозяином, брезговать местом, бродить по стране в поисках края, где вольготно живется трудящемуся человеку. Не было такого края — старел мастер, припаивался к одному месту, к месту своего отца и деда, даже начинал любить свой завод, свою железную каторгу. И если нужно было ему лично распорядиться своей жизнью, он находил смерть здесь, у своего рабочего места. Так, совсем недавно, в шестнадцатом году, сталевар Будяк бросился в ковш пылающей стали. Люди видели, как он поднял воротник тужурки, словно прикрыл лицо и глаза от жара, и головой вниз бросился в ковш. Товарищи сделали модель человека, налили ее сталью из этого ковша и похоронили вместо Будяка.

Дядьки Абрам и Трофим тоже были мастерами «золотые руки». Но уважали на заводе больше Абрама Павловича. Он был прижимист, строг, с людьми неласков — «много понимал о себе», это признавали все, но, может быть, за это еще больше уважали. Не любили, но почтительно здоровались при встрече. И когда он взялся вдруг, ни с того ни с сего, за организацию ученической мастерской, все заводские люди удивились. Удивились и не поверили.

Но вот набрали детвору, отгородили в хвосте цеха угол, поставили пару раздерганных станочков и верстаков и без шума открыли первую на заводе ученическую мастерскую-школу. Сам мастер Абрам Павлович взял

напильник и, раздувая рыжие усы, начал учить ребят делу. Цех ахнул.

Павлик знал, что это из-за него взялся дядька возиться с шумливыми ребятишками. Обещал дядька выучить племянника мастерству — вот и учит. Павлику было неловко перед дядькой, но он скоро увидел, что мастер всерьез увлекся своей ролью учителя. Старик ходил теперь только в очках, и когда сверстники донимали его шутками, отвечал, подмигивая:

— Давай рассудим. Вот ты, старик, машину, скажем, строишь. Так? А я машине хозяев готовлю. Ну? Чей козырь больше? — и хитро смеялся.

— Не выучить на токаря в два года! — кричали ему.— На токаря всю жизнь учатся.

— А почему? — возражал Абрам Павлович.— Потому, что ты год водку мастеру носишь, а уж потом тебя к станку пустят. А у нас научное обучение моей методы.— И упрямо заканчивал: — Будут из ребятишек мастера. Я отвечаю.

Он только был недоволен тем, что много людей вмешивалось в его дело. Особенно он не любил комсомольцев. Он был горячий человек, и когда непонятливость ученика донимала его, он в сердцах кричал:

— А, пентюх! — и хлопал непонятливого по шее.

Но пришел секретарь комсомола Костя Греков и сказал, что бить учеников нельзя.

— Нельзя? — опешил мастер.— Как же я их учить буду?

Потом затопал ногами, швырнул напильник на пол и прогнал Грекова. Бить ребят он все же бросил. Только Павлика дергал за ухо.

Вторая стычка с комсомольцами произошла у него осенью. Ему сказали, что для учеников вводятся общеобразовательные предметы.

— Ну, пускай,— сказал он равнодушно.

Но ему объяснили, что вследствие этого ученики должны меньше работать в цехе.

— Что? — заорал он.— Тогда бросаю эту комедию. Все бросаю. Нехай сгорит. Что? Он географией мне станка не наладит. Не нужна география токарю. Нет моего согласия. Как хотите.

Его долго уламывали. Он упирался. Куражился.

— Павлик, тебе нужна география? — спрашивал он при всех племянника.

— Нет,— твердо отвечал Павлик.— Зачем?

Он и в самом деле считал, что география ему не нужна. Но арифметика, физика — другое дело. Ему хотелось знать все, что касается его будущего ремесла. Он видел, как дядька туг в расчетах; недавно сел рассчитывать на бумаге подбор шестеренок, вспотел, плюнул и сказал:

— Нет, я лучше на практике...

И чертежи дядька туго читает. А однажды Павлик спросил:

— Почему металл бывает разный?

— Как разный? — рассердился мастер.

— А вот кусок чугуна и вот кусок чугуна, а металл в них разный,— путано разъяснил Павлик.

Но дядька обругал его за то, что ерунду спрашивает, и ушел. А Павлик понял: не знает дядька. Только свое дело хорошо знает: слесарное, монтажное. А что в других цехах делается, как сталь варится, какой бывает чугун,— этим старик никогда не интересовался. А Павлику хотелось все знать.

И, слушая в шорницкой рассказы о замечательных слесарях, он думал:

«Если б мне таким быть! И даже еще лучше!»

Он добился исполнения своей невысокой мечты: стал к верстаку. Но теперь ему этого было мало. Теперь ему хотелось стать замечательным слесарем.

Когда он впервые взял зубило в руку, он даже растерялся от радости. Потом усердно начал обрубать кусок чугуна и быстро сбил пальцы в кровь. Кровь не испугала его, испугала мысль: «Ничего не выходит! Не быть мне слесарем!» и он чуть не разревелся.

Пришел дядька, посмотрел, покачал головой, молча взял зубило, сказал: «Смотри»,— и показал, как надо держать инструмент в руках. И сразу Павлику стало легче работать. Тогда он понял, что значит опыт, ухватка мастера.

Он овладел наконец зубилом и взялся за напильник. Он долго не мог научиться ровно, горизонтально держать его. Он яростно работал напильником, а потом оказывалось: одну сторону куска он спилил, а другую только тронул.

«Может, у меня слесарного таланта нет?» — сомневался он и смотрел, как другие ребята работают. Но у ребят выходило еще хуже.

И когда удалось, наконец, Павлику подогнать плоскость под угольник, он растерялся от радости. Он не верил себе, брал снова и снова угольник, прикладывал к обработанному квадрату, смотрел на свет: нет, нет зазора! Он ликовал. Вот он сработал вещь, которая годна в дело. Железо поддается ему, подчиняется его напильнику; бесформенное, оно получает форму; шершавое, грубое, оно приобретает приятную на ощупь, гладкую поверхность. Павлик будет, будет слесарем, обязательно будет!

Он овладел драчевым напильником, потом личным — шлифовальным и, наконец, бархатным. Все эти напильники в его руках переставали быть холодными кусками железа, становились инструментом. Ему подчинился и метчик и клупп с плашками, он умел теперь нарезать гайку, болт, винт, он сделал, наконец, себе инструмент и выбил на нем инициалы: «П. Г.».

Он бродил вечером по заводу, смотрел, как катают железо, как набивают в опоку формовочную землю, как строгают модель. Когда его гнали из цеха, он не обижался, он знал, что таков порядок. Он уходил, чтобы завтра прийти снова.

Общеобразовательные занятия он посещал усердно.

Дядька насмешливо спрашивал его:

— Ну, химик, что вы там выучили?

Павлик рассказывал. С каждым разом дядька слушал все внимательнее. Однажды он сказал нечаянно:

— А я-то до всего ощупью доходил. Скажи на милость! — Зависть прозвучала в его голосе.

Но с одним предметом он все же никак примириться не мог — это с политграмотой.

— Политики избегай,— учил он Павлика.— За политику твоего отца повесили. Мастеру политика совсем не нужна. Она лишняя. Она смуту вводит. Какая тебе разница, кто власть? Ты себе сам власть, если у тебя золотые руки.

Он сердито расспрашивал Павлика, с кем тот дружит.

— Особенно комсомольцев избегай,— наказывал старик и, вспомнив Костю Грекова, наливался яростью.— Они невежи, ослушники и болтуны. Нечего тебе водиться с ними. С кем дружишь — мне говори. Я их отцов всех знаю. Какого кто корня, мне все известно. Я тебе скажу, с кем можно дружить.

Но Павлик о самом своем лучшем друге никогда не говорил дядьке. Это о Гале. Он по-прежнему два-три раза в неделю приходил к маленькому домику на окраине поселка и стучал в окошко. Он сделался здесь своим человеком, членом семьи — семьи, в которой не было ни одного взрослого. Разве можно было дядю Баглия считать взрослым?

— Он у меня как дитё малое,— говорила Галя об отце.— За ним глаз нужен.

Павлик чувствовал себя здесь, как дома. Он, насвистывая, работал по хозяйству: приделал дверь к сараю, исправил везде запоры, поставил на окно ставни, сколотил поломанную мебель. Иногда ему казалось, что это он у себя дома работает. Он начинал строить планы капитального ремонта. Больше всего ему хотелось выкрасить крышу зеленой краской, как у дядьки.

Девочки привыкли к нему, ждали его прихода, а когда он приходил, карабкались ему на плечи, затевали возню. Он привык, что его называли «дядей». Он возился с девочками, делал им игрушки и сам, увлекшись, играл всерьез. Они садились тогда все на пол — Павлик, Галя, две ее сестренки — и пускались в далекий путь. Паровоз, сделанный Павликом из картона, ставился вперед. Павлик гудел в кулак. Девочки били в таз три раза. «Гу-гу-гу!» — кричал Павлик, и поезд трогался.

Они проезжали замечательные страны.

— Мы в Париже,— говорила Галя; она любила города.

— Нет, нет, мы в деревне! — кричали девочки.

А Павлик все гудел — «гу-гу-гу!» — и вез их, куда им вздумается.

Самому же Павлику никуда не хотелось ехать. Зачем? Разве не счастлив он сейчас? Разве не сбывается все, о чем мечталось?

Он вспоминал Алешу и Ковбыша. Где они теперь, зачем мечутся по земле, чего ищут? Он никогда не уедет с завода. Ему здесь хорошо и радостно.

Однажды Абрама Павловича днем вызвали к директору.

— Не пойду! — проворчал он.— Что, в самом деле, среди работы человека тревожат?

Он любил показать свою самостоятельность перед директором. Для кого директор — Дмитрий Иванович, а для него он все Митька Загоруйко — подручный слесаря, ученик Абрама Павловича. Но мастер никогда не напоминает об этом. С тех пор как Митька стал директором, Абрам Павлович относится к нему сухо, официально. Порядок есть порядок, и директор есть директор. Старик держался самостоятельно, но так, как требует того порядок. И, поворчав, он все-таки пошел к директору.

Он пришел оттуда через час, и по его серому лицу Павлик сразу понял: случилось несчастье. И все ученики почувствовали то же. Они тревожно и молча следили за движениями своего учителя: как он подошел к своему столику, как опустился, крякнув, на табурет. Они бросили работу и столпились вокруг старика, смутно чувствуя, что случилось общее несчастье — его и их. В этой тревоге они слились вместе с мастером.

Абрам Павлович поднял голову и увидел десятки кудрявых, лохматых и стриженых голов, печально склонившихся к нему, увидел расширенные тревогой детские глаза и почувствовал, что если не было ему удачи в сыновьях, так зато повезло в племянниках. Он обнял чью-то стриженую голову и сердито сказал:

— Не сдамся!

Потом встал и, ничего не объясняя ребятам, пошел в цеховую контору. Взял трубку, обругал телефонную барышню и вызвал директора.

— Это я говорю, я! — сердито закричал он в трубку.— Пора бы тебе, Митька, мой голос знать. Я тебя не раз гонял, когда ты детали запарывал, у меня учась... Ладно! Ты слушай, когда с тобой старшие говорят. Я в последний раз говорю — потерпи. Имею заявление. Да. Заявление, говорю, имею. А ты слушай. Вот мое заявление: постольку, поскольку ты моих детей выгоняешь за заводские ворота, выгоняй и меня, старого пса. Не останусь без ребят на заводе. Нет на то моего согласия. Нет и нет.

Павлика и Мишку Рубцова взволнованные ученики послали вдогонку мастеру, наказав подслушать, о чем он будет говорить в конторе.

То, что они услышали, ошарашило их.

— Выгоняют? — пробормотал Павлик.— Куда же мы денемся?

Он беспомощно огляделся вокруг себя: цех гудел ровным, знакомым гулом, словно никакого несчастья не произошло. Павлика вышвырнут за ворота, цех все будет ровно гудеть: будут стучать долбежные станки, шипеть точила, скрежетать фрезеры.

Старик вышел из конторы, мрачно бурча в усы. Он заметил ребят и понял, что они все подслушали.

Он рассердился, хотел закричать на них, выдрать за уши и... и только рукой махнул.

— Неужели правда? — робко спросил Мишка Рубцов.

— Правда,— буркнул мастер.— Плохая, но правда.

Все дело было в деньгах, поняли ребята из рассказов мастера. Время теперь трудное, всюду нужна монета, всюду нормы, каждый лишний рот — заводу тягость.

— Разве ж мы лишние?

— Вот то-то и есть, что лишние,— пробормотал мастер.— Когда еще с вас польза будет! Я сказал ему: «Ты слепой человек, ты вперед не смотришь. С кем завтра работать будешь, когда сдохнем мы?»

— А он что?

— А он мне бумаги под нос тычет. Цифирки. Я их смотреть не стал, я в этих цифирках — слепой человек.

— Что же это будет, дядя? — потерянно пролепетал Павлик.

— Не знаю я! — огрызнулся тот.— Вот пойдем все за ворота. Я на заводе один не останусь. Не брошу я вас. Пойдем, свою мастерскую откроем. Не может того быть, чтобы мы пропали.

Может быть, и в самом деле пойти, открыть свою мастерскую? Есть кой-какой инструментишко у мастера, можно на стороне заказы брать... Но куда же двадцать человек?

Старик растерянно оглядывал цех. Он привык к нему. Он привык по утрам входить сюда, когда в цехе тихо, когда около станков еще никого нет. Он медленно шел долгой токарной дорожкой,— случайная стружка похрустывала под сапогом, подвертывались иногда гайки, шпонки. Он откидывал их ногой в сторону и, чуть покачиваясь, шел дальше. Он любил эту утреннюю железную тишину, в которой затаенно плыли отзвуки вчерашнего рабочего дня и уже рождались шумы сегодняшнего. Он любил запах цеха — смесь машинного масла, железа, ржавчины и кожи. Он любил предпразд-

ничные дни, субботу, когда станки начищаются и блестят и лоснятся, как спины только что выкупанных коней.

Все это придется теперь покинуть. Заявление директору сделано. Двадцать испуганных ребят толпятся за спиной. Мастер их не бросит.

За свою вместительную жизнь мастер сделал немало вещей. Тысячи вагонеток его сборки бегают по шахтам. Сотни подъемных кранов раскачивают над цехами изложницы. Не одна домна, склепанная им, дает чугун. Мастер знает свои творения и любит их. Они пришли к нему куском железа и ушли дельной вещью.

Ребята, которые толпятся за спиной, пришли к нему неумелыми и балованными малышами. Он выправил им руки, он вложил в эти руки инструмент, он научил их владеть этим инструментом и делать полезные вещи. Он любит этих ребят и не бросит. Он будет драться за них до конца.

После работы возбужденные ребята столпились около верстака и подняли галдеж. Одни кричали, что надо послать делегацию к директору, другие предлагали написать письмо Ленину. Мишка Рубцов овладел, наконец, галдежом и поставил предложение на голоса. Большинство решило послать делегацию к директору, просить не увольнять учеников до конца учебы. Делегатами избрали Рубцова и Павлика.

Делегаты подпоясали рабочие рубахи ремнями, пригладили вихры и пошли в контору.

— Мы ему прямо скажем, директору,— хорохорился по дороге Мишка Рубцов: — так и так, товарищ директор, пики козыри, ход с бубей, не имеете права увольнять рабочую молодежь. Не старый режим!

Но Павлик не соглашался.

— Надо ему душевно все объяснить. Он не знает. Товарищ директор, мол, нам учиться охота, нельзя человеку неученому жить. Куда нам деваться? Он поймет.

Но к директору их не допустили. Вышел маленький усатый человек и сказал, что директор занят, извиняется и принять «делегатов», к сожалению, не может. При этом усач расхохотался и подмигнул машинистке.

Мишка Рубцов все же попытался проскользнуть под руками усатого в директорский кабинет, но был пойман и выставлен за дверь. В коридоре он утих.

— Поговорили...— пробурчал он.

Делегаты решили все же не уходить. Павлик предложил стать на лестнице, ждать выхода директора. Директор остановится — и тут ему все выложить.

Ребята сели на лестнице и стали ждать.

Но их обнаружил сторож и вытолкал на улицу, сказав, что в конторе занятия кончились. Если же они попробуют вернуться, вежливо предупредил он, то он им так намылит шею, что неделю будут помнить. И он со звоном запер дверь.

— Холуй! — крикнул ему вслед Мишка.— Душа у вешалки...

Но это им нисколько не помогло.

Они решили было ждать директора на улице, но потом рассудили, что под дождем директор разговаривать с ребятами не станет. Под дождем люди злые. Мокрый человек всегда злой. Это сказал Мишка.

— Куда ж еще можно пойти с нашим делом?

— В милицию...— неуверенно предложил Павлик: для него все власти совмещались в милиции, но Рубцов высмеял его.

— Тогда некуда больше,— вздохнул Павлик.

Они медленно шли по длинной аллее лип.

— В отдел труда пойти,— не то сказал, не то спросил Рубцов,— или в завком?

Они знали, чувствовали: должен быть такой закон, который защищает учеников. Надо только найти ключи к этому закону. И людей, у которых эти ключи есть.

И вдруг Рубцов вспомнил:

— В комсомол! В комсомол надо идти! — И он просиял весь.

Но Павлик покачал головой, не соглашаясь.

— Дядька комсомол не любит. Бездельники они... Их директор, как и нас, выгонит...

Но Рубцов упрямо настаивал на своем, и Павлик неохотно согласился. Они бегом пробежали аллею и, шлепая по лужам, добрались до клуба. Здесь ютилась ячейка. В комнате ячейки горел свет, на трехногом стуле сидел секретарь заводской ячейки Костя Греков.

Ребята хорошо знали Грекова. Он часто приходил к ним в мастерскую.

— Ну, орлы,— весело кричал он всегда,— как делы?

— Ничего,— отвечали ему хором.— Дела идут, контора пишет, конторщик пьян и еле дышит...

Рубцов, как и все ребята, знал, какое близкое участие в делах мастерской принимал Греков. Он теперь не сомневался, что они с Павликом попали туда, куда надо. И, откашлявшись, начал:

— Мы есть, товарищ Греков, делегаты — я и товарищ Гамаюн — от всего юного пролетариата нашей ученической мастерской...

Забегая в мастерскую, Костя видел, как сердито косился на него мастер.

«Не любит меня старик,— беспечно подумал он.— Ну, пускай! Хороший старик. Довоенной выделки».

Он знал, что мастер одного себя считает творцом и хозяином мастерской. Старик не понимает ни политической, ни финансовой стороны дела, он думает, что все течет само собой. Пускай думает. Разве стоит из-за этого спорить? Стариков Костя привык уважать, мастеров особенно.

Но комсомольцам-то хорошо известно, с какими боями добывается для юной школы каждая копейка денег. Комсомольцам-то известно, с какими боями добился Костя введения в школе преподавания политграмоты и общеобразовательных дисциплин. Костя давно считает мастерскую школой фабзавуча, и только мастер упрямо стоит на том, что это мастерская, где он один учитель и хозяин.

— Ну что ж! — посмеивается Костя над стариком.— Пусть думает, что хочет. Пусть только ребят учит работать.

Они встречаются иногда в цехе — секретарь и мастер, два энтузиаста фабзавуча, два работника одного дела — и расходятся, как незнакомые и даже враждебные друг другу люди.

Костя привык уже к тому, что старики молодых в грош не ставят. Соседи посмеиваются. Он вырос у них на глазах. Он здешний человек, родившийся и вставший на ноги здесь, в поселке у меловой горы, людям странно видеть его с папкой под мышкой. Он вчера еще носил мастерам кипяток в чайнике, таскал партизанам в шапке патроны, а сегодня, на удивление тем же мастерам и партизанам, говорит речи с трибуны, сидит на заседаниях и бесцеремонно тащит папиросы из директорского портсигара.

Но его любят заводские старики, и это Костя тоже знает. Любят и гордятся им.

— В отца пошел, в отца...— говорят ему вслед, и Костя знает, что это высшая похвала: отец умер на царской каторге.

И Костя еще больше старается быть похожим на отца. Он расспрашивает о нем у стариков. Они отца хорошо помнят. В их рассказах отец встает, как живой: спокойный, всегда улыбающийся человек, ласковый к людям.

— К хозяину он — тигр, а к рабочему — голубь,— рассказывали старики.— Он человека всегда дружком звал. «Ты, говорит, дружок, возьми свою жизнь на ладонь и погляди на нее. Погляди, дружок, какая она у тебя некрасивая да замурзанная, и кто в этом виноват, дружок, крепко подумай».

Незаметно для самого себя Костя стал тоже говорить людям «дружок».

— Ну, дружки,— сказал он, выслушав цветистое выступление Рубцова,— изложите теперь своими словами, что у вас накипело.

Ребята переглянулись, подумали и резко выпалили:

— Выгоняют нас...

— Закрывают школу...

— На все четыре стороны раздувают нас, как пух...

— Что-о?! — закричал Костя.— Что за паника?!

Ребята рассказали все как есть.

— Это ваш старик перепутал,— заволновался Костя.— Этого не может быть. Мне ничего не известно. Старик напутал. Это твой дядька, что ли?

— Да,— тихо ответил Павлик.— Только он не напутал.

— А вот давай сходим к нему, спросим.— Костя быстро набросил на плечи куртку.— Давай сходим? А?

Они выскочили на улицу и побежали по лужам.

— Сюда,— сказал Павлик.

— Знаю,— ответил Костя.— Я здешний.

Они наскоро стряхнули с кепок и курток воду в сенях и ввалились в комнату. Старик сидел один за столом, положив седую голову на руки; почти пустая бутылка стояла перед ним. Павлик никогда не видел, чтобы дядька пил в одиночку.

— Абрам Павлович! — произнес Костя.— Неужели правда?

Мастер вскочил и опешил, увидев перед собой комсомольца.

— Во-он! — прохрипел он и, шатаясь, пошел на ребят. — Во-он! Во-он отсель, болтуны! Во-он!

Костя и Мишка Рубцов попятились к дверям.

— Мы по поводу мастерской, — пропищал Рубцов, но старик захлопнул дверь перед его носом.

Ребята очутились на улице. Все кипело в Косте, хотелось взять с земли грязный булыжник и запустить старику в окно. Мишка Рубцов вопросительно глядел на секретаря. Костя рассмеялся.

— Выгнал-таки, старый черт! — беззлобно сказал он о мастере.

— Да, старичок вредный, — согласился Мишка. — А учит хорошо. Только ты, товарищ Греков, не обижайся. Он убитый ходит.

— Убитый, говоришь? Вот тебе и старик! Но мы покажем ему, дружок, какие мы болтуны и бездельники.

Наутро мастеру официально сообщили, что первого числа он должен сдать весь инвентарь и инструмент и распустить учеников.

До первого оставалось четыре дня.

Начальник цеха вызвал к себе Абрама Павловича и долго убеждал остаться в цехе мастером, но старик был непреклонен.

— Без ребят не останусь! — твердил он упрямо. — Я их не продам.

Большинство учеников были сироты, чьи отцы погибли в гражданскую войну или были расстреляны белыми на заводе. Белые расстреляли здесь однажды двадцать семь человек — каждого десятого из оставшихся на заводе рабочих. Девятым до сих пор ночью являются покойники. Они являются в том же виде, в тех же рубахах и кепках, в каких стояли тогда рядом при этом жутком счете. Мишка Рубцов хотел организовать делегацию вдов — матерей учащихся — к директору.

— Приходите к директору, — учил он свою мать, — и прямо войте в голос. Он сжалится.

Ему казалось, что все дело в злой воле директора.

Встречая иногда Костю, он сначала озлобленно, а потом все насмешливее спрашивал: «Как делы?» Костя бормотал что-то в ответ и убегал. И Мишка пришел к выводу: прав Павлик, ни черта не сделают комсомольцы. Видно, придется летом в пастухи, а зимой идти в беспризорники.

Тридцатого ноября, за два часа до конца работы, мастер собрал всю свою детвору около себя. Он был торжественно-важен, словно пришел на официальные похороны.

— Дети! — сказал он, разглаживая усы.— Завтра мы с вами уйдем отсюда, геть! Так хочет начальство. Но мы брали у них задрипанные станки и инструмент ржавый, и мы должны им отдать его. Отдать в лучшем виде. Нехай помнят нас на заводе.

Он вытащил из своего шкафчика пачку наждачной бумаги, паклю, бутыль керосина, пяток масленок и роздал ребятам.

— За дело, дети! Чтоб все блестело. Чтоб блестело все к завтрашнему, последнему нашему дню,— и он махнул рукой.

Утром первого декабря все станки и верстаки имели праздничный вид. Пол в мастерской был тщательно выметен и даже побрызган водой, инструмент и материал аккуратно сложены. Холодная, унылая, нерабочая чистота мастерской поразила Павлика, он сел в уголок и пригорюнился.

Мастер ушел в цеховую контору за инженером Кудричем, которому должен был сдать инвентарь. Ученики молча бродили по цеху; им уже нечего было здесь делать, расчет они получили вчера, но они не верили все-таки, что школу закрывают, они хотели своими глазами увидеть, как будут уносить инструмент, как будут разрушать их школу.

И когда они увидели, как из конторки вышли мастер и высокий худой инженер Кудрич, они сбились около мастерской, исподлобья глядя на приближающегося инженера, словно именно он нес им беду.

Но инженер вдруг свернул в сторону, исчез между станками. Мастер шел один. Ребята увидели, что лицо у него какое-то растерянное и взволнованное.

«Закрывают? Нет?» — гадали ребята, стараясь прочитать ответ на лице мастера.

Старик подошел к своему столику,— ребята, затаив дыхание, следили за ним,— положил кепку, развел руками.

— Скажи на милость, а! — пробормотал он.— Скажи на милость! — Он пожал плечами и повернулся к детворе. Ребята возбужденно ждали. Он посмотрел на них поверх очков и рассердился.— Ну, чего? — закричал

он.— Чего рты раскрыли? Чего? Работать надо!

— Работать? — радостно подхватили ребята.— Работать! — Они опрометью, толкая и опрокидывая друг друга, бросились по местам.— Работать! Работать! — Мастер даже удивился такой прыти.

И вот он услышал, как снова тронулась в путь мастерская. Вот взвизгнул напильник, застучали молоток, зубило, загудел моторчик, вот точило зашипело, вот резец рванул первую стружку,— мастер, склонив ухо, прислушивался к шуму своей мастерской, и когда шум вошел в полную рабочую силу, как мотор, набравший полную скорость, старик радостно усмехнулся, пряча улыбку в пушистых усах: «Ишь ты! Скажи на милость!»

После работы мастер и Павлик, как всегда, вместе вышли из цеха. Мастер впереди, Павлик чуть сзади. Они шли всегда одной и той же дорогой: южная заводская калитка, Почтовая улица, железнодорожный мост, базар, за базаром сейчас же поселок Кавказ у меловой горы. Всего ходьбы двадцать минут. В половине четвертого тетка Варвара ставит на стол кастрюлю с дымящимся борщом.

Но сегодня, выйдя из завода, мастер вдруг круто свернул в сторону. Удивленный Павлик увидел, что старик направляется прямо к зданию клуба. Павлик не знал, идти ему за дядькой или остаться ждать, но старик нетерпеливо махнул ему рукой: «Пошли!» Они вдвоем вошли в клуб; здесь мастер в нерешительности остановился.

— Да-а! — произнес он, задумчиво покусывая усы.— Вот именно...

Затем он осторожно толкнул дверь, на которой написано: «Ячейка КСМУ», и вошел.

Павлик шагнул за ним, ничего не понимая и не пытаясь понять.

— Здравствуйте,— глухо сказал мастер и остановился на пороге.

Костя Греков приподнялся ему навстречу, трехногий стул пошатнулся и упал.

— Неприглядно у тебя,— сказал мастер.— Тебе большое помещение надо. Ну, ничего!

Старик чувствовал себя явно неловко. Он стал рассматривать стены. Костя молчал, ожидая, что еще скажет мастер, и нарочно не поддерживал разговора.

«Ты меня выгнал. Хорошо,— думал он,— я тебя не выгоню, но послушаю, что ты теперь скажешь».

— Я твоего отца знал,— произнес, наконец, мастер.— Хороший был мужик.

— Да! — ответил Костя.

— Я помню... Токарь он был. Хороший токарь. Да! Я политики не касаюсь, а токарь он был хороший. Это подтверждаю.

— Да! — опять сказал Костя.

Мастер потоптался у стола и глухо сказал:

— Ты вот что... Ты не обижайся. Я на тебя тогда того... покричал... Ну, я старик. Мне можно.

Костя улыбнулся.

— Я не обижаюсь.— Он подумал и сказал радостно, от всей души: — Я не обижаюсь, Абрам Павлович.

— Ну-ну,— обрадовался и старик.— Ну, вот и главное... Вот и главное...

— Да!..

Теперь уже было неловко обоим. Наконец, мастер сказал:

— Ну, я пойду!

Он пошел к выходу, сопровождаемый Костей. У двери он остановился и взял Костю за плечо.

— Объясни мне, Костя, старику: чем же ты Митьку убедил? А? Я читал постановление. Любопытно мне это знать: чем ты Митьку убедил?

— Директора? — засмеялся Костя.

Ему хотелось сейчас все рассказать старику. Как метался эти дни из парткома в контору, из конторы в завком, как убеждал всех, просил, уговаривал, как тыкал в нос закон правительства о броне подростков, как угрожал довести дело до центра, как телеграфировал в губком, в губпрофсовет, в редакцию и как добился, наконец, решения о сохранении фабзавуча. Но он ничего не сказал старику. Зачем? Тогда надо было бы много рассказывать, как Костя, выгнанный мастером, в ту же ночь решил для себя: или он добьется права на жизнь фабзавуча, или он действительно болтун, и тогда нечего ему сидеть секретарем комсомола. Как Загоруйко совал ему цифирки и технорук, щурясь сквозь пенсне, спрашивал: «Это вы в год хотите детей обучить квалификации?» — и сердился: «Выброшенные деньги!» А главный механик, румяный старичок, смеялся над Абрамом Павловичем и его методом обучения: «Да это,

батенька мой, кустарщина, курам на смех!» И все сходились на том, что это выброшенные деньги — деньги, которых и без того нет. Тогда надо было рассказать, как он в запальчивости стукнул кулаком по столу и закричал: «Ну, так дайте ученикам пробу и решим: быть или не быть фабзавучу!» Он верил в мастера. Он страстно хотел, чтобы фабзавуч жил. И он потребовал пробы.

Но тогда надо было рассказать и о Никите Стародубцеве, потому что это и было самым главным.

Никита Стародубцев, секретарь заводской партийной ячейки, вернулся из поездки в город как раз в тот день, когда отчаявшийся Костя Греков уже изнемог в борьбе. Костя уже считал дело фабзавуча проигранным, но упрямо решил не сдаваться, ехать в губком комсомола, добиваться справедливости... В этот день как раз и вернулся на завод Стародубцев. Костя радостно бросился к нему: «Выручайте, Никита Петрович, да что ж это такое! Какое большое дело губят! Да это ж преступление! Форменное преступление!» И он рассказал все.

Вот когда он узнал, что такое могучая поддержка партийной организации! Все вдруг переменилось. Маленький вопрос об ученической мастерской механического цеха сразу стал большим вопросом о будущих рабочих кадрах для завода. У директора состоялось совещание, и Загоруйко сказал на нем, смущенно потирая лоб: «А действительно надо и о будущем подумать! Вот крутишься, крутишься в повседневной суете, как белка в колесе, вперед и заглянуть некогда».— «А надо, надо заглядывать!» — засмеялся Стародубцев.— «Я ж и говорю: надо!» — отозвался Загоруйко.

Тогда же был решен и вопрос о пробе. «Не боишься пробы, Костя?» — спросил при всех Стародубцев. «Не боюсь!» — пылко ответил тот. «Ну, смотри! Это ты сам пробу держишь!»

Вот как было дело, но это слишком долго рассказывать.

И Костя, смеясь, ответил мастеру:

— Это не я, это товарищ Стародубцев Загоруйко убедил. Да еще теперь надо пробу держать. Не верит он нам.

— Пробу мы выдержим,— сказал мастер.— Ты, Костя, не беспокойся. Я мыслю собрать завтра своих ребят, слово им сказать. Ты приходи, тоже скажешь.

— Приду.

— Домой ко мне заходи. Не прогоню. Я старый человек, я болтунов не люблю. А ты дельный парень. Я твоего отца знал. Ты заходи.

— Зайду!

Мастер пожал Костину руку и вышел. Павлик за ним. Они молча пошли по улице: мастер впереди, Павлик чуть сзади. Они прошли мост, базар и подходили уже к Кавказу, когда мастер вдруг остановился и сказал Павлику:

— С этим дружить позволяю.

Через неделю фабзавуч держал пробу. Перепуганные ученики с ужасом смотрели на членов комиссии, разговаривавших с мастером. Комиссию возглавлял румяный старичок — главный механик завода. Он ходил по мастерской и хихикал:

— Это станок? Хи-хи-хи! Это верстак? Хи-хи-хи!

Костя утешал ребят:

— Не дрейфьте, орлы! Наша возьмет, чего бы ни стоило.

Но он сам был бледен и взволнован. Он понимал — сейчас решится все.

В цехе смеялись:

— Абрам Павлович держит пробу!

Но старик был очень бодр и уверен в успехе.

— Мои ребята не подгадят,— громко говорил он.— Я мастер. Я отвечаю.

Больше всех, пожалуй, дрейфил Павлик. Он завидовал самоуверенному Мише Рубцову. Тот говорил:

— Проба? Плевать я хотел. Я этому румяному старичку сто очков вперед дам.

А Павлик дрейфил. Он дрейфил, сам не зная почему. Учился он лучше всех, его чаще всех хвалил мастер; вещи, сделанные Павликом, уже давно шли на заводские нужды,— все-таки Павлик дрейфил.

— Засыплюсь!—бормотал он про себя.—Засыплюсь.

Раньше его работы оценивались здесь своими людьми — это была ненастоящая оценка, и Павлик знал, что мог бы лучше сделать вещь, видел все ее недостатки, неточности и шероховатости. Но сейчас ничто не скроется от острого взгляда румяного старичка.

«Главный механик,— думал Павлик.— Он по механике самый главный на заводе. Засыплюсь, засыплюсь я...»

Комиссия кончила совещаться и стала вызывать учеников. Каждому из них румяный старичок давал задание: одному сделать кронциркуль, другому обстрогать многогранную гайку, третьему обточить валок.

Когда очередь дошла до Павлика, румяный старичок спросил:

— Гамаюн? Что, сын Абрама Павловича?

— Нет, племянник,— пролепетал Павлик.

— Племянник мой,— гордо подтвердил мастер.

— Ага! — обрадовался неизвестно чему румяный старичок.— Ага! Так мы вот что дадим племяннику.

Он взял кусок железа с просверленной внутри круглой дыркой.

— Вот вам прямоугольник, молодой человек. Дырку видите? Вот эту дырочку-с распилите так, чтобы она стала четырехугольной. Размер, скажем, двадцать миллиметров на двадцать. Затем-с найдите кусок железа-с, сделайте из него четырехугольник тоже двадцать на двадцать. Ну-с и все. Но ваш четырехугольник, племянничек, должен так входить в отверстие, чтобы ни-ка-ко-го зазора я не увидел. Ни-ка-ко-го зазора! Идите! Желаю успеха.

Из того, что говорил главный механик, Павлик понял только, что погиб, и погиб безвозвратно. Разве он сможет сделать такую точную работу? Он горько задумался над куском железа.

Но надо было работать. Он осторожно взял напильник, повертел железо в руках. Потом взял угольник, кронциркуль. Начал даже насвистывать. Он скоро увлекся работой и забыл и о пробе, и о главном механике, и о всем на свете,— он помнил только о куске железа, который визжал под его напильником. Дыра меняла форму, принимала вид четырехугольника, железо подчинялось Павлику. Он тщательно обмерял дыру: посредине, сверху, снизу. Два миллиметра он ставил на пришабровку. Потом он стал делать четырехугольник, тихонько напевая про себя песенку, которой его научила Галя.

К концу следующего дня комиссия снова пришла в мастерскую и стала принимать пробу. На этот раз вместе с комиссией пришел и Никита Стародубцев.

Вспотевший, красный Костя спрашивал у мастера:

— Ну как?

— Будь уверенный,— отвечал громко мастер и раздувал усы,— будь уверенный, секретарь.

Но его ожидал тяжелый удар. Первая же вещь, сданная в комиссию,— кронциркуль,— вызвала насмешливую улыбку на губах главного механика.

— Что это? Кронциркуль? — кривлялся он.— Да нет, вы ошиблись. Это ножницы. Это сахарные щипцы. Это загогулинка какая-то, не имеющая названия.— Он радостно показывал вещь остальным членам комиссии: — Глядите, глядите, нет, это великолепно!

— Покажите! — мрачно попросил мастер.

Ему подали, он повертел в руках, крякнул: «Мда!..» — и швырнул кронциркуль на пол.

Следующий сдал комиссии многогранную гайку. Главный механик подбросил ее на ладони.

— Что же она, молодой человек, скособочилась у вас? Нездоровится ей, что ли? Экая она растрепа!

— Покажите! — опять попросил мастер.

Он был мрачен. Он старался не смотреть на Костю. А тот вытер рукавом пот со лба, подумал: «Вот и зашились!» — и виновато посмотрел на Стародубцева. Но тот только улыбнулся ему ласково и ободряюще.

— Следующий! — торжественно вызвал председатель комиссии.

Следующим был Павлик.

— Ага, племянничек! — приветствовал его румяный механик.— А ну, покажите-ка пробу, племянничек!

Он взял четырехугольник и измерил. Было 20×20. Он обмерил его со всех сторон: 20×20. Он пожал плечами и вставил четырехугольник в дыру: железо плотно вошло в отверстие. Механик поднес вещь к свету: зазора не было. Он всматривался, протирал пенсне, снова смотрел на свет,— нет, не было зазора. Он положил вещь на стол и погладил ее рукой,— хорошо отшлифованное, холодное железо приятно щекотало пальцы. Мастер и Костя, затаив дыхание, следили за председателем.

— А вы молодец, племянничек! — вдруг воскликнул механик.— Честное слово, молодец! Нет, вы посмотрите, какой молодец! — он протянул пробу члену комиссии.

Костя радостно вздохнул. Стародубцев засмеялся. Мастер расправил усы. А Павлик смутился и не знал, куда деваться. Но бурная радость клокотала в нем: сам главный механик сказал ему «молодец»! Он будет, будет слесарем, слесарем первой руки!

— Следующий! — вызвал председатель.

Следующим подошел Мишка Рубцов и уверенно протянул свою работу.

А дальше все пошло уже совсем хорошо. Все члены комиссии единодушно признали это. А Никита Стародубцев, собрав всех учеников, сказал им коротко:

— Вы доказали, что хотите учиться. Хотите стать хорошими мастерами. Нам, старикам, это радостно. От имени всего заводского коллектива приветствую в вас будущих хозяев и тружеников нашего родного завода!

Когда комиссия ушла, взволнованные и радостные ученики сбились вокруг мастера и Кости.

— Теперь нас не закроют! — сказал мастер.— Теперь у нас расширение пойдет! Верно я говорю, секретарь?

— Все верно, Абрам Павлыч! — радостно отвечал Костя.

Через полчаса группа учеников вручила Косте заявление с просьбой принять их в комсомол. Среди подписавших заявление был и Павлик.

2

Игру в «лопаточки» привез к нам с севера какой-то комсомолец, и она, как эпидемия, охватила актив. Особенно увлекся ею Глеб Кружан. Он мог целыми вечерами сидеть в клубе и играть в эту нехитрую игру.

Инструктор укомола как-то сказал ему укоризненно:

— Проиграешь, Глеб, всю организацию. Ничего ведь не делаешь!

— Ну и снимайте меня, раз ничего не делаю,— огрызнулся Кружан.— А учить меня нечего. Я, брат, на губернской работе в хорошие годы был...

— А теперь плохие?

— Да уж неважные,— усмехнулся Кружан.— Нет, давай уж лучше сыграем в «лопаточки».

Он видел, конечно, что дела в организации идут плохо. Но в этом не было его вины,— виновато время, плохие годы. Что он может сделать!

В двадцатом, «хорошем», году он любил устраивать парады комсомольских частей ЧОНа. Он выезжал на сером жеребце, беспокойно прядавшем ушами. Здоровался с частями. Кричал приветственную речь. Его голос звонко раздавался в морозной утренней тишине. «Ура!» — хрипло отвечали ребята, и Кружану казалось,

что он на фронте. Тускло поблескивали покрытые изморозью штыки. Ломаные, неровные линии шеренг... Снег на папахах и шапках... Разве не похоже на фронт? Разве не рыскают банды по уезду? Разве не привозят из районов зарубленных и замученных комсомольцев?

На фронте Кружан никогда не был.

Иногда он затевал ночные тревоги. Хмурый, насупившийся, он обходил взволнованные, притихшие ряды комсомольцев и хриплым, усталым шепотом отдавал распоряжения.

Он завел себе привычку: каждую ночь, перед тем как ложиться спать, обходить чоновские караулы. Он шел от поста к посту, придирчиво спрашивал пароли, заходил в душные, дремотные караулки и пил чай с ребятами.

Он любил один или с небольшой теплой гурьбой ребят вдруг нагрянуть в какое-нибудь опасное бандитское село. Он лазал по закромам и ямам, искал кулацкий хлеб, ломал самогонные аппараты, арестовывал кулаков и спекулянтов и сам же судил их.

Один раз подожгли хату, в которой он ночевал; он еле выскочил из огня. Другой раз ему с трудом удалось спастись от бандитской погони.

Он считал работу в уезде опаснее фронта. К комсомольцам-фронтовикам он относился настороженно. Ему казалось, что они все время подчеркивают: «А ты на фронте не был, не был!» Когда Рябинин на костылях пришел в горком, Кружан встретил его недружелюбно. Кружану казалось, что и костыли эти нарочно, для форса.

«А меня бандиты всего шомполами исполосовали! — хотел он крикнуть Рябинину.— Чего зазнаешься?»

Но теперь не пойдешь с облавой, не нагрянешь на село, не устроишь парада. И Кружан просто не знал, за что ему теперь взяться. Организовывать ячейки? Вести статистику? Культработу? Это представлялось ему скучным и ненужным делом.

Однажды Бенц предложил обследовать положение ученичества в частных предприятиях. Кружан оживился.

— А ведь верно! — вскрикнул он.— Сделаем налет на частников, одного-двух арестуем, устроим показательный суд.— Потом вспомнил, что арестовывать нет у него прав, и погас: — Ладно, проводи сам...

И он возвращался к «лопаточкам» или собирал в своей комнате ребят, пел печальные блатные песни, которым научился в тюрьме, а иногда, когда были деньги, пил. Деньги же были редко, жил Кружан мрачно и голодно, обедал где придется, донашивал старую гимнастерку.

По ячейкам он не ходил, хотя их было немного в городе. Сам он состоял в центральной городской ячейке, помещавшейся тут же, при клубе. В эту всеобъемлющую ячейку входили все, кто только мог: служащие учреждений, укомовские работники, пекаря, мукомолы, кожевники, швейники, парни с электрической станции, учащиеся, работники милиции, ребята из дома подростков. Сюда прикрепляли людей, приехавших в город на неделю, на месяц. Сюда приходили комсомольцы, потерявшие всякие документы; они тоже оставались в ячейке, состояли на временном учете, добывали деньги на железнодорожный билет, искали работу. Половина всей организации входила в эту разбухшую ячейку. Сам Кружан любил выступать здесь с речами.

Но и здесь началось брожение. Кожевники, пищевики, швейники, ребята с электростанции захотели создать свои ячейки. Раньше они работали в частных сапожных, или военных пошивочных мастерских, или пекарнях, или на законсервированных мельницах. Они были разбросаны по городу и привыкли вечерами тянуться в общий клуб к ребятам.

Но сейчас открылись обувная и швейная фабрики, пускались мельницы, расширялась электростанция, комсомольцы сбивались на предприятиях вместе, чтоб дружно драться за восстановление фабрик, за пуск, за качество, отстаивать свои интересы, учиться.

И кожевники потребовали себе ячейку. Пекаря объединились с мукомолами и тоже потребовали ячейку. Они пришли к Кружану и сказали, что им надоело болтаться без дела в клубе, что на фабриках и на мельницах на них свалили всю культработу, что беспартийная молодежь обступает их и спрашивает о комсомоле, что и самих их тянет больше к себе на мельницу, чем в общий клуб.

— Врозь? Врозь хотите?! — закричал на них Кружан.— По уголочкам, да?

В конце концов он махнул рукой:

— Ладно! Валите как хотите...

Ему сказали тогда, что раз так, то надо провести реорганизацию всей центральной ячейки. Но он заупрямился.

— Кожевникам — ячейку и пищевикам — ячейку, а все остальное пусть идет по-старому.

И когда ему перечили, он начинал кричать:

— Что-о?! Клади билет на стол! Всех из комсомола выгоню!

Иногда на него находил приступ деятельности. Он созывал бюро, запирал двери, искуривал гору махорки и замучивал управдела.

— Пиши,— кричал он,— пиши: Иванова исключить из комсомола! Ярхо объявить строгий выговор, Матвейчика снять с работы! Кто против? Идем дальше... Дело Сергеева. Предлагаю исключить... Кто против?

Он знал, что его называют в организации «грозой», ему доставляло огромное удовольствие видеть, как бледнеют под его взглядом молоденькие комсомолки. С ними он разговаривал только криком.

Потом приступ деятельности проходил, и Кружан опять впадал в апатию.

Его вызвали однажды в губкомол для доклада. Он пришел и заявил:

— У меня бумажек с собой нет. Чего докладывать, не знаю. Спрашивайте, я отвечу.

Его спросили, сколько комсомольцев в организации. Он, не задумываясь, ответил:

— Сколько комсомольцев — не считал, но думаю, что штыков полтораста мог бы вывести на борьбу с бандитами.

И члены бюро не знали, как быть с Кружаном: боевой парень, а ничего не хочет делать. Они пытались убедить его, образумить, секретарь губкомола сам задушевно поговорил с ним и отпустил Кружана, вполне уверенный в том, что парень теперь возьмется за дело. Но Кружан приехал домой и зажил по-прежнему: играл в клубе в «лопаточки», пел блатные песни, носил старую гимнастерку, а иногда пил.

Однажды в горком явился молодой скуластый паренек в рабочем, измазанном машинным маслом кожухе и сказал ему:

— Товарищ Кружан! Извещаю тебя, что послезавтра твой отчет на нашей ячейке.

— Какой отчет? — пробурчал Кружан.— На какой ячейке? Откуда ты взялся? Кто ты есть такой?

— Отчет такой: о работе горкома,— хладнокровно объявил паренек.— Считаем, что плохая работа, но все-таки решили обсудить. Ячейка наша — завод бывший Фарке, гвозди и проволоку делаем. А я ее секретарь.

— Что-о? Там Глина Андрюшка секретарь. Что ты мне голову морочишь?

— Был Глина,— невозмутимо ответил паренек,— а теперь я. Вчера выбрали. Мы вам протокол послали.

Паренек показался знакомым Кружану. Он всмотрелся в него, но не узнал. Мало ли ребят бывает в горкоме!

— Отчитываться я не буду. Всякий придет отчета требовать, а я — говори! Язык у меня не казенный.

— Тогда мы без твоего присутствия вопрос решим,— уверенно сказал паренек.

— Что-о?! — заорал Кружан.— Ты откуда взялся? Как ты со мной разговариваешь?! Где билет? Давай билет! Исключаю я тебя из комсомола.

— Билет не отдам,— тихо сказал парень.— Не ты мне давал, а ячейка. Я ячейке отдам, если надо будет. А может, тебе самому придется билет сдавать.

Кружан даже на стуле подпрыгнул.

— Кто такой? Как фамилия? — закричал он.— Борька, запиши его фамилию.

— Гайдаш мне фамилия,— сказал скуластый паренек,— Алексей Гайдаш. Можете записать, я не из робких.

Жизнь Алеши всегда складывалась так, что он попадал в самую гущу борьбы.

Он пошел в школу учиться, добывать знания, нужные в жизни и годные в дело, но вместо учебы полез в драку с Ковалевым.

Он пошел в комсомол работать, комсомол представлялся ему своеобразной биржей, где каждого парня немедленно двигают в дело, но оказалось, что и здесь ему прежде всего предстоит ввязаться в драку.

Спокойных гаваней не было на Алешином пути, его кораблю предстояло большое и бурное плавание. Его паруса раздувало штормовым ветром. Но Алеша, конечно,

никогда не думал о том, почему так, а не иначе складывается его дорога. Драться, лезть в самую гущу, отстаивать свою правду, бороться, торопиться вперед было его естественным состоянием. Он не умел иначе. Он был такой. Он никогда не мог понять людей, успокоившихся и сложивших в чемоданы свои планы, мечты, идеи и забросивших эти чемоданы в пыльный угол чердака.

Когда он возвращался от Рябинина, ему встретились Валька Бакинский, Тася и Марина. Они радостно бросились ему навстречу, и он сам сердечно обрадовался им. Они смотрели на него так, словно он вернулся из кругосветного путешествия. Они ведь ничего не видели и ничего не знают. Они не знают даже, как ездят зайцем на товарном поезде.

Они забросали его рассказами о своей жизни. Началась полоса вечеринок, сообщили они ему; сейчас они идут от Толи Пышного.

— В нашей компании не хватало только тебя,— заявил Валька.— Но теперь ты с нами.

Алеша ничего не ответил. Он выслушал их всех и сказал:

— А знаете, я вступаю в комсомол.

Что случилось с ними? Алеша только усмехнулся, увидев, как сразу отпрянули все от него.

— Да,— повторил он,— вступаю в комсомол.

— Папа не пустит в наш дом комсомольца,— прошептала Тася так, чтобы он один слышал.

«А плевать мне на твоего папу!» — подумал Алеша, плюнул, но ничего не сказал. Неужели ему нравилась когда-то эта пухленькая, курносая девочка с огромными бантами в волосах?

Он хотел повернуться и уйти, но его задержал Валька.

— Ты необдуманно поступаешь, Алексей,— укоризненно сказал Валька.— Я говорю дружески. Ты знаешь, что по убеждениям я коммунист. Но ты не знаешь, что такое здешний комсомол.

Не знаю? А он не отдыхать идет в комсомол. Он идет бороться. Его больше всего и радует, что он идет в комсомол не на готовенькое. Он идет с засученными по локоть рукавами. «Да,— говорит он старым комсомольцам,— да, вы завоевали комсомолу право на жизнь. Но и мне еще осталось много дела. Давайте-ка вме-

сте!» И он представлял себе, как начнет ворочать дело.

— Вы все придете проситься в комсомол,— сказал он Вальке.— На готовенькое придете.

— Никогда! — закричали все трое.

Никогда? Зачем же тогда он стоит, болтает с ними? Алеша пожал плечами и, не прощаясь, ушел. Они что-то кричали ему вслед,— он не слышал.

Наутро он пошел с отцом на завод. Там, в цехе, ему встретились сверстники, ребята с Заводской улицы, друзья детства. Некоторые из них были в комсомольской ячейке. Они радостно приняли Алешу и быстро оформили его вступление в комсомол.

Алеша осмотрелся и увидел: станок, у которого его поставили работать, болторезка, был нехитрый, ячейка комсомола — слабенькая, но дружная, ребята хорошие. Работать можно. Он кинулся в дело.

Теперь он снова был по горло занят. Утром по гудку бежал на завод, а поздно ночью возвращался. Как и большинство других комсомольцев, он все вечера проводил в ячейке.

Он охотно брался за любую работу. Подметал пол в красном уголке, разрисовывал стенгазету, волочил тачку с железным ломом на субботнике, организовал общеобразовательный кружок, ходил в ЧОН. Он даже хотел записаться в драмкружок, но его не приняли. Он хотел один переделать все дела, и чем больше он работал, тем сильнее росла в нем жажда все охватить и все двинуть.

Он простудился на субботнике. Мать силой уложила его в постель и напоила горячим молоком. Но он вспомнил, что сегодня занятия общеобразовательного кружка, и убежал через окно из дому. Он бежал по слякотной улице, стараясь не дышать ртом, чтобы еще пуще не простудиться,— при этом он больше всего боялся, что не сможет тогда провести занятие в кружке.

Скоро Алешу избрали в бюро ячейки, а когда рабочие выдвинули Андрея Глину в завком, ячейка единодушно выкрикнула Алешу в секретари ячейки. Он растерялся от неожиданности, смутился, замахал руками, но все закричали: «Просим! Просим!» — и он, откашлявшись, сказал:

— Ладно! Только ж, ребята, чтобы работать дружно и вместе.

Кружан вспомнил, наконец, где он видел этого скуластого парнишку, который сейчас требовал у него отчета. Ведь он совсем недавно приходил сюда с мешком за плечами вступать в комсомол. А теперь он уже секретарь ячейки.

«Ишь ты! — злобно подумал Кружан.— Они в гору, а мы под гору...»

Он выгнал Гайдаша из горкома, заявив, что никаких отчетов делать не будет, и, расстроенный, пошел домой.

«Они в гору, а мы?..» — думал он по дороге.

Он пришел в коммуну и, не снимая сапог, повалился на койку. Жесткая кровать скрипнула под ним. Вот уже почти пять лет он не знает других кроватей. У него ни семьи, ни хаты. Все это он сжег. Он вспомнил, как пылал отцов хутор. Где отец? Где мать? Старая... жива ли?

Он лежал, уткнувшись лицом в стену. По комнате вяло бродили сумерки. Потрескивал старый сухой паркет. Кружан вздохнул.

В дверь постучали.

— Ну! — хрипло отозвался Кружан.— Ну! — Но не повернулся. Он слышал, как кто-то вошел, аккуратно прикрыв за собой дверь.— Ну? Кто там? — сердито пробурчал Кружан.— Кого принесло?

— Меня, очевидно,— ответил кто-то знакомый.

— Кто? — рассердился Кружан.

— Я, Рябинин.

Кружан вскочил с койки. Действительно, Рябинин стоял перед ним, устало улыбаясь.

— Ну, здравствуй, Глеб,— сказал Рябинин, переступив порог. Кружан молча протянул руку. Рябинин пожал ее и сел на табурет.— Как жизнь?

— Ты зачем пришел? — спросил Кружан.— Я тебя слушаю.

— Я по делу, Кружан. Знаю, чаем не напоишь.

— Ты брось меня разыгрывать! — вскипел Кружан.— Зачем пришел?

— А! Ну хорошо! Мы оба члены партии, Кружан, вот зачем я пришел. Ты на меня чепуху возвел, я на тебя могу наговорить вдесятеро. Зачем? Есть у нас орган один для этих дел. Давай сходим туда, а?

— Мне ходить незачем. Туда виноватые ходят.

— А ты, конечно, во всем прав? Понятно. Но, может быть, все-таки сходим? Недалеко ведь...

— Все? — насмешливо спросил Кружан.— Можете быть свободны.

— А все-таки пойти тебе придется. Ну, не хочешь в контрольную комиссию, тогда пойдем к секретарю горкома партии. Видишь ли, Максим Петрович нас с тобой дома ждет. Велел тебе кланяться и звать в гости.

Кружан потемнел.

— Максим Петрович? — спросил он тихо.— Так ты, значит, и его в это дело впутал? Ну что ж, пойдем! Пойдем, раз так. Тебе же хуже будет.— Он пришел вдруг в сильное возбуждение: — Да, да, обязательно пойдем! — Он искал кепку, куртку и кричал: — Вот мы поговорим там!..

Рябинин спокойно ждал, пока Кружан оденется.

Он уже был сегодня у Марченко. Пришел к нему в горком партии и без всяких предисловий сказал:

— Ну вот, Максим Петрович, я выполнил ваше поручение: я присмотрелся к Кружану.

Марченко поднял на него свои пытливые, острые глаза.

— А-а! Вот как! — проговорил он.— Хорошо! — Он еще раз внимательно посмотрел на парня.— И костылей, гляжу, у тебя уже нет. Выздоровел?

— Вполне.

— Отлично! Очень хорошо. Ну, рассказывай, голубок...

— Я хотел бы все это при товарище Кружане рассказать вам,— твердо сказал Рябинин.— Прошу нас обоих вызвать.

Тогда-то они и условились, что Рябинин вместе с Кружаном придут к нему вечером домой.

Они пришли к Максиму Петровичу и застали там Юльку. Она сидела на своем любимом месте — в уголке большого кожаного дивана.

Кружан смутился, застав здесь Юльку, и пробурчал что-то. Но Максим Петрович уже сделал знак девочке, и она ушла.

— Ну? — сказал Максим Петрович, оглядывая проницательным взором ребят.— Пришли, наконец? Хорошо, что пришли. Хорошо, что сами пришли. А то я,— усмехнулся он,— совсем уж собрался вас обоих вызвать, поговорить. Хотите чаю? — неожиданно спросил он.

— Выпью,— согласился Рябинин.

— Не надо,— буркнул Кружан.

Максим Петрович налил чаю, подвинул сахар и опять внимательно-остро посмотрел на ребят.

— Как же нам не прийти? — сказал Рябинин.— Нам больше идти некуда. Выше партийного суда для нас суда нет. Мы к вам, Максим Петрович, как к представителю партии пришли.

— Я слушаю вас,— спокойно ответил Максим Петрович.

Рябинин поглядел на Кружана,— может, он сам хочет начать разговор? Но Кружан молчал, ерзал на стуле. Пауза затягивалась.

Максим Петрович усмехнулся.

— Молчите? — покачал он головой.— Так. А молчать вам нельзя. Вы, именно вы оба, перед партией за комсомол отвечаете. Вы коммунисты, представители партии в комсомоле. Партийное ядро в нем. Ядро,— повторил он и вдруг прищурился.— Вот и раскусим сейчас, какое вы ядро. Ссоритесь? — неожиданно спросил он Кружана.

— Да нет...— растерялся тот.

— Нет? А отчего же? Ссориться надо,— так же неожиданно заключил Максим Петрович.— Мы тоже, бывало, «ссорились». Кое с кем — навеки.

— Мы не ссоримся,— ответил Рябинин.— Мы, Максим Петрович, во взглядах разошлись. В характерах.

— Глупые он разговоры говорит,— перебил Кружан.— При чем тут характеры? Надо коммунистом быть, а не...

— Коммунистом надо быть,— согласился Максим Петрович.— А он, что же, плохой коммунист, так, что ли?

Кружан смутился. Застав Юльку здесь, он понял, что старику все известно. «Уйти, что ли? — подумал он.— Да теперь не уйдешь!» — и он тоскливо посмотрел в окно.

— Вы рассудите нас, Максим Петрович, кто какой коммунист,— уже волнуясь, сказал Рябинин.— Вам и книги в руки.

— Хорошо. Ну, говори, Кружан.

— Пускай он сперва скажет, я ему ответ дам. Он тащил меня сюда,— ответил Кружан.

— Тащил? — жестко усмехнулся Максим Петрович.— А ты не хотел, упирался, так, что ли? — Он во-

просительно посмотрел на Кружана, потом кивнул Рябинину: — Говори ты.

— Хорошо.— Рябинин начал.

Максим Петрович слушал его, наклонив седую голову,— старик любил молодежь. Он и сам когда-то был «комсомольцем». Он улыбнулся в усы, вспомнив молодость — подполье, первые революционные кружки. Его долго не пускали на конспиративные собрания, используя по технической части. А он каждый день придумывал все более и более грандиозные проекты немедленного свержения самодержавия. Волнуясь, захлебываясь словами, он излагал эти проекты доктору Крушельницкому, единственному конспиратору, которого знал.

Доктор спокойно выслушивал юношу, потом брал его руку, отсчитывал пульс.

— Пульс нормальный,— качал он головой.— Не бред, но молодость. Медицина здесь бессильна.

Где он теперь, Крушельницкий, милейший доктор, идеал революционера? Последний раз Максим Петрович видел его в девятнадцатом году в Питере. Брюзжащий обыватель, обиженный революцией. Он-то никогда не болел молодостью. Медицина здесь тоже была бессильна.

— В нашей организации форменный разброд,— говорил Рябинин.— Никто не понимает, что собственно происходит, но все чувствуют: организация больна.

— Молодостью она больна, молодостью, вот чем,— перебил его Максим Петрович.— Это все-таки неплохая болезнь. Но ты продолжай, я тебя слушаю.

— Нет, мы стариками стали,— горько усмехнулся Рябинин.— Многие только воспоминаниями живут. А и всех-то воспоминаний — год на фронте.

— Вам воспоминаниями жить рано. Вам надо вперед смотреть. Ваша жизнь впереди. Вы нас смените, наше знамя понесете...— с какой-то особенной теплотой сказал Максим Петрович.— Не безразлично нам, какая смена растет, в чьи руки наше знамя достанется... Ты откровеннее говори, я тебя слушаю...

— Хорошо. Я откровенно все скажу,— все больше волнуясь, сказал Рябинин.— Мне перед партией скрывать нечего.

Кружан тревожно вертелся на стуле. «Вот он сейчас о Юльке начнет говорить,— тоскливо подумал он.— Всю грязь выльет. Ох, убежать бы, уйти б скорей!»

Но Рябинин ничего не говорил о Юльке. И о себе ничего не говорил. Он говорил только об организации, о том, чем живут и чего хотят комсомольцы и чем им мешает Кружан. И чем больше он говорил, тем все темней и темней становилось лицо Максима Петровича.

— Это что, правда, Кружан, то, что говорил Рябинин? — суховато спросил он, наконец.

Кружан пожал плечами.

— Голубок,— рассердился старик.— Не такое дело. Ты скажи!

— Что говорить? Вы, Максим Петрович, лучше меня знаете, какое теперь время.

— Какое?

— Да уж такое, что лучше не выдумаешь. Я не спорю,— добавил он устало,— может, так нужно. Крестьянство... Хлеб... Я тоже читал кое-что. Может, проводить эту политику нужно, но любить ее никак нельзя. Сердце не лежит.

— Сердце не лежит? — рассвирепел старик.— Сердце? Несмышленое твое сердце! Тоже сердце!

Он сердито отодвинул чашку. Сколько раз он слышал в своей жизни это выраженьице: «сердце не лежит»! За ним всегда скрывался этакий брезгливый чистоплюй, белоручка. Сердце не лежит! А Ленин говорил: пойдем хоть в хлев, если надо. Сердце!

— Историю партии изучайте, юноша! — крикнул Максим Петрович Кружану,— тогда и сердце на месте будет! Сердце!

Максим Петрович знавал многих «революционеров», у которых к черновой подпольной работе не лежало сердце. «Нам оружие давай! — кричали они.— На баррикады!» А как пришел час пойти на баррикады, где они оказались, эти «герои»? Сердце! «Сердце» у каждого есть, а ума не всем хватает. В красивых ходить легко, а попробуй-ка быть мудрым!

Он тоже, Максим Петрович, знавал, что такое «сердце». Он стоял под красным флагом на горловских баррикадах пятого года, и ему казалось, что это ветер свободы и победы раздувает знамя. А потом пришлось прятаться в заброшенных шахтенках, в шурфах, бежать, как хромой, затравленный волк, волоча простреленную ногу. Черное отчаяние охватило его: «Все погибло! Все к черту! Лучше сдохнуть в степи!» Сердце!

А потом ему сказали, что большевикам надо идти в думу. Он не понял. Он думал, что ослышался, что докладчик не то сказал. Он знал: думу большевики бойкотируют. Он вспомнил кровь шахтеров, побитых в Горловке. Какие тут думы! Какие тут парламентские разговоры! Сердце не лежит к разговорам,— к оружию, товарищи, к оружию! Умереть с оружием в руках. А мудрый человек сказал: хоть в хлев! Сердце!

— У тебя сердце глупое,— сказал старик Кружану.— Глупое, раз оно к делу не лежит.

Он сердился, это было не похоже на его обычное отношение к молодежи. Он отечески нежно любил ее. К этой любви примешивалась гордость: «Вы живете в новом мире, юноши. Этот мир завоевали для вас мы, старики. Живите же ладно! Живите же лучше и чище нас». А он, Кружан, вот как живет! Ну, что ж! Будем говорить как следует. Два члена партии стояли перед ним. Один говорил, что у него к политике партии не лежит сердце.

— В партии давно? — отрывисто спросил он Кружана.

— С января двадцатого.

— Взыскания были?

— Были...— Кружан высоко поднял голову.— Я был исключен.

— За что?

— Расстрелял десяток сволочей.

— Без суда?

Кружан пожал плечами.

— И что ж? Гордишься? — зло усмехнулся Максим Петрович.— Ты и сейчас еще гордишься? Нечем, нечем. Гнусно... Мальчишка...

Он сердито прошелся по комнате, потом подошел к Кружану.

— Что читаешь?

— Все читаю. Что приходится...— растерянно отвечал Кружан.

— Что вчера читал? Молчишь? Ничего не читал. Болтун! Неуч! Политика партии не по сердцу?! Да понимаешь ли ты ее, политику-то?

Кружан стоял, опустив голову.

— Пьешь? — хрипло спросил старик.

— Пью,— пробормотал он.

Он хотел сейчас только одного: провалиться сквозь

землю. Старик выворотил его наружу и показал всем: вот каков Глеб Кружан, глядите! И ему самому показал.

Кружан мрачно жил последние полтора года. Но было горькое утешение: вот как живет герой, вот до чего довели геройского комсомольца Глеба Кружана! Он любил и жалел себя, и чем больше жалел, тем больше любил. А сейчас ненавидит себя. Он себя не находит, он костей своих даже не ощущает — слякоть, слякоть какая-то.

Старик уже набросился на Рябинина:

— А ты? Ты что делаешь? Ты почему раньше не приходил? Что думал? Ох, возьмусь я за вас, прекрасная молодежь! На бюро горкома партии ваш отчет... Немедленно... Уж не обижайтесь, возьмусь я за вас!

— Возьмитесь, Максим Петрович! — взволнованно сказал Рябинин.— Я свою вину признаю.

— То-то! — Старик подошел к столу и налил себе чаю в чашку. Прихлебывая остывший чай, он исподлобья посматривал на Кружана: тот стоял, отвернувшись к окну, плечи его вздрагивали.— Ты хныкать брось! — тихо произнес Максим Петрович.— Хныкать легче всего. Жизнь твоя у тебя в руках, голубок, поворачивай ее куда следует.— Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Рябинина и, хмурясь, добавил: — А девушку я вам вовек не прощу. Девушку зачем обидели? Девушку эту беречь надо. Это золотое поколение растет.

Кружан и Рябинин вместе вышли на улицу. Им было по дороге,— оба жили в «коммуне номер раз»,— они пошли рядом. Шли молча. Рябинин начал свистеть.

Так, не разговаривая, они дошли домой и молча же разошлись по комнатам.

Мы поджидали Рябинина всей компанией: я, Семчик, Алеша. Сияющий Алеша пришел сообщить, что вчера единогласно, волею всего народа, он, Алешка Гайдаш, паренек с Заводской улицы, избран ответственным секретарем ячейки комсомола, что сегодня он уже полез в ссору с Кружаном, в ссору до победного конца.

— Бенц, не обижайся, что ячейка наконец-то возьмется за горком и встряхнет его. Какой план работы сочинили! Какие богатые дела мы будем делать! Организуется школа фабзавуча! Создаются вечерние курсы!

Открываются политкружки! Комсомольцы забирают под свою высокую руку весь заводской клуб! Вечера! Спектакли! Лекции! — Алеша выпалил все это единым духом, и Рябинин из всего этого смерча слов понял только одно: цветет, растет, прет в гору Алеха.

— Ну-ну,— сказал он молодому секретарю.— Все отлично. Смотри, теперь не зарвись.

— Чай! — закричал я.— Пир на весь мир! Рассказывай, Рябинин, о чем говорил с Кружаном?

Мы притащили огромный кондукторский чайник и торжественно поставили его на стол. Пар клубами валил из носика и смешивался с волнами табачного дыма. Мы дымили, как добрые паровозы. Хриплыми, простуженными голосами мы пели наши песни. Запевал Рябинин. Он стоя дирижировал хором.

— Басы, тише,— шипел он, хотя во всем хоре не было даже баска.

Потом мы снова сели пить чай. Мы безумно кутили. Мы пропили весь сахар, какой у нас был.

Но я щедро кричал:

— Пейте, гости дорогие! Славьте тороватых хозяев! Кипятку много!

В самый разгар веселья к нам вдруг вошел Кружан. Он вошел как-то нерешительно,— мне показалось, что он, вероятно, долго раздумывал у двери перед тем как войти. Увидев шумную компанию, он нахмурился. Он пришел, очевидно, чтобы что-то сказать Рябинину. Важное что-нибудь. Мы стихли.

— Я спичек хотел... Спичек нет... понимаешь? — пробормотал он.

В руке у него была незажженная папироса. Рябинин зажег спичку и подал ему.

— Может, тебе всю коробку дать?

— Коробку?..— переспросил Кружан.— Да... Давай коробку...

Он вдруг заметил Алешу.

— А... ты зачем... здесь? — удивленно спросил он.

— Я — в гости. А что?

— К тебе в гости? — спросил он у меня.

— Ко мне и к Рябинину.

— Ах, вот что,— усмехнулся он.— Ну, ничего... Мешать не буду. Я за спичками... Счастливо!

Он пошел к двери, потом вдруг остановился, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и вышел.

Алеша задумчиво посмотрел ему вслед.

«Неужели и мне когда-нибудь придется так?» — вдруг ужаснулся он.

Но эта случайная мысль прошла, не затмевая его радости. Он встряхнул лохматой головой и крикнул:

— Споем, ребята! Нашу! Комсомольскую!

И первый поднял песню.

3

Я расскажу когда-нибудь, как и почему начал писать. Ребята смеялись надо мной:

— Сережа, брось. Ты Пушкиным не будешь!

Посмеивался и Валька Бакинский, признанный авторитет в этой области, читая мои опыты.

А я упрямо исписывал бумагу.

Когда я затеял писать книгу о моем поколении, сведущие люди стали отговаривать меня.

— Вам сколько лет? — спрашивали они насмешливо.— Куда вы лезете? Вы доживите сначала до тех годов, когда осмысливают свою молодость, и тогда уж валяйте пишите.

Я чувствовал, что сведущие люди правы. Я отбрасывал прочь в сторону планы «Моего поколения». Я хотел найти другие темы, других людей. Но какие у меня другие темы? Мне оставалось бросить перо и ждать седин.

Но и ждать я не мог. Они измучили меня, мои земляки и сверстники, они толпились вокруг, они росли вместе со мной и на моих глазах, я слышал, как хрустели их кости,— и мне мучительно хотелось писать, писать о них, только о них. Украдкой от сведущих людей я писал свою книгу.

«Ребята! — мысленно обращался я к своим сверстникам — к Алеше, Павлику, Юльке, Моте.— Ребята, вы уж простите меня! О вас должен был бы писать писатель опытный, убеленный сединами. Вы сто́ите этого. Мы сто́им того, чтобы о нас хорошо написали. Но что же делать, ребята: о нас не пишут! И вы не ругайтесь уж, что взялся я. В свое оправдание я могу сказать, что сделал все, что умел. Я вложил сюда все, что у меня было. Вот я весь — больше у меня ничего нет, я все отдал. Страшно ли мне? Напишу ли еще что-нибудь, даже вторую часть этой книги? Не знаю! Но я вложил сюда все, что имел!»

Когда я кончил свою первую книгу и решил везти ее в свет, ребята пришли меня провожать на вокзал. Они смотрели на меня с теплым сочувствием, но — увы! — с малой верой.

— Ты не дрейфь! — ободряли они меня.— Чуть что — вали назад. Черт с ней, с литературой.

— Не зарывайся, Сергей! — наказывали они мне.— Знаешь, какая там среда! Пропадешь! Писателей много, затеряться тебе легко...— И ободряли: — Чуть что не так — вали назад. На дорогу соберем, вышлем, телеграфни только.

А я жал их теплые дружеские руки, обнимал их плечи и говорил:

— Ребята! Вы знаете меня: я не трепач. Вот я торжественно говорю вам: я был неплохим наборщиком, я был не очень скверным секретарем ячейки. Верно? Я знаю, писателей много. Но если я не стану хорошим писателем — я вернусь. Честное слово — вернусь. Готовьте встречу!

Они махнули мне вслед кепками. Сбившись по-комсомольски в кучу, они кричали мне вслед дружно, хором:

— У-да-чи, Сергей! У-да-чи!

— Спасибо, ребята! Я верю: удача будет. Я ведь из удачливого поколения. Я буду писателем, как Павлик стал мастером. Я напишу много книг. Все они будут о моем поколении.

А ребята всё махали мне вслед кепками. Эх, проводы, комсомольские проводы! Сколько раз провожали мы наших ребят! В армию, на учебу, на новую жизнь — все равно проводы всегда означали рост парня.

Мне вспоминается двадцать третий год,— это был год сплошных проводов: мы входили в жизнь. Первыми уехали Рябинин и Юлька. Они получили командировки: он — в рабфак, она — в профтехшколу. Это были первые комсомольцы нашей организации, которых мы отправили на техническую учебу. Даже Семчик согласился, наконец, что учиться надо. Сам он, впрочем, все же не пошел ни в какую школу.

— Дорогу будущим инженерам! — торжественно провозгласил я, впихивая корзинку Юльки в вагон.— Дорогу нашей интеллигенции!

Год назад мы яростно кричали новичку на собраниях:

— Не принимать! Не принимать! Он со средним образованием!

Мы знали, кто получал раньше среднее образование,— но сейчас наши, наши парни едут за образованием!

— Дорогу будущим инженерам! — кричал я, расталкивая народ в вагоне.— Дорогу!

А через месяц мы провожали Алешу. Он ехал в Белокриничную секретарем райкома комсомола. На вокзале, в ожидании поезда, он прокричал мне все свои планы. Именно прокричал, спокойно он не мог сейчас разговаривать. Он кричал, что будет работать, как черт! Что он район перевернет вверх дном! Что у него все продумано и записано, как надо теперь работать. Он снова был на гребне, на новом, еще более высоком, чем в школе, гребне. У него захватывало дух и кружило голову.

— Кланяйся Павлику! — кричал я Алеше вслед.— Удачи!

Сколько проводов было за эти десять лет! И каждому, как мне сейчас, ребята кричали вслед:

— Удачи!

Спасибо, ребята!

И вот уже бегут километры. «Ходу! Ходу!» — мелькают станции... степь... шахты... Еду день. Второй. Еду! Еду!

Страшно ли мне? Боязно? Что впереди?

Скрипя новыми сапогами, пришел кондуктор и объявил:

— Следующая остановка — Москва!

1931—1933

Очерки, корреспонденции

1932—1936

ЧУГУН

1

Чернорабочего-башкира послали на колошники подобрать железный лом: гайки, болты, обрезки железа. Домна приводилась в пусковую готовность.

Башкир взял большой совок и медленно начал подниматься по крутым железным ступеням.

Над домной хрустело морозное январское утро. Колкий и ломкий шел снежок.

Чернорабочий остановился и перевел дух. Под ним далеко вокруг бежала белая мерзлая степь — легкий ветер шел по ней, завивая снежную пыль.

Башкир родился здесь, в округе; его отец гонял по пустынной степи косяки коней. Чужие косяки, своего ничего не было, только детей много, беды своей много.

Не табунятся теперь тут косяки — паровозы бегают по горе. Это башкир хорошо видит с высоты домны. Нет пустынной степи. Грохот и звон стройки стоит над степью.

Рабочий забыл, за чем его послали,— засмотрелся.

Под утренним солнцем багровая пылает гора Атач — миллионы тонн руды, не выплавленной еще в чугун, холодной, мертвой, ожидающей динамита, паровоза и доменной печи. На крутом скате Ай-Дарлы нависла рудодробильная фабрика. Хоперкары руды идут по жилам железных дорог к домне.

Башкир медленно переходит на другую сторону. Теперь ему видны стройные, как тополя, скруббера Коксохимкомбината. Пар стоит над тушильной башней. Из печей синее рвется пламя. Одна батарея — шестьдесят девять печей — восемьсот тонн кокса в сутки. Всех батарей будет восемь. Темно-серый, дымчатый кокс лежит на платформах. Кокс идет к домне.

Башкир удивленно смотрит на степь, по которой отец его гонял чужие косяки.

С дорог идет синий пар. Скованная льдом и самой большой в Европе плотиной лежит бывшая казацкая река Яик, ныне большевистская река Урал. Стоят по степи корпуса цехов, электростанций, контор, жилищ.

— Це-це-це,— произносит башкир и замирает. Совок падает из его рук и звонко шлепается.— Це-це-це! — восхищенно качает он головой. Смотрит вниз, где копошатся люди, много, густо людей: почти двести тысяч село на эту землю, богатую рудой и будущим. Но внизу на бункерной эстакаде башкир замечает обер-мастера Бугая. Тот машет рукой, и чернорабочий думает, что это его торопят. Тогда он подымает совок и, все еще озираясь по сторонам, жадно и глубоко вдыхая морозный воздух, идет дальше.

Обер-мастер Бугай, Митрофан Кондратьевич, ходит вокруг домны легким своим молодым шагом.

Двадцать шестую на своем веку печь ладит он к задувке.

Он помнит числа: в сентябре 1926 года готовил к пуску косогорскую доменную печь. 20 апреля 1929 года пускал первую керченскую... Живая, на легких, не старых еще ногах, история доменного дела в России — ходит Бугай по своей двадцать шестой печи.

— Эта печь — всем печам печь...— говорит он, и горновые, смеясь, подхватывают:

— Да, печурка ничего...

Несколько месяцев уже присматриваются они к ней.

Горновые потеряли здесь обычное у доменщиков снисходительное отношение к «печурке». На эту Домну Иванну, которая в сутки будет давать тысячу тонн чугуна, смотрят с почтением. Ее изучают, к ней присматриваются, овладевают сложными ее механизмами.

Бугай осматривает еще и еще раз арматуру, лезет в печь, шарит рукой в фурменных рукавах.

Двадцать шестая готова к пуску.

— Первая магнитогорская домна готова к пуску,— сообщает в НКТП начальник строительства.

2

Утром 26 января на домне застучали топоры. Это во временном деревянном прикрытии, окружающем домну, ломали ворота — путь коксу.

Более семидесяти тонн отборного металлургического кокса лежало уже на парковых путях горячего чугуна.

Доменщики нетерпеливо ждали приказа: начать загрузку. Они приехали сюда с южных заводов,— братская помощь старого металлургического Юга новой, молодой угольно-металлургической базе — Урало-Кузбассу.

В машинной будке нервничал машинист скипового подъемника Вербенчук.

Он то и дело срывал телефонную трубку и кричал сердито:

— Ну, что же ток? Ток давайте...

Или нетерпеливо смотрел через большое окно на наклонный мост. Рельсы покрывались легким снежным пухом.

Наконец ток дан.

— Ну, значит, нам начинать! — торжественно сказал Вербенчук своему помощнику.

Часы показывали час двенадцать минут дня по местному времени.

Вербенчук повернул рукоятку регулятора и озабоченно, напряженно посмотрел в окно. Из скиповой ямы медленно выполз скип с углем. Грохоча и подымая снежную пыль, он пошел по наклонному мосту. Пошел осторожно, недоверчиво, словно проверяя готовность механизмов.

— По-о-ше-ол! — засмеялся, наконец, Вербенчук и закурил папироску.

Загрузка первой магнитогорской домны началась. И пока летели об этом во все концы мира «молнии» и радиограммы, у горна шло тихое и короткое совещание.

Седой обер-мастер Иов Тимофеевич Кабанов говорил своей смене:

— Так, ежели нужно, останемся сверх смены? И встречный план: на четыре часа сократить загрузку. Так, что ли?

— На том согласны.

— Конченное дело. По местам.

Свиридов, Митюк, Лактионов лезут в печь. Карпушенко, Филонов, Оленев становятся у леток.

Идет загрузка.

Чтобы предохранить от побитости дно печи — лещадь,— вручную создается защитный угольный слой миллиметров в триста. Поверх этого слоя ляжет кокс. Его тоже сначала будут загружать вручную до фурменных отверстий, чтобы не побить огнеупорную кладку печи.

Мастер Кабанов руководит загрузкой. Растрепанная его капелюха съехала набок.

— Не опущайте крыльев, товарищи! — кричит он то тут, то там.— Не опущайте крыльев, пожалуйста!

Он кричит это больше для порядка. Горновые работают с увлечением.

Вокруг горна рождается конвейер. Со двора через пробитые во временном прикрытии ворота идут по рукам полные ведерки с углем. Через отверстие шлаковой летки их подают в печь, горновые рвут их из рук, разбрасывают уголь по лещади, подымая облака липкой, горькой угольной пыли, и бросают пустые ведерки в резервную летку.

— Эй, дава-ай! — сердито кричит Свиридов.

Лицо его в угольной пыли. Он задыхается, кашляет, но сменяться не хочет. Потом машет рукой и вылезает. На смену лезет Филиппов, а Свиридов, отплевывая густую, черную мокроту, становится к летке.

Смена осталась работать еще на четыре часа.

— Вы ж смотрите,— говорила она заступавшим на их место товарищам,— встречный-то...

Потом толкались около Щербины — секретаря партячейки, подавали заявления о вступлении в партию «по случаю пуска».

Двадцать восьмого, в четыре часа утра, на загрузке начали работать механизмы.

Из хоперкаров, застывших на бункерной эстакаде, ползла в бункера руда. К бункерам подъезжал вагон-весы. Машинист Ивандюк управлял этой сложной, недавно еще появившейся в нашей технике штукой. Руда из бункеров шла в вагон, автоматически взвешивалась. Ивандюк внимательно следил за правильностью дозировки.

Потом вагон шел к скиповой яме. Там стоял уже тупорылый пустой скип. Легко подымалась дверка в вагоне, и руда все тем же торопливым, шумным потоком сползала по железным рукавам в скип.

Вербенчук поворачивал рукоятку, и скип легко и весело взбегал по наклонному мосту, взбирался на колошники, под самое доменное небо, задерживался чуть-чуть на конусах и, наконец, решительно наклоняя вперед голову, сам опрокидывался. Руда попадала в печь.

Вчерашний землекоп, пензенский колхозник, молодой, голубоглазый парень, Ионов поставлен сейчас у механизма.

— Гризли — машине этой название,— говорит он, очень довольный тем, что находится при механизме, который он в усердии назвал даже машиной «гризли».

У него несложная работа. Он поворачивает руль, подымается задвижка, и по небольшому скату устремляется идущий из бункеров поток кокса. Он ползет все туда же, в скип, жадно разинувший рот.

Ионов ревниво следит за потоком кокса.

— Стоп! — Вербенчук выключил гризли, и Ионов быстро опускает задвижку.

Не сразу овладел Ионов этой простой техникой. У него не ладилось сперва,— все-таки раньше он знал только лопату. Теперь ему хотелось стать машинистом. Он восхищенно смотрит, как проносится Ивандюк на вагон-весах.

Плавно, четко, без задержки идут по наклонному мосту скипы.

— Техника! — радуется Вербенчук, сам удивляясь, как красиво все идет: вагон-весы, транспортер, гризли — все эти детали рассчитанные, обдуманные.— Техника! — произносит Вербенчук и этим словом объясняет себе все.

И вдруг он замечает, что в правом скипе не вертится передний скат. Он еще и еще раз всматривается... Так и есть — не вертится!

Сразу останавливается вся великолепно слаженная, четкая машина.

— Стоп!

К скипу бросаются монтажники.

Выясняется: рабочий, ухаживающий за скипами, не произвел достаточной смазки.

— Техника! — сердится Вербенчук и строго говорит помощнику.— И люди.

Задержку ликвидируют дружно. Работает бригада Калишьяна, не покидающая уже почти сутки домны.

Вечером 29-го загрузка кончается. Домна готова к задувке.

— Еще как вода себя окажет,— беспокойно говорят доменщики и подымают глаза на холодильники,— как вода...

3

Все эти дни вода «оказывала» себя плохо, на водопроводах не ладилось.

Но к моменту задувки, то есть к вечеру 29-го, все было как будто в порядке.

И все же руководство не торопилось задуть домну, не проверив тщательно, как работает водоснабжение.

В десять часов вечера на домну принесли весть:

— На южном водопроводе авария.

Все бросились смотреть; даже не сходя с домны, можно было видеть: тугой столб воды бьет из земли.

Свиридов тоскливо смотрел, как копошились люди вокруг места аварии.

— Тьфу! — сплюнул он,— не нашей смене задувать. А надеялись!

И обер-мастер Кабанов, тоже разочарованный, сдает смену.

— Ну, мы загрузку зачинали,— говорит он огорченно,— нехай уж вам задувать выйдет.

На водопроводе началась горячая работа. Сюда стянули водопроводчиков, пожарников, землекопов. Землекопы колотили лопатами о мерзлую землю, пытаясь докопаться до трубы. Шесть метров вглубь нужно прорыть.

У самого места аварии работали по колено в воде, часто меняясь.

Работали молча. Только чавкала вода и звенели лопаты. Поработав немного, землекоп молча передавал лопату другому, и тот, не говоря ни слова, лез в воду.

Но и к утру еще не дорылись до трубы. И причина аварии была неясна. Гадали:

— Сток выбило...

— Трубу разорвало...

Панический пустил кто-то слух:

— Грунтовые воды бунтуют...

Днем уже стала ясна причина аварии. Она была очень проста. Проста до обиды: при укладке водопроводных труб слесарь не зачеканил стыка. Все стыки зачеканил, а этот пропустил.

Три простоя было в пусковые дни. Первый — из-за того, что рабочий не смазал передний скат скипа. Второй — из-за того, что слесарь не зачеканил стыка труб. Третий раз семь часов стояли из-за того, что при монтаже в клапане на кауперах рабочий неправильно положил асбестовую прокладку, небольшую пустячную прокладку.

Дежурный слесарь-водопроводчик на домне, старик, узнав о причине аварии на водопроводе, пришел в ярость. Размахивая большим — три четверти — французским ключом, он кричал:

— То ж не слесарь, то ж шляпа...

В ночь на 31-е в охладительной сети на домне появилась вода.

Ее встретили как именинницу.

— Вот и вода,— сказал слесарь-водопроводчик и, не найдя никаких других слов, ласково добавил: — Водичка...

Но вода шла плохо, вяло. На северном водопроводе плохо еще работал фильтр. Вода шла в арматуру мутная, засоряя и забивая трубки.

Некоторые трубы замерзли. На дворе стоял крепкий уральский мороз.

Волоча огромные тощие шланги с горячим паром, поползли по арматуре рабочие продувать холодильники. Пар бился в кишке, иногда вырывался, и кишка хлопалась оземь, обдавая всех паром. Рабочие наступали ей на горло, и она визжала, как зарезанный поросенок. И снова волокли шланг наверх продувать трубы.

Монтажники работают все время в воде. Мастер их Белышев меняет уже четвертый кожух. Мокрые кожухи валяются на полу.

Люди борются за воду всю ночь.

На домне исключительное спокойствие, дисциплина, уверенность в победе.

Всю ночь несет вахту у печи руководство комбинатом: начальник Магнитостроя Гугель и его заместители. Прилег было на полу в скиповой подремать с часок

замсекретаря горкома партии Тараканов, и не удалось: вызвали на домну.

Шатаясь от усталости, ходит начальник доменного цеха Соболев. Несколько суток он вовсе не спит.

К утру приходит победа: вода правильно циркулирует в охладительной сети.

В восемь часов утра по московскому времени 31 января мастер Фищенко отдает команду:

— Соппела вставить.

Эту команду горновые давно ждали. Она означает: сейчас задувка. Соппела — трубы, через которые будет идти в печь горячий воздух,— устанавливаются с рекордной быстротой и четкостью.

Воздуходувная станция дает воздух. С резким шумом врывается он через клапан холодного дутья в каупера. В кауперах температура плюс восемьсот двадцать градусов.

В девять пятнадцать утра газовщик Куприянов открывает клапан горячего дутья. Гудя, идет в домну горячий воздух. Из печи вырывается черное душное облако: угольная пыль. Облако рассеивается, оседает. На фурмах появляется огонь. Из свечей домны идет первый легкий сизый дым. Он волнуется над печью, и сотни глаз в Магнитогорске следят за ним.

Над зданием воздуходувки вспыхивает электрический транспарант:

— Даешь чугун!

4

Митрофан Кондратьевич Бугай кладет синее стеклышко на стеклянное отверстие в фурме и прижимается к нему глазом. Давно знакомая картина: в печи подпрыгивает иссиня-красный раскаленный кокс, оседает истекающая чугуном руда. Пламя колеблется, как стекло. Плавка идет нормально.

Первого февраля в час дня из шлаковой летки вырывается первый шлак. Он течет по желобам в ковши, шипя и брызгаясь яркими горячими золотыми звездами.

Бугай берет на лопату немного золотой жидкости, и она сразу застывает белым студнем.

Над лопатой склоняются люди.

— Хороший шлак,— говорят они, наконец, и озабоченные лица освещаются улыбкой.

Желоба, по которым пойдет горячий чугун, уже обмазаны известью, прикрыты железными листами, на которых горит кокс. По всему литейному двору пылают костры. Пламя их мечется в сумерках, которые все больше и больше окутывают домну.

Бугай опять прижимается глазом к синему стеклышку: робкими белыми ручейками стекает вниз чугун, руда оседает ниже.

Горновые и рабочие чугунной летки Королев, братья Андросовы, Чугунов и другие одевают асбестовые халаты и войлочные шляпы.

Мастер Ус, усатый, молчаливый, отдает им последние распоряжения.

— Да дружней работать! — поучает он.— Да порядок чтоб был.

Вооруженные ломом горновые выстраиваются у чугунной летки. Ее прожигают сначала кислородом, а потом ломают ломом.

— Э-эх, ра-аз... Э-эх, ра-аз...

Их движения ритмичны, дружны, головы у всех повернуты в сторону, чтобы искры не поранили глаз.

И вдруг из летки вырвалось белое ослепительное пламя.

— Чугун! — закричал кто-то взволнованно, не выдержав.

В желобе показался чугун. На бункерной эстакаде, во второй домне, на холмах, окружающих домну,— всюду толпился народ, напряженно наблюдающий, как сначала медленно, потом быстрей и быстрей белой огненной рекой шел по желобу чугун. Вот дошел он до конца желоба, несколько капель уже упало в ковши, стоявшие внизу на железнодорожных путях, потом, шипя, разлетелись золотые брызги и погасли в темноте. И, наконец, тонкая, как лезвие шашки, струя упала в ковш. Она текла беспрерывно, и казалось: это пламенная шашка застыла в синих вечерних сумерках.

Огромный, высокий Королев — первый горновой — смотрел, как тек чугун. Пламя бегало по его потному, взволнованному лицу.

— Белый какой,— произнес Королев,— горячий...— и из этих двух фактов сделал уверенный вывод: — хорош чугун.

И не ошибся: марка *О* — высшее качество — установили специалисты.

— Хорош чугун,— еще раз мотнул головой Королев.

Ему хотелось взять немного чугуна в руки и растереть его между пальцев, как крестьянин растирает влажный, жирный комок чернозема. Он засмеялся и пошел к своим.

Там уже гремело «ура», в воздух взлетали Гугель, Соболев, Бугай, Ус... Незнакомые люди пожимали друг другу руки, по их лицам бегало зарево первой плавки.

Над воздуходувкой в ответ на первый транспарант «даешь чугун» зажглось короткое, ожидаемое всей страной «есть!», за которое недаром бились доменщики.

Последние струйки чугуна стекли в ковши, и паровоз повез первый магнитогорский чугун к разливочной машине.

1932
Магнитогорск

ВЫКОВЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

По панцирю печи катится вода. Она закипает на багровой броне, легкий пар идет от горячего железа, будто это рубаха употевшего в походе красноармейца.

— Горяча печь,— говорят, улыбаясь, горновые, а водопроводчик озабоченно глядит на холодильники.

Еще в январе текущего года ползла по холодной печи хрусткая изморозь, доменщики жались к кособоким жаровням, грелись, потирали озябшие руки и нетерпеливо ждали: скоро, скоро ли?

Мертво поблескивала руда в бункерах, вхолостую, вразвалку шли по наклонному мосту пустые скипы. А рядом в лесах, в строительной горячке, в звонкой клепке, в дружном соревновании ударных бригад уже рождалась вторая печь — «Комсомолка».

Сегодня обе печи горячи. По первой, старшей, катится тяжелый пот. Тысячи тонн ее металла, превращенные в ладные советские машины, принадлежат стране. Вторая — «Комсомолка», молода, многому научилась у старшей.

К леткам, к механизмам, к кауперам первой печи стали опытные рабочие, приехавшие с юга. К механизмам «Комсомолки» в большинстве своем стало поколе-

ние, выучившееся здесь. Второе доменное, комсомольское поколение Магнитогорска.

Вот ходит около платформы с коксом Павел Дмитриевич Шарапов. Смотрит, какой кокс. Возьмет кусок. Тяжелый, металлический, сизый цвет кокса нравится ему. Он подбрасывает кусок на ладони. Тяжело поблескивая, серебрясь, перекатывается кокс.

— Хорош! — говорит Павел Дмитриевич, отмечает в книжечке и берет кокс с других платформ. Лицо его морщится: рыхловатый, в дырочках, как губка, кокс вызывает у него только едкую улыбку. Качает головой укоризненно: «Эх, коксовики!» — и бросает кокс на рельсы. Кусок рассыпается мелким бисером.

— Не гож,— решает Шарапов и опять отмечает в книжечке.

Еще вчера была у Павла Дмитриевича Шарапова, родившегося в 1912 году, другая специальность: «Старший кучер, куды пошлют...»

Проще: был возчиком, лес возил, когда воздуходувку строили. Дело нехитрое. С детства приучен за лошадиным хвостом ходить. С отцом по Сибири батрачил. О стройке услышали — приехали.

— Самотек мы. Сами пришли...

Возил лес. Увидел объявление: «Прием на курсы». Пошел. Стал учиться. Записался в комсомол. Кончил курсы,— и вот он бракеровщик кокса. Сначала терялся, глядел, как работает опытный бракер, к которому его приставили. Затем овладел «душой» кокса, научился по цвету, по внешнему виду определять его качества. Стал работать самостоятельно.

Принятый Шараповым кокс идет на бункерскую эстакаду. Там принимает его смотритель Григорий Благодеров, выдвиженец.

— Выдвинули! — тихо ругается он и тоскливо осматривает хоперкары с рудой, железные челюсти бункеров, немногих людей, копошащихся у составов.

Мало работы смотрителю. Скучает Благодеров.

— Сюда стариков выдвигать надо,— бормочет он,— а я к темпам привык.

К темпам привык Благодеров, когда клали бетон в воздуходувку. Бригадир лучшей комсомольской бригады бетонщиков, премированный много раз, пять лет работающий в комсомоле, Гриша уже не может равнодушно бродить по стройке.

— Эх, выдвинули! — свистит он тоскливо, спускается вниз и с завистью смотрит, как, звеня, проносятся мимо него вагон-весы. На них Федька Аникин, комсомолец, помощник машиниста вагон-весов.

— Эй, прокачу! — озоруя, кричит Федька и проносится дальше.

Давно уже присматривается Гриша Благодеров к мудрым механизмам вагон-весов. Ему кажется, что он с ними справится. В свободное время залезает в вагон, учится.

— Хочу на весы,— заявил он однажды начальству.— Машина меня заедает. Хочу постигнуть.

Сдал экспертизу и, наконец-то, по праву взялся за рукоятку. Взялся осторожно,— видел, смотрит за ним машинист в оба глаза.

И когда вздрогнул вагон, зазвенел и гулко пошел по рельсам, везя скипам руду, Григорий улыбнулся. По-настоящему. Широко, счастливо.

А Федя Аникин мечтает уже о другом. Он часто посматривает, как идет стройка третьей домны, как раскачиваются в люльках монтажники, как трещат в руках у них пневматические молотки.

Мечтает:

— На третьей буду уж машинистом.

Экспертизу на машиниста сдал. И хотя работает сейчас помощником, машинист в надежде: Федор не напортит. И поручает ему работать самостоятельно.

Не сразу, конечно, это далось. Федор, краснея, вспоминает, как однажды, в первые дни работы, он, растерявшись, высыпал две тонны руды не в скип, а наземь. Было это, было... Но ведь еще год назад он был чернорабочим, убирал мусор с литейного двора, таскал дрова для сушки домны.

Думал ли тогда, что будет сам управлять механизмами? Нет! Молодой крестьянский парень из села Новая Чигла, он только жадно, удивленно глядел в оба широко раскрытыми глазами.

Ну, потом, конечно, шестимесячные курсы машинистов. Вступил парень в комсомол. Работал на вагон-весах первой печи, учился у старого машиниста Емченко. Ломались часто приемники, плохие были траллеи. Случались аварии. Однажды руду наземь высыпал. Теперь — иное дело. Выучился работать и мечтает стать машинистом на третьей домне.

А пока уверенно ведет он вагон к скиповой яме, уверенно высыпает руду и знает, попадет руда, куда нужно,— в скип попадет.

В окне скиповой будки Федор видит сосредоточенно нахмурившуюся Лиду Задиракину и улыбается ей. Сейчас уедет он. Лида повернет рукоятку и погонит скип по наклонному мосту.

Все в исправности.

И хорошее, спокойное чувство рабочего человека, осознающего слаженный производственный процесс, охватывает Федора. Он берет вдруг метелку и начинает заботливо обметать рабочее место.

Лида Задиракина сама херсонская. Как раз перед германской войной родилась она, а в войну отец пропал без вести. В Кривом Роге у торговца за два рубля в месяц и за харчи работала Лида нянькой. В союзе не была, да и не слышала про союз.

— Неграмотная...

Потом поехала в Сибирь к деду. А когда брательник поступил на Магнитогорскую стройку, он ее выписал. «Приезжай, сестра, тут можно в люди выйти».

Она приехала. Работала на Коксохиме уборщицей, в ликбез ходила. Научилась расписываться — поставили бригадиром чернорабочих. Кирпич-огнеупор, который на домну шел, нужно было складывать по сортам. На каждой кирпичине номер: 1а или 1б.

— Вот и клади по номерам,— объяснила Лида.

Но нужнее было производить кое-какие записи, а с буквами и цифрами она справиться не могла.

Тогда записалась она на курсы ликбеза и стала работать в столовке подавальщицей, потом буфетчицей. Ликбез окончила, а потом и курсы по электротехнике. Одолела Лида начатки теории, пошла на практику в скиповую будку.

Пришла, а там рычажки, рукоятки, циферблаты, приборы, механизмы.

То гризли не ладятся, цепь рвется. То на большом конусе заминка: скип не перевертывается. Лазала на колошники, смотрела что к чему, мало-помалу постигала доменный процесс. Все же однажды недоглядела. Не обратила внимания на воронку МАККИ, и скип опрокинула в яму. Испугалась, развела беспомощно руками. Пришел машинист, утешил:

— Бывает... это ничего... работай...

И Лида работает.

Ровно идут по наклонному мосту скипы. Вот дошел скип до конуса, опрокинулся,— шихта полетела в печь.

Серебристая легкая пыль носится в воздухе, оседает на одежду, на лицо, на механизмы.

Горновые и газовщики стоят на вахте.

Горячо дышит печь, огонь иногда вырывается из фурм, сипит, языком лижет арматуру. Июльский знойный сухой день звенит над печью.

Печь работает нормально.

Мастер Свиридов большим и уже мокрым платком обтирает лоб, щеки, шею и тоскливо ругается.

— Теперь ковшей бы! Ковшей!

Он представляет себе: готовый, горячий, белый, как вскипевшее молоко, чугун бурлит в печи.

«Это же золото кипит, а не чугун,— тоскует он.— Ковшей даешь!»

Не хватает ковшей. Разливочная машина работает плохо, задерживает ковши. Они простаивают по многу часов с горячим чугуном, охлаждаются, «козлятся», железнодорожных путей мало, на них пробки.

И вот тоскует Свиридов, тоскует первый горновой комсомолец Герасимов, тоскует вся смена. Белый чугун клокочет в печи.

— Ковш, ковш пришел.

Бросаются смотреть. Ковш, верно, ковш!

Но ковша одного мало. Все же разбивается летка, и река чугуна, пузырясь и брызгаясь золотыми искрами, падает в ковш.

Зорко, напряженно следят за плавкой доменщики. Сейчас самое тяжелое: забить летку на струе. Закрыть выход рвущемуся из печи чугуну,— иначе зальет он, сожжет рельсы, а девать его некуда, нет ковшей.

Остановить горячий чугун на струе — это еще тяжелее, чем обуздать несущегося во весь опор горячего норовистого, фыркающего бешеной пеной скакуна.

Забивают летку пушкой Брозиуса. На первой домне долго не могли овладеть ею. Новый механизм не давался горновым. Сложилась теория:

— Не годна нам эта пушка. Вручную способнее.

На «Комсомолке» с первого же дня овладели пушкой. Сейчас на обеих печах действуют ею легко и проворно. Вот нацеливают горновые пушку так, чтобы удар попал в центр горна, и — раз! — летка забита огне-

упорной глиной. Только побежденный пар шипит и никнет к земле.

Ковш с чугуном уходит к разливочной. Печь переводится на тихий ход. Дутье — пятьсот. На выхлоп, как из ружья, бьет воздуходувка.

Это очень обидно, когда печь на тихом ходу. Скучает Лида Задиракина в своей будке. Ленивые скипы уткнулись тупым рылом в скиповую яму. Сердится Герасимов — первый горновой, лучший ударник домны. Он только что приехал со всесоюзной комсомольской конференции. Так много говорили: стране нужен чугун.

В своем делегатском блокноте черкал какие-то заметки для себя.

— Приеду — нажму.

Старый комсомолец, рабочий-кадровик Герасимов не первый день у печи. Но первым горновым стал в Магнитогорске. Здесь овладел он новейшими механизмами: пушкой Брозиуса, шлаковым штопором. И ему очень обидно, когда хорошая, здоровая печь на тихом ходу. Это все одно, если бы взяли здорового силача да положили его с термометром в постель.

Газовщик Ильин то и дело подходит к приборам, смотрит температуру колошникового газа, температуру дутья.

Потом идет к своему другу, тоже газовщику Барьянову и кричит ему на ухо (гудит дутье, ничего не слышно):

— Стали на тихий ход,— и машет безнадежно рукой.

Барьянов сочувственно кивает головой, но он слышал, что уже приняты меры: проложен новый путь от печи к разливочной машине, ликвидируются задержки на разливке, очищаются ковши.

— Ну, ну,— пожимает плечами Ильин,— а за нами дело не станет.

Над печью стоит тяжелый зной. Из голой магнитогорской степи ветер приносит пыль — колкую, горячую.

— Сенокос уж, поди, прошел,— тихо говорит Ильин товарищу, но тот не слышит.

Оба они командированы сюда из колхозов. Работали землекопами, чернорабочими. Их увидел газовый мастер Руднев, коммунист. Ему нужны были смышленые ребята. Он позвал их к себе и сказал им прямо:

— Хотите людьми быть?

— Хотим! — ответили оба.

— Давай на этом договор подпишем.

Подписали соцдоговор. Мастер Руднев обязался выучить их газовому делу.

Ребята пошли на домну. Смутные понятия бродили у них о печи. Не знали даже, что в этой печурке варится.

Руднев терпеливо водил по печи, объяснял.

— Этот клапан для того-то. Этот винтиль открывать тогда-то.

Так узнали они каупера, познакомились с газовым хозяйством. Потом друг друга экзаменовали: строго, испытующе, придирчиво.

— Так где шибер холодного дутья? А ну, покажи!

Теперь оба хорошие газовщики. Меньше трехсот рублей в месяц каждый не зарабатывает. Раньше — восемьдесят пять. Оба — комсомольцы.

Старшим газовщиком работает Родионов, секретарь комсомольской ячейки. Он, как и Герасимов, кадровик. Работал еще в Керчи. Был делегатом Первой всесоюзной конференции черной металлургии.

На этой конференции секретарь ЦК комсомола Косарев предложил комсомольцам-делегатам поехать на новое строительство, на гору Магнитную.

Родионов охотно согласился. Поехал. Работал слесарем, потом бригадиром слесарей на монтаже комсомольской домны. Много раз премирован, а когда домну построили, на ней же стал газовщиком.

Зеленые и красные лампы на аппарате Мак-Керси, регулирующем температуру дутья, были непонятны ему.

Он растерянно смотрел, как вспыхивала лампочка, и гадал: что же, открыт или закрыт клапан?

Потом понял премудрость иностранного аппарата. Потом стал старшим газовщиком печи.

Он живет в одной комнате с Герасимовым, вместе с ним учится на рабфаке. Обоим охота до конца овладеть техникой. Ну, рабфак кончат, разве дальше закрыт путь?

Еще в январские морозы текущего года, в стужи и метели, в особенные магнитогорские метели, качался монтажник Родионов на строительных лесах, а уж сегодня спокойно следит за температурой дутья, поступающего в печь, и видит: переходит печь с тихого хода на полный, на самый полный ход. Хороший белый чугун клокочет в печи. Ковши стоят под желобом.

А рядом в строительной горячке, в звонкой клепке, в дружном соревновании ударных бригад уже рождается третья печь. Над ней гремят другие имена, о которых будут и писать и рассказывать.

Все в нашей стране знают, что Магнитка — мировой гигант, дающий стране металл. Это все знают.

Но Родионов, Герасимов, Лида Задиракина, Ильин — вся смена, все рабочие печи могут рассказать и о другом, о чем мало знают и пишут, о том, как в Магнитогорске люди выходят в люди.

1932

МАСТЕРА

Сталевара можно узнать по носу. От беспокойного заглядывания в печь есть на сталеваровом носу приметная полоса: широкая и багрово-красная.

Шахтера узнают по глазам. Тонкая и неровная кромка неистребимой угольной пыли лежит вокруг глаз и виснет на ресницах. Оттого кажется: все шахтеры черноглазы и чернобровы.

По рукам признают слесаря. По твердым синеватым бугоркам мозолей, по узорам, которые расписаны на ладонях серебристой железной пылью, въевшейся во все жилки и прожилки.

Мастера узнают по делу.

По чугуну, что, пузырясь и брызгаясь золотым искорьем, бежит по желобам. По колеблющейся розовой поверхности шлака, темнеющей с каждой секундой, пока не затянется полный ковш коричневой в розовых трещинах коркой, похожей на кору молодых сосен.

По порядку на домне, по расстановке людей у горна, по ровному дыханию печи узнают доменного мастера и, приложив к фурме синее стеклышко, глядят, как беснуется, как подпрыгивает и корчится в печи добела раскаленный кокс, тяжело оседает руда и стекает к летке чугун, годный к выдаче.

По обуви на ногах чугунщиков, очищающих дымящуюся еще канаву, узнают заботливого мастера, по заработку людей, по их расчетным книжкам, где в звонком рубле показаны успехи бригады.

Вот как узнают мастера.

С утра стояла смена мастера Трофима Губенко: в бункерах не было кокса.

Около холодного горна тоскливо бродили доменщики, иногда заглядывая в мертвые, стеклянные глаза фурм, словно ожидая, что там сам собою загорится радостный и жданный огонек.

Только мастер беспокойно метался по печи: то бежал на бункерную эстакаду глядеть, не идут ли долгожданные хоперкары, нагруженные доверху дымчатым коксом, то бросался к телефону, нетерпеливо дергал рычажок, хрипло, надсадно кричал в трубку и бессильно бросал ее, услышав короткое:

— Нет.

— Нет угля, стали коксовые печи.

Нет угля! Где он, уголь? Трюхает ли уже по путаницам железных дорог, или поблескивает еще в шахте, ожидая вруба? Где он, уголь? Эй, земляки-донбассовцы!

Но угля нет — нет кокса. Нет кокса — нет чугуна.

— Губенко? — бесновался Трофим.— Та в инвалиды меня списать или в сторожа: капусту караулить.

И он опять бросался к телефону.

Шлаковщик убирал канаву, вытаскивал клещами застывший шлак из желоба. Работница подметала около горна и поливала площадку водой. Было чисто и холодно. С Днепра тянуло тонким сквознячком, печальным, сентябрьским.

И старый мастер Засада, прислонившись широкой спиной к шкафчику, прошептал тихо и горько:

— Ой, обидно!

Трофим Губенко только что вернулся с курорта. С первого дня задувки печь № 7 работала прекрасно, все время перевыполняла план, не имела аварий и перебоев в ходе, и мастер, уезжая на курорт, беспокоился о своей бригаде.

— Ой, засыпят черти! Ой, поцарапают наше первенство...

Меньшой брат Трофима, чернобровый и статный красавец Николай, старший горновой, у которого в крепких руках ломик вертелся и блистал, как пика, стал мастеровать вместо Трофима.

Николай Губенко был практик: руки, ноги и плечи его в незаживающих ожогах. Он не первый день у печи. Горячее ее дыхание, дымок, выбивающийся из

летки, синие языки пламени, лижущие фурмы,— все было ему здесь близко и понятно. Он читал по этим знакам, как по писаному.

Но мастеровскую теорию знал не крепко. Газовое хозяйство печи, все, что делается по ту сторону клети, ему менее знакомо. Трофим имел основания беспокоиться за молодого мастера, за меньшего брата.

В Пятигорске Трофим с нетерпением развертывал «Правду», искал сообщений о своей печи.

С удивлением, радостью и гордостью отмечал: не отстает меньшой брат, не отстает бригада.

Это была хорошая, дружная бригада. Старший газовщик Синюк, «всем газовщикам — газовщик», крепко помогал молодому мастеру.

И Трофим, бродя по широким пятигорским аллеям, попивая солоноватый нарзан, похожий по вкусу на подсоленную воду, которую пьют доменщики, снова и снова перечитывал в газете, как орудуют ребята на седьмой печи, и завидовал, завидовал самым настоящим образом: люди работают, а он вот...

Наконец, не выдержал и, не дождавшись конца отпуска, вернулся к печи, горячий, тоскующий по делу, по чугуну.

И вот в первые дни — простой: нет кокса.

— Ой, обидно! — тихо жалуется дежурный монтер Засада и крутит печально головой.

Обидно потому, что бессильно сложены на груди руки: ничего они не могут, хорошие, дельные руки.

Бывали на печи затруднения с рудой: транспорт не успевал подать руду к домнам.

Трофим Губенко собирал тогда бригаду.

— Руда, га? — кричал он своим ребятам.— Без руды чугун бывает? Га? Без чугуна мы кто? Никто мы.

И посылал бригаду помогать транспорту: нагружать руду в вагоны, конвоировать ее до печи и разгружать на эстакаде. А у печи оставались только горновой да газовщик.

Были затруднения с ковшами,— и тогда мастера и инженеры бушевали на разливочной, стучали кулаками в конторе транспортного цеха, бегали в партийный комитет; устранялись неполадки, тек по желобам чугун, ровно и тяжело падал в ковши.

Но сейчас: куда бежать, кого тормошить? Где он,

уголь, земляки-донбассовцы? Транспортники южных железных дорог?

— Сели! — безнадежно махнул газетой Синюк.— Села наша знаменитая домна. Села теперь.

В газете, которой он размахивал, писали о конкурсе домен, о том, что «печь № 7 — главарь конкурса».

— Не может этого быть, чтобы сели! — метнулся мастер.— Не может этого быть! — он сгоряча стукнул кулаком по деревянному шкафчику и опять бросился к телефону.

К концу смены все-таки прибыло несколько хоперкаров кокса: достали где-то. Несколько хоперкаров — пища домне на несколько часов.

Печь все-таки задули. Вечером должен был еще прибыть кокс.

Сдавая смену, осунувшийся Трофим Губенко тихо и тепло сказал мастеру Мазуру:

— Ну, Мазур, ты вытягивай...— и пожал ему руку.

Мастер Мазур неторопливо пошел по печи. Он тщательно заглядывал во все уголки и щелки, осматривал желоба, инструмент, зашел и на каупера: он понимал в этом толк, сам долгое время был газовщиком.

Тихий его, неслышный, шелестящий шаг, походка вразвалку, приплюснутая кепка-блин, редкие, белокурые усики — все было непохоже на Губенко. Он был старше Трофима на несколько лет, спокойнее и тише. Они оба были коммунисты, но Трофим Губенко бушевал на собраниях, Мазур говорил редко и негромко. Трофим был хорошим организатором и общественником: он знал, как получают чугун из резолюций. Для него соцдоговоры, хозрасчетные протоколы, обязательства — это был тот же чугун марки О, нужный стране. Мазур был тяжелее на раскачку и к бумаге относился недоверчиво. Они оба пошли учиться на металлургическое отделение фабрично-заводских технических курсов: мечтали стать инженерами. Губенко упорно ломил вперед, не пропуская занятий, и ночами просиживал над тяжелыми формулами: в них все тот же переливался и поблескивал знакомый чугун. Мазур бросил курсы.

Оба они — прекрасные мастера, хорошие по-разному и не похожие друг на друга. Один из горновых, другой из газовщиков.

Мазур принял смену, его люди заступили на вахту. Печь ровно гудела. Синее пламя вырывалось из фурм.

Старший горновой бригады Мазура Николай Губенко опоздал на полчаса: всю ночь его трясла жестокая лихорадка. Обожженная нога вспухла и неимоверно болела. Утром Николая бросало то в холод, то в жар. Лицо его пожелтело, стало похоже цветом на формовочный песок. Николаю дали бюллетень.

Но к двум часам стало немного лучше. Николай, осторожно ступая на больную ногу, прошелся по комнате. Ему определенно было легче. Он одел спецовку и пошел на работу, опоздав на полчаса.

И когда вырвавшееся из разбитой летки пламя обожгло его горячим дыханием, лихорадки у него уже не было.

Такая уж это порода горячих доменщиков Губенко. Да, целая порода, потому что есть еще третий Губенко — Федор, старший горновой смены Трофима, кандидат на звание лучшего горнового Союза.

Пять ковшей, полных до краев, налила смена Мазура. Мастер вышел на эстакаду и, прищурив сухие глаза, смотрел в ночь. Пять ковшей не радовали его: тревожно думал мастер о том, что скоро опять останавливаться: кокс на исходе.

— Еще бы хопер! Еще бы хопер!

Ночь поблескивала огоньками. Их было много. Завод большой, но среди них острый глаз Мазура искал только один огонек: фонарь паровоза, идущего с коксом.

— Нету! — безнадежно сказал горновой. Он тоже вышел на эстакаду.

Но Мазур вытянулся, охватил руками поручни и пристально глядел в темноту. Потом он протянул вперед руку.

— Идет! — сказал он облегченно и пошел обратно на печь. Горновой долго смотрел туда, куда показал мастер: он ничего не видел. Но потом вдруг из темноты словно выпрыгнул паровоз. Да, это был кокс.

— Острый у мастера глаз! — удивился горновой и восхищенно покрутил головой.

А Мазур, идя на печь, вдруг вспомнил мастера Светлова, у которого работал до войны.

«Вот когда хорошо мастерам было!» — усмехнулся Мазур. Толстый живот Светлова всплыл перед ним. Живот, колыхаясь, брел по печи. Потом уполз в конторку. «Была у Светлова около домны каютка,— вспомнил Мазур,—кабинет, что ли. Ванна оцементованная в нем.

Кушетка. Самовар. И мальчик. Мальчик за водкой бегал, самовар раздувал. Светлов целую смену валялся на кушетке».

— Вот как раньше мастерам было,— усмехнулся Мазур.

Мазур любовно обходит седьмую. Заходит то с кауперов, то с литейного двора.

— Раньше разве такие домны были? — Он глядит в сторону стародоменного цеха и беззвучно смеется: — Самовары.

Сдав смену Сокуру, он уходит. Коксу еще подвезли, на ночь хватит. В конце концов можно будет перекрыть утренний простой. Вот уж и Новобазарная улица. Вот и калитка. Собака Мальчик ласково бросается навстречу.

Дома Мазура встречает детский плач. Он идет к сыну. Жены нет дома: уехала в Чернигов.

— Цыть, цыть, Ваня, цыть! — качает он двухлетнего сына.

— Чистое наказание,— бормочет Мазур.— Там чугун, тут дите.

Он ходит по комнате с сыном на руках.

— Цыть, цыть, Ванюша,— утешает он. Добрая и теплая улыбка ползет по его губам.— Цыть, сынок. Ты ж промфинплан мне срываешь,—смеется мастер.

Ночью смена Сокура налила еще пять ковшей. Печь была щедра, словно хотела оправдаться за десятичасовой простой.

Но к утру в хоперкарах опять не было кокса. Это снова выпало в смену Трофима Губенко. Не выдав ни фунта чугуна, бледный и растерянный, он остановил печь.

— Ой, не везет! — только и выдохнул он.

— Ну, теперь сели! — говорили на домне.— Сели и не выберемся!

Но Трофим, беспокойно слушая эти тревожные и беспорядочные разговоры, упрямо качал головой.

— Не может этого быть! — шумел он.— Догоним!

— А кокс?

Вот взял бы любой: себя бы вывернул, лишь бы кокс. Но нет кокса.

Нет кокса. Печальный пришел домой Трофим Губенко. Молча сел обедать, только воды холодной много пил, словно у него горело в горле. Хотел взяться за книжку — книжка валилась из рук. Не находил ме-

ста. Бродил по своей новой чистой квартирке: три комнаты, кухня, ванна. Не радовала белизна стен. Не смотрел на развешанные по углам рушники с петухами — женино вышиванье. Взглянул на фотографии на стене: сам он в военной форме,— это когда чекистом был. Потом — фотографии бригад, в которых работал. Доменщики на фотографиях были не похожи на тех, что копошатся у горна. На карточках они немного надутые, важные, в парадных костюмах, с галстуками.

— Хорошая тоже бригада была,— невольно улыбнулся Трофим.— На ять бригада.

После обеда у Трофима собрались братья: Николай и Федор. Они уселись около стола, и Трофим, старший, сказал им без лишнего:

— Ну, браты, нема кокса.

Молчаливый Федор ждал, что еще скажет брат. Но Николай зашумел:

— Это ж нам соромно людям в очи смотреть. Да это что ж? Из-за кокса...

— Нема кокса, браты,— сказал Трофим.— И нас тогда нема.

Федор осторожно спросил:

— Так что ж думаешь, брат?

Трофим встал и стукнул ладонью по столу:

— Надо писать письмо, браты! Писать надо!

— Яке письмо?

— Где уголь? Га? Шахтеры, где ваш уголь? Транспортники, где уголь? Вот яке письмо писать надо. В газеты. В шахты пошлем. В депа. Как думаете?

Братья сказали разом:

— Пиши, Трофим. Все бригады подпишут.

— Пиши.

Трофим жадно хлебал холодную воду. Он повеселел, он снова был шумен, говорлив, уверен в победе.

— Не может этого быть,— гремел он,— чтобы наша печь села. Наша печь, браты, го-го! Эта печь дорого стоит!

Такова высшая похвала у Трофима: «Это дорого стоит!» О двух людях на домне говорит он так: «Эти люди дорого стоят!» — о начальнике цеха Георгии Александровиче Тустамовском и об обер-мастере Александре Александровиче Гречунасе.

Потому что эти люди — начальник и обер — отдают домне все, что имеют: опыт, знания, душу, отдых.

Нужно, чтобы был кокс. В заводском бюро ИТР бубнит старый Гречунас:

— Надо молнировать в Наркомтяжпром... Как же так: коксу нет.

В заводоуправлении волнуется начальник цеха:

— Молниями их, молниями...

И летят во все концы тревожные молнии: дайте домне кокс, и мы дадим чугун марки О, превысив план, как превышали все время.

И вот прибыл кокс. Хоперкары, полные до краев, грохоча, вошли на эстакаду. Как радостен был их ровный шум! Как здорово, когда в пустые железные бункера, грохоча, летит жирный, хороший кокс. Наполняется, наполняется бункер, уже тише, глуше, мягче стучат о его полные бока падающие куски кокса. Это так же здорово и вкусно, как когда насыпают в закрома зерно, пахнущее урожаем.

— Ну, давай! — закричал у горна мастер Губенко.— Ну, давай чугун, ребята.

Весь месяц на курорте и два дня простоя мечтал он об этом моменте.

Вот стал у летки Федор Губенко, первый горновой. Подручный стал с ним в паре. Остальные сзади еще двумя парами. Вот ударили в летку ломом, еще, еще раз.

Уже курилась летка. Курчавый дымок, завиваясь и петляя, выползал из-под лома, врывающегося в горячую глину.

Грязный, тяжелый пот катился по горячему лицу Федора.

— Твердая,— произнес он тихо,— дуже глина твердая,— и взял лом побольше.

Трофим бросился на подмогу.

— Ну, давай! — закричал он и схватился в пару с Федором.

— Взяли! — скомандовал мастер и рванулся вперед.

И в этом энергичном и строго рассчитанном рывке, в том, как держал он лом, как пригибался перед ударом, как бросался вперед, словно хотел вместе с ломом вгрызться в летку, в самой технике его работы была видна высокая и красивая культура мастера своего дела. Так командир, обучая бойцов штыковому удару, щеголяет точной отшлифовкой и пластичностью приемов.

Брат не отставал от него. Это была хорошая, дружная пара.

Горновые работали молча. И команды раздавались редко. Они не были нужны: каждый знал свое дело. Было точно рассчитано и установлено, что, кому и когда делать, кому перевал ставить, кому плиту держать, кому лист положить, кому пику подать, кому шлак подрезать.

И чугун рванулся из печи бешеный и неукротимый.

— Береги глаза! — предостерегающе закричал мастер. По его разгоряченному лицу метались багровые отсветы плавки. Он жадно глядел, как, бурля, бежал чугун по желобу. Потом мастер бросился к ковшам. Напряженно следил, как наполнялся ковш. Два других ковша ждали, жадно раскрыв пустые глотки.

— А ведь я четыре налью,— вдруг сказал мастер и забеспокоился: ковшей всего три.

Он побежал тогда вниз на пути. Полный ковш увезли. По второму желобу лился чугун во второй ковш. В это время Губенко добыл еще ковш и подал его под первый желоб. Все было в порядке.

Печь неистовствовала. Она щедро швыряла потоки чугуна. Казалось, чугуну не будет конца. Он то переполнял высокие края желоба, то оседал, приникая книзу. Похоже было: канава неровно дышала. Но вот дыхание ее стало тише. Чугун тек уже спокойно, даже лениво, медленно сползая в ковш. Из печи теперь било только пламя. Чугуна в ней не было.

Пушка Брозиуса закрыла летку. Гудел гудок. Бригада мастера Ровенского на ходу заступала у печи. Вот уже у рукоятки пушки другой горновой. Вот уже командует не Губенко, а Ровенский. У него отчетливый, резкий голос. И сам он не похож ни на Губенко, ни на Мазура, хотя, как и они, отличный мастер.

Сменившиеся доменщики уже все голые. Горновой стоит на четвереньках, подставляя голую спину сильной струе воды. Товарищ моет ему спину. Грязная вода весело стекает на плиты площадки.

В этот день домна горячо работала. Дело шло к перекрытию проектной мощности. В этот день пришли на коксовый завод эшелоны с углем. В этот день бригада мастера Губенко подписала протокол о переходе на хозрасчет.

И когда, наконец, Трофим освободился и пришел домой, у ворот он встретил брата Федора, взволнованно поджидавшего его.

Трофим побежал навстречу.

— Ну? — крикнул он тревожно.

— Сын! — выдохнул Федор и отдал Трофиму записку.

— Сын? — растерянно и радостно улыбнулся Трофим.— Сы-ын...— Он прочел записку: из родильного дома писала жена Анна, что родился сын, здоровья хорошего, и сама она чувствует себя хорошо.

Трофим повертел в руках записку, прочел ее еще раз и улыбнулся.

— Ну, значит, еще один доменщик будет. Это дорого стоит!

Каменское,
завод им. Дзержинского.
Сентябрь 1932 г.

ПРОФЕССИЯ ПАНТЕЛЕЯ МОВЛЕВА

Вот правдивая история о том, как Пантелей Мовлев, сын маломощного середняка села Ясиноватки, пастух, чернорабочий, летун, носильщик, грузчик, ремонтник, шахтер, красноармеец, бетонщик, трамбовщик, стал командиром бетонного цеха Краммашстроя.

Но прежде надо сказать, как он стал пролетарием.

Савелий Мовлев, отец Пантелея, был мужик беспокойный: он все умел делать, и все же не мог выбиться в крепкие хозяева. Он умел работать бетонную работу, ремонтную, плотницкую, он ходил на чугунку, на прокладку путей, на сезонку, на варку сахара. Он жадно искал заработка, удачи. И выбиться все же не мог. Крепкая кость была у старика, он жил долгий век — семьдесят четыре года. Такая же кость и у сына его Пантелея.

Но путь другой.

Прежде чем стать пролетарием, Пантелей работал дома по хозяйству. Потом его отдали в пастухи. Ему не было еще десяти лет, когда началась германская война. Пока люди газами и бомбами уничтожали друг друга,

он гнал в село теплое, ленивое и сытое стадо, щелкал бичом и чихал от пыли.

Потом он попал на Саблинский сахарный завод, на мойку бураков. Он работал там два года, но считал себя деревенским парнем.

Он был парень из деревни, его руки пахли землей, а одежда — стадом, он смутно понимал, что произошла революция, по праздникам он мылся, причесывался и отправлялся в село.

Ребята с сахарного говорили ему:

— Что бураки? Бурак — он бурак и есть. Летим!

Среди них случались бывалые: они рассказывали о теплых краях. Синее море плескалось в их рассказах, красивое и тихое, как сон.

Шел девятьсот девятнадцатый разломный год.

Эшелоны, грохоча, проходили мимо сахарного. Пульмановские товарные вагоны гремели песнями. В теплушках любились, рожали, болели тифом, умирали; на долгих остановках люди бездумно лежали на траве, отдыхая от вагонной тряски. Все ехали. Вся страна была на колесах. И хотя поезда шли плохо и медленно, все стало вдруг близким и досягаемым: теплые края — рукой подать.

— Что бураки? Бурак — он бурак и есть. Летим?

Пантелей Мовлев очутился в Туапсе. Ему понравилось: большое море в жирных пятнах мазута, лодки качаются на воде, пароходы качаются на воде, сама вода качается, и город в ней, и солнце, и горы...

Пантелей бегал по туапсинскому вокзалу:

— Не поднести ли, гражданин? — бросался он к случайным пассажирам.— Берем недорого.

Веселый город Туапсе нравился ему. Арбузы здесь дешевые. Лежал на берегу моря, бил арбузы о колено, арбузный сок полз по штанам. Эх, жизнь,— разве есть еще такая?

Иногда он, впрочем, тосковал по деревне, по дому. Поля родной Кременчугщины казались ему тогда красивей и милей моря. Туапсе был веселый, но чужой город. Зарабатывал здесь Пантелей мало. Жизнь была дорогая. Это всегда и везде кажется: дома лучше.

Кончилось тем, что через год он вернулся домой. Теперь от него пахло солено: морем и югом. Загорелый, он бродил по деревне. В деревне голод и уныние, безделье. Бабы шили себе белые рубахи, ожидая конца света.

Пантелей пошел по старой отцовской дорожке: на чугунку. На станции Знаменка не было моря. Зато была работа: убирали пути, меняли шпалы. Прогнившие выбрасывали, ставили новые,— страна вышла из войны, ей нужны были крепкие шпалы.

Пантелей не задумывался, хорошая это или плохая профессия — менять шпалы. Важно было то, что другой не было. А есть-пить надо. Впрочем, жевать все равно было нечего. Голод скрипел над страной. Девятьсот двадцать первый голодный шел по стране год.

Голод погнал Пантелея обратно к морю. Человек ищет, где лучше, как рыба ищет, где глубже. На этот раз Мовлев поехал в Баку.

— В Баку жизнь на боку! — говорили бывалые.— Малина — не жизнь!

Пантелей слонялся по берегу тяжелого бурого моря. Что он умел делать, Пантелей Мовлев? У него были руки, хорошо привешенные к плотному туловищу, широкие ладони, большие пальцы. Что он умел делать? Гнать стадо умел, хлопать бичом умел, тащить шпалы умел. Деликатной профессии не было у Мовлева, такой профессии, которая требует искусных рук: токарь там или модельщик.

Он стал грузчиком. На широкую спину вскидывал тюк и бежал, согнув колени, по шатким сходням. Пароход качался на воде. Легкий дым полз из труб. На берегу грудой лежали пыльные тюки, бочонки, пахнущие рыбой, горы арбузов. Арбузы тут были тоже дешевые. В конце концов это была профессия, как и все другие.

Непонятно, почему Пантелей вдруг уехал в Донбасс. Он и сам не может сказать почему. Вот надоело однажды желтое это, грязное море, и грязный дебаркадер и люди, привязанные к берегу. Пантелей не лодка, а человек. Его привязать нельзя. Взял и уехал.

— На Донбасс!

В поезде он спросил проводника:

— А что, станция Донбасс скоро?

И не понял, почему проводник засмеялся.

Шахта Новочайкинская, куда поступил Пантелей, готовилась к пуску. Биография Мовлева тесно сплеталась с биографией страны. Теперь стране нужен был, как никогда, уголь.

Пантелея взяли уборщиком породы. Это была грязная, тяжелая работа, первая ступень в лестнице шахтер-

ской квалификации. Все же Мовлев чувствовал себя шахтером. Он жадно глядел на эту лестницу, на вершине которой был сам забойщик — мастер угля. Пантелей решил добиться этой вершины.

Получив очередной отпуск, он приехал домой, в село. Ходил по деревенской улице небрежной походкой, вразвалку. Ему определенно не нравилось здесь.

— Вот у нас на шахте,— так начинал он свои рассказы. Не дождавшись конца отпуска, вернулся на рудник одолевать лестницу.

Скоро его сделали саночником, потом подручным забойщиком, зарубщиком и, наконец, старшим забойщиком: под его начальством было уже семь человек. Он определенно становился мастером угля, у него появилась настоящая профессия: он «делал» уголь.

Уголь — это все. Это ток, это движение, это тепло. Мовлев, правда, смутно понимал важность своей профессии, но он уже привык любить ее. Подбрасывая на широкой ладони тусклый и чуть влажный кусок угля, он ощущал гордость и нежность.

Страх к шахте пропал. Позевывая, садился Мовлев в клеть, продолжая начатый на поверхности разговор с товарищем. Старался только не прикасаться к липкой стенке клети. Клеть стукалась о дно колодца,— влажная и сырая тьма охватывала Мовлева. Он озабоченно привешивал лампу к поясу и шел в забой. День начинался.

Однажды случилось неожиданное, но то, чего можно ждать каждую минуту: упала большая глыба породы и придавила Мовлева.

— Завал! Завал! — крикнул кто-то и тоже упал рядом.

Когда Пантелей очнулся и приподнялся, кругом было темно и душно. Он хотел крикнуть, но не смог. Тогда он опять упал на груду угля. Потом он начал привыкать к темноте. Рядом с ним лежало двое товарищей: Андреев Семен и Бугаевский Николай. Андреев ворочался и тяжело дышал. Бугаевский лежал тихо. Он очень тихо лежал, Николай Бугаевский, и Мовлев тогда еще подумал: «Почему это он так тихо лежит?» Но в голове мутилось, язык прилипал к сухой глотке, казалось, что на спине вырос горб,— такая она стала тяжелая.

Так прошло много времени, сколько — Мовлев не знал. Потом он вдруг подумал, что это ведь смерть, что

так и погибнуть можно очень просто. Тут только он понял, что дышать тяжело оттого, что в забое скопился газ. Газ стоял, должно быть, как столб, на груди Мовлева. Он давил на грудь. Пантелею стало страшно за свою грудную клетку.

— Каюк?

Тогда он судорожно приподнялся, схватил кирку и начал торопливо стучать сигналы:

— Спасите! Спасите! — Но никто не отвечал ему.

Андреев тихо стонал рядом. Бугаевский лежал молча.

— Почему он молчит? — испугался Мовлев, и кирка выпала из его слабой руки.

Опять была темнота, духота и страшная, тяжелая тишина. Потом все спуталось. Сколько времени прошло — неизвестно. Мовлев очнулся только «на-гора́». Он судорожно вдохнул воздух и открыл глаза. Воздух забулькал в его горле. Мовлев опять потерял сознание. В больнице ему сказали, что завал произошел из-за плохого крепления, в забое он лежал двадцать четыре часа. Андреева и его откопали шахтеры, у него, у Мовлева, помяты рука и спина.

Через семь дней он снова опустился в шахту. Это очень хорошая профессия — делать уголь. Рука и спина зажили, только синие знаки остались на них: это светилась угольная пыль, вросшая в мясо.

В тысяча девятьсот двадцать седьмом году Пантелею Мовлеву пришел срок идти в Красную Армию. Его назначили в саперную часть. Он быстро собрался, взял крепкий сундучок и поехал.

Саперное дело, если посмотреть, очень похоже на шахтерское. Только что не с углем имеешь здесь дело. Когда Мовлев прошел карантин, и первую ступень, и школу младшего комсостава, он вдруг почувствовал, что быть саперным командиром — это тоже очень хорошая и почетная профессия. И профессия эта ему по душе. Окопы с пулеметными площадками и без них, с козырьками или щитами. Блиндажи, от которых отлетают пули. Искусно спрятанные фугасы, мины, убедительный динамит, знакомый еще по шахте,— ведь это же очень хорошая профессия.

И Пантелей стал подумывать о сверхсрочной.

Но ему опять не повезло.

Во время маневров при наводке моста на него обрушилось бревно. Мовлев полетел в воду. Он выплыл,

добрался до берега, отряхиваясь, пошел к своим. Боли он не чувствовал и только растерянно улыбался, вспоминая неожиданное купанье.

— Буза-а! — Он хотел махнуть рукой, но рука не действовала. Он испуганно посмотрел на нее и увидел кровь. Тогда он сел прямо на землю.

Его положили в госпиталь. Рука зажила. Это была та самая, с синими знаками угля, которую помяло в шахте. Мовлев демобилизовался. Он не поехал домой, взял литер прямо в Донбасс. С какой-то даже излишней торопливостью он стремился попасть туда.

«Неужели,— думал он беспокойно,— неужели каюк? Что же я за человек буду, если рука подведет?»

Рука подвела. В шахте Пантелею было трудно работать, растерянный бродил он по руднику.

«Ну, а теперь куда? — горько думал он.— В инвалиды?»

Но в инвалиды было рано. Инвалид — это уже совсем негодная профессия. Пантелей поехал домой, в деревню. Он вернулся в нее как человек, потерпевший кораблекрушение. Стал помогать отцу работать бетонную работу: кольца для деревенских колодцев.

Это была первобытная техника: камень били вручную простым молотком, мокрый песок замешивали на доске лопатой. Потом этой жижей набивали деревянную модель.

Пантелея смешила эта техника, отец сердился. Он уважал свою работу. В сущности Пантелей уже не был деревенским человеком. Его тянуло на заводы.

И тогда ему вспомнился вдруг веселый приморский городок, качающийся на воде.

Он поехал в Туапсе начинать жизнь снова.

Когда он ступил на туапсинский залитый солнцем перрон, он улыбнулся, вспомнив, как бегал здесь, таская чемоданы, потом покачал головой:

— Это дело не по мне!

Он знал: в Туапсе есть бетонный завод. Отцова работа все-таки успела разбудить интерес в Пантелее. Замешанная лопатой на доске жижа все же была бетоном.

Пантелей нанялся чернорабочим на бетонный завод. Он опять был внизу лестницы, на вершине которой крепко стоял старый бетонный мастер Иванов.

Мастер заметил смышленого и жадного к труду Мовлева.

— Ты, парень, в люди выйти хочешь?

— Хочу!

— Ну, вали ко мне.

Завод был маленький. Делали кольца, трубы для водопроводов. Скоро Пантелей стал подмастером. Заработок был плохой: сорок пять рублей в месяц.

В это время прибыли вербовщики с Харьковского тракторостроя.

— Вот,— говорили они жадно слушавшим их людям,— вот пустырь, вот степь, и вот будет на той степи, представляете себе, гигант. Тот гигант будет тракторы делать.

Это было по душе Пантелею: вот степь — и вот будет гигант.

Он завербовался и поехал. Опять его биография совпадала с биографией страны. Стране теперь нужны были тракторы и машины.

Мовлев прибыл на площадку Тракторостроя и огляделся.

Пустырь действительно был, гиганта еще не было в помине, но работы было много.

Такой большой стройки, такого скопления людей Мовлев еще не видел. Но он не чувствовал себя здесь затерянным. Что-то новое бродило в нем. Больше всего хотелось, чтобы гигант скорее стал на бетонные ноги.

Когда широким фронтом развернулись бетонные работы, Мовлев стал трамбовщиком.

В его руках была железная трамбовка, качество бетона было в его руках. Нужно тщательно набивать бетон, тогда он будет плотным, без раковин и трещин. Он будет стоять тогда века, сохраняя память о трамбовщике Мовлеве.

Бригадир Осокин, в чью бригаду Мовлев попал, суховато сказал ему с первого раза:

— Не знаю, как у вас там, где ты работал, а у нас тут соцсоревнование идет. Марусин нас кроет и фамилии не спрашивает.

Легендарный «бригадир темпов» Марусин, приехавший сюда со Сталинградского тракторостроя, поставил рекорд: 180 бетонозамесов в смену. Но его рекорд был скоро побит Мисягиным, который дал со своей бригадой 182 бетонозамеса. Но и это оказалось не рекордом:

комсомольцы бригады Дзюбанова дали 250. Мисягин тогда дал 258. Марусин уже был десятником. Комсомольская бригада Цацкина дала 275.

В это время Мовлев сам стал бригадиром, но это уже был не прежний Мовлев. Осокина выдвинули заведовать столовой. Откуда в Мовлеве появилась эта коренастость? Эта уверенная и твердая речь? Этот широкий взгляд, которым он сразу охватывал стройку? Это умение заставить себя слушать? Эта напористость?

— Триста бетонозамесов дадим в ночную смену,— объявил Мовлев, и слух об этой похвальбе прошумел по всей стройке. Многие бригадиры не спали в эту ночь. Завстоловой Осокин тоже не мог спать. Он прибежал растерянный и запыхавшийся к Мовлеву и закричал ему:

— Триста, говоришь, сукин сын? Ставь меня на дело!

Он стал на эту ночь рядовым бетонщиком в своей старой бригаде. Это была ночь, в которую Мовлев чувствовал, как он рос, как хрустели у него кости. В эту ночь он научился понимать и любить бетон: живая бетонная масса дышала под трамбовкой. Какие чудесные дела можно делать с этой вязкой, серой, неприглядной массой.

На 286-м замесе бетономешалка вдруг стала. Мовлев принял это, как завал в шахте.

— Стала? — он рванулся к бетономешалке, и вместе с ним рванулась бригада, ставшая в эту ночь единым телом.

— Лопнула труба водопровода.

— Где?

Но это как раз и было неизвестно. Тогда все бросились искать, где прорвало. Трамбовщик Аронов нашел в третьем пролете место, где просачивалась вода.

— Здесь! — И он яростно ударил ломом. Аварию ликвидировали в двадцать минут. Утром вся стройка узнала о том, что бригада Мовлева дала в смену 300 бетонозамесов.

Скоро, впрочем, и этот рекорд был покрыт. Комсомольская бригада Гужвы дала 402 замеса.

Но в это время Мовлев уже ехал на Краммашстрой. Как Марусин принес на Харьковский тракторострой опыт и сноровку Сталинграда, так и Мовлев вместе с буксирной бригадой вез Краммашстрою опыт и сно-

ровку харьковчан. Это был опыт человека, выросшего на социалистической стройке.

На Краммашстрое рекордом было 212 замесов в смену. Этот рекорд давала бригада Дивелишаева. В эту бригаду был включен буксир. Его встретили недоверчиво.

— Вы работу покажьте! Почему вы буксир? А может, мы вас на буксир возьмем.

— Покажьте работу!

В первый же день бригада, в которой участвовал буксир, дала 240 замесов. На третий день организовалась новая бригада бетонщиков во главе с Мовлевым. Она дала 340 замесов. В эту бригаду стали проситься комсомольцы. Они приходили к Мовлеву и просили:

— Научи темпам.

Пришел Вася Костров, кудрявый комсомолец, пришел низенький шустрый Федор Тертычный. В этой же бригаде был и Семен Аронов, приехавший вместе с Мовлевым «буксирить». Бригада давала 800 замесов.

— Есть ли пределы? — спрашивали Мовлева.— Пределы есть?

Он пожимал плечами и показывал газету, где писалось, что на стройке «Шарикоподшипника» дают 960 замесов.

Это был рост страны, овладевающей техникой. Биография Мовлева опять и опять совпадала с биографией страны: он тоже рос.

В эти дни случилось Мовлеву поехать в Харьков за стройматериалами. Он решил зайти на Тракторострой. Он шел по широкому шоссе мимо строящихся цехов и внимательно вглядывался в бетонные сооружения. Он понимал в этом толк: по внешнему виду он определял качество работы.

Ажурные колонны он одобрял: они были сделаны чисто. Плотный, без трещин лежал в них бетон. Иногда Мовлев качал головой: тут торопились — бетон был какой-то мятый.

Но вот он увидел плакат, который заставил его остановиться:

«Дадим 1000 бетонозамесов в смену!»

— Тысячу? — У него захватило дух. Он пошел к бетонщикам.

— Дадите тысячу? — спросил он недоверчиво.

— Дадим, Мовлев! — смеясь, ответили те. Они бы-

ли рады показать Мовлеву класс бетонного дела: смотри, Мовлев, смотри, мастер!

Ночь напролет ходил Мовлев около бетонщиков. Он вынул блокнот и делал пометки. Он учился. Опытным взглядом он видел ошибки. И думал: «Если они дадут, дадим, должны дать и мы!»

Приехав, он собрал бригаду:

— Дадим тысячу пятьдесят?

Бригада обещала постараться.

Мовлеву подготовили площадку, материалы. Ночью толпа народа пришла смотреть, как делается мировой рекорд.

Мовлев расставил бригаду: звено загрузчиков — на загрузку бетономешалки, звено вагонетчиков гонит вагонетки с бетоном к котловану, звено трамбовщиков и звено лопаточников кладут бетон.

— Ну, начали!

Бригада стала на места.

Через четыре часа выяснилось: дано уже 548 замесов. Забрызганный бетоном Семен Аронов вылез из котлована и закричал:

— Это оппортунизм — тысячу пятьдесят замесов,— и он сорвал плакат.— Тысячу сто дадим!

Мовлев, стиснув зубы, руководил работой. 145 замесов дали в пятый час работы, 154 — в шестой...

Мовлеву вдруг захотелось крикнуть ребятам что-то теплое и ободряющее. Но у него, как и тогда в шахте, во время завала, перехватило горло.

— Эх, ребята! — только и прохрипел он.

1160 замесов дали в смену ребята. Весть о мировом рекорде пронеслась по всей стране.

Ну, вот и стал Пантелей Мовлев командиром бетонного цеха, когда решили всех бетонщиков объединить в цех. Он стал здесь, на Краммашстрое, большевиком. Он нашел здесь свою настоящую душевную профессию и не жалел о том, что не может работать в шахте. В конце концов в нашей стране много работы, и каждый может найти себе дело по душе.

Конечно, уголь дает жизнь. Но бетон — сама жизнь. Уголь сгорает. Бетон остается. Вот он стоит, обступает Мовлева зданиями и сооружениями, колоннами и пролетами. Самый большой в мире прессовой цех Краммашстроя, пущенная уже комсомольцами чугунолитейная, цехи металлических конструкций, кузница — все это

бетон, бетон, серый, крепкий мовлевский бетон без раковин и трещин...

Вот правдивая история о том, как Пантелей Мовлев, сын маломощного середняка села Ясиноватка, пастух, чернорабочий, летун, носильщик, грузчик, ремонтник, шахтер, красноармеец, бетонщик, трамбовщик, стал командиром бетонного цеха Краммашстроя.

Краматорская,
1932

ГРЕБЕНКА

Всю ночь над Днепром летают бадьи с бетоном. Краны выхватывают их с платформ, высоко подымают над плотиной, над сумятицей железнодорожных колей, раскачивают в мартовском сыром воздухе и, наконец, плавно и бережно опускают в пролет, в нетерпеливые руки бетонщиков.

Серый вязкий бетон растекается бесформенной грудой; бетонщики, увязая в нем, кричат: «Веселей, веселей взялись!» — и уже шмякается первая лопата о мягкое бетонное месиво.

С бетонного завода, вздрагивая на стыках рельсов, через плотину, через ночь, рассвеченную сотнями ламп, проносятся платформы.

И опять новая бадья нерешительно раскачивается над пролетом.

— Давать, что ли? — кричат изо всех сил с платформы в пролет, туда, где в вязкой бетонной топи работают бетонщики.

Выкрик этот падает вниз, растекается по реке; заглушенный шумом бешено бьющей воды, он попадает к бетонщикам в виде непонятного — а-а-а-о-и?..

Но бетонщик понимает и кричит в ответ, размахивая руками:

— Давай, давай! Чего разговариваешь?

Он не уверен, что его поняли. Бадья бродит над пролетом. Тогда бетонщик знакомым привычным манером закладывает два пальца в рот,— и вот взлетает над Днепром яростный, степной, разудалый свист.

И бадья медленно и покорно падает в нетерпеливые руки бетонщиков.

Всю ночь над Днепром стоит шум ударной работы: выкрики паровозов, лязг колес на рельсах, гомон рабочих, шмяканье бетона, а когда приходит зябкое туманное утро, бетонщики разгибают спины, вытирают руки, отряхиваются и лезут из пролетов наверх.

Там толпятся около сменного прораба Галтелова и спрашивают:

— Так как там, а?..

Галтелов знает, о чем его спрашивают, и, поеживаясь от утренней сырости, отвечает:

— Не подсчитали еще...— и, улыбаясь, добавляет: — а работали лихо...

Широкоплечий рябой бетонщик сворачивает не спеша цигарку и говорит раздумчиво:

— По моим расчетам, как я свои бадьи считал, так, должно, перевыполнили. Ась?

Он закуривает и идет домой, навстречу новой смене, которая торопливо растекается по своим местам.

На ходу он здоровается с земляками и кричит им:

— Глядите ж, сменщики, вы ж наших темпов не забрызгайте!

Днем он снова приходит на плотину затем, чтобы узнать, что «смена Галтелова вместо заданных по плану двухсот кубометров уложила триста десять», и, удовлетворенный, уходит домой отсыпаться.

Сменный прораб — инженер Шуламис Ароновна Зильберштейн, невысокая худенькая женщина в кожушке и кожаной капелюшке, простуженно кричит в пролет 27-28:

— Так как там дела? А?

Десять дней назад в пролете 27-28 неудачно стал каркас. В щели бурно била вода, расшвыривала материал, которым хотели заткнуть Днепру глотку, и заливала пролет.

Десять дней бились здесь, а сегодня утром, семнадцатого, механик Козуб, не уходивший со вчерашнего дня с плотины и потерявший счет часам своей бессменной работы, переставил каркас и сказал водолазам.

— Теперь гоже.

В десять часов утра водолазы полезли в воду уплотнять каркасы. Они забивали в щели паклю, шлак, деревянные клинья и через два часа, к двенадцати, кончили свою работу.

Это был рекорд.

Тяжело ступая по лесенке, ведущей из пролета, водолазы полезли наверх.

Первым выходит бригадир водолазов Оров, за ним Тихомиров и Кучма.

Днепр стекает с их костюмов легкими струйками.

Зильберштейн встречает Орова у выхода наверх и подает ему руку:

— Ну поздравляю, Оров,— говорит она взволнованно,— ну, поздравляю.

Оров молча жмет ее руку, улыбается и проходит дальше.

С реки идет мартовский, беспокойный ветер. Днепр раскололся пополам: до плотины он весь во льду, еще крепком и прочном, хотя и подернутом полыньями. Через плотину же Днепр падает бурными водопадами.

Вода стремительным гоном мчит сквозь пролеты в пене, в тьме мелких и плотных брызг, падает с гребня, и кажется, что река дымится.

Инженер Зильберштейн озабоченно смотрит на покрытую льдом сторону Днепра.

— Полыньи,— указывает она рукой на чахоточные пятна на льду,— полыньи растут...— и переводит озабоченный взгляд на пролеты.

В листовках «Пролетара Днипробуда», которые выходят на плотине по нескольку в сутки, боевой аншлаг: «Пропустим весенний паводок через сплошной бетонный гребень плотины!»

Паводок скоро.

Все чаще и чаще слышится над рекой характерный треск: лед дает трещины. Как жировые пятна расползаются по реке полыньи.

Рабочие и инженеры тревожно поглядывают на реку. Много еще не закрыто пролетов. Они залиты стремительным течением воды, и кажется, что здесь не то что работать, сюда и приступиться нельзя.

К открытому, еще наполненному водой пролету первыми приходят каркасы.

Старший механик Козуб, пришедший сюда, на Днепрострой, с села рядовым такелажником, малограмотным, но широкоплечим и охочим к работе парнем, выросший здесь, на плотине, и вырастивший плотину вместе с другими строителями,— Козуб первым подходит к новому пролету, где полновластно бушует вода.

Двадцатипятитонный «малый» или сорокатонный большой стальной каркас, мудро управляемый двумя огромными кранами, медленно погружается в воду. Он борется с силой воды, выталкивающей его, преодолевает, побеждает ее и, наконец, «по горло» входит в реку.

Огромный, трехтонный железный щит Буле с нагрузом, доведенный до десятитонного могущества, покачивается в воздухе над пролетом. Длинный хобот крана тяжело играет им, раскачивает, маневрирует и тоже опускает в пролет. Щит уверенно входит в каркас и закрывает его, преграждая доступ воде в пролет.

Днепр бьется о щиты, упрямо толкается в железную преграду, отступает, находит щели и злобно врывается сквозь них в пролет. Но теперь он тощий, слабосильный, хотя и злой.

Каркасники сделали свое дело. Тяжелые гаки высвобождаются из отверстий, краны подымают хоботы вверх, вытягивают из пролета цепи и медленно уходят дальше. Раньше в день каркасники устанавливали один каркас. Три каркаса и даже больше в день — не редкость теперь для Козуба, Захарова и их помощников.

Они уходят, оставляя пролет водолазам и плотникам.

Плотники вызвали водолазов на соревнование. Они тоже работают в воде, уплотняя каркасы. Щели, сквозь которые хлещет вода, они забивают паклей и шлаком.

Им приходится работать в стуже, в холодной, мартовской, подледной воде; и молодой, румяный Разуман, один из лучших плотников плотины, завидует водолазам:

— У них специальные костюмы. А нам только штаны дают. Нет, ты рубашку нам дай водолазную, мы бы им показали соревнование,— и добавляет тихо: — очень в той рубашке работать прекрасно.

Но и без водолазной рубашки прекрасно работает Разуман. Вылезши из воды, он отряхивается, но не идет греться: хочет лезть опять.

— Иди, иди, Разуман. Иди грейся,— кричат ему товарищи,— нечего...

Его загоняют силой...

Пока водолазы и плотники уплотняют каркас, в пролете начинает работать водоотлив. Он выкачивает из пролета воду и вышвыривает ее обратно в Днепр.

— Не мешай!

Щели уплотнены. Вода выкачана. В пролете сухо. Плотники кончили опалубку. Днепр побежден.

— Ну, теперь пролет наш,— говорят бетонщики и лезут в пролет.

Бригадир комсомольской бригады бетонщиков Ткаченко, давший в январе двести пятьдесят процентов выполнения задания, расставляет своих людей в пролете.

— Ну, работать же ж, эх! —говорит он угрожающе и встречает первую бадью бетона.

К лопате привязаны две веревки. Одной лопатой работают трое. Один держит лопату за рукоятку, двое других тянут за веревки. Так сноровистее, быстрее и легче.

За четыре часа бригада Ткаченко опоражнивает восемьдесят три бадьи.

— Давай, давай! — только покрикивают бетонщики, войдя в азарт.— Не задерживай.

Сто двадцать четыре кубометра бетона легло в пролет за эти четыре часа,— встречные нормы намного перевыполнены.

Ну и работали же!

Разгибали спину только затем, чтобы принять новую бадью.

Лопата беспрерывно и мерно опускалась в бетонную кучу, вгрызалась в нее, полная взлетала вверх, расшвыривала по участку бетон и опять опускалась.

Тут работали молча и, только когда приходила новая бадья, встречали ее шутками.

— Эх, и пузата же ты, Марья Ивановна,— шутливо и ласково говорили ей.

Все выше и выше поднимается бетон. Скоро он дойдет до отмеченной на бычке зарубки — тут и конец пролету.

«Еще один участок гребенки готов, закрыт, очищен» — радостно сообщает листовка.

В четыре часа дня бетонщики вылезают наверх и толпятся около прораба.

Они тоже спрашивают о цифрах: смена соревнуется со сменой, бригада с бригадой. Идет трудовой бой, где оружие — лопата, поле сражения — пролет, награда — честь уложить последний кубометр в гребенку.

— Так как там, а? — спрашивают у прораба, чтобы прикинуть, подсчитать и опять нажать, где нужно.

Раньше,— пожалуй, теперь можно сказать, что это было давно,— Зильберштейн занималась другими цифрами.

В двадцатом году робкой еврейской девушкой с Балты пришла она в комсомол. Школу рядовой комсомольской работы она прошла скромно и тихо, маленькая, худенькая Шуламис, и, наконец, одесский губкомол посадил ее в учстат подсчитывать количество комсомольцев: сколько приросло, сколько убыло, сколько бандитами убито. Она ведала личными карточками, анкетами, в которых немудрено и кратко рассказывалась жизнь целого поколения, а в 1922 году ее послали учиться.

На Днепрострое она очутилась в 1927 году, прямо с вузовской скамьи, работала сначала стажером, потом младшим техником, старшим техником, помощником прораба и, наконец, прорабом.

Она росла вместе с большевистской плотиной, коммунистка-инженер; и вместе с ней росла ее смена.

Вот Терехов.

Он пришел сюда с села горлопаном и бузотером. Бия себя кулаком в грудь, он наступал на инженера, ссорился с товарищами. Но он был яр в работе, стихийный и слепой, как стихия, плечистый, румяный парень. Сейчас он бетонный десятник, толковый и крепкий работник.

Вот Четвериков из ударной группы бетонщиков, выросший в старшие десятники. Вот Теплов, из плотников выдвинутый в десятники.

Смены сживались в работе, роднились.

Ведущая по плотине смена Росинского, состоящая наполовину из татарских бригад, инициатор соревнования, все время перевыполнявшая задания, показала прекрасные примеры интернационализма и ударничества.

Вместе в зимние холода и ветра поворачивали Днепр влево, вместе клали знаменитые пятьсот тысяч кубометров бетона — мировой рекорд, вместе боролись с неуемным средним протоком, о котором будут петь в песнях и рассказывать легенды.

В этих ударных сменах было мало таких, которые сбежали отсюда. Основное ядро смены Зильберштейн, например, нерушимо и в полном составе пришло к окончанию плотины.

Но пришло выросшим.

Сюда приходили неграмотными — здесь учились, были беспартийными — здесь становились большевиками.

Люди приходили сырыми, неумелыми — здесь учились работать по-новому, так, что теперь если сказать о ком-нибудь, что он «днепростроевский рабочий», то всем станет ясно, что это отличный рабочий, по-коммунистически относящийся к труду, которого трудностями не испугаешь.

Вот хлынет о плотину весенний паводок, на тридцать семь метров поднимется уровень Днепра, навсегда исчезнут пороги, самое слово «Запорожье» станет анахронизмом,— дети будут спрашивать у стариков, откуда оно взялось,— исчезнут и перемычки, которыми укрощали Днепр, отхватывали у него кусок за куском русла. Котлованы, в которых в лютые стужи и в летние зноя копошились тысячи рабочих, покроются величавым течением новой реки. Покорный Днепр повернет направо через аванкамеру вертеть огромные лопасти турбин, налево через шлюз носить пароходы по реке от Орши и до Херсона. Люди, подъезжая к Днепровской гидроэлектростанции, высыпят на палубу смотреть чудеса на Днепре,— будут ли они тогда чудесами в стране, где Магнитогорски и Ангарстрои! Но и тогда будет стоять над новой рекой дым преданий о делах и людях Днепростроя, о плотине, которая пересекла реку, о гребенке — последнем участке плотины.

Эти мысли или подобные им бродят сейчас в голове у каждого участника стройки плотины, и чем ближе гребенка к закрытию, тем осязательнее становится грандиозность того, что буднями делалось и строилось.

И когда легло посередь Днепра сто десять миллионов пудов бетона, принявших стройную материальную форму семисотметровой, покоящейся на мощных быках плотины, каждый строитель, самый рядовой и самый молодой, почувствовал величайшую в своей жизни кровную радость и гордость.

Последний кубометр клали лучшие бригады плотины: бригады Ткаченко, Жени Романько, Ильгова и Макаренко.

Это было наградой за дело чести.

И в то время, как здесь клали последний кубометр, в турбинном зале гидроэлектростанции заканчивался

монтаж первой очереди турбин, каждая из которых равна по мощности Волховстрою. На Алюминиевом комбинате в лесах стояли огромные корпуса трех заводов. Неутомимо шла стройка завода ферросплавов и цехов инструментальной стали. Стройными силуэтами входили в панораму чудес на Днепре скелеты домен. Клались мартеновский и прокатный цехи, заводы строительных материалов. Строились коксовые печи с неразлучным своим соседом — химическим заводом. Всюду на обоих берегах Днепра, на правом и левом, одетые строительными лесами, стояли крепкие костяки будущего.

На реке шумно и тяжело ломался лед. Через сплошной бетонный гребень плотины бурно шел весенний паводок.

Днепрострой,
1932

РИСК

Когда с карандашом в руках стали прикидывать сроки пуска мартенов, выяснилось: все дело решает бак.

Лягут покорно подъездные пути, станут, как часовые, по своим местам колонны, подымутся мосты, огнеупорные кирпичи плотно прижмутся друг к другу, образуя ванну,— только бак не станет в срок на свое место. Только бак не успеют смонтировать на водонапорной башне. Это ясно.

За окном бродил грустный октябрь, похожий на отъезжающего. Первую плавку на новых мартенах нужно дать в марте.

— Значит, бак? — произнес начальник и постучал карандашом по календарю.

Итог был прост и ясен, как стекло. Там, где быть водонапорной башне,— сейчас гора металлического хлама: колеса, дырявые цилиндры, листы смятого железа. Вот подсчет: подготовка и постройка башни — три месяца; монтаж бака на башне (зима, морозы, сорокаметровая высота) — четыре-пять месяцев. Итого: восемь месяцев. Бак будет готов к июню. Не раньше.

Начальник сжал кулаки: он чувствовал, как время течет, хлюпая между пальцами,— жидкое, липкое время.

— Значит, бак? — темнея, спросил он.— Что можно сделать?

Ему хотелось схватить время в кулак и сжать его. Время нужно уплотнить до состояния сжатого воздуха в компрессоре — вот какое ему нужно время.

Люди, столпившиеся около стола, смущенно молчали. Молодой техник в фуфайке пожимал плечами и досадливо думал: «В марте?» — Он смотрел, как сыпались с тополей листья. «Авантюра!» — Он видел через окно: там, где быть мартенам, только фундаменты, немногие конструкции, котлованы, ржавые холмы глины. Над этим развороченным миром одиноко высятся трубы. Трубы на стройках кладут раньше всего: они украшают пейзаж. Техник считал себя сведущим человеком и скрывал свою юность.

«В марте? — щурился он.— О, мы узнаем еще одну осень».

Вслух он сказал:

— Можно объявить штурм. Выгадаем немного.

Начальник зло усмехнулся: он ждал этого совета. Слава богу, уже техники научились предлагать штурмы!

Из календаря, раскрытого на марте, глядела на него техническая задача. Она дразнила. Бак качался перед ним, огромный, в сто шестьдесят пять тонн, бак, который обязательно нужно монтировать на башне. Почему обязательно? Ведь вот же они стали одновременно строить и монтировать — раньше этого не умели делать. Он смеялся, встречая в газетах напыщенную фразу репортера: «Ни одного строителя не осталось на площадке, пришли монтажники». У него строители и монтажники работали одновременно. Строители воздвигали стены, а монтажники уже монтировали механизмы. За монтажниками шли чеканщики. С разных концов начинали класть какой-нибудь газопровод,— люди встречались, как при прокладке туннеля. Время, место, работа людей — все это нужно уплотнить. В этом секрет удачи. Почему же терять пять месяцев из-за бака?

Он представлял себе: люди будут качаться на лесах на сорокаметровой высоте. Ветер, мороз. То и дело они будут слезать греться. Пять месяцев — сто тысяч тонн стали. Итог тоже простой и ясный, как стекло.

— Ясно,— все сбились к столу,— ясно, надо одновременно строить башню и монтировать бак. На земле. Потом поднять и поставить.

Он показал рукой — поднять и поставить. Все засмеялись: это, очевидно, шутка.

Главный инженер задумчиво покрутил усы. Они были рыжие и пушистые.

— Не можно, хозяин,— сказал он.— Сто шестьдесят тонн — это такая тетя... Не можно, хозяин. Этого никогда не было.

Этого никогда не было. Он строил много заводов. Он пускал много печей. Его часто приглашали экспертом. Хитро щуря свои татарские узкие глаза, он рассказывал «фактики из практики»,— она была богатая у него. Он знал по имени-отчеству всех старых мастеров и рабочих Юга. Он пил с ними водку. Он плясал с ними и с их женами на пусковых вечеринках, лихо притопывая короткими сапогами. Узнав о том, что он работает на стройке, к нему, к Василию Федоровичу Воробьеву, из многих мест приходили инженеры и рабочие, чтобы учиться у него, чтобы работать с ним. Но то, что предлагал начальник, ни в какие уложения не уложишь.

— Помилуйте, сто шестьдесят тонн — ведь это, батенька, по старому счету десять тысяч пудов весу. Восемнадцать метров — высота. Две тысячи пятьсот кубометров воды — объем.

И это поднять на двадцатидвухметровую башню? Это не можно, это риск.

— Я не боюсь риска,— качая головой, ответил начальник,— но голого риска я не хочу. Я хочу: расчет и технический проект.

Воробьев сощурил глаза.

«Нас этому раньше не учили»,— хотел ответить он смеясь. Но подумал, надул щеки и, отдуваясь в усы, сказал серьезно:

— Я подсчитаю.

Он пришел через несколько дней и сказал:

— Поднять можно. Я считал. Можете меня поднимать на баке, и это не будет самоубийство.

Объявленный Макстроем конкурс проектов по подъему бака расшевелил многих конструкторов и техников.

Трудность, которая стала перед всеми авторами, была даже не в том, чтобы поднять бак с земли. Трудность лежала в том, чтобы, подняв бак, на весу передвинуть его по горизонтали и установить на башне.

Был фантастический проект: четыре мачты поставить на рельсы, на мачтах поднять бак. Потом все это сооружение передвинуть по рельсам. Доставить бак на башню, как вагон для скоропортящихся грузов. Возможны варианты.

Был простой и оригинальный проект Шибаева: две наклонных стрелы типа деррика схватывают бак. Выпрямляясь, они подымают и устанавливают бак на место. Это показалось слишком просто для того, чтобы обеспечить удачу. Проект получил первую премию, но принят не был.

Решено было соорудить вокруг бака и башни шесть мачт. На них укрепляются огромные ролики, по которым пойдут стальные ходовые канаты. Восемь лебедок будут тянуть канат. Сначала работают блоки первых четырех мачт. Схваченный канатами, бак должен будет покорно пойти вверх. Когда он подымется выше уровня башни, его потащат к себе последние две мачты, находящиеся за башней. Бак поползет и сядет на башню.

Должен сесть. Не сесть не может.

Первый прораб, которому была поручена подготовка бака к подъему, Шистко, внезапно уехал в Луганск. Он долго молча сидел там, потом прислал письмо, в котором путано сообщал, что вернуться не может.

Подъем был поручен Мельникову. О нем ходили легенды. На стройке ХТЗ его прозвали «железным прорабом». В метели, в ветра он один решался лазить по раскачивающимся мачтам.

Рассказывали, что он был когда-то моряком. Огромный седеющий человек с голубыми глазами. У него была хорошая глотка. Казалось, такого никакая сила не свалит.

Пустяковая простуда, воспаление уха свалили железного прораба. Его увезли в Харьков делать трепанацию черепа.

Откуда-то привезли старика такелажника Пономарева. Петушась, он пошел на площадку.

— Это мы можем! — говорил он со стариковской удалью.— Не такие подъемы подымали!

Он пришел на площадку и увидел бак. Почти склепанный, тот стоял на шпалах возле башни. Старик обошел бак кругом. Потом подошел к начальнику.

— Нездоров я, хозяин...— сказал он, съежившись.— Я уж уеду.

Старику подали машину и увезли.

Подъем бака поручили прорабу Глазунову. Личное руководство взял на себя начальник Мартенстроя инженер Лин.

Инженер Лин носил кожаную куртку и капелюху, наползающую мехом на глаза. С площадки Лин уходил поздно ночью. Ложась спать, он ставил около кровати телефон. К спинке кровати привешивал ручные часы. Телефон трещал всю ночь. В восемь утра Лин уже был на площадке.

Невысокий, легкий, похожий на подростка, он ходил по стройке, постукивая ногой об ногу. Несмотря на морозы, валенок он не носил. Ему еще не было тридцати. Он кончил советский вуз. Он работал на стройке Нигрэса и Штеровки.

Прораб Глазунов только что кончил свою работу на газопроводе. Еще не выцвели краски, которыми писалось на стенах: «Учитесь у глазуновцев». О нем говорили, что он хороший такелажник: в канатах не заблудится, канат чует, меру канату знает. Для такелажника канат то же, что для слесаря ключ.

Лин еще раз проверил расчеты, велел переделать звенья для мачт. Когда их переделали, Глазунов стал поднимать мачты.

Морозный, ветреный январь стоял на площадке. Кругом была степь, оттуда резкий, как хлыст, налетел ветер. Бак гулко звенел. Перчатки примерзали к железу.

Замерзшие люди забегали греться в деревянную конторку. Бак с водой, раскаленная печка, девочка-уборщица, дремлющая на лавке и вздрагивающая от хлопанья двери,— таких уютных уголков много на каждой стройке.

Мачты собирались из звеньев сверху вниз. Сначала подняли верхнее звено. Удерживаемое канатами (расчалками), звено повисло высоко над землей. Верхолазов Алексеева и Лысого послали на эту качающуюся верхушку укреплять расчалки. Они полезли по висячей лестнице, жалобно звякающей и гнущейся под ногами. Лысому все время казалось, что земля бежит от него. Наконец, они влезли на верхушку. Нельзя было понять, на чем она держится. Внизу, белая, дрожала земля, на ней копошились маленькие люди в синих ватных штанах, похожие на китайцев.

Вдруг заиграли лебедки, верхолазов стало качать. Лысый закрыл глаза.

Когда верхолазы все-таки благополучно спустились на землю, Алексеев замурлыкал песню.

— Молодец! — сказал ему прораб.

— У нас все молодцы! — ответил Алексеев.

В жестокие морозы люди лезли наверх и, зацепившись железной цепью предохранительного пояса о какую-нибудь точку, воевали с обледенелыми канатами. Звено подтаскивалось к звену, скреплялось болтами. Мачта росла и, наконец, последним, восьмым звеном прочно и тяжело становилась наземь.

— Еще одна,— говорил охрипший Глазунов. Он снимал капелюху и вытирал пот со лба. Несмотря на морозы, ему было жарко.

Бак стоял теперь в конвое стрел. Круглые заклепки тускло поблескивали, как солдатские пуговицы на френче. Некоторые заклепки были обведены мелом, около них написано на железном листе: «Срезать», или «Зачеканить», или «Заварить». Похоже было на корректурный лист.

О баке знали широко окрест. Знающие люди качали головой:

— Как бы расклепывать не пришлось.

Лин в ответ посмеивался. Его беспокоили только морозы: в такие морозы железо хрупко.

— Мне снился бак,— смущенно рассказывала жена начальника,— будто бак поднимала, а он упал.

Начальник, как и Лин, смеялся и размешивал сахар в стакане.

— Если бак упадет, он упадет нам на голову.

Пятую стрелу поднимали с земли целиком. Схваченная за горло блоком, она покорно шла вверх.

Вдруг сверху что-то полетело и, звякнув, упало наземь.

— Гайка, что ли?

Помощник прораба Поливянный нагнулся и ахнул. Глазунов бросился к нему.

— Что такое? — тревожно крикнул он.

Поливянный растерянно вертел в руке железный осколок.

— Ролик... лопнул...— прохрипел он.

Глазунов снял капелюху и вытер потный лоб. Позвонили Лину.

Перепрыгивая через канавы и кучи железа, Лин уже бежал к баку. Ему молча подали обломок. Лин взял его, посмотрел и скрипнул зубами:

— Чугун...

Кромку огромного чугунного ролика срезало скосившимся канатом, словно это был не чугун, а лед, дрогнувший в марте.

— Что будем делать, хозяин? — тихо спросил прораб.

— Ролик менять,— резко ответил Лин,— вот что делать. Немедленно менять ролик. И никакой паники.

Но сам он был мрачен и темен. Он унес к себе обломок и опять и опять рассматривал серые зерна излома. Он возился с чертежами. Проверял расчеты. Потом, обхватив голову руками, долго сидел молча.

Вечером он сказал начальнику:

— Подымать на таких роликах рискованно.

— Вывод?

Лин пожал плечами.

— Буду подымать. За роликами сам следить буду. Других нет.

Для испытания канатов и роликов Лин произвел пробный подъем бака на триста миллиметров. Стрелы и канаты выдержали испытание. Лебедки работали дружно и плавно. Тогда Лин составил список лучших такелажников, которым поручил проверить состояние всех стрел, канатов, узлов, жимков, болтов. Все проверявшие дали личную расписку в том, что они сами осмотрели свой блок или канат и нашли его в полном порядке. Человек осознает себя в ответственности. Каждый из этих такелажников с чувством великой гордости щупал канаты.

Ночью Лин, присев на край стола в конторке, проверял «список мелочей»: что сделано, что нужно сделать.

— Ты все сейчас отстаешь, Колодочка,— сказал он скуластому бригадиру,— чтоб к утру канат на лебедке был.

— Понял.— Колодочка, прищуривая левый глаз, бросает папироску на пол, приминает ее осторожно подошвой, натягивая рукавицы.— Понял.

Он выходит, негромко хлопнув дверью.

— Обойди бак и иди спать,— говорит Лин Глазунову.— Спать надо. Спать.

— Ну, спасибо, что еще раз зашел,— тепло и тихо отвечает Глазунов.— Да, спать...

На стене — часы-ходики. Двадцать минут третьего. Морозная ночь бредет по площадке. Подъем завтра.

Утром в конторе рвали на полоски кумач. Вороха красных лент валялись на столе. Было похоже — люди готовятся к праздничной демонстрации.

На площадке устранялись последние недоделки. Как всегда бывает, в последний момент их оказалось много. Лин был всюду: он сам ходил осматривать якоря, зачалки, лебедки. Вокруг места подъема уже стояла охрана.

В половине третьего Лин собрал в конторку командиров подъема. Они стояли один к одному, в брезентовых грязных плащах, валенках и капелюхах. Докуривали цигарки; сняв рукавицы, грели над печкой зябкие руки. Сбивали снег с валенок.

Лин вышел на середину с листком бумаги в руках. Это был приказ о порядке подъема.

— Подъем начать в три часа дня. Всем рабочим выдать красные повязки. Лиц, у коих повязок нет, удалять немедленно с площадки. Командует подъемом Глазунов. Он один отдает команду. Выполнять беспрекословно. Никаких советов и криков. Хочешь посоветовать — тихо передай мне. Чтоб паники не было. Ясно?

— Ясно.

— Расстановка людей такая: на якорях бригада Ломакина.

— Есть.

— Мартыненко ставит по одному человеку на каждую стрелу. Только с головой человека.

— Есть.

— Отвесы смотрит Керн.

— Есть.

— Лебедками командуют Поливянный, Беспалов, Медведев, Оборин.

— Все ясно? Прикажите всем, кто у лебедок, поднять уши на шапках. Слушать в оба. Световую сигнализацию знают все? Точка.

Он натягивает рукавицы и говорит веско:

— Это нам экзамен, товарищи.

Люди уже по местам. Глазунов несколько минут еще топчется около канатов, потом, кашлянув, говорит электрику:

— Ну, едем.

Они лезут на сигнальную вышку. Люди смотрят им вслед: вот уже долез прораб до верха, вот уже на вышке, вот хлопает рукавицами.

— Все по местам! — кричит Глазунов.

Гудит заводской гудок: три часа. Рокот раскатывается широко окрест; наконец, замирает последняя нота. Глазунов, как дирижер, разводит руками. Над лебедками — номера. Эти же номера написаны на баке возле блоков. Электрик включает лампы. Шестая и четвертая лебедки Поливянного, первая и седьмая Медведева начинают дребезжать. Медведевские — звонко. Поливянновские — с грохотом. У каждой лебедки свой голос.

Что-то звякнуло, лязгнуло на баке. Бак завозился на шпалах, заерзал. Потом плавно пошел вверх. Воробьев спокойно посмеивается в усы. Лин внизу жмет каблуком канаты. Снег кружится по площадке. Ни одного голоса не слышно. Только лебедки поют.

Бак висит уже над землей — десять тысяч пудов железа.

Лину нечего больше делать внизу. Вместе с Воробьевым они взбираются на верх башни. Здесь будет все решаться. Лин то и дело поглядывает на ролики.

Верхолаз Рыбалка лезет снимать зацепившийся канат. Сотни глаз снизу следят за Рыбалкой, за тем, как он заносит ногу, как лезет, как освобождает канат. Вдруг вся площадка ахает: канат пошел. Рыбалка повисает на нем. Ноги его болтаются в воздухе. Наконец, он цепляется ногами за канат и вылезает на верх башни.

Он смотрит вниз и отворачивается.

Воробьев указывает Лину: канаты сбились в кучу. Инженеры берут доску и начинают ею высвобождать канаты. Инженеры работают на самом краю башни. Когда они толкают доску вперед, кажется: этот их бросок — последний. Переступят край и полетят вниз.

Уже весь бак поднялся выше башни. Лин чаще посматривает на ролики. Сейчас начинается самое трудное: передача на башню. Бак вздрагивает. Потом, качнувшись, медленно подвигается по горизонтали. Теперь звенят пятая и восьмая беспаловские лебедки, вторая и третья оборинские. Остальные только подыгрывают.

Вдруг какой-то крик доносится снизу.

— Стоп! — Разом затихают лебедки. Тяжелая тишина падает на площадку.

Лин бросается к борту и кричит вниз:

— Что случилось? Что случилось?

Ему что-то кричат в ответ. Неясно. Кажется, с роликом что-то. Верхолаз полез выяснять.

Проходят долгие минуты. Лин нетерпеливо спрашивает, долез ли верхолаз. Отвечают: лезет еще. Лин бросается к другому борту и кричит:

— Разнесите людям по местам хлеб и консервы...

Наконец, Лин и Воробьев сами спускаются вниз. Они видят, как со всех концов бегут люди. Люди сбиваются в черную толпу около Беспалова.

— Что случилось?

Беспалов вертит в руках обломок: серый кусок чугуна. Люди молча стоят вокруг. Кромку ролика срезало.

— Я думаю, ясно,— говорит Лин,— подъем надо продолжать.

— Мартыненко! — кричит Лин.

— Есть!

— Лезай, друг, наверх, сиди около ролика и смотри в оба. Как канат начнет слезать с ролика, командуй «стоп!».

Мартыненко кивает головой и идет.

Лин снова на башне. Глазунову теперь трудно командовать: не весь бак виден ему. Команду берет на себя Лин. Он весь в движении: бросается от борта к борту, смотрит на ролики, на канаты. Но говорит и кричит мало. Он завидно спокоен.

Бак медленно, но неотвратимо идет на башню. Вот он захватил уже край, вот уже метр, вот уже полтора. Бак висит над башней на уровне ста миллиметров. Иногда опускается ниже. Люди, столпившиеся на башне, обеспечивают себе выход на лестницу.

Еще немного, и страшное останется позади. Лин поглядывает на ролики. Ему тоже трудно командовать: бак заслоняет. Тогда все подлезают под бак. Теперь можно идти за ним следом.

В девять часов вечера бак стоял на башне. Было первое февраля. Плавку можно дать в марте. Сто тысяч тонн стали — награда за риск.

Лин вылез на верх бака посмотреть, каково с мачтами. Ветер зло бил в лицо и, обессиленный, приникал к баку. Лин озабоченно думал: «Вот бак подняли, вода есть, сейчас надо форсировать мартены. Глазунова куда? Ясно: на шихтовый двор. Там сейчас важно...»

Его глаза запорошило снегом. Он протирал их зябнущими пальцами. Внизу лежал скученный старый завод. Какой дикарь его строил?

Постукивая ногой о ногу, Лин ходил по верху бака и всматривался в темноту. Будет так: новые доменные печи выдают чугун. Ковши идут прямо в новомартеновский цех. Изложницы со сталью попадут отсюда в стрипперное отделение, прямой подъездной путь. Отсюда болванка пойдет прямо в нагревательные колодцы блюминга. Обжатая валками и разрезанная на блюмсы, она попадет в прокатные станы. Готовая продукция выходит с завода.

От домен до прокатного цеха ляжет блистающая асфальтовая дорожка для авто. Инженер уже видит ее, она играет перед ним солнечными пятнами. Вдоль нее — деревья. Очевидно, тополя.

Тополя хорошо серебрятся весною.

Макеевка,
февраля 1933 г.

МУЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В 1906 году Максима арестовали и сослали на дальний Север — в Обдорск. Его везли в зеленых вагонах, за железными решетками на окнах, гнали по этапу, волокли по тюрьмам: с арестантской баржи он удивленно глядел, как, широкая, вольная, разливается Обь.

Выползши из душного трюма, он вдыхал вольный воздух, жадно дышал запахами реки. Он был волгарь, он любил реку, он глядел на воду, думал: «Дальше солнышка не увезут».

Его спрашивали:

— За что тебя сослали, Максим?

Он отвечал охотно и простодушно:

— За пятый год.

Когда люди допытывались, он добавлял:

— Барыню пожгли, Свиридову.

Он был батрак, пастух, печник, голытьба, сельский пролетарий, кочующий по окрестным селам с холщовым мешком за плечами и инструментом. На сходках он кричал горластей всех: «Жги бар». Он скинул мешок

и взял инструмент, когда пошли крушить усадьбы. Он ломал азартно и деловито, он разбивал их по бревну, по кирпичу. Он ломал, думал: «Вот она, новая жизнь, без бар, без купцов». Но его арестовали и повезли. Его везли сквозь Россию, сквозь широкие равнины.

В Обдорске Максим стал заниматься своим ремеслом печника,— на Севере печей много. Первое дело на Севере — печь. В свободное время он уходил в лес, в тундру промышлять зверя: горностая, лисицу, зайца-ушана.

В 1918 году Максима Гаврюшина избрали председателем Обдорского совета. Он пожалел, что плохо учился грамоте, но работать не отказался. После контрреволюционного переворота его арестовали и снова поволокли по тюрьмам. Он снова плыл в арестантской барке по Оби, сидел в тобольской губернской тюрьме. Валялся в переполненной, заплеванной, загаженной камере. Болел тифом. Умирал и выздоравливал. Полуживой «грузился» в арестантские вагоны. Равнодушно и тупо прислушивался к стуку колес, по ночам бредил и стонал, метался, рвался из вагона и, обессиленный, падал на нары. Он очнулся в концентрационном лагере на Дальнем Востоке, в Спасске. Первая его мысль была бежать. Поправившись, он бежал с товарищем в сопки, к партизанам. Ему было уже сорок лет, и его прозвали дядей Максимом. Это имя навсегда сохранилось за ним. Он решил навсегда остаться на Севере.

«Молодость кончилась,— думал он,— куда подашься!»

Вечная тишина тундры полюбилась ему, в шумном городе он терялся. В тундре он был дома. Он бродил с ружьем за плечами, неутомимый и крепкий, хлопотливый старик. Он читал на снегу песцовые следы, кружево леминга (полярной мыши), скачки оленя. Он читал: вот песец пил снег, вот он валялся и нежился. Экий шалун! Вот шел за медведем, питаясь его отбросами.

Первый год после демобилизации дядя Максим зимовал на Диксоне. Здесь были тогда только деревянный маяк с керосиновым фонарем, дымный жилой дом да склад. Восемь человек зимовало здесь. Восьмым был он.

В 1923 году дядя Максим поставил в бухте Диксона, в тридцати километрах от Диксона, свой деревянный балаган и стал промышленником. Двенадцать лет живет

он здесь, и давно уже это место прозвали «зимовкой дяди Максима», а ручей, что течет вблизи,— «ручьем дяди Максима». Здесь жил он со своей женой Татьяной. Рослой, большой и полногрудой женщиной, настоящей женой промышленника. Она знала промысел, тундру, охоту не хуже мужа.

Раз в три года дядя Максим выезжал в Красноярск, рассчитывался с трестом, покупал обновки, толкался среди людей и снова возвращался к себе на зимовку. Он обзавелся хозяйством, упряжкой собак, построил хорошую избу, приручил двух диких гусей, завел поросенка. Был ли он счастлив? Да, вполне. Но в это время погибла жена. Она ушла однажды вместе с приехавшей в гости женой диксоновского радиста Швецовой осматривать капканы и пасти. Ушли и не вернулись. Дядя Максим ждал их до вечера. Началась пурга. Он успокаивал себя: случалось и раньше жене блуждать в пургу по восемнадцати часов — такова тундра. Но вечером он не выдержал и бросился на поиски.

Он ринулся в пургу, как в реку. Волны снежной метели хлестали его в лицо. Бушевал шторм. Дядя Максим исходил все окрестности,— женщины не могли далеко уйти,— он искал их следы и не нашел, все было заметено метелью. Он метался во все стороны, потеряв спокойствие, звал, кричал, сам не слыша своего голоса. Он стрелял из винтовки, расстрелял все патроны, бывшие при нем, но ничего не услышал в ответ, кроме воя жестокого ветра. Тогда он вытащил на гору большую керосиновую бочку с грязным бензином и зажег ее. Он стоял у огня и ждал. Но ничего не дождался.

На другой день в собачьей упряжке он продолжал поиски. Он поехал в сторону Диксона, рассчитывая, что женщины уклонились туда. Ему встретился ехавший с Диксона радист Швецов.

— Как моя жена гостит? — весело спросил Швецов, и дядя Максим опустил голову...

Теперь они продолжали поиски вдвоем и, наконец, нашли два замерзших трупа. По следам они прочли драму. Женщины сбились с дороги. Они взяли не влево, а вправо, болезненная жена Швецова, очевидно, не могла идти, Татьяна ее тащила. Устав, они остановились. Здесь их застала смерть.

Теперь дядя Максим остался один в своей зимовке, в своей тундре, у своего ручья. Ему не с кем было ска-

зать слово. Он рубил дрова и разговаривал с деревьями.

Он вел долгие разговоры с капканами, которые чинил, с собаками и с тундрой. Он говорил, чтобы слышать человеческий голос, чтобы не разучиться разговаривать. Он вмешивался в собачью драку, бил их, мирил и судил, испытывая потребность в обществе. С какой надеждой ждал он гостей! Уходя на промысел, он по обычаю тундры оставлял в избе записку, где лежат хлеб, спички, пшено. В записке он приписывал: «Дождитесь, скоро вернусь». Он возвращался, но его никто не встречал.

В мае тундра начала оживать, в июне появились гуси, сошел снег,— короткое северное лето коснулось своим крылом Максима и согрело его. Он чаще стал смотреть на реку, ожидая: вот за этим далеким мыском покажется нежный дымок парохода.

Все оживает вокруг. Зашумели гудки пароходов над рекой; курлыча, пролетают гуси, утки; журчит ручей, веселый шум стоит над тундрой, над Севером. Едут люди. Люди, умеющие разговаривать, петь, смеяться, кричащие звучным голосом. Едут промышленники, рыбаки, географы. На пароходах, на баржах, на лихтерах, ледоколах, летят на самолетах. Никогда не было столько людей на Севере, никогда не было так шумно на Енисее. Старик смотрит и удивляется.

Приехавшие люди сказали дяде Максиму, что будут ставить новые промысла и зимовки. Прежде от Диксона до бухты Омулевой была только одна зимовка дяди Максима, потом появилась еще одна, сейчас их пять. Молодые промышленники нерешительно осматривались на незнакомых местах. Они обращались за советами к дяде Максиму.

И он охотно, долго и обстоятельно отвечал на вопросы. Он суетился вокруг молодых, хлопотал, волновался. Он говорил, что промышленник перво-наперво должен уметь ходить по тундре.

Молодежь внимательно слушала старого промышленника, а он разошелся, он чувствовал себя молодым и ловким, он кричал, куражась:

— Ого, я какой, ну-ка, молодежь, ну-ка, соседи. Поглядим, кто промышлять лучше будет. Хоронить меня рано.

В прошлом году Главное управление Северного морского пути премировало старика путевкой в Кисловодск.

Он отдыхал, он добросовестно лечился, он с уважением глядел на докторов, беспрекословно подчинялся им, пил нарзан, семенил на прогулки. Это был благоприятный край, теплый, ласковый. Но все-таки,— в этом старик признавался себе, не желая никого обидеть,— все-таки Север был лучше.

В Москве ему встретились старые знакомые — бывшие ссыльные, начальники они теперь. Они приглашали дядю Максима оставаться жить в Москве, он качал головой. Он боялся ходить по Москве, он удивлялся москвичам, как они не боятся трамваев, автомобилей, машин. Они ходили по Москве уверенно, как дядя Максим по тундре.

«Каждому свое»,— подумал старик; еще пуще захотелось ему домой, на Север.

Он приехал в Красноярск и стал собираться на зимовку. Но промышленнику нельзя без хозяйки, и дядя Максим на пятьдесят седьмом году снова женился. Он чувствовал себя молодым и сильным.

Да, он чувствовал себя молодым и сильным, годным к труду, борьбе. Нет стариков в нашей стране. Он чувствовал в себе силы, удесятеренные отдыхом. Он снова был на Севере.

[*1935*]

«НИКАНОР-ВОСТОК»

О чем он думал в эти бездельные часы в темной молчаливой шахте? У него было время подумать: он кончал работу раньше всех.

Ему было тесно в десятиметровом уступе. Он владел тяжелым отбойным молотком, как рыцарь — шпагой. Он и был рыцарем угля, забойщик Алексей Стаханов. Он фехтовал молотком. Он делал выпады и наносил удары, всегда точные, всегда сокрушительные. Он попадал в самые уязвимые места пласта. Мастера любовались его благородным искусством рубки.

Он мог бы давать горы угля: в своих руках он чуял силу мастера, руки нетерпеливо хотели рубать, рубать, рубать, но пневматический молоток вдруг захлебывал-

ся — ему не хватало воздуха,— судорожно всхлипывал и умирал.

— Воздуха-а-а! — зло кричали забойщики. Уголь дразнил их, он подпирал к горлу.— Воздуха-а-а!..

Но воздуха не было, молоток был мертв. Стаханов отшвыривал его и валился на спину. Он лежал в мрачной конуре уступа и злобно смотрел в матово поблескивающую кровлю.

И все-таки он кончал работу раньше всех. Ему смешна была норма, что давали ему на наряде. Ему было тесно в уступе. Он хотел рубать, но рубать было негде.

Что же, выезжать на-гора́? Это было неловко. Он вылезал в штрек и там сидел по-забойщицки, на корточках, поджав ноги. Лампочка болталась на поясе, ее непрочный, прыгающий свет дрожал на тусклых рельсах, на породе, в лужах подземной воды.

В шахте нельзя курить,— он сидел и думал.

О чем он думал в эти бездельные, томительные часы? О славе, о любви, о предстоящей получке?

Нам кажется, больше всего он думал об угле. Уголь окружал его. Уголь сжимал его со всех сторон. Он дышал углем. Угольная мелочь поскрипывала на его зубах. Когда он втягивал воздух носом, ноздри его делались черными.

Уголь! В самом дальнем уступе, раскинув руки, спал на угле отличный забойщик — комсомолец Митя Концедалов. Кудрявой головой он прижался к угольному пласту. Мыслимое ли дело? Страна задыхалась от жажды угля, а отличный забойщик спал в уступе! Но он «имел право» спать,— он давно перевыполнил норму. Он храпел на зависть соседям, еще ковырявшим молотками.

Огромные подспудные силы дремали в этих могучих людях. Это были невскрытые пласты талантов. У одних талант петь, у других талант рубать уголь. Они могли рубать больше, лучше. Они могли выжать из своих молотков чудесные силы,— дайте же им воздуха, дайте им ход, сломайте проклятую шахтерскую рутину!

Об этом нельзя было не думать в томительные часы безделья, когда шахта сидела в прорыве, а механизмы и люди работали вполовину своей мощности.

А Донбасс лежал, раскинувшись могучими свитами пластов, жирными, богатыми жилами.

Угля было много, он тосковал по людям. Тосковали мощные пласты «Великана». Струились танцующие, прыгающие «Мазурки». Крепкие «Алмазы» ждали острых зубков. Вытянулись аршинные «Аршинки», «Десятки», пласты «Толстые» и «Тонкие». И податливые «Берали» охотно подставляли свои мягкие, рыхлые недра кирке шахтера.

Угля было много. О, много еще в старом Донбассе угля. И где-то среди этих черных каменных рек тек и «Никанор-Восток» — родина стахановского движения.

«Никанор» — пласт, в который сначала не веришь. Он начинается двумя тощими струйками угля, а между ними огромные отмели глины. Глины больше, чем угля.

Но следует терпеливо и упрямо идти по угольному следу, по всем изгибам и капризинам жилы, нужно все время держать жилу, как ящерицу за хвост, не упуская, и тогда вы наверняка придете к месту, где вдруг сливаются два ручья вместе, глина исчезает,— и вот перед вами крутой, крепкий, струистый пласт, пласт, которому верить можно.

Три человека верили, что на «Никанор-Востоке» можно показать чудеса.

Три человека лежали августовской ночью в отвесно падающей лаве, укрепившись ногами о сосновые стойки. Начальник «Никанора» Машуров озабоченно озирался: хватит ли леса. Парторг Константин Петров держал лампу. И при свете ее Алексей Стаханов рубал уголь.

Он рубал один, в большой гулкой лаве — теперь ему не было тесно. Молоток дрожал от избытка воздуха, он гудел, как самолет, но подчинялся твердой руке мастера. Впервые за забойщиком шли крепильщики. И не успевали.

Большое дело начиналось здесь,— дрожащий свет лампы освещал взволнованные лица, но люди не чуяли еще размаха всего, что делали. Они знали только: работать, как раньше, нельзя. И каждый удар молотка Стаханова попадал в самые уязвимые места старого Донбасса. С грохотом рушились традиции. С треском ломались старые навыки, повадки, нормы. Новая сноровка, новое уменье, новые порядки рождались на «Никанор-Востоке». Гул отсюда пошел по всей стране.

Но раньше всех взволновались сами шахтеры «Никанор-Востока». Они сгрудились возле вышедшего из

клети Стаханова и спрашивали его недоверчиво и тревожно:

— Врут, что ты сто тонн вырубал?

— Вырубал,— отвечал Стаханов,— можно и больше вырубать.

Митя Концедалов потерял сон. Он не спал даже ночью дома. Он ворочался и спрашивал жену:

— Неужели я не справлюсь? Неужели не вырублю столько?

Он прибежал в шахтком комсомола всклокоченный, похожий на молодого петушка.

— Ленинский мы комсомол или не ленинский? — закричал он.— Дайте мне лаву, я покажу, как комсомол рубает.

На наряде Машурова обступали забойщики.

— Мы не мастера говорить, а мы мастера рубать,— заявляли они.— Пусти нас в лаву.

И новые рекорды прогремели на всю страну.

Давно скучал Донбасс по таким шахтерам. Сюда приходили раньше временные, легкие, кочевые люди, у которых вместо ног — колеса. Они текли сквозь шахты, как сквозь дырявое решето. Куда их несло? Чего они искали? Они бродили с шахты на шахту, почва горела под их ногами.

В шахте их презрительно звали «конешниками». Они вырубывали только одного «коня» (треть крепи),— остальное время они спали. Они рубали лениво и «для близира», чтоб не сочли прогульщиками, не прогнали с шахты, не лишили койки, пайка, карточки, талона в столовку. За заработком они не гнались. Зачем? Много ли надо денег, чтоб выкупить паек! Когда появились «Гастрономы», они стали рубать чуть больше. Они ударяли лишний раз обушком и приговаривали:

— Это на колбасу... Это на пол-литра...

Жизнь сдула «конешников» с шахт. И на «Никанор-Востоке» закрепились люди, которые любили шахту и полагали всю свою жизнь прожить здесь, среди сосновых стоек крепи, под синей шапкой террикона.

Они работали в шахте, чтобы у страны был уголь, а у шахтеров зажиточная жизнь. Чтобы румяные детиш-

ки бегали в школу. Чтобы жена ходила в шелку. Чтобы старые друзья приходили в гости на добрую чарку водки, послушать радио, поговорить о жизни.

Отличные забойщики собрались на «Никанор-Востоке» вокруг Николая Игнатьевича Машурова. Сам старый горняк, коренастый и молчаливый, он распознавал людей, как пласты: жидкий или стоящий.

Он стоял среди своих шахтеров в нарядной, чуть расставив толстые ноги, и, покачиваясь, спрашивал:

— Ну, орлы, какую сегодня дадим добычу?

Шахтеры смеялись. Сейчас нельзя было называть старых норм. Старое рухнуло, стоило ли о нем толковать? «Пласт крепкий, кровля сложная, воздуху мало»,— этим теперь не оправдаешься. Теперь надо говорить настоящие цифры, взвесив свои силы, пощупав свои руки. А каждый забойщик свою руку знает.

— Ну, стахановцы, сколько? — покачивался Машуров.

Васильков задумчиво смотрел на грязный, покрытый угольной пылью пол нарядной. Васильков знал: сколько скажешь Машурову, столько надо вырубать. Слово шахтера — уголь.

Наконец, он поднял голову.

— Я пройду сегодня сорок метров,— сказал он и снял войлочную шляпу.

Шахтеры с любопытством посмотрели на него, а Машуров спокойно усмехнулся:

— Да, меньше тебе рубать нельзя. У тебя рука хорошая.

Я лежал в уступе Василькова, приникнув к прохладному скату, и смотрел, как он рубает свои сорок метров. Никогда так раньше не рубали уголь.

Васильков не потерял ни одной минуты. Он приполз в уступ, осмотрел перекрышки, продул шланг и открыл кран. Молоток вздрогнул, Васильков крепче сжал его обеими руками и ворвался в пласт. Облако угольной пыли взлетело над нами, ударилось о низкую кровлю, а затем из-под молотка на скат начал сыпаться уголь. Все быстрее и быстрее, все гуще и гуще. Треск молотка и стук падающего угля слились вместе; эта музыка больше уже не умолкала.

Казалось, что Васильков висит между стойками крепи: его ноги упирались о стойки, а руки прикипели к молотку. Все его тело вздрагивало. Его словно под-

брасывало сжатым воздухом и бросало вперед, вперед, в черную тьму пласта.

Он работал молча, сосредоточенно. При тусклом свете лампы он как-то безошибочно, чутьем находил струю, самое уязвимое место пласта, то, что шахтеры называют «кливажем», и сюда беспощадно врывался острым зубом молотка. Он вгрызался глубже, глубже, в самое сердце пласта, потом с силой выдергивал руку, продолжением которой был молоток,— огромные глыбы угля покорно падали вниз к ногам забойщика.

Так он шел по длинному уступу сверху вниз, и там, где еще недавно стояла сплошная стена черного угля, вдруг образовывалась широкая улица, словно распахивались перед забойщиком пласты и разрушались горы.

А сзади, еле поспевая за Васильковым, полз крепильщик Ткаченко. Пот блестел на его грязных щеках; Ткаченко торопливо ставил стойки под матовую кровлю, прилаживая обаполы,— и хмурая лава вдруг становилась похожей на подземный белоколонный дворец. Прекрасные колоннады возникали по следу крепильщика, стройные, круто падающие вниз галереи.

По этим галереям торопливо бежал уголь. Он бежал все быстрей, шумной, волнующейся горной рекой. В верхних уступах тоже трещали молотки, и отовсюду тяжело падал уголь, черный, жирный, зернистый, приятный на ощупь. Он падал с шумом и грохотом и дробился на плитах. Он, словно водопад, с ревом стремился вниз. Он переполнял люки, просеки. Он стучался в закрытые заслоны. Он набухал и становился страшным.

А внизу метались отгребщицы. Не хватало вагонов. И десятник Цвинда ласково ругался:

— Стахановцы, черти... Вагонов на них не напасешься...

И вдруг замер молоток Василькова. Я услышал, как забойщик чуть не со слезами в голосе выругался и швырнул молоток в уголь.

— Что случилось? — испуганно закричал Ткаченко.

— Молоток испортился!..

Огромное горе слышалось в голосе Василькова. Он скрипнул зубами. Вероятно, он подумал сейчас: «Как я выеду на-горá, не срубав сорока метров?» Ему захотелось царапать уголь ногтями.

Три месяца назад он спокойно бы вылез на-горá. Молоток испортился — причина уважительная. Но теперь

на «Никанор-Востоке» другие традиции. Уже полз к Василькову дежурный слесарь. Он торопился. Он знал: каждая минута — уголь. В пятнадцать минут он сменил цилиндр в молотке Василькова, и тот стал снова рубать.

Снова поползла, побежала, помчалась вниз угольная река. Она смешалась с рекой, которая падала сверху. Там рубал Синеговский. По всей шахте гремели молотки.

По всему Донбассу гремели молотки. Повсюду весело падал в вагоны уголь. Повсюду ломались барьеры, прорывались плотины, удлинялись уступы, выше и шире становились цеха, новые горизонты распахивались перед людьми...

...Простите взволнованность этого очерка. Я не могу спокойно писать об Ирмино. Здесь, в километре от Центральной, я родился. Вот он — домишко с железной заплатанной крышей. Вот соседская изба под очеретом. Ребята, с которыми я когда-то рыл шахты в песке, стали теперь шахтерами, инженерами, парторгами, мастерами угля...

Центральная-Ирмино,
1935

СЫН НАРОДА

Впрочем, он мог отказаться. Инструктор крайкома так и сказал ему, пожимая плечами:

— Если вы не хотите ехать на Север, вы можете отказаться.

При этом инструктор усмехнулся. Жестко, насмешливо. «Мобилизован», «переброшен» — эти слова надо ценить — они и приказ большевику и награда. Инструктор знал это и усмехался: ну, откажись. Трусишь? Боишься Севера?

— Нет, я поеду,— сказал Деревцов и сам испугался категоричности своих слов.— Я подумаю,— добавил он поспешно.

Вот он думает.

Север! Белое безмолвие, пустыня, одиночество, злые пурги, собачий унылый вой, тоска, глушь... Значит, он откажется? Он трусит? Нет, нет, он не трус. Друзья

знают — он не трус. Его воспитал комсомол. Он не боится смерти. Пошлите его на войну, на границу. Он не дрогнет под пулями. Но Север — загадочный, непонятный, далекий край света, самая последняя кромка земли, дальше и нет ничего: Ледовитый океан, Северный полюс. Он представлял себе: бредут нарты, воют собаки, снега, снега, ни огня, ни хаты, мерзлый хлеб, застывший жир консервов, ни газет, ни людей — и так год, два, три... Да, он трусил, он боялся такой жизни.

Он разыскивал в Красноярске людей, приехавших с Севера. Их легко было узнать. Они бродили по пыльному, жаркому городу в сапогах, шитых из желтого в серебристых пятнах меха нерпы, или в оленьих бокарях. Они толкались на базаре, радуясь возможности покупать. Они давно уже ничего не покупали. Они были богаты. Деньги не имели для них цены. Они толпились на вокзале. Они сами еще не знали, куда им ехать. Но можно было ехать, куда хочешь. Это была магистраль. Жители арктических островов называли все, что находится южнее Полярного круга, Большой Землей. Жители тундры звали это магистралью.

Деревцов жадно расспрашивал их: какой он, Север? Жить там можно? Трудно? Очень?

Люди отвечали уклончиво, разно.

Одни говорили:

— Жить, парень, везде можно.

— А чего ж, однако, не жить? — пожимали плечами другие.— Вот кой-чего прикуплю здесь, стариков навещу, да, однако, и обратно на Север.

Но встречались и другие люди с Севера. Один заядлый старикашка в обтрепанных бокарях, подвязанных бордовыми шнурками, закричал на Деревцова:

— Куда вы суетесь, молодой человек? Вам что, жизнь надоела?

— А что? — испугался Деревцов.

— Цингой болели? Северянам не страшно, а вам смерть. А пургу знаете? Своей руки не видишь. Смерть.

И Деревцов сидел, склонившись над дневником, и писал: «Пойти отказаться? Спросят: почему? Перечислить все, что есть страшного на Севере и что поэтому я не хочу ехать? Меня за это назовут трусом, и это будет правильно».

Трус! Презреннее этой клички в комсомоле ничего не знали. Трус, дезертир... Нет, нет!

Он ехал долго, два месяца. Наконец, он приехал на зимовье, где ему предстояло отныне жить. Зимовье называлось странно — Сопочная Карга. Над рекой стоял сырой туман, шли холодные дожди, обычные здесь в это время.

Камни, мокрый мох, скалы... Опрокинутый баркас на берегу. Пустые бочки. Несколько деревянных избушек. Одинокая радиомачта. Вот, стало быть, где ему жить. Он вытащил на берег свои вещи. Здравствуй, Север!

Енисей скоро покрылся льдом. Это случилось внезапно, сразу. Беспорядочные, уродливо исковерканные льдины нагромоздились одна на другую, спаялись вместе и — застыли.

Деревцов завел маленькую тетрадку. На первой странице он написал: «Фактория находится на 82°40″ в. д. и 71°50″ с. ш. Над ней Полярная Звезда находится высоко, под углом 75°. Тут же он приложил «чертеж этого угла». Место, которое занимал под Полярной Звездой Деревцов, определилось, таким образом, совершенно точно.

Потянулись однообразные дни, медленная жизнь зимовья. Больше всего в ней было забот о погоде. Ночью, ворочаясь на постели, прислушивались: тихо ли? Утром бросались из избы: какой ветер? Откуда дует? Поземок? Пурга?

Деревцов колол дрова, таскал снег, топил из него воду, ездил смотреть капканы и пасти — не попался ли песец,— менял приманку-накроху: рыбу, тухлые яйца, замерзшие шарики крови. Ходил на охоту, но неудачно. Однажды убил луня, полярную сову, птицу несъедобную и вредную. Вечером читал зимовщикам вслух, объяснял, слушал радио, играл в домино.

Первое время Деревцов хворал, мерз — обморозил нос, щеки. Потом обтерпелся, привык. Деятельно изучал Север. Ему предстояло скоро двинуться в большую дорогу — шестьсот километров — по зимовьям и промыслам его района, на север до Диксона и оттуда на восток до устья Пясины, по побережью Карского моря. Если он выдержит эту поездку, значит — годен для Севера. Но он боялся: не выдержу!

Четвертого февраля в одиннадцать утра он тронулся в путь на девяти собаках. Собаки принадлежали фельдшеру Диксона Андрееву, он возвращался на остров после объезда района. Он согласился взять Деревцова до

Диксона. Погода была плохая, пасмурная. Падал снег. Ветер — юг.

К вечеру они доехали до мыса Шайтанского и остановились на ночевку в маленькой пустой избушке. Затопили печь. Натаяли снег в пустых консервных банках. Пили чай.

Снег падал всю ночь. Мягкие, густые хлопья его носились в воздухе. Ничего не было видно окрест. Собаки еле тянули нарту. Они проваливались по брюхо в пушистый снег и беспомощно барахтались, было похоже: они плывут по реке. Да, скверная была дорога, то, что называется на Севере «бродная».

Деревцов и Андреев по очереди уходили вперед, прокладывали путь собакам. Они шли спотыкаясь, мучительно было вытаскивать ноги из глубокого снега.

Где они теперь находились? Это было трудно сказать. На юг, на север, на запад, на восток все было одинаково: белая снежная пустыня. Они знали только направление: север. Стрелка компаса гнала их вперед, на север, на север.

Андреев скоро убедился, что сбился с дороги.

— Должна быть лайда,— бормотал он.— А лайды нет.

Где они были, на реке или в тундре? Они не знали и этого. Метет метель, ничего не видно. Темень стояла над миром.

Андреев стал топором рубать яму.

— Зачем? — испугался Деревцов.— Неужели ночевать здесь в яме?

Но Андреев рубал яму не для ночлега. Он хотел узнать, где они. Он дорубался до льда — значит, они сбились, попали в залив. Повернули на восток, к берегу. Через некоторое время Андреев снова вырубал яму, оттуда выглянул жалкий коричневый клочок мха. Они были на берегу. Но где? Андреев пожал плечами.

Уныло побрели они берегом. Собаки хрипели. Люди задыхались. Так доползли они до занесенной снегом избушки. Летом здесь жили рыбаки, сейчас она занесена снегом. Они попытались войти в избушку. Долго отгребали снег от дверей. Усталые, ввалились в избу. Бросились шарить по полкам. Ничего, ни крохи хлеба, ничего. У них тоже ничего не было. Голодные собаки тихо выли.

Высокий худой Андреев посмотрел на Деревцова:

— Не боязно? Ведь впервой?

— Нет, ничего,— Деревцов озлился: неужто он в самом деле трусит? Он стиснул зубы.

— Надо ехать,— сказал Андреев.— Здесь сдохнем. Надо найти Каменку. Она где-то здесь, близко.

Андреев хмуро смотрел на собак.

— Не уехать на них вдвоем,— задумчиво прошептал он.

Ах, вот в чем дело. Ну, что ж, Деревцов готов остаться ждать.

Он долго стоял и смотрел вслед Сергею Андрееву. Собаки медленно брели по бродному снегу. Наконец скрылись. Он остался один. Один во всем этом белом безмолвии, один на всю тундру. Найдут ли его? А снег все падал и падал...

Деревцов провел в избушке ночь, день и еще ночь.

«Пропал?» — спрашивал он себя. И странное дело — больше он не чувствовал страха. Он был один на один с чужой, суровой природой. Кричи — никто не услышит. Беги — никуда не добежишь.

Он питался только снегом. Он мог бы выпить весь снег кругом, всю тундру,— и это не насытило бы его. У него были только дрова. Он поддерживал огонь в печке. Было тепло. Можно было лечь и уснуть. Уснуть. Уснуть. Так вот и умирают трусы на Севере. Закутаются в теплую одежду — и больше не просыпаются. А что же другое делать? Ждать? Чего? Добрел ли до Каменки фельдшер, или кружит где-нибудь по тундре? Двое суток ведь прошло. Ждать? Ждать, пока сдохнешь с голода? Сейчас в нем есть еще силы, чтобы идти. Немного сил, последние ресурсы человеческого мотора. Пройдет день-два, они иссякнут, нет горючего, он голоден. Он будет лежать здесь, как мешок костей, жалкий, беспомощный. Нет, пока еще есть сила — идти. Идти навстречу спасению, если оно близко, или умереть, но умереть, борясь за жизнь.

Он встал на ноги. Надел сумку. Шатаясь, вышел на улицу. Его обожгло холодом. Вернуться в теплую избу? А там что будет? Нет, так поступают трусы. Вперед! Лучше умереть в дороге, чем на печке. Он помнил направление — на север. Он брел, спотыкаясь на торосах.

Через каждые сто сажен Деревцов останавливался отдохнуть. Тогда его охватывал холод. Он дышал на ру-

ки, пытаясь согреться, колотил ногой о ногу. Но голодного ничто не греет.

Он увидел старые брошенные пасти. Тайная надежда вспыхнула в нем: найти песца и съесть его. Надежда окрылила его. Это было бы удачей, счастьем, спасением. Дрожа от нетерпения, он бросился к пастям — в них ничего не было. Он брел от одной к другой, спотыкаясь от усталости, голода и разочарования.

Внезапно раздался выстрел. Деревцов встрепенулся. Спасение! Оно близко. Он увидел собак и человека на нарте. Шатаясь, он побежал навстречу.

Это был Сергей Андреев, его неудачливый товарищ. Он был страшен. Где он был? Где ночевал? Андреев махнул рукой — там, в тундре, в снегу. Нет, он не нашел Каменки.

Двух собак в упряжке не было. Деревцов спросил: где они?

— Застрелил. Накормил собак. Сам поел.

— Дай... и мне...

Андреев вытащил мерзлый кусок — это была собачья печенка — и протянул Деревцову:

— Ешь, политрук. Больше у меня нет ничего.

Деревцов начал грызть мерзлую печенку. Он торопился и задыхался от голода. Он поборол в себе брезгливость и отвращение. Он ел псину, чтобы жить, чтобы двинуться в путь, добраться до Пясиной, гнать пушнину.

Андреев сидел на нарте, обхватив голову руками.

— Пропали! Пропали! — шептал он.

Но Деревцов, поев, чувствовал в себе силы. Пропали? Как бы не так! Большевики так, за зря, не пропадают. Даже на Севере. Пошли! Они тронулись в путь. Собаки еле-еле брели по снегу. Люди молчали.

Так шли они, пока не выбрались на дорогу, которую узнал Андреев.

— Скоро Каменка! — закричал он.— Но нам... не доехать.

Собаки действительно выбились из сил. Деревцов решительно слез с нарты и снял вещи.

— Я подожду здесь,— сказал он, делая попытку улыбнуться.— Вали один. Я подожду.

Он снова остался один, в тундре, даже домика не было, но теперь он знал: трус побежден в нем. Неужто он не победит Север?

Скоро за ним приехали.

Мы встретились с Деревцовым на Диксоне. Он ехал в обратный путь. Он побывал уже в устье Пясиной. Обозы пушнины ползли за ним. Он обошел и объехал самые далекие избушки, где никогда не видели политработника. Он рассказывал людям о Большой Земле, о партии, о комсомоле.

На Диксоне он не хотел задерживаться. Разумеется, здесь отлично жить — электричество, комфорт, много людей, культура, но его тянуло в дорогу, к одиноким промысловым избушкам, занесенным снегом по самую крышу, в дымный чум ненца, в походный балок юрака.

Он думал: «Чего мне страшиться теперь? Я видел белое лицо смерти, неужели я испугаюсь, если случится увидеть смерть, поблескивающую сталью?» Он стал мужественней и молчаливей. Он стал старше. Когда осенью уходили корабли, он спокойно сказал: «Я остаюсь на Севере» — и проводил последний дымок без тоски, без грусти.

Вот он бредет сегодня на собаках по Хатангской тундре, рядовой бесстрашный сын народа. Ровно бегут собаки. «Усь! Усь!» — кричит каюр. Далекий путь...

[*1936*]

[ЗИМОВКА НА ДИКСОНЕ]

[*1935 год*]

5 марта

До сих пор мы летели на восток, юго-западный ветер был нашим желанным попутчиком. Отсюда Молоков резко изменит курс на север. Другие ветры нужны нам, другие края лягут под нашими крыльями. Замечательные, богатейшие края.

Мы полетим над могучей сибирской рекой Енисеем. Енисей — широкая дорога края. К его крутым берегам прижались города и села. Летом его воды несут речные суда и пароходы. Зимой его лед принимает самолеты. В заполярные порты Игарку и Усть-Порт заходят в гости флаги всех наций. Энергия работяги Енисея будет питать мощнейшие гидростанции. Над энергичной рекой лежит наш воздушный путь.

До самой Подкаменной Тунгуски весь район богат золотом. Оно лежит обильными, щедрыми россыпями по правым притокам Енисея. Здесь, в тайге, находится большой механизированный Питский комбинат. Мы будем пролетать над древним старательским городком Енисейском. Он становится центром лесохимической промышленности.

Дальше наш путь лежит над дремучим Туруханским краем. Туруханск! Навязчивый синоним глуши, медвежьего царства и немыслимой отдаленности. Мы покроем этот край в несколько часов. Но какая же это глушь? Это совсем близко. Это — только начало нашего пути.

Туруханский район богат каменным углем, экспортным лесом, отличной рыбой и ценной пушниной. В Туруханске — рыбоконсервный завод, в его окрестностях — графитные рудники.

Затем мы пересечем Полярный круг. За Полярным кругом находится порт Игарка, сказочный город, рожденный революцией. Сюда по Енисею доставляется ценнейший экспортный лес. Здесь визжат пилы лесозаводов. Под Игаркой, в Курейке,— огромные залежи графита.

За Игаркой мы простимся с тайгой и полетим над тундрой. Не разгаданный еще и неисследованный далекий Таймыр привлекает к себе внимание борцов за Север. Знатный это край. Его богатства ждут только крепких и энергичных рук. Здесь есть все: уголь, соль, рыба, зверь, пушнина, олени; нужны только руки и, пожалуй, дороги.

Центр Таймыра — Дудинка. В ней мы будем ночевать. В ста километрах от Дудинки — Норильское месторождение. В Норильском месторождении есть никель. Здесь началось уже строительство шахт.

Следующая остановка — в Усть-Порту. Здесь большой рыбоконсервный завод на восемьсот тысяч банок в год. Таймыр богат рыбой. Омуль, нельма, осетр, сельдь ловятся на промыслах, разбросанных по побережью. Бьют здесь и морского зверя — нерпу, тюленя. Охотники промышляют песца, его мех доставляют наши самолеты в Красноярск.

За Усть-Портом Молоков поведет самолет над местами, где зимой еще не летали. Мы пролетим Гольчиху — в ее районе добывают янтарь. Мы пролетим над промыслами и факториями и сядем на острове Диксон, одном из важнейших центров Севера.

Таков наш маршрут.

7 марта

Всю ночь и утро 5 марта на трассе бушевала метель. Вокруг нашего одинокого самолета намело сугробы. Все утро Молоков ждал погоды, наконец дождался. К полудню метель стихла, небо немного очистилось от облаков. Решили лететь.

С трудом оторвались от Енисея: образовалась наледь, вода выступила из-под льда, лыжи проваливались в мокрый снег. Начальник авиабазы Подкаменной Тунгуски Александр Петрович Сежитов, задыхаясь и проваливаясь в глубокий снег, бежал за самолетом, помогая выруливать. Наконец в 13 часов 40 минут по местному времени оторвались от аэродрома, поднялись в воздух.

Снова над тайгой, над Енисеем. В 16 часов 40 минут пролетели Туруханск. В 17 часов 20 минут пересекли Северный полярный круг. Мороз — двадцать пять градусов. На много километров окрест — тайга, безлюдье, синие просторы, снег.

Сознаем торжественность момента. Радист выстукивает: «Алло, алло! Говорит самолет Молокова. Пересекли Полярный круг».

Ровно в шесть часов вечера Молоков повел самолет на посадку на родной ему игарский аэродром. Встречать своего любимого летчика вышло все население заполярного города. На здании управления порта приветственные международные флаги: язык этих флагов-сигналов гласит: «Привет Герою Советского Союза Молокову».

После безлюдной тайги, туманных просторов лесотундры, безмолвия широкого Енисея неожиданны здесь и эти флаги, и эти трубы, и оживленные набережные, и электрические прожектора, и весь этот сказочный деревянный город, в котором все заставляет забыть Заполярье и все напоминает о большевиках, победивших Заполярье.

Вечером в клубе полторы тысячи глоток и три тысячи ладоней приветствовали Молокова. Отсюда год назад Молоков улетел «в служебную командировку» спасать челюскинцев. В этой командировке сейчас отчитался Молоков. О следующей своей «командировке» — перелете на остров Диксон — отчитается на обратном пути.

Сегодня в Игарке зимний физкультурный праздник в честь Молокова. Лыжники будут оспаривать приз имени героя. Завтра вылетаем в Дудинку.

8 марта

Подкаменная Тунгуска находится на 61-й с половиной параллели. Небольшое бревенчатое село на Енисее, в Туруханской тайге.

Село древнее. Поставленные вразброс древние избы потонули в сугробах.

Летом сюда заходят пароходы, зимою единственное средство связи — аэроплан. Рейсовый самолет здесь, как поезд на глухом полустанке,— навстречу ему выходит все население села. Женщины машут платками, ребятишки кричат.

В селе — колхоз. Зимою бьют соболей, лисицу, летом ловят рыбу, еще делают бочки и тару для рыбы, садят картофель. И зверя и рыбы здесь много.

Здесь есть больница на три койки, ясли, живет фельдшер, бывший военнопленный мадьяр, по фамилии Лазарь. Его знают на Севере, он давно здесь. Его видели в окрестности за триста километров. Он «обегает» своих больных на лыжах, объезжает на собаках. На одной нарте едет фельдшер, на второй — его аптекарь. Ни цинги, ни эпидемий здесь теперь нет.

Есть в Подкаменной Тунгуске школа. Чистые аудитории, глобусы на окнах, наглядные пособия, огромный тигр на стене. Учитель и учительница — муж и жена — ревностно работают в школе, поют в хоре, участвуют в стенной газете. Хоровой и драматический кружки выступают по праздникам. Сцена в избе-читальне — с декорациями и занавесом. Женщины побелили избу к 8 марта. Медноволосый избач-комсомолец жалуется, что кинопередвижки бывают редко. Он спрашивает о Москве, о метрополитене, о новых книжках. Он слышал обо всем этом по радио, читал. Сам он, кроме Туруханска, нигде не был.

Радио — одна отрада всех. Оно в парадном углу, там, где раньше стояли иконы. К нему относятся с благоговением и любовью. Оно заменяет газету, кино, концерты — все. Оно уничтожает расстояние. О радио говорят восторженно. Прилетев, мы слышали по радио, что Ласкер выиграл у Капабланки.

На радиостанции здесь работает старый радист Сибузнаст Абрам Рахимов, татарин. Радио он любит беззаветно. У него есть друзья в Нордвике, Игарке, на мысе Северном. Многих из них он никогда не видел, зато слышал.

Игарка находится на 67-й с половиной параллели — еще на тысячу километров дальше, чем железная дорога, чем Подкаменная Тунгуска, еще более глухое, дикое место, край света, вечная ночь.

Вы улыбаетесь. Вы знаете: Игарка — полярный город. Разница между Игаркой и Подкаменной Тунгуской — разница между городом и деревней. Параллели ни при чем.

В Игарке нет древних традиций, есть традиции, которыми она гордится: традиция стройки. Старые игарцы гордо говорят:

— Мы пришли — была тундра.

Они показывают порт, лесозавод, город.

— Они построены нашими руками.

Флаги иностранных пароходов пестрят летом в Игаркском порту. На стадионе играют в футбол сборные команды Англии и Игарки. Временные причалы заменяются в этом году постоянными морского типа. Лесокомбинат механизирован по последнему слову техники. В городе электричество, телефон, паровое отопление, радио, типография, несколько клубов, кино, газеты, учебные комбинаты, больницы, научные учреждения, стадионы, школы. Город северной деревянной архитектуры, с правильными улицами, тротуарами и флагами над общественными зданиями. В городе всерьез говорят о благоустройстве.

В городе тысячи жителей многих национальностей, разных культур. Местные жители, украинцы, москвичи, волжане; все они стали теперь полярниками. Они отлично выносят морозы, полярную ночь, неудобства Севера.

Весь город живет «Карской». Раньше говорили: «Карская экспедиция». Сейчас уж не экспедиция, а нормальные «карские кампании» вроде посевных кампаний в наших колхозах.

К Карской кампании готовятся порт, заводы, кооперация. На пристани укладываются штабели экспортных пиломатериалов, похожие сверху на небоскребы. На собраниях говорят о промфинплане. В порту озабоченно готовятся к ледоходу. Глядя на эту деловую суету, слушая привычные разговоры, толкаясь среди хозяйственников, рабочих, партийных работников, забываем, что находимся в Заполярье, на 67-й с половиной параллели. Другие параллели напрашиваются: «Магнитка», например, Архангельский порт.

И только упряжка оленей у здания Таймырского треста напоминает о 67-й параллели.

9 марта

Борт самолета «ПР-5». Непогода крепко пригвоздила нас к игарскому аэродрому. Воет пурга. На Игарском протоке беснуется метель, выход на Енисей закрыт мутной пеленой падающего хлопьями снега.

Все утро скалывали лед с лыж самолета. Лыжи пришлось снять, так на них намерзло много льда. На кострах кипятили масло и воду для разогревания мотора. Побежимов «колдовал» над большим примусом, он надел на него трубу и обогревал мотор.

Молоков тщательно осмотрел самолет: машина была в полном порядке.

Она стоит среди Игарской протоки, среди снега и воды, беспомощная перед метелью, наледью, отвратительным аэродромом.

Вчера самолет остался на протоке, и доставить его обратно к авиабазе было абсолютно невозможно из-за сильной наледи. Триста добровольцев строем маршировали по протоке и утоптали неширокую дорожку, по которой нужно было сегодня перегнать самолет к авиабазе, чтобы, как только будет погода, стартовать.

Всего шестьсот метров предстояло одолеть, но оказалось это делом нелегким. Лыжи то и дело проваливались в воду. Вытаскивали одну, проваливалась другая, вытаскивали переднюю, проваливалась костыльная. «Хвост вытащишь — нос увяз». Каждый метр брали с бою. Подкладывали под лыжи доски, но доски или проваливались, или их сбивало вихрем, подымаемым пропеллером. Лица людей, которые бились около плоскостей, хлестало колючим снегом. Мы падали, подымались, снова падали, толкали самолет вперед. Молоков с исключительным спокойствием боролся с аэродромом. Он терпеливо выруливал машину, стараясь держать лыжи на узкой дорожке. Машина плохо слушалась его, не приспособленные к глубокому снегу лыжи «ПР-5» беспомощно хлюпали по снегу и воде.

Тогда измокший и охрипший Побежимов предложил тянуть самолет бурлацким способом: веревками. Мы продели в кольца веревки и стали бурлацкой артелью. В эту артель вошли работники авиабазы, и редактор местной газеты Вигалок, и рабочие порта, и мы. Кто-то запел «Дубинушку».

Машина, колыхаясь и пыля снегом, туго пошла вперед. Около винта бушевала вьюга, Молоков давал полный газ, но машина двигалась воробьиным шагом. И все-таки она двигалась. Она стала теперь реже проваливаться, ее стало легче вытаскивать.

Так мы тянули машину метр за метром, пока не вытащили к авиабазе. Шестьсот метров самолет «прошел»

в четыре часа. Сегодня снова будут утаптывать аэродром, завтра, если погода будет относиться к нам хотя бы нейтрально, Молоков и его экипаж снова начнут свою борьбу с аэродромом и постараются улететь.

11 марта

Сегодня, в девять часов утра, вылетели, взяв курс на Диксон.

Над Бреховскими островами самолет попал в сплошной туман, потеряли видимость. Вынуждены были опуститься вблизи какой-то заброшенной рыбацкой хижины. Определив местонахождение, через полтора часа полетели дальше. Прошли Гольчиху, Усть-Енисейск, часть Енисейского залива. Показался мыс Шайтанский. Скоро Диксон! Но здесь мы опять попали в густой туман и снова потеряли всякую видимость. Покружив в тумане, Молоков повернул назад. Через полчаса благополучно сели в Гольчихе.

Тут ночуем, завтра вылетаем к Диксону.

Гольчиха — небольшой станок (поселок) на восточном берегу Енисейского залива. Он расположен примерно в трехстах километрах от острова Диксон, расстояние от Гольчихи до Диксона самолет Молокова может пройти в полтора часа.

13 марта

Вторые сутки в Гольчихе свирепствует злой норд-ост. Мороз — сорок три градуса. Ветер валит людей с ног, рвет, плачет. Молоков и его спутники пытались разогреть мотор, но скоро бросили эту безнадежную попытку. Ждем улучшения погоды.

Метеорологи Гудков и Семериков, любезно приютившие нас в своей зимовке, обещают улучшение погоды. Они ссылаются на приборы. И охотник Юрак Василий согласен с наукой. Вчера вечером, когда ветер стих, он качал головой и говорил:

— Ветер спать пошел, скоро опять пуржить будет.

Сегодня же он утешает нас:

— Пурга сегодня ночью помрет.

— Почему? — спросили мы.

— Сегодня я проснулся — голова легкая! — ответил Василий.

Таким образом, и наука и практика ободряют нас.

По вечерам с окрестных промыслов и чумов к нам приходят гости. Беседуем, играем в вырезанные метеорологами из дерева шахматы, раскрашенные чернилами. Вчера любовались северным сиянием. Жадно читаем метеосводки. Ждем.

15 марта

Мороз. Жесткий мороз, подкрепленный семибалльным ветром. На сдержанном языке метеорологов это называется «крепкий» ветер. Крепкий — это верно. Он бушует нерушимо, не проявляя усталости, он запер всех в домах и один полновластно хозяйничает на просторе. Он и не думает замирать, как предсказывал Юрак-охотник. Он стал еще более колюче-острым, злым.

Вчера в моем чемодане, находящемся в закрытой кабине самолета, замерз одеколон в флаконе. Мы доставали вчера из кабины наш неприкосновенный запас продовольствия. Руки буквально примерзали к железным частям самолета, мешки пришлось отдирать с силой. Колбаса звенела, как стекло.

Мороз. Метет сильный поземок. Вся долина реки словно в дыму, и, если бы не мороз, можно было подумать, что на реке дымят сотни костров. Поземок кружится и мечется по реке, уже совсем не виден западный берег.

Вместе с Молоковым и Побежимовым мы отправились на гору Шайтан, чтобы посмотреть, какова видимость вокруг. Закутались так, что остались открытыми только одни глаза. Ветер не пускал нас вперед. Впервые так осязаемо почувствовали реальную плотность ветра — с ним приходилось бороться. Мы лезли довольно долго. Под самой вершиной пришлось лечь отдохнуть. Лежали за ветром, наслаждались тишиной и отдыхали, даже запели.

Все-таки хорошо чувствовать, как горит кровь на морозе! Вершину мы брали, карабкаясь по отвесным скалам и цепляясь руками.

На вершине бушевал ветер — трудно было стоять на месте. Топтались, держались друг за друга, отдирая леденевшие ресницы, смотрели вокруг — туманная дымка закрыла противоположный берег.

Всем хочется лететь. Обидно сидеть в полутора часах от Диксона. Мы слышим его. Мы переговариваемся с ним. Начальник острова Светаков сообщает нам, что для нас жарко топится баня. Мы уже мечтаем об этой бане. Громкоговоритель над нашим ухом то и дело кричит:

— Полярники мыса Желания приветствуют экипаж Молокова, с нетерпением ждут прилета на Диксон.

Единственное утешение: прекрасно работающая радиосвязь. Вчера в двенадцать часов по московскому времени радист Гольчихи Шелковников через рации Лескин и Диксон передал телеграмму «Правде». В пять часов того же дня мы получили ответ через Диксон. Радисты Диксона буквально ставят рекорды, стирая расстояние, пургу, непогоду.

Когда я дописывал эти строки, пришел Побежимов и заявил, что погода должна улучшиться. Ему верим больше, чем приборам и охотникам. Он нас никогда не обманывал. Посмотрим.

17 марта

Все еще в Гольчихе! Мы уже знаем ее наизусть,— ее немногие домики, Шайтан-гору, чумы туземцев, флаг, болтающийся по ветру у метеостанции. Мы знаем всех здешних людей, их истории, жизнь, приключения. Юраки приходят запросто к нам в гости, сочувственно качают головой — птица большая, а лететь нельзя.

Сырые туманы утром. Такие же дни. Снег. Туман. Ждем. Пурга то поднимается, то стихает, но ясной погоды все нет и нет. Мутный горизонт.

27 марта

Сегодня на Диксоне необычайный гость. Он приехал вместе с отцом с Енисея, с промысла Слободчикова, что в пятидесяти километрах отсюда. На нем большой дубленый полушубок и беличья шапка, сползающая на нос. Его зовут Михаилом Емельяновым. Он промышленник. Ему одиннадцать лет.

В этом году Миша подписал договор, настоящий охотничий договор. Он подписывал его, дрожа от волнения. По договору он обязался сдать четырех песцов, а также хорошо учиться грамоте. Таймыртрест дал ему

ружье-дробовик и лодку, которую здесь называют «веткой». Отвели Мише специальный сектор — пятнадцать песцовых настей, расположенных в трех километрах от дома.

— Ну что ж, Миша, учись, привыкай, пригодится,— сказал ему уполномоченный треста, известный всему охотничьему Северу Пятницкий.

— Я постараюсь,— ответил взволнованный Мишка.

Так Миша стал промышленником, как и отец.

Спросите у Миши: «Хорош ли нынче год?» Он подумает и солидно ответит: «Не шибко хорош, надо бы лучше».

Охотнику нельзя иначе отвечать, не солидно.

Но у Миши год хороший. Он часто обходит свои насти. Он научился настораживать капканы. Он относится к делу с детским азартом и страстью охотника. В этом году он уже выполнил наполовину договор: его капканы поймали двух песцов. Ликующий Мишка принес их домой.

— Вот-вот! — кричал он, захлебываясь.

Затем он поймал трех горностаев. А однажды, выйдя с ружьем на «охоту», он увидел на скале двух зайцев. Сдерживая волнение, он начал подкрадываться к ним, потом выстрелил. Одного он принес домой, другой убежал ковыляя. Скоро Миша убил еще одного зайца. Теперь никто не скажет, что ему даром дали ружье. Отец сам сказал ему при всех:

— Будешь охотником.

А отец знает.

Сейчас Мишка мечтает об охоте на оленя и на медведя. Он учится стрелять, мишенью служит консервная банка. Он умеет править четверкой собак. Косматый «Борька» — лучший друг Мишки. Детей вокруг нет больше. Мишке дружить не с кем. Но и скучать Мише некогда. Весь день — в работе. Помимо всего прочего, Мишка ведет дневник. Наблюдает погоду. Отлично знает ветры. У него компас. Больше всего Миша любит зюйд-ост. Хороший ветер.

Так и растет этот мальчик с далекого Севера. Знает повадки зверя, умеет бегать на лыжах, терпеть при случае голод и нужду, холод. На Диксоне Миша интересовался всем — радиоцентром, патефоном, музыкой, телефоном. Но он ничему не удивлялся: все он принимает как должное.

Обо всем он читал в книжках, слышал в рассказах проезжих промышленников,— в жизни все бывает, удивительного нет.

Спросите у Миши: «Хочешь уехать с Севера?» Закричит: «Ни за что!»

Потом задумается, тихо прошепчет заветное:

— Машины увидать охота. Автомобили. Трамваи. Метро.

Встряхнет головой: «Все равно увижу. Вырасту и поеду. А потом опять вернусь сюда обратно».

Все увидит Миша. Все узнает глазастый парнишка с Севера. Хорошая горячая кровь течет в его жилах. С такой кровью не застынешь на месте. До свидания, гость с Диксона — Миша Емельянов!

Визжат собаки, скрывается нарта. До свидания!

30 марта

На Диксоне сохранился старый маяк, деревянная обледеневшая вышка, очень похожая на сельскую звонницу с пожарным колоколом. Сейчас тут развешаны шкуры белых медведей, своеобразные флаги зимовки.

Деревянный «маяк» с керосиновым фонарем — это все, что осталось от старого «порта» Диксона.

Черная коленкоровая потрепанная тетрадь, бережно сохраняемая на острове, открывается выразительной записью командира судна «Лена», посетившего Диксон 23 августа 1912 года и обнаружившего здесь «поломанные порожние койки, тачки, лопаты и порванную меховую одежду».

Маленький, угрюмый, скалистый остров на далеком севере — 73°80″ северной широты и 80°23″ восточной долготы — был известен только географам. Предсказание капитана Норденшельда, что эта «лучшая на всем северном берегу гавань, ныне пустая, скоро превратится в сборное место множества кораблей», ожидало своего выполнения.

Редкие корабли проходили мимо Диксона — гидрографические суда, транспорты, случайные иностранцы. Если была хорошая погода, они спокойно проходили мимо, нет,— заходили в Диксон отстаиваться. Капитаны оставляли скупые записи в тетрадке, молодые франтоватые помощники удивлялись дикой красоте острова и сочиняли стихи.

Большевики стали овладевать дальним советским Севером. Могучие работящие северные реки — Енисей, Лена, Колыма — ожили, неся на себе десятки судов. На Игарке возник морской порт. Мимо Диксона, весело дымя, пошли караваны судов Карской и Лено-Карской экспедиций. Десятки пароходов под иностранными флагами идут за лесом в Игарку. Их сопровождают, расчищая льды, советские ледоколы. В бухте Диксон они отстаиваются. Впереди ледоколов летят разведчики льдов — гидросамолеты. Они также находят приют и гостеприимство в широкой бухте Диксон. Плавучие угольные базы — лихтеры — снабжают суда углем. Скрежещут лебедки. Метеорологическая служба Диксона всегда в деловом напряжении. Ледоколы, самолеты, суда запрашивают прогнозы погоды.

— Как идут льды? — спрашивает ледокол.

— Какие ожидаются ветры? — спрашивает самолет.

— Будут ли штормы и туманы? — спрашивают суда.

Диксон всем «делает» погоду.

Шумно и оживленно в кают-компании Диксона летом. Гости с судов. Летчики. Туристы. Гидрографы. Профессора-полярники. Иностранные моряки. Черная коленкоровая тетрадь испещрена сотнями записей, подписей и даже стихов. Север настраивает поэтически!

Сейчас Карское море сковано льдами. Льды то подступают вплотную к Диксону, то, прогоняемые зюйдом, отходят, очищая большие полыньи, в которых купаются любопытные нерпы. По бухте сейчас «плавают» только собачьи транспорты.

Но тишины нет и сейчас. Строится большой северный морской порт Диксон. Временным причалам, плавучим угольным базам, деревянным маякам приходит конец. Порт строится всерьез и надолго. Диксон становится важнейшей угольной базой на Великом Северном пути.

На самолете Молокова среди прочей почты находился большой казенный пакет, запечатанный сургучными печатями. В порту этот пакет ожидали с большим нетерпением. В нем были утвержденные центром проект и чертежи новых морских причалов.

В прошлом году на Диксон приехали строители нового порта. Они вышли на берег, оглянулись: на месте будущего порта на острове Конус высились голые черные скалы. О скалы плескались волны. На воде кача-

лись баржи. Ни жилья, ни бревна. Строители посмотрели и стали строить.

В «темную пору» (полярную ночь) здесь уже горели прожектора, взрывались скалы, в мастерских и кузнице ремонтировался инструмент, промерзшие рабочие ночевали в удобных жилых домах, мылись в отличной бане и ели хлеб из собственной пекарни. Порт строился. Две мастерские на материке, причалы на Конусе.

Маленький остров Конус предназначен в жертву морю. Мы смотрим на него в последний раз — его не будет. Он тает медленно, но верно. Его черные скалы лягут на дно бухты, образуя, как выражаются здесь, «постель» для морских причалов. На эту постель улягутся ряжевые клетки, а за ними деревянный настил — набережная самого северного в мире порта. Десятки флагов будут плескаться у этих причалов.

Метр за метром исчезает остров Конус. Но исчезает он, отчаянно сопротивляясь. Нелегко пробурить его скалы.

— Диабаз, грунт двенадцатого класса,— с почтением говорят бурильщики.

И все-таки вгрызаются перфораторами в скалы. Закладывают бурки, рвут Конус, сокрушают его упрямые скалы и рушат в море. Ни морозы, когда к рукавицам примерзает инструмент, ни полярная ночь, ни упорство скал не могут остановить строителей. Только северная пурга заставляет бросить инструмент. Пурга загоняет людей в дома.

После пурги у строителей вдвое больше работы. Приготовленные к откатке груды камня занесены снегом. Их надо откапывать, освобождать. Часто после этой работы снова налетает пурга, и весь труд людей летит к черту, все снова заносится снегом. Упрямые люди терпеливо ждут, когда пурга кончится, берут опять лопаты и снова начинают борьбу со снегом.

По узкоколейке вагонетки с камнем откатываются в море. Здесь во льду прорубается большая широкая прорубь — «майна». Прорубается — мягко сказано. Проламывается, взрывается, рушится — это будет вернее. Лед толщиной в два-три метра, на нем крепкий, смерзшийся слой снега. Лед рвут аммоналом, с ним борются, как со скалами,— на Севере ничего не делается без борьбы!

В майну опрокидывается камень. Он падает в воду, образуя «постель». Тачка за тачкой, кубометр за кубометром. Тает остров. Ширится «постель». 1 апреля впервые под лед полезут водолазы «стелить постель», ровнее класть камни, разведывать, что делается под водой.

Первая очередь — сорок метров причала — должна быть готова в этом году. Должна быть готова,— это знает каждый строитель порта. Знает начальник порта Громыхалов, инженер Казаков. Знают эпроновцы-подрывники, водолазы и их командир широкоплечий Курлеев. Знают старик подрывник Горбунов, бригадир водолазов Ревин и начальник всей механики и пневматики комсомолец Коробко. Знает весь коллектив — восемьдесят человек. Знают, что надо построить, несмотря на пургу, метели, нехватку рабочих рук. Надо построить при той технике, которую имеют, при деревянных «дерриках», при задыхающемся компрессоре. Взять иную технику сейчас, зимой, неоткуда.

С нового Диксона в порт переброшен трактор, отлично работающий в Арктике. Впервые завезенные в Арктику лошади честно делают свое дело, прекрасно переносят трудные полярные условия. Сорок метров причала должны быть построены — это знают все!

На днях мне пришлось быть на партийном собрании в порту. В комнате собралась горсточка большевиков. Шел разговор о сорока метрах причала. Говорилось о том, что надо мобилизоваться, поднять массы, составить четкий план ударной работы, взять пример со строителей диксоновского радиоцентра,— и эти слова, столь привычные там, на Большой Земле, звучали здесь по-особому. За ними стояли пурга, льды, черные скалы Конуса, за ними стояла суровая Арктика, которую большевики должны победить.

— Сорок метров причала должны мы построить,— взволнованно говорит старик подрывник,— только тогда мы сможем, вернувшись на Большую Землю, смело глядеть людям в глаза.

Сорок метров причала самого северного порта в мире будут построены. Будет готов к навигации и третий в мире, второй в Союзе, мощный радиомаяк. Но деревянная обледеневшая вышка с керосиновым фонарем останется, как память о древнем Диксоне.

На Диксоне есть могила, в ней погребены останки норвежца Тессема, участника экспедиции Амундсена на судне «Мод». Страшная арктическая история связана с этой могилой.

Осенью 1919 года тяжелые льды остановили экспедицию Амундсена у пустынного мыса Челюскин. Предстоял долгий ледовый дрейф. Чтобы скорее доставить научные материалы экспедиции, норвежцы Тессем и Кнудсен отправились через тундру на остров Диксон. На Диксон они не пришли, больше их нигде не видели, известий от них не получали.

Десятого августа 1921 года начальник советской поисковой экспедиции Бегичев нашел у мыса Стерлигова брошенную карту и невдалеке, у мыса Приметного, остатки костра, консервные жестянки с иностранными этикетками, полуобуглившиеся кости сожженного человека и череп.

Кто это был, Кнудсен или Тессем, удалось установить только летом 1922 года, когда около Диксона, на материковом берегу, в расщелине был найден скелет человека, остатки одежды на нем, золотые часы с именем Тессема и материалы об экспедиции Амундсена. До Диксона Тессем не дошел всего четыре километра.

Сейчас норвежцам не пришлось бы скитаться в безлюдной тундре. В устье Пясины они нашли бы большой поселок. До самого Диксона их путь лежал бы через цепь зимовок и промыслов. Север ожил.

Их было немного, радиостанций Севера, до революции. Редкие, плохо связанные между собой две-три точки среди великого безмолвия Арктики. Больные цингой, измученные зимовкой, забытые миром радисты.

Широка и мощна радиосеть сейчас. Радист в Арктике — одна из самых почетных профессий в нашей стране. Станции связаны между собой по строго продуманной схеме. А в зимовку 1934/1935 года эта сеть получила свой центр и мощный узел связи — радиоцентр на острове Диксон.

Четырнадцатого августа 1934 года советский лесовоз, шумя приветственными флагами, вошел в широкую бухту Диксон. Началась разгрузка. Прибывшие на лесовозе строители радиоцентра превратились в грузчиков.

В ночь на 23 августа с открытого моря внезапно налетел шторм. Он ударил с единственной незащищенной стороны — бухты Кречатика, где находилась баржа с грузом для Диксона.

Ночью на барже раздался страшный треск. Ее начало бросать с волны на волну и, наконец, погрузило в воду. Строители ахнули. На барже было все оборудование для радиоцентра Диксона.

Никогда люди не работали с таким остервенением, как здесь, спасая баржу. Тащили ящики. Водолазы ползали по дну баржи. Мокрые, измученные люди на вытянутых руках подымали над головой спасенную из воды радиоаппаратуру. Они осторожно передавали ее на берег и снова бросались в воду. Решался вопрос: быть или не быть радиоцентру на Диксоне в эту зиму? Решались судьбы всех этих людей, приехавших в Арктику, чтобы строить, и в самом начале работы потерявших возможность строить.

Шесть суток шла борьба за спасение радиоцентра. На седьмые сутки мокрые, просоленные грузы лежали на берегу. Теперь надо было спасти оборудование от порчи. Так же, как боролись с водой, стали бороться с порчей. Много раз перетирались и сдавались в склад части приемников и передатчиков.

Будет ли работать искупавшееся в море оборудование?

Будет! Должно работать!

В четырех километрах от старой радиостанции на глазах подымался новый Диксон. Возникали дома. Поднимались огромные мачты, волоча за собой хвосты тросов. В силовой настилался кафельный пол. Собирались дизеля и генераторы. Монтировались приемники и передатчики.

Двадцать четвертого декабря наступил, наконец, решающий день. Взволнованные, собрались у микрофона строители: начальник строительства Василий Ходов, награжденный орденом за героическую зимовку на Северной земле, инженер Доброжанский, конструктор специально изготовленных для Севера радиопередатчиков, установленных на новом Диксоне, начальник острова инженер Светаков.

На своем посту у дизелей — огромный бородатый механик Скубков, у передатчиков — старший радиотехник Волков, у распределительного щита — старший

электрик и заместитель начальника радиоцентра Толстопятов.

Блистают чистотой кафельные плиты. Оранжевым светом пылают огромные генераторные лампы, льется фиолетовый свет газотронов. Сигнальные лампочки на пульте. Ожидание, напряженное, тугое, звонкое.

— Внимание! — произносит, волнуясь, Доброжанский.— Говорит полярный радиоцентр острова Диксон на волне тысяча четыреста пятьдесят метров. Слушайте трансляцию из Москвы.

Так вошла в строй мощная полярная радиостанция.

Сегодня радиоцентр Диксона — нормально работающий арктический узел связи. Со всех сторон, мысов и зимовок Арктики, со всех полярных станций сюда поступает корреспонденция. Диксон передает ее непосредственно Москве, Новосибирску, Архангельску.

В дни челюскинской эпопеи радиограммы из Уэллена в Москву бежали по длинной цепочке полярных радиостанций. Сквозь восемь станций проходила радиограмма, прежде чем попадала в Москву.

На Диксоне собираются все метеорологические сводки полярных станций. Ежедневно к вечеру бюро погоды Диксона знает о малейших колебаниях ветров во всех точках Арктики. Прогнозы погоды, передаваемые Диксоном, слушают по радио и Арктика, и Большая Земля, и заграница. Радиоцентр Диксона дал возможность Центральному бюро погоды точно учитывать прогнозы арктической «кухни погоды».

Горячие дни предстоят радиоцентру Диксона в навигацию. Всем судам и самолетам нужно обеспечить связь как между собой, так и с Москвой. Летом здесь в эфире начинается суетня и неразбериха. Кричат рации со всех судов, перебивают друг друга, мощные заглушают слабых. Радисты Диксона в эту навигацию хотят взять на себя дирижерство этим, как они говорят, «хором Пятницкого».

Капитаны судов в эту навигацию получат возможность говорить по радиотелефону с Москвой. Возможно ли? Но ведь сейчас ежедневно Диксон по телефону разговаривает с Москвой и Ленинградом! У микрофона в прекрасно оборудованной студии полярного радиоцентра усаживаются хозяйственники Диксона — строители порта. Надевают наушники. Раскладывают перед собой чертежи. В Москве у телефона Главсевморпуть.

Начинается совещание по телефону. Обсуждаются чертежи морских причалов. Заседание продолжается час, два, три.

Нормальными стали разговоры зимовщиков Диксона по телефону со своими семьями. Почти ежедневно раздается:

— Коля, слушаешь? Это я — Маруся.

Радиоцентр Диксона приблизил Арктику к Большой Земле, уничтожил расстояние. Вся Арктика слушает сейчас граммофонные концерты с Диксона. Вся Арктика с нетерпением ждет трансляции из Москвы. В час дня по московскому времени все население Арктики у репродукторов: передается ежедневная радиогазета Диксона «Арктические известия». В ней сообщаются последние новости Союза, напечатанные в сегодняшних газетах. Рассказывается о делах полярных зимовок. По радио читаются лекции, доклады, очерки.

Доктор Диксона Никитин дает консультации больным по радио. Больному радисту станции Маре-Сале он посоветовал сделать операцию,— летчик Фарих увез больного в Архангельск. По заключению врача, переданному по радио, Молоков из Иннокентьевской увез больного, нуждающегося в немедленной операции.

Нет, в Арктике бушуют не только свирепые норд-осты, шквалы и пурги. В Советской Арктике сейчас бушуют радиоволны, умелой рукой поставленные на службу нашему делу.

13 мая

Зимою диксоновцы пьют снег. Журчавший летом ручей замерзает, и единственная питьевая вода — та, которую вытапливают из снега. Между прочим, это отличная, очень вкусная холодная вода, напоминающая родниковую, в ней лишь мало земных соков, солей. Но в общем это отличная вода.

Доставка снега в кухни — одна из основных обязанностей дежурной, или, как здесь говорят, вахтенной бригады. Эту вахту несут все зимовщики. Обеспечение условий жизни на Севере есть общее дело — нянек здесь нет.

С 1 мая на вахте стоит бригада под «командой» вашего корреспондента. Бригада дежурит пятнадцать дней: топит баню, заготовляет дрова на кухне, добывает снег.

Не все, очевидно, знают, что снег можно пилить. Да, пилить обыкновенной ручной пилой. Пила врезается в глубокий, крепкий снег на полтора-два метра и режет его нежно, но уверенно, как сливочное масло, как бисквитный торт, на ломти. Но снег сопротивляется (тут уже теряется сходство с сливочным маслом). Наши представления о снеге, как о чем-то легком, пушистом, здесь опровергнуты. Никогда не видел я такого упорного снега, как здесь. Мы выпиливаем толстые — метр на метр — глыбы снега, которые не рассыпаются, когда их бросают на нарту. Добыча снега идет чуть ли не «промышленным» способом. Около далеких амбаров или на скатах и в оврагах есть целые снеговые карьеры, на которых выпиливается снег. Добытый снег сваливается на нарту, в которую впрягаются два человека,— вахта идет попарно. Эта пара тянет нарту добрым бурлацким способом, накинув на плечи лямки, шагая в ногу, приговаривая на трудных местах, когда перегруженная нарта не ползет в гору,— «эх, взяли, эх, разом», спотыкаясь, тяжело дыша.

Снег вытапливается на кухне в больших чанах. Ломоть за ломтем мы съедаем снежный покров острова. Мы работаем на весну. Мы помогаем ей. Впрочем, снега здесь так много, что и весне работы хватит.

Большевики пришли в Арктику всерьез и надолго. Они пришли не только осваивать, но и обживать Арктику. Они решили победить и победили цингу, холод, покончили со многими лишениями, казавшимися непреодолимыми ранее в Арктике. В частности, решили мясную проблему.

Старые зимовки жили консервами и охотой. Животноводство, как и земледелие, в Арктике было, с точки зрения старого полярника, чем-то фантастическим. Но вот в Игарке за Полярным кругом отлично растут овощи, в теплицах обильные урожаи редиски, салата, огурцов, помидоров. Такая же теплица строится Игаркой и для Диксона. В следующем году северное солнце будет выращивать на 73-й с половиной параллели нежную розовую редиску. Навоза для удобрения здесь много, ибо Диксон уже в этом году имеет свое животноводческое хозяйство.

Здесь есть, во-первых, свиноферма, пока на двадцать

восемь голов. Свиньи отлично плодятся в Арктике: две свиноматки дали уже вторичный приплод. Как украинец могу засвидетельствовать, что сало «арктической» свиньи отличное. Но диксоновцы не хотят съедать свою свиноферму. Их замыслы куда шире. Они вздумали снабжать свежим мясом в навигацию все пароходы.

— Берите свежее мясо,— говорит энтузиаст этого дела, начальник острова Диксон Светаков,— не в Архангельске, а у нас, в Арктике. Для этого нужно только забросить сюда некоторое количество племенного скота.

На Диксоне отлично живут и коровы и козы. Детвора Диксона и зимовщики пьют великолепное свежее молоко. Одна корова благополучно отелилась,— это было радостным событием в жизни зимовки. Благоденствуют на Диксоне и козы и лошади. Следует упомянуть и северный рабочий скот — собак. Их на Диксоне в собачьем питомнике — сто двадцать шесть штук. Это подрастает арктический транспорт.

Если всем этим хозяйством заняться всерьез и в широких масштабах, результаты могут быть огромные. Во всяком случае, сделан новый шаг к обживанию Арктики. Пьем свежее коровье молоко, едим сало. По двору бегают козы, в хлеву мычит корова, все как на Большой Земле.

Это настоящий колхоз, имеющий свое хозяйство, учет трудодней и, конечно, председателя. Раньше председателем был механик Скубков, высокий бородатый мужчина, с охотничьим ножом за поясом. Сейчас председательствует Генденрейх, ростом он меньше, но председатель отличный. Нож, как и у Скубкова, у него вечно с собою.

Колхоз этот охотничий. Промышляют нерпу, медведя, морского зайца, летом будут промышлять птицу. Все это — в свободное от работы время, ибо все члены колхоза — зимовщики — механики, радиотехники. Все добытое ими мясо идет на общий стол. Несъедобное мясо нерпы (за исключением обожаемой всеми печенки) идет в собачий питомник Диксона. Но сало нерпы, шкура ее — чистый доход колхоза.

На охоту сначала смотрели невсерьез, как на веселый отдых, забаву. Когда же добытые колхозом сто восемьдесят нерп были красным обозом свезены на салотопню и сданы промысловому пункту Таймыртреста,

выяснилось, что колхозу за это причитается ни много ни мало, а четырнадцать тысяч рублей, в среднем по тысяче рублей на колхозника. Сами колхозники удивились своей удаче. Они распределили доход по трудодням и сейчас продолжают свое свободное время отдавать охоте.

Неисчислимы богатства Севера! Они плавают в воде, бегают по тундре, летают в воздухе.

Наш остров маленький. Всего восемь километров длиной от мыса Кречатник, где Новый Диксон, до мыса Лемберова, за которым уже порт. Но эта небольшая площадь «густо» населена. «Соединенные штаты» Диксона состоят из многих «городов и поселков». Во-первых, старый Диксон — резиденция начальника и центр острова. Здесь же и наша диксоновская «Академия наук» — дом, где живут все научные работники. В пяти километрах отсюда находится Новый Диксон — центр радиотехники острова. Тут машинный зал, передатчики, дизеля, тут строительство радиомаяка. Наконец, уже на материке, в четырех километрах от Старого Диксона, находится строительство порта Диксон. Здесь живут рабочие острова: плотники, мотористы — всего восемьдесят человек. Есть на Диксоне еще одно поселение, состоящее из трех строений: это белушатник, зверобойная база Таймыртреста. Здесь салотопня, базисный склад и один жилой дом.

На Диксоне процветает обычай: хождение «в гости». Зимовщика, пришедшего или приехавшего с Нового Диксона на Старый, сажают за стол, угощают, ухаживают за ним.

Занятые оперативной работой, многие за всю зимовку сумели только два-три раза побывать в гостях у соседей. Вот вам и маленький остров! Нет, он велик, огромен, громаден. Когда зимовщика спрашивают, скучает ли он, он простодушно отвечает: «Скучать некогда».

Некогда! Ибо приехали сюда не скучать, не цинговать, не высиживать свою зимовку,— сюда приехали работать.

И пришедшего гостя хозяева прежде всего ведут осматривать все построенное, сделанное ими за последнее время.

Хозяева показывают гостю самое дорогое — свою работу.

15 мая

В час дня по московскому времени каждый гражданин Арктики получает свою газету. Газета выходит точно и аккуратно. Ее слушают от первого до последнего слова. Она выходит всего четыре месяца, но уже имеет своих корреспондентов и почитателей. Она выходит на Диксоне. Ее редактор — Василий Пашукевич, а заместитель редактора, секретарь редакции, заведующий всеми отделами и диктор (все в одном лице) — Георгий Панов.

Не все полярные станции, не все уголки Арктики могут слушать Москву. Газету Диксона «Арктические известия» могут слушать все, самые отдаленные уголки Арктики, самые примитивные, допотопные приемники. Поэтому «Арктические известия» заменяют для многих станций все: газету, концерты, почту, телеграфную контору, бюро справок.

Газета выходит ежедневно. Она ежедневно вещает важные политические кампании. Она информирует полярников о жизни Советского Союза. Она рассказывает, разъясняет сдвиги международной политики. Она отмечает даты красного календаря. Словом, она приближает полярников к Большой Земле.

Интимнейшими нитями связана газета с полярниками. Она знает о всех делах на зимовках. Она рассказывает, что на мысе Челюскин поймали трех живых медвежат, на мысе Желания хорошо работают политкружки, а на мысе Лескина комсомольцы живут недружно. Газета подбадривает, критикует, дружески разговаривает с полярниками.

Газета выступает в качестве организатора культурного быта полярника. Она организует стрелковые состязания, шахматные турниры, лыжные вылазки, коллективную охоту. Она передает целые музыкальные произведения, граммофонную запись.

Завтра выходит сотый номер «Арктических известий». Это историческая дата. Это большой праздник. «Арктические известия» согрели трудную жизнь борцов Севера ее самой могущественной силой — теплом живого человеческого слова.

Водолазы Диксона долго работали подо льдом. Их опускали в вырубленную во льду прорубь — майну, и они бродили в воде, выравнивая каменистую постель для морского причала. И на земле, и под водой было зверски холодно, шланги замерзали, прекращался доступ воздуха в скафандры, в шлангах появлялся лед. Водолаз нетерпеливо дергал сигнальную веревку. Его вытаскивали. Он сбрасывал шлем, тяжело дышал морозным воздухом, потом снова нырял глубоко под лед.

А на земле в это время плотники рубили первый ряж. На это огромное деревянное сооружение бревен не хватало. По всему острову искали плавник, старый лес, из снега выкапывали, верней выкалывали, дрова, балки, старые срубы, бревна, выброшенные на берег. Клетка к клетке сколачивался ряж. Строители работали в две смены, без выходных, в пургу, непогоду. И вот ряж готов.

Теперь его надо спустить на воду. Это не пустячное дело, если он весит сто восемьдесят тонн. В распоряжении строителей порта имелись только тракторы «Сталинец», две ручные лебедки да крепкие руки восьми — десяти рабочих. С этой техникой нужно было стащить в воду стовосьмидесятитонный ряж длиной в двадцать метров, шириной в десять и высотой в восемь метров.

Двадцатидвухметровую майну, на которую будет спущен ряж, очистили от льда и снега. Огромные толстые бревна-слеги лежали под ряжем. Они играли роль рельсов, по которым плавно и ровно должен был поехать ряж. Должен, но поедет ли? Строители озабоченно поглядывали на свою технику. Казалось, никакими силами не стащить эту махину с места.

Погода начинала портиться. Сильнее и сильнее дул метельный ост, на глазах переходивший в северные румбы. Он подстегивал строителей. Они знали: если сегодня не спустить ряж на воду, майна замерзнет и ее опять занесет сугробами снега. Строители торопились. Они артелью наваливались на слеги, садились на них верхом, ложились животами, чтобы придать ряжу наклонное положение, облегчить его движение вперед. Две ручные лебедки, как маленькие собачонки, вцепились стальными тросами в края ряжа, трактор взялся за середину. Все замерли, решающая минута приближалась. Вот сейчас

будет решен вопрос: напрасно или нет в пургу и непогоду работали строители.

Инженер Казаков, скрывая волнение, стоял на командном пункте и, смахивая снег с ресниц, глядел на ряж. Начальник Диксона Светаков, успевший побывать на всех пунктах работы, влез теперь на сугроб льда и оттуда озабоченно смотрел, как застыли у лебедок люди. Началась пурга. Майна медленно затягивалась льдом.

Механик трактора Скубков вдруг сорвался с места, достал откуда-то красный флаг и полез прибивать его на верхушку ряжа. Флаг рвануло порывистым остом. «Давай!» — закричал Казаков, и люди налегли на лебедки, на бревна, на слеги. Натянулись тросы. Скубков рванул трактором вперед. Что-то с шумом оборвалось. Это лопнул стальной трос. Ряж даже не шелохнулся.

Снова вцепились тросы в ряж. Снова рванули. Тросы натянулись звонко, до предела. Но ряж не качнулся даже. Отчаянным рывком рванул Скубков трактор, и снова с шумом и звоном порвался трос.

Но строители решили не сдаваться. Если нельзя взять силой, возьмем хитростью. Они подпилили концы слег так, что ряж висел прямо над майной. Нужно было только толкнуть его. А это и было самым трудным. Тогда решили трактором рвануть один угол ряжа, а не середину, как раньше. Трактор переехал на другую позицию. Шумно ломая снег, он полз, как тяжелое артиллерийское орудие.

И вот ряж качнулся. Качнулся и, покоряясь воле людей, пошел вперед, в воду. Еще несколько сильных рывков, и передний его край коснулся воды. Строители облегченно вздохнули. Теперь они уже не боялись этой махины. Теперь только не отступать — тащить, тащить его в воду.

С шумом, не выдержав напряжения, в куски разлетелась ручная лебедка, полетели переломанные слеги, и, ломая в щепу подложенные под него бревна, ряж пошел в майну. Вот он уже на перегибе. Решающая минута. Не опрокинется ли, не лопнут ли клетки, не выдержав собственной тяжести. Но ряж поплыл в воду как новый корабль. Вот он уже весь на воде. Погружается. Со звоном ломает молодой лед. Плавно и легко качается на воде. Радостное, облегчающее, ликующее «ура» вырывается из всех глоток. Пурга яростно рвет флаг на ряже, но теперь это не страшно.

Скоро в ряжевые клетки будут опрокинуты первые вагонетки камня. Начнется новая борьба за загрузку ряжа. Надо успеть закончить все к ледоходу, чтобы ряж не всплыл, чтобы его не унесло льдами, чтобы рос и ширился морской причал самого северного советского порта.

22 июня

В прошлом году небольшое двухмачтовое судно «Белушатник» разбилось у берегов пустынного, редко посещаемого острова Сибирякова. На затонувшей посудине осталась ценная импортная машина марки «Бон Келлер». Она не принадлежала Диксону. Диксоновских грузов вообще не было на «Белушатнике».

Но зимовщики Диксона рассуждали так: советское добро не должно пропадать нигде — даже в ледяной пустыне, в Арктике, даже под водой. Эти побуждения заставили диксоновцев снарядить экспедицию, отдать ей свой единственный трактор, как только он освободится от горячей работы на строительстве порта, послать в экспедицию самых нужных своих людей: механиков, водолазов и радиста-синоптика.

Экспедиция была снаряжена так, как смогла ее снарядить только обогащающаяся техникой советская Арктика. Естественно, что спасать многотонную машину мы отправились не на оленях, не на собаках, а на тракторе. Радиоцентр Диксона снабдил нас походной радиостанцией. С нами в поход двинулась и водолазная станция со всем необходимым оборудованием. Мы имели нужный в дороге и в работе инструмент — компас, карты и метеоприборы, фанерный домик на санях с железной печкой и рукомойником, собачьи упряжки и большой запас горючего для трактора, а также и продовольствие для людей и собак.

Семнадцатого мая трактор «Сталинец» тронулся в путь, волоча за собой тракторные сани с горючим и грузами, фанерный домик на санях, собачью нарту сзади.

Енисейский залив впервые увидел такой диковинный транспорт. Больше того: это был первый в Арктике длительный переход трактора по льду и снегу. Таким образом, экспедиция должна была решить две задачи: спасти машину «Белушатника» и проделать пятисоткилометровый переход на тракторе по льду.

Путь экспедиции лежал по Енисейскому заливу вдоль восточного берега на юг, до мыса Бражникова. Отсюда мы должны были круто повернуть на запад, пройти широкий пролив и выйти на остров Сибирякова. Экспедицию повел начальник Василий Ходов, человек, давно работающий на Севере.

Мы вышли с Диксона под вечер, и бесконечная белая пустыня залива скоро открылась перед нами, слабо очерченная тонкой полоской восточного берега. Огромное многоцветное небо колыхалось над нами. Оно было темно-синим над морем, чуть коричневое — над тундрой и бледно-голубое — над далью. Дул попутный нордовый ветер.

Трактор медленно тащил тяжелый поезд. Дорога трудная. Снег уже тронут весною, рыхлый, неустойчивый, местами выступает предательская наледь. Гусеницы трактора то погружаются в воду, то глубоко зарываются в снег.

Ведут машину по очереди механики Скубков и Новиков. Они все время настороже. И когда трактор начинает сильно буксовать, они расцепляют поезд и вытаскивают сначала одни, потом другие сани.

Мощный «Сталинец» работает отлично. Какие огромные горы снега сокрушает он! Какие торосы берет!

Так мы идем, лавируя между островами и передвигаясь от мыса к мысу все на юг, на юг, на юг. Мы прошли уже острова Вернса, Западный и Восточный.

Ни один человек не встречается нам в пути. Но если край не густо населен людьми, то он населен человечьими именами и оттого кажется менее пустынным и обжитым. Хвала исследователям, оставившим свои имена на карте!

Первый человек встречается нам в бухте Слободчикова. Он бежит навстречу, радостно размахивая руками и увязая в снегу. Мы видим большую шапку, сползающую на нос. Мы узнаем Мишу Емельянова, самого юного промышленника на Енисее, моего старого знакомого. С первых слов он сообщает мне, что они с тятькой убили одного оленя, другого поранили, но он ушел. Мы забираем с собою на остров Сибирякова Емельянова-отца и уходим дальше.

От мыса Бражникова мы должны были круто свернуть на запад, взяв курс прямо на остров Сибирякова. Но трактор попал в поля сплошных торосов. Всюду, на-

сколько хватал глаз, громоздились острые зеленоватые льдины. Участники экспедиции грустно сгрудились возле машины. Путь на остров Сибирякова был отрезан.

Нечего было и думать о том, чтобы пробиться сквозь торосы, дико нагроможденные на пути.

Решили идти назад вдоль восточного берега, на юг до зимовья Рагозинка, надеясь на то, что оттуда легче будет пробиться на запад.

Мы шли уже шесть часов от мыса Бражникова. По всем расчетам пора бы быть в Рагозинке. Но никаких признаков зимовья на берегу не было. Пришлось послать разведку на собаках. Разведка обрыскала берег и скоро нашла зимовку. Немудрено, что мы не видели ее. Она вся была под снегом. Лишь деревянные бочки, заменявшие здесь дымовые трубы, выходили наружу. По вырытым на снегу ступенькам мы спустились вниз и попали неожиданно в просторную, жарко натопленную избу. Одни двери вели в жилую комнату. Сюда слабо проникал свет через высокое окошко. На большой деревянной балке висели ружья, винтовки, охотничьи ножи. В сенях сушились песцовые шкуры, валялись ломаные капканы. Другие двери вели в баню, помещение для собак и в погреб.

Из Рагозинки мы решили послать на запад разведку на собаках. Поехали штурман экспедиции Митя Дрогайцев и промышленник Казанцев. Они должны были выяснить, велики ли впереди поля торосов.

Мы ждали наших разведчиков с возрастающим нетерпением. Они вернулись через пять часов, еще издали радостно махая руками. Наши расчеты оправдались, путь вперед был открыт.

Поезд тронулся на запад. Предстояло идти шестьдесят километров широким проливом, не видя берегов. Оставшийся сзади Кузневский знак скоро исчез из виду. Мы были одни среди однообразной белой торосистой равнины, единственной путеводной звездой был компас в руках Мити Дрогайцева.

Падал мелкий снег. Метель ухудшала и без того плохую видимость. Все заволакивало туманом. Механики начали жаловаться, что у них слепнут глаза. Каждый жадно всматривался вперед, стараясь увидеть землю.

Первыми увидели остров механики Новиков и Ферапонтов. Они закричали: «Земля, земля!» Это была черная мутная точка, очевидно, высокий деревянный знак.

Днем 19-го мы были на острове Сибирякова. Штурман, гордый удачей, определил наше местонахождение: мы были на юго-востоке острова, у реки Оленьей. Это название скоро подтвердилось выбежавшим откуда-то целым табуном диких оленей. Еще через шесть часов мы разбили свой лагерь невдалеке от затонувшего судна.

Удачный поход трактора без поломок и аварий по трудной дороге поднимает большой важности вопрос о применении тракторов и вездеходов для грузовых и почтовых перевозок по Енисейскому заливу зимой. Все возможности для этого есть. Есть также карты залива. Зимовки на берегу могут стать базами горючего. Здесь же можно иметь запасные части, инструменты, продовольствие. Регулярные рейсы вездеходов на трассе Усть-Порт — Диксон — дело реальное и нужное. Достаточно вспомнить, что пушнина, рыба, морской зверь, добытые зимой, часто ждут пароходов. Автомобилизация Арктики — вопрос новый, но уже очередной.

Итак, мы на затонувшей, а теперь замерзшей посудине. В моих руках — дневник одного из ехавших на «Белушатнике» в этот злополучный рейс — метеоролога Залесова. Он подробно описывает, как налетевшим штормом трепало суденышко, как был разбит киль, ахтерштевень, потеряны руль и якоря, а самое судно выброшено на камни у берега.

Вот оно лежит сейчас перед нами, до штурвальной рубки занесенное снегом. Нас четырнадцать человек: девять диксоновцев и пять промышленников. Небольшая горстка людей у обледеневшего разбитого судна.

Весь личный состав экспедиции был разбит на две бригады. Решили работать круглые сутки, меняясь каждые восемь часов. Два дня потратили на очистку входа в машинное отделение. Мы выкинули наверх горы снега. Ломами и пешнями крушили лед. Ломали палубу. Уже в воде пилили, ломали какие-то балки, обитые жестью, и обледеневшие переборки. К концу вторых суток из-под ломов и лопат хлынула вода, затхлая, вонючая, черная, в жирных нефтяных пятнах. В этой воде пришлось работать нашим водолазам.

Их было трое: спокойный, рассудительный водолазный старшина Ревин, добродушный ворчун Петро Маношкин и веселый Вася Ферапонтов, герой подъема «Малыгина».

Водолазам пришлось туго в буквальном смысле сло-

ва. Они с трудом ворочались в узкой майне. Согнувшись в три погибели, работали в непроницаемой тьме, ощупью осматривали машину, отбивали гайки, болты. Ощупью пробирались в тесном машинном отделении, рискуя застрять среди разрушенных балок, опрокинутых нефтяных бочек, ведер и механизмов. Они вылезали из воды, обледеневшие, замерзшие, и бросались к печке. Но все же машина «Белушатника» была отделена от фундамента, застроплена и подготовлена к подъему.

Мы были бедны такелажем и снастями. Много ли мы могли взять с собой в дорогу? Тросы да тали. Но наши механики и командиры Ходов, Скубков, Пашукевич, Новиков были изобретательны, как полярники, как люди, привыкшие обходиться тем, что есть. Трудно перечислить все их ухищрения. Были использованы мачты, доски, бревна, обрывки якорных цепей. Наше техническое вооружение росло по мере того, как мы очищали палубу от снега. Мы откопали деревянный ворот и небольшую годную к работе лебедку.

Наконец, приступили к подъему машины из воды. Он не представлял бы ничего сложного в нормальных условиях на Большой Земле, но небольшой горстке людей это было не под силу. Машина упорно не шла вверх. Мы наваливались грудью на ворот, спотыкались, падали, а машина только толкалась в узкой майне из стороны в сторону, тупо тыкалась то в лед, то в балку, то в перегородку, упиралась, вертелась на месте, переваливалась с боку на бок.

Мы устроили аврал, работали бессменно, по восемнадцати—двадцати часов в сутки. Измученные, мокрые, голодные, злые, мы приходили в домик, наскоро ели, сушились, спали два-три часа и опять шли на судно.

В это время к нам приехали гости. Они подкатили на десяти легких оленьих упряжках. Это были юраки-охотники, промышлявшие на острове. Они ехали, отягощенные богатой добычей. Тридцать шесть оленей были убиты ими.

Мы показали гостям трактор, водолаза в полном костюме, произвели взрыв аммонала. Гости ахали, удивленно качали головами. Не желая оставаться в долгу, они показали свое искусство, свою технику. Юрак-охотник взял щит, обтянутый белым полотном, лег на снег и пополз. Он показывал нам, как он охотится. Он неслышно подползал на животе к оленю и прикрывался

белым щитом, стреляя сквозь дырочку, в которую было пропущено поблескивающее дуло винтовки. Юрак полз грациозно, бесшумно. Мы признали, что это большая техника и большое искусство.

Двадцать четвертого мая к концу дня машина, наконец, показалась из воды. Перепачканный илом, грязью, нефтью первым показался маховик. Мы все сбежались смотреть на него.

Никто не хотел уходить, пока машина не будет наверху. Снова откидывали снежные горы, давая путь машине. Водолазы снова ныряли в воду, отыскивая недостающие механизмы. Все торопились. Наша рация принимала тревожные прогнозы погоды. Потепление. Это грозило гибелью для нас. Мы были бы рады морозу, пурге, стуже, но с ужасом видели, как на глазах слабеет и съеживается снег. Мы торопились. Потепление подхлестывало. Работали круглые сутки. Утром 26 мая тронулись в обратный путь. Он был тяжелее пути на остров Сибирякова, но зато мы ехали с новой победой. Мы многому научились в дороге, привыкли к кочевой жизни, дневальные наловчились даже варить кофе на ходу, не расплескивая.

Двадцать восьмого мая наш табор торжественно въехал на Диксон. На тракторе сидел Скубков; около прицепа, на котором находилась спасенная машина, шли участники экспедиции Ходов, Пашукевич, Дрогайцев, на крыше нашей теплушки гордо ехал Вася Ферапонтов, привязанная сзади нарта тащила оленье мясо — охотничью добычу.

27 июня

На днях доктор Диксона Никитин получил тревожную телеграмму с далекого мыса Желания с тяжелом случае патологических родов.

«Роженица,— писали в телеграмме,— безуспешно рожает вторые сутки. Плод находится в поперечном положении. Несмотря на энергичные попытки доктора мыса Желания Фирсова повернуть плод в более удобное положение для родов, это не удалось».

Доктор Фирсов не акушер. Он впервые наблюдает подобный случай родов. К тому же у него нет необходимых инструментов. Он обратился к доктору Никитину с просьбой помочь советами и указаниями по радио.

Эта короткая телеграмма встретила живой человеческий отклик на Диксоне. Врач, руководители острова и работники радиоцентра горячо пошли на помощь рождающемуся новому гражданину Арктики. Три часа доктор Никитин не отходил от аппарата. Он расспрашивал о всех деталях и подробностях родов и сообщал свои выводы. Доктор делал самые мелочные указания и требовал беспрекословного их исполнения.

Через три часа счастливый отец передал Никитину радиограмму: «Дорогой доктор! Очень благодарю вас и работников радиоцентра за помощь. У меня родился сын. Большое спасибо, друзья, всем. Больная чувствует себя удовлетворительно. Егоров».

Поздно ночью доктор Никитин снова разговаривал с мысом Желания о состоянии роженицы. ребенка и последствиях родов.

«Все отлично!» — ответили ему.

Известие о благополучных родах облетело все арктические станции и — что очень характерно для советских полярников — вызвало живой отклик. От ряда зимовок получены поздравления отцу и матери новорожденного и докторам Никитину и Фирсову, мужественно исполняющим свои трудовые обязанности на Севере.

5 июля

Мы решили поехать на охоту в Лемберово — зимовку, что в пятнадцати километрах южнее Диксона. Она названа так в честь Степана Лемберова, тобольского плотника и объездчика собак. Он прожил долгую бродячую жизнь на Севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на Землю Франца-Иосифа, а затем в экспедиции на «Черте», разыскивавшей Седова, и умер на Диксоне в 1920 году.

В тундре — весна. Снег лежит только в лощинах да на реке. Он глубок и непрочен, под ним вода. Каждый шаг здесь дается с боя. Проваливаешься по колено и долго не можешь вытащить ногу. Сапог с ноги наполовину сполз и увяз. Барахтаешься. Беспомощно хватаешься рукой за осыпающийся снег. Выручаешь сначала ногу, потом сапог. Делаешь шаг вперед и снова проваливаешься.

В тундре — весна. Это значит: в тундре — вода. Большие и маленькие ручейки. Озерки. Лужи. Купели

стоячей, остро пахнущей мхом и землею талой и студеной воды. Вода всюду. Тундра огромна. Ступишь ногой в мох, и мох сочится. Ступишь на мшистую кочку, и кочка сочится. Вся тундра сейчас — сплошное топкое болото. Оно всхлипывает под ногами, мягкое, податливое, покрытое уже жирным весенним мхом, карликовым папоротником и липкими лишайниками. И, знаете, это даже приятно.

А тундра сейчас поет совсем по-весеннему, звенит на все голоса. Она звенит ручьем, зверем, птицей. Курлычут гуси. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно хохочут чайки-«мартышки». Шустрые лемминги (полярные мыши) со злобным визгом шныряют под ногами. Полярные совы, раскинув свои великолепные весенние наряды — на белых крыльях карие глазки,— носятся над рекой. Торжествующий весенний шум стоит над тундрой. Даже лед на реке ломается с радостным стоном. Весна...

Охотники идут вдоль живописных скалистых берегов реки Лемберова. Птицы, испугавшись, взлетают со скал. Но нас прельщают сейчас олени. Двухстволки мирно отдыхают за плечами, зато винтовки наготове. Оленьи следы, оттиск копыт на грязи попадаются на каждом шагу и будоражат охотников.

И вот далеко на горизонте показываются две точки. Они движутся. Ну, конечно, это олени, они мирно идут по тундре, на ходу щиплют мох. Охотники разбиваются на две партии и начинают обходить оленей с подветренной стороны. Олень видит плохо, зато отлично чует запахи, это мы знаем; все ближе и ближе подходят охотники к зверю. Теперь отлично видно, что это самка и теленок. Они идут на нас, ничего не подозревая. Метров пятьсот — шестьсот отделяют нас, но самка остановилась. Она тревожно подымает голову. Ей почудилось, померещилось что-то. Она осторожно поводит головой вокруг, очевидно, нюхает воздух и вдруг испуганно поворачивает назад. Мы разом стреляем. Олени бросаются в бег. Они бегут большими испуганными скачками. Светаков и я снова стреляем. Самка запнулась, кружится на месте. Она ранена. Теленок беспомощно вертится около нее. Выстрел Доброжанского, обошедшего оленей с другой стороны, кладет самку на месте. Торжествующие охотники торопятся к добыче. В теленка не стреляем, он не уйдет. Но, испуганный выстрелами и новыми запаха-

ми человека, теленок ошалело носится по тундре, ревет и убегает куда-то. Охотники свежуют добычу. Суворов с наслаждением пьет теплую кровь и уверяет, что это — лучшее лакомство для охотника. Отдохнув и освежевав оленя, охотники расходятся по тундре искать новой добычи. Через час за горой слышны выстрелы. Это Суворов убил вторую оленью самку.

Ночью охотники выходят уже с двухстволками в руках и винтовками за плечами. Теперь их прельщает гусь. Они смотрят теперь вверх и нервно вздрагивают, слыша нужное «курлы, курлы». Гуси летают еще небольшими стайками и в одиночку. Зимующий в Лемберове промышленник Иван Подойников так и сказал нам, что «самостоятельный гусь еще не пошел». Решили охотиться на «несамостоятельного» гуся, раз уж он залетел в наши края.

Охотники располагаются в засаде у скал, на живописной реке Лемберова. Острые черные скалы, покрытые тусклой прозеленью лишайников, кажутся древними и зловещими. Впрочем, охотники смотрят только вверх. Но гуси, как назло, летают или в стороне, или очень высоко. Охотники провожают их разочарованными и тоскливыми взглядами. Наконец, Суворову удается подстрелить одного гуся. За добычей приходится идти далеко, проваливаясь в снег и воду. Но убитый гусь найден и пущен в «дело». Его положили на снег, шею подвели палочкой. Издали казалось, что на снегу сидит живой гусь. Эта хитрость имела успех. Над нашим гусем стали кружиться живые гуси. Они кричали ему что-то, звали и, очевидно, удивлялись, что он, чудак такой, не отвечает. Гусаки, возможно, даже обижались. Впрочем, часа через два наш гусь уже был не одинок. Около него было еще три гуся. Они тоже были подперты палочками. Охота продолжалась.

14 июля

Еще третьего дня мы ходили здесь по льду, смеясь, перепрыгивали через узкие и случайные полыньи, а сегодня широко и вольно разгулялись темно-сизые холодные карские волны и только где-то далеко на горизонте чуть покачиваются фантастические льдины.

Море очищается от льдов свободно и уверенно. Оно словно стряхивает с себя опостылевшие, проржавевшие и ослабевшие цепи.

Ледяные острова, на которые мы весной ходили в надежде встретить медведя, сейчас один за другим покидают нас, обрываются и уплывают. Между нами и ими — море. Кажется, что удалился от нас и материк, убежал в море тонким северо-восточным мысом. Теперь мы доподлинно убеждаемся, что живем на острове!

Подо льдом сейчас только бухта Диксона. Проливы в ней промыли широкие полыньи, в которых шумно пыхтят стада белухи, ныряют нерпы и плещется омуль, но большая часть бухты — еще под сплошным льдом. Лед, правда, уже не тот, что зимой. Он посинел и съежился. Он весь, как губка, ноздреват и прозрачен. Толщина его едва достигает шестидесяти сантиметров, и нерпа легко пробивает его. Через неширокую круглую лунку она любопытно высовывает мордочку и глядит на проходящих людей.

На бухту сейчас идет решительное наступление со всех сторон. С юга наступает теплое течение Енисейского залива, а с севера в часы прилива наступает море. Дни ледяного покрова бухты сочтены. Это значит, что до навигации, до прихода пароходов и прилета самолетов тоже остались считанные дни.

Остров весь очистился от снега. Теперь это — дикое нагромождение черных скал да коричневато-зеленая болотистая тундра. Стоят теплые дни. Был день, когда температура доходила до десяти градусов тепла. Сейчас в среднем четыре-пять градусов. Июль нынешнего года считается теплым. Часто идут дожди, мелкие и продолжительные.

На южных склонах острова между скалами в изобилии появились цветы. Это застенчивые лютики или робкие, скромные, никому не известные, фиолетовые цветочки. Цветы, конечно, не роскошные. Тем не менее все им искренно рады, наши дамы бережно собирают букеты.

Все говорит о наступающем лете: тундра, птицы, ветерок на реке и даже дожди. Заметка направляющегося к нам нового начальника острова Боровикова, напечатанная на днях в «Правде», передана сюда по радио. Зимовщики готовятся достойно встретить смену. Очищается территория населенных пунктов острова. Заканчивается ремонт катеров, шлюпок, баркасов. Подводятся итоги научных наблюдений, заканчивается составление отчетов. Напряженно, с полной нагрузкой работает ра-

диоцентр: для него навигация явится экзаменом на зрелость. Короткое полярное трудовое лето вступает в свои права.

Да, лето вступает в свои права! Сейчас, когда заканчивал эту корреспонденцию, пришли и сказали, что уже и порт отрезан морем от нашего острова.

Движение льдов опережает движение пера вашего корреспондента.

18 июля

Ветер налетел внезапно. Мы почувствовали его, когда наша утлая моторная шлюпка, на которой мы с зверобоями ехали на промысел, начала плясать по волнам. Два часа мы боролись с встречным ветром, разбушевавшимся морем, волнами, заливавшими шлюпку. Вдруг мотор заглох, мы остались на воде без горючего и весел. Нас уносило в открытое море. Крутой скалистый берег Диксона уплывал все дальше и дальше... Вылив последнюю бутылку бензина, оставленную для зажигания мотора, мы пристали к какой-то скале у берега, затем выползли на лед и кое-как добрались до острова.

Когда мы пришли в бухту Диксон, там происходили великие события. Западный ветер делал свое дело. Еще несколько часов назад мы ходили по прочному льду бухты, как по проспекту. Сейчас по льду пробежали трещины. Они росли на глазах. Огромные ледяные поля легко откалывались и уносились прочь, словно это были скорлупки расколотого молотом ореха. Наш повар Волков, спокойно прошедший по льду до самой далекой части бухты, выйдя на берег, с ужасом увидел, что дороги, по которой он шел, уже не существует. Льдину с отпечатками его шагов уносило волнами.

Треск и стон стояли над бухтой. От берега оторвало плашкоут, его уже понесло течением, когда выскочившие на аврал зимовщики начали его отстаивать. По плавающему льду на плашкоут взбежала диксоновская молодежь и перебросила на берег чалки. Скоро плашкоут спокойно качался на воде у берега.

Западный ветер бушевал весь день. К вечеру все было кончено. Последние льдины уходили в проливы.

Бухта Диксона в этом году вскрылась небывало рано, на десять дней раньше прошлого, тоже раннего года. И навигация началась здесь раньше. Еще тринадцатого

июля пришел на Диксон из Игарки маленький зверобойный бот, обогнувший остров морем. Идут к Диксону и караваны барж с Енисея. Скоро «все флаги в гости будут к нам». Английские, норвежские и французские корабли пойдут за лесом в Игарку. Советские ледоколы, грузовые пароходы, лесовозы, целые караваны судов пойдут вдоль Великого Северного морского пути от Архангельска и Мурманска до Владивостока или на Лену, на Колыму, на Индигирку. Заснуют маленькие гидрографические суда, зверобойные боты, экспедиционные корабли. Отряды морских самолетов вылетят на ледовые разведки...

Сегодня на домах Диксона взвиваются флаги: навигация началась.

1 августа

Вечером 27 июля в густом молочном белом тумане, окутывавшем бухту Диксон, вдруг загудел протяжный басистый и неожиданный гудок теплохода. Его услышали все на острове. Через несколько минут мы уже взволнованно толпились на берегу, тщетно пытаясь что-нибудь увидеть в тумане.

Теплоход прогудел еще и еще раз. Он был где-то очень близко, рядом, мы чувствовали его присутствие в нашей бухте, можно сказать ощущали уже дыхание его машин, но ни труб, ни корпуса, ни даже смутного силуэта корабля не было видно.

На старой диксоновской звоннице ударили в колокол. Глухой звон древнего колокола отвечал призывному гудку теплохода, который искал подступов к острову. Навстречу ему на блистающем свежей краской катере выехали зимовщики Диксона. Наш катер несся сквозь плотный, почти осязаемый туман, прыгая по волнам. Туман начал рассеиваться. Он убежал беспорядочными разорванными клочьями, и перед нами открылась замечательная картина: в бухту кильватерным строем входил первый караван судов с Енисея.

Говорят, самое трудное для человека, остающегося зимовать на острове, прощание с последним уходящим пароходом. Радость при встрече с первым караваном вырвалась в громком, ликующем «ура» зимовщиков, на которое с теплохода, барж и лихтеров ответили взрывом восторженных приветствий. По трапам, веревкам, лест-

ницам зимовщики вбежали на судно и — прямо в дружеские объятия шефов Диксона, днепропетровцев.

Днепропетровцев приехало тринадцать человек. Отобранные из нескольких сотен желающих ехать зимовать на Диксон, эти молодые, здоровые, веселые ребята — отличные рабочие, комсомольцы и коммунисты, воодушевленные желанием поработать в Арктике, нетерпеливо глядели на остров, на строящийся порт, который будет достраиваться их руками.

Не спавший несколько ночей, но, как всегда, выбритый и сияющий, начальник острова Светаков всю ночь напролет ходил с днепропетровцами по острову. Он показал им все — и как шефам и как смене...

А в бухте нарастали события. Полярная навигация развертывалась стремительно. Рано утром 28-го прилетел известный полярный летчик Алексеев, тотчас же вылетевший по специальному заданию в Гыдоямо. Днем с Енисея пришел небольшой караван во главе с пароходом «Лесник». Забежали в бухту зверобойные боты «Аврал» и «Бурный», тотчас же ушедшие на промысла. А вечером того же дня мы любовались прекрасной картиной: ледокол «Ермак» шел во главе судов Ленской экспедиции. Один за другим входили прекрасные советские «Русанов», «Крестьянин», «Молотов», «Садко» и норвежский лесовоз «Фрам».

Бухта Диксон ожила. Еще декаду назад здесь стоял лед, еще три дня назад мы одиноко болтались на воде на весельных шлюпках. Сейчас здесь порт, большой полярный порт. Дымят трубы пароходов. Разгружаются баржи.

24 августа

Когда кильватерным строем один за другим входили в бухту Диксона корабли арктического плавания — это был праздник. Флаги развевались на крышах, зимовщики на берегу размахивали шапками.

Но полярное лето коротко, а путь судов далек и труден. Праздник кончился, начались горячие, трудовые будни.

Каждый день приходят и уходят суда. Вдоль и поперек бухты и заливов шныряют маленькие гидрографические суда, расставляя мореходные знаки. Уже качаются на воде их буи и вешки, отмечающие глубины,

мели, камни. И, доверяя этим знакам, в бухту Диксона, уже обстоятельно изученную, смело и уверенно один за одним входят ледоколы, грузовые пароходы, теплоходы, баржи. Всем им нужен уголь, уголь и уголь. Диксон стал настоящей угольной базой на Великом Северном морском пути. Уголь на причале, уголь на лихтерах, уголь на плавучих базах. Пароходы тесным кольцом окружают угольщик и сосут его.

Диксон должен стать в дальнейшем и базой пресной воды. Сейчас воду везут издалека в трюмах. Небольшие затраты, и Диксон сумеет в следующем году снабжать пресной водой все суда, заходящие в его бухту.

Горячая работа кипит и на берегу. Новая смена зимовщиков выгружает радиооборудование, продовольствие и топливо. На берегу уже возвышаются горы грузов. Вот типографская машина — на Диксоне будет своя газета. Вот тепличное хозяйство — на Диксоне будут зреть огурцы. Вот живой груз — коровы, овцы, козы. Стадо в несколько десятков голов, мыча и блея, разбредается по острову на подножный корм.

С кораблей часто приходят гости: моряки, новые зимовщики, участники экспедиций. Новые смены впервые видят зимовку, они жадно осматривают все, обо всем спрашивают. Старые полярники узнают друзей, они трясут друг другу руки, вспоминают прошлые зимовки и долго и ласково смеются. Здесь встречаются смены. Радисты знакомятся друг с другом. Научные работники поверяют новым друзьям свои планы и вместе проверяют приборы. Так начинается великая дружба полярников. Зимой она будет поддерживаться по радио. Радисты своим секретным кодом будут выстукивать друг другу приветствия. Полярники будут обмениваться телеграммами.

Все едущие на зимовку торопятся. Им нетерпеливо хочется скорее прибыть на место и горячо взяться за дело. Многим зимовщикам предстоит обосноваться на голом месте. Впервые появляются полярные станции на островах: Русском, Котельном, в устье Таймыра, в устье Пясины. Большая экспедиция во главе с Францевичем едет строить затон на Индигирке. Им предстоит большой путь — восемьсот километров на катере вверх по Индигирке. Все это — бывалый народ, старые полярники, научные работники Арктики, мезенские плотники-

северяне. Едет на год экспедиция в неисследованные районы Таймыра, главным образом в район Таймырского полуострова, во главе с Рузовым. Едет дружная зимовка на мыс Челюскин. Старый полярник Девяткин возглавляет зимовщиков Нордвика. Все они торопятся скорее прибыть на место, им не хочется терять ни одного дня — дни горячие, их надо ковать, как железо.

Неожиданный успех выпал на долю диксоновского собачьего питомника. Рослые диксоновские щенки вызывают восхищение начальников зимовок и экспедиций. Ездовые собаки — необходимые животные Севера. Пока нагружаются и разгружаются пароходы, начальники присматривают себе собак и уговаривают Светакова дать им побольше.

На берегу совсем забыли о дне и ночи. Круглые сутки работает радиоцентр — суда, перебивая друг друга, вызывают Диксон. Начальник порта по телефону разговаривает с плавающим в море ледоколом «Ленин». Состоялся телефонный разговор Диксона с ледоколом «Ермак». Круглые сутки идет разгрузка угля в порту.

Уже начали покидать остров старые зимовщики. Один радист переведен на ледокол «Ермак». Его провожали все радисты, несли его вещи. Сам он шел торжественный и немного грустный. Жаль расставаться с товарищами и, честное слово, жаль расставаться с зимовкой, хорошей, дружной зимовкой на Диксоне. Об этом с волнением рассказывала вся первая партия зимовщиков, улетевшая с самолетом в Красноярск. Люди покидают остров, унося незабываемые впечатления зимовки в Арктике. Многие из них снова вернутся, как вернулись в этом году многие из зимовавших ранее на Диксоне. Арктика завоевывает людей так же горячо и властно, как люди завоевывают Арктику.

13 сентября

Чемодан уложен и заперт. На полу обрывки веревок. В окна ползут сумерки, первые осенние сумерки — робкие, дрожащие, лохматые.

Полярный день кончился. Уже заходит за море солнце. Уже отчетливо слышны торопливые шаги надвигающейся ночи. Уже осень. Осень штормов, дождей, холодных норд-остов. Осень мокрых скал, взлохмаченного

моря, лихорадочных авралов под ледяным ливнем. Осень смен, расставаний, прощания с зимовкой.

Прощай, Диксон!

Гудок «Анадыря» призывно и настойчиво зовет с рейда.

В кают-компании Диксона праздничный, банкетный стол. Взволнованные люди, озабоченные повара, звон посуды и бокалов.

За стол садятся две зимовки — старая и новая. Смена произошла на ходу: так сменяются часовые. Старый зимовщик снял спецовку — новый надел и подставил плечи тюкам с грузами. Старый механик слез с трактора и вытер руки паклей — новый сел и поехал. Стали на вахту радисты, метеорологи, гидрологи. Новый аэролог запускает в небо шар-пилот, солнечные лучи пронизывают шар, он пылает, искрится, светится, и кажется, что аэролог размахивает солнцем.

Две зимовки садятся за банкетный стол. Два начальника поднимают бокалы.

Есть большая мужественная красота в этой простой и скупой сцене. Смена зимовок! На самом далеком клочке советской земли, среди моря, льдов и скал, лицом к лицу, как самые близкие родные, друзья, встречаются два коллектива — те, кто нес вахту, и те, кто пришел сменить.

Старый начальник острова Светаков поднимает бокал и желает новой смене счастливой зимовки. Лучше этого полярнику нечего пожелать. Новый начальник острова Боровиков обещает уезжающим полярникам с честью продолжать их работу и желает им счастливо отдохнуть на Большой Земле.

Последние минуты на острове. Откуда эта неожиданная и острая грусть? Словно покидаешь дом, где родился, рос и вырос.

И, когда катер вдруг неожиданно и тихо отвалил от берега, самый спокойный и молчаливый человек зимовки, аэролог Цветков, вдруг произнес задумчиво:

— Это потому, что мы здесь хорошо поработали.

Я понял его: он просто вслух ответил себе, почему ему так грустно уезжать.

Да, потрудились полярники в этом году неплохо! 1934 и 1935 годы были годами великой переделки Арктики. Суровая, недоступная Арктика, как упрямый корабль, была крепким разворотом руля положена на но-

вый курс. Возникли новые полярные станции, мощные радиоузлы, угольные базы, порты, фактории, нефтяные вышки, рыбоконсервные заводы, обсерватории, научные станции...

Новые люди приехали в Арктику. Они приехали не старательствовать, не страдать, не подвижничать — они приехали работать. Работа — вот слово, которое больше всего уважают в нашей стране.

Новые люди приехали в Арктику всерьез и надолго. Они приехали не только осваивать, но и обживать Арктику, как обживают новый просторный дом. Они приехали сюда с семьями, с детьми и женами, с тракторами, коровами и козами, с книгами и музыкальными инструментами, с настольными электрическими лампами, фотоаппаратами и безопасными бритвами. Приехав, они начали строить себе жилье.

Новые люди не хотели мириться с природой — они решили ее победить. Они вели сквозь льды ледоколы, сквозь пургу самолеты, над белым безмолвием Арктики они подняли огромные радиомачты.

Ночуя на баржах, живя с семьями в тесных трюмах или просто в палатках на берегу, обходясь теми инструментами и материалами, которые были, новые обитатели Арктики в штормы, дожди и непогоду строили и выстроили красивые, прочные и теплые дома с большими широкими окнами, настлали полы линолеумом, выкрасили стены масляной краской, построили баню, собрали библиотеку, в кают-компании поставили рояль и патефон.

Преодолевая льды и двухметровый снег, они зимою строили морские причалы, чтобы летом к ним приходили суда за углем. Они взрывали вековые диабазовые скалы, водолазы лезли под лед, мачтовики в пургу и темную полярную ночь подымали радиомачты.

Они строили и выстроили мощный радиоцентр Арктики, самую северную в мире угольную базу. Ценнейший научный материал собрали научные работники острова.

Это был дружный рабочий год. Ни склок, ни драм не знал сплоченный коллектив полярников Диксона, возглавляемый Светаковым и парторгом Василием Пашукевичем.

Работали, несли вахту, учились в партийных кружках, били медведя, оленя, нерпу, промышляли белуху,

охотились на гуся. Бегали на лыжах, портили фотографические пластинки, пока не научились владеть аппаратом. Заигрывали «до дыр» патефонные пластинки. Дружно, по сигналу, выбегали на аврал — в дождь, в пургу, в мороз. Весело хохотали удачной шутке, выпускали веселый «Подзатыльник», пели. Нетерпеливо ждали по утрам известий из Москвы по радио. Посылали нежные телеграммы домой: женам, матерям, любимым девушкам. По вечерам собирались в кают-компании или где-нибудь в комнате, вспоминали о Большой Земле — без отчаяния, без тоски, а всегда нежно и тепло.

Это был дружный, хороший год,— вот почему так грустно расставаться с зимовкой.

Провожать нас в залив вышел катер с группой остающихся зимовать.

Мы стояли на борту «Анадыря» взволнованные, растроганные и, не утомляясь, махали кепками, платками, шарфами, рукавицами, кричали до хрипоты.

Катер медленно проходил вдоль борта. Вот Ходов — начальник радиоцентра. Он зимовал два года с Ушаковым на Северной Земле, затем год на Диксоне и теперь остается зимовать еще.

Рядом с ним нарочито хмурый, но добрейший Емельяныч, диспетчер радиоцентра Круглов, человек фанатически преданный работе. Он тоже остается еще на год. Катер уже скрылся. Все туманнее и туманнее очертания острова. Вот растаяла в небе мачта. Вот исчез последний мысок. Прощай, Диксон!

На «Анадыре» мы опять попадаем в объятия друзей. Это давние друзья, хотя многих из них мы никогда не видели. Мы переговаривались с ними по радио. Мы знали друг друга очень интимно, очень близко, как знаешь людей, с которыми делаешь одно общее дело.

Это были зимовщики мыса Челюскин и острова Уединения, тоже возвращающиеся на Большую Землю.

Во главе дружного коллектива челюскинцев был начальник зимовки, старый полярник, краснознаменец Иван Дмитриевич Папанин.

Ехали на «Анадыре» и только что вернувшиеся из своей мужественной экспедиции научные работники с Челюскина — Федоров, Либин, Сторожко. Они несколько месяцев изучали глубь Таймырского полуострова, проделали много километров на собаках, на лодке и затем пешком. На их поиски был отправлен самолет,

сбросивший им продовольствие. К пароходу они пришли буквально в последнюю минуту.

Таковы были пассажиры «Анадыря», и, надо сказать, необычные пассажиры. Они пришли спаянными коллективами, в их «багаже» были медвежьи шкуры и даже живые медвежата — подарок харьковским пионерам. С первого дня пребывания на пароходе пассажиры надели спецовки.

Да, надели спецовки, потому что мы вовсе не чувствовали себя пассажирами. Разбившись на бригады, мы начали перегружать уголь из трюмов в бункера. Два дня мы авралили в душном, пыльном, угольном трюме, наваливали уголь в мешки, выдавали их наверх, закинув на спину, бежали по скользким сходням — и так и не заметили, как подплыли к Игарке.

Но кто-то закричал: «Лес, лес!» — и мы бросились к бортам. Да, это был лес — редкий, карликовый, небогатый, и все-таки лес, которого зимовщики давно не видели. Мы жадно смотрели на зеленый берег, мы радовались каждой березе, каждой сосне, мы восхищались их чудесной зеленой снастью,— пахло смолой, хвоей, землей.

Приехать на Большую Землю, прежде всего прокатиться в вагоне Московского метро,— мечтали мы,— пойти в театр, потолкаться на оживленных улицах, погреться на солнышке — ведь там еще лето. Но главное — увидеть, увидеть все, что произошло, что построено, что сделано на нашей чудесной советской земле за это время. Как много мы увидим!

Уплывают берега Арктики. Через год сюда снова вернутся отдохнувшие полярники, как вернулись в этом году на Диксон многие старые зимовщики!

До новой встречи, Арктика!

Здравствуй, Большая Земля!

[БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ]

[*1936 год*]

22 июля

Итак, завтра в путь! Проверен до последнего винтика самолет, опробован в воздухе и на воде. Залит бензин в баки. Погружено снаряжение экипажа: аварийный запас продовольствия, спальные мешки, легкие шелко-

вые палатки, меховая одежда. Все участники перелета снабжены парашютами. К большому арктическому перелету готовы машины и люди.

Завтра на рассвете Молоков положит самолет на курс — Якутск.

Из Красноярска самолет пойдет по Енисею до Стрелки, а там свернет на Ангару. Великие сибирские реки будут синеть под крылом голубой летающей лодки.

Наша первая ночевка в Киренске. Дальше — путь по Лене на Якутск, где пробудем несколько дней.

От Якутска, уйдя от Лены, попадем на реку Алдан. Самолет будет лететь над золотым краем, над приисками и промыслами. Посадка — в пункте Крест Холджаи. Отсюда — самая трудная часть пути: нет рек, пригодных для посадки гидросамолета, высокие горные хребты. Шесть часов придется лететь на высоте не менее трех тысяч метров, не имея внизу посадочной площадки. Преодолев этот путь, самолет выйдет к Охотску, затем скалистым побережьем Охотского моря — в Нагаево. Отсюда Молоков возьмет курс на Камчатку и к Командорским островам. Острова эти почти всегда окружены густым непроницаемым туманом. Если удастся пробиться через него, будем на Командорских островах. Здесь — единственный в Союзе промысел морского котика, питомник голубых песцов, здесь же промышляют ценного камчатского бобра. На островах живет и работает немногочисленное племя алеутов, спасенное от вымирания Советской властью.

С Командорских островов наш путь лежит на Чукотку. Дальнейший путь самолета — побережье Чукотки — бухта Провидения, Уэллен, мыс Шмидта. Самолет спустится всюду, где есть коммунисты-одиночки, не имеющие возможности из-за отдаленности произвести обмен партийных документов. Партийные билеты будут обмениваться тут же на месте.

В первой половине августа мы должны быть на острове Врангеля. Здесь предстоит большое празднество по поводу десятилетия советизации острова.

Прилетом на Врангель заканчивается первый этап перелета. В течение всего августа Молоков будет проводить ледовые разведки в Чукотском и Новосибирском морях.

Всего предстоит пролететь тридцать тысяч километров над реками, горами, морями Арктики.

По маршруту, которым Молоков решил лететь на Охотское море, до него не летал ни один летчик. Нам это стало понятным только в пути, когда под нами вздымались горные хребты и исчезали реки.

Ушел в сторону золотой Алдан, мы грустно простились с ним и пошли над узенькой извилистой рекой Майя. Скоро исчезла и она, словно устала бороться с горами. Теперь под нами была лишь вздыбленная земля — горы, хребты, сопки. Все было, словно застывшие и окаменевшие волны разбушевавшегося и замерзшего в ярости моря. Грудились отроги Станового хребта. Далеко внизу бродили лохматые облака. Серебряными прожилками блестел на солнце снег в котлованах и на вершинах. Стало холодно. Побежимов напялил меховые чулки, Молоков натянул шапку-ушанку. Мы кутались в меха, поднимали воротники.

А впереди уже подымался грозный Джугджурский перевал Станового хребта. Он мрачно возникал на нашем пути, словно говорил:

— Ну, суньтесь-ка!

Но Молоков медленно и уверенно набирал высоту.

Теперь мы летим на высоте более трех тысяч метров. Если теперь откажут наши моторы — садиться нам некуда. Под нами нет ни реки, ни большого озера. Только острые вершины гор. Но моторы не откажут, наш славный пилот не сдаст.

Вот, наконец, далеко внизу мы видим море. Охотское море? Нет, пока только море тумана. Клубится внизу у самой земли, застилает все на горизонте. Вверху яркое солнце, ясное небо, а под нами клокочущее море тумана.

Молоков смело бросается в туман. Он знает, что где-то впереди Охотское море. Оно всегда покрыто туманом — надо пробираться. И вдруг налетевшим порывом ветра распахивается впереди в тумане окошко, и в нем плещутся прекрасные темно-синие волны моря.

Мы прибыли в порт Аян. Самолет входит в прекрасную бухту, с трех сторон закрытую горами.

Нас радостно встречают пограничники, рыбаки и колхозники. Здесь не было еще в этом году самолета. Наш первый. Ждали нас, правда, с другой стороны, ведь через Джугджурский перевал самолеты еще не летали.

В Аяне мы не дождались сводки погоды по маршруту, но туман, надвигающийся на сопки, был самой верной тревожной сводкой. Надо было или немедленно лететь, или отказаться от полета сегодня. Решили лететь.

В открытом море стояла чудесная солнечная погода, даже не верилось, что Охотское море утихомирилось и мирно катит неторопливые волны к скалистым берегам.

Но это продолжалось недолго. Туман подступал незаметно, но упорно и скоро нас окружил. Над нами клубилась мутная дымка, горы исчезли...

Молоков даже задумался: не вернуться ли назад. Внезапно пошел дождь. Самолет прижало к воде. Шли на высоте пятидесяти метров.

Но вот откуда-то подползло предательское облачко. Упало на воду. Молоков насторожился. Туман пал на воду, как снег, густыми хлопьями, внизу под нами бушевала туманная метель, и скоро все море было покрыто молочно-белой пеленой.

А вверху синело чистое небо, играло солнце. Туман подымался все выше и выше, он подползал к сопкам, он вытеснял наш самолет. Вот мы уже поднялись на триста метров, на пятьсот, на восемьсот.

Мы находились уже в полете пять с половиной часов. Скоро уж должно было быть Нагаево. Не пройдем ли мы его в тумане? Как садиться на воду? Где вода? Но Молоков уверенно ведет машину. Найдется же клочок воды на бухте, не закрытый туманом.

И вдруг мы увидели, как с левого борта машины возник неожиданно большой поселок.

— Нагаево! — закричали все и разом добавили: — И вода!

Действительно, бухта Нагаево была чиста. Туман оборванными клочьями висел, зацепившись за сопки. На берегу гремел духовой оркестр, развевались вымпелы. Ждали гостей легковые машины. К самолету подходили лодки — работники Дальстроя, пограничники, рабочие радостно встречали гостей.

2 августа

Тридцать первого июля, в четырнадцать часов по местному времени, мы дружески простились в Нагаеве с работниками Дальстроя и взяли курс на Камчатку.

Скоро самолет очутился в открытом море — берег исчез. Под нами, насколько хватал глаз, пенилось Охотское море. Час сорок минут шли в открытом море, не видя берега. Наконец, вдали, окутанная туманом, далекая, призрачная Камчатка. Над ней дымились тучи, шел грозовой дождь с градом. Идти через Камчатку над сушей сопками и горами было немыслимо. Молоков повел машину вдоль Камчатского побережья. Шли на высоте двухсот метров,— под нами замечательно красиво развертывался полуостров. Через шесть часов после вылета из Нагаева мы опустились в устье реки Тихой, у поселка Хайрюзово.

К нам пришли пионеры. Пришли увидеть живого Молокова, слава о котором прогремела и здесь, далеко, на Камчатке. Живой Молоков улыбался пионерам. Он поднял на руки шестилетнего Шурика Лишенко, весело разговаривал с ним, но был озабочен: сводка погоды была угрожающая. В Петропавловске шел дождь, морось заволокла океан. Что же, сидеть в Хайрюзове?

Пионеры весело шумели вокруг Молокова. Они восхищались тем, что видят живого героя. Они трогали его за рукава, за куртку. Молоков шутил с ними, спрашивал об учебе, о лагере, а сам думал — сосредоточенно, напряженно: как лучше лететь? И лететь ли?

Мы вылетели из Хайрюзова и взяли курс на Большерецк — Петропавловск-на-Камчатке. Окутанные дымкой, изворачивались перед нами берега Камчатки. Мы видели многочисленные рыбоконсервные заводы, на воде качались невода, все море было словно прошито нитками, казалось, его сшили из лоскутов. Тоненькие строчки неводов и сетей оживляли море, над заводами подымались белые струйки дыма, пыхтя проходили корабли, сторожевые катера, рыбацкие кунгасы, краболовы, плавучие рыбоконсервные заводы. Океан жил, дышал и работал.

Мы шли над водой на уровне пятидесяти — ста метров. Через Первый Курильский пролив мы вышли в Тихий океан. Мы огибали Камчатку, воочию убеждаясь, что она — полуостров.

Молоков уверенно вел машину. Его не смущали ни дождь, ни туман, ни морось, ни волны разбушевавшегося океана. Погода все ухудшалась и ухудшалась. Уже затянулись мокрою пеленой берега Камчатки. Закипели, запенились волны. Самолет начало бросать из стороны

в сторону. Мы шли уже шесть часов. Тщетно мы всматривались в берега, их трудно было различить в тумане. Только белые волны, бешено бьющиеся о скалы, показывали берег.

Молоков еще не летал здесь. Но даже местные опытные летчики говорили, что в такую погоду они не рискнули бы лететь. В Большерецк навстречу нам были высланы самолеты, которым было приказано задержать нас, так как Петропавловск был затянут сплошным туманом до самой воды. Шел дождь. Но мы не видели самолетов.

Зато мы видели туман и дождь. Штурман Ритслянд напряженно всматривался в берег. Где-то здесь должна быть Петропавловская бухта. Но в бухту было трудно войти, не видя ее. И Молоков решил сесть прямо в океан. Самолет опустился на бушующие волны у трех высоких скал, которые здесь называются «Тремя братьями». Отсюда Молоков смело повел самолет по волнам в Авачинские ворота, в бухту. Даже пароходы не рискуют в такую погоду входить в ворота бухты. Мы шли, переваливаясь с волны на волну. Белые барашки взбегали на жабры самолета.

Навстречу нам вышли сторожевые катера. Окруженный катерами, наш самолет вошел в Петропавловскую бухту. На сторожевом корабле «Воровский» краснофлотцы прокричали «ура» в честь Молокова. Почетный караул моряков выстроился по берегу.

Мы были в Петропавловске-на-Камчатке, столице Камчатки. Дождь не мог охладить горячей, радостной встречи.

25 августа

Утром 22-го мы простились с Леваневским. Его машина, сверкнув на солнце алым хвостовым оперением, скрылась в голубой дали моря — на запад, на запад!

Мы долго провожали ее взглядами.

А через несколько часов вылетела и наша голубая «двойка» «Н-2». Наш путь лежал на север. Молоков уверенно вел машину через пролив Лонга, к далекому острову Врангеля.

Он был теперь очень близко, этот далекий скалистый остров, с которым связано столько героических легенд, столько драматических событий. Полтора часа

полета — сто двадцать миль (около двухсот пятидесяти километров) через пролив, забитый мелким битым льдом,— вот все, что отделяло нас теперь от острова, после того как мы пролетели столько тысяч километров. И мы с волнением ждали, прильнув к козырькам люков, к иллюминаторам, к окошкам: вот сейчас на горизонте возникнут серые скалы острова.

Под нами проносились льдины, изрезанные, искрошенные водой, покрытые трещинами, лужицами, извилинами. Сверху они казались плоскими и удивительно похожими на географическую карту. Вот проплыла льдина, очертаниями похожая на карту Советского Союза. Вот узкий сапожок Апеннин, вот Великобритания, Скандинавия, Балтика: страны, материки проплывали под нами, острова Де-Лонга. Это не было воображением журналиста.

Повидали мы и более реальные вещи. Зверобойная шхуна проплыла под правым крылом самолета. На небольшой льдине мы увидели два больших кровавых пятна,— здесь разделывали убитого зверя. И вот, наконец, сама чудесная реальность — плотные, материальные, неподдельные скалы острова Врангеля.

Мы сели в бухте Роджерса, чистой ото льда. Только редкие маленькие льдинки, как белые чайки, носились по воде. Молоков повел машину прямо к берегу. Там нетерпеливо ждали зимовщики, «островитяне»: начальник, парторг, эскимосы и среди них вся семья лучшего охотника острова — Таяна,— он сам, его жена и его дети.

Зимовщики горячо и дружески приветствовали Молокова. Но, прежде чем пожать Молокову руку, они с увлечением щелкали фотоаппаратами. Очень много фотографов появилось нынче в Арктике.

Мы вышли на берег. Мы увидели деревянные дома, тесной дружной кучей сбившиеся у бухты, мы увидели белые мохнатые медвежьи шкуры, развешанные для просушки. Мы увидели убитого моржа на берегу, живых медвежат — двенадцать штук — в клетках. Мы увидели радиомачту, электрические провода, собак, улегшихся с высунутыми языками по соседству с метеорологической станцией. Мы увидели красный флаг нашей родины, десять лет назад водруженный здесь Ушаковым и гордо развевающийся сейчас над скалами и льдами. Мы были на Врангеле.

О нас можно сказать, что мы «влетели» в жизнь Магадана. Молодая столица Колымы распахнулась перед нами своей будничной рабочей жизнью, своими ежедневными заботами, победами, радостями, печалями.

В порту под выгрузкой стоял пароход «Джурма». Джурма по-тунгусски значит — летняя тропа. Тропа к морю, протоптанная совсем недавно. Пять лет назад по этой тропе бродили редкие посудины. Тогда не было ни Магадана, ни порта. Были пустынный берег, туманы, волны, одинокие деревянные срубы культбазы.

Порт возник из «пены морской» и прибрежных скал. Море отступало, скалы рушились в воду — возникали причалы, набережная. Появлялись механизмы, здания, мастерские, заводы. Пароходы смело подходили к каменным причалам. Путь в бухту Нагаево был протоптан.

Привезли в Магадан людей и грузы. На набережной суетились люди, бегали грузчики, скрипели лебедки. Выросли пирамиды ящиков, бочек. Возникла целая гора автомобильных покрышек — о них уже не раз беспокойно справлялись по телефону с авторемонтного завода. Автомобильные покрышки — предмет первой необходимости в Магадане.

По шоссе, пыля, проносились машины. Они устремлялись на трассу. Шли грузовики на Колыму, на прииски, «в глубинку», как говорят здесь. Шоссе развертывалось блистательное, тугое, как пружина. Оно стремительно падало вниз, взбегало вверх, вертелось серпантином в горах. Машины проносились легко и мягко, люди дремали, откинувшись на кожаные подушки. Новички восхищались горными перевалами, Яблоневым хребтом, тонкими ветвями лиственниц. Они смутно догадывались о той титанической работе, которая была проделана здесь людьми. А старожилы помнили первый снежный поход в тайгу по этому же маршруту. Тогда здесь не было ни шоссе, ни троп, ни дороги.

Сейчас через каждые тридцать километров попадались бензиновые колонки. Сторож тунгус отпускал бензин, равнодушно здороваясь с пассажирами. Сто пятьдесят — двести машин проходят мимо него в сутки. Разве станешь всему удивляться?

Его отучили удивляться. За последние годы он увидел столько чудес, которых другому хватило бы на всю

жизнь. До этого он видел лишь то, что видели отцы и деды: как бежит олень, как замерзает река, как карабкается солнце по нежным стволам лиственниц.

Он даже узнал русскую грамоту. На трассе появились огромные цистерны, он прочел на них: «Бензин». Прочел и не понял. Он думал раньше, что все уже знает, а вот что такое бензин — не знал. Он решил тогда же, что цистерны — это башни в честь строителя дороги, имя которого Берзин. Гордясь своим знанием грамоты, он сказал начальнику:

— Однако ошибку дали. Надо «Берзин», написали «бензин».

Теперь он сам смеется, рассказывая об этом.

В Дунчанском совхозе, расположенном на одиннадцатом километре трассы, бурно зеленели посевы. Они подымались и зрели, словно насмехаясь над вечной мерзлотой почвы. В парниках поспевали овощи, в оранжереях — цветы. В луже воды плавали гуси. В птичнике копошились куры, утки, цыплята — все колымского инкубаторного производства. Здесь была их родина. Они входили в колымскую фауну вместе с медведем, оленем, волком. Они кудахтали, крякали, кукарекали. Мы видели птичьи базары на Севере, но такой видели впервые.

На шестнадцатом километре трассы сигналист из пионерского лагеря трубил сбор: в лагерь приехал Герой Советского Союза товарищ Молоков. Из палаток выбегали здоровые, загорелые дети, строились, кричали хором «Ура Молокову!». Молоков спрашивал:

— Как учитесь, ребята?

Отвечали:

— Хорошо!

Но Молоков затеял «неприятный» разговор об отметках. Ребята, смущаясь, рассказывали, обещали учиться лучше, тащили гостя к себе в палатки — на полу лежали охапки свежей травы, пахло зеленью, цветами, юностью, летом.

Из города в лагерь приезжали отцы и матери. В Магадане был выходной день. Многие выехали за город: на трассу, в сопки, в бухту Гертнера. Лежали на морском берегу, загорали, любовались отливом.

Несмотря на выходной, в городе продолжала шуметь стройка. Стучали молотками каменщики, на лесах качались штукатуры, плотники, маляры. Строились четырех-

этажные каменные здания — десятилетка, горный техникум, рылись котлованы под хлебозавод, воздвигались фабрики-кухни, амбулатория, жилые дома, достраивался гостиничный городок, разбивались скверы, мостились улицы, укатывалось шоссе. Всюду копошились люди, тракторы, грузовики, машины. На судоремонтном, на кирпичном, на лесопильном, на электрической станции, в порту, на трассе — всюду стояли на вахте в этот выходной день деловые люди с Большой Земли, мастера профессий, неизвестных ранее в этих широтах.

А те, кто был свободен, уезжали за город, или гуляли по главной улице города, или ходили друг к другу в гости, или шли в кино, театр, свои клубы потанцевать, отдохнуть, повеселиться. Большинство же устремлялись в парк культуры и отдыха. Шли целыми семьями, с детьми, женами. Детишки радостно толпились возле клеток зоологического парка, глазели на рогатого оленя, волка, юрких песцов.

На спортивных площадках было шумно и весело. Кольцо зрителей плотно окружало волейболистов. На теннисном корте шла захватывающая борьба между девушкой в алом берете и лохматым парнем в белых традиционных брюках. На футбольном поле кипела яростная схватка двух «вечных» противников: голубых и белых маек. На переполненных трибунах страдали болельщики. В острые моменты они вскакивали с мест и кричали, подбодряя любимцев, свистели мазунам. Отбив мяч, вратарь разговаривал с публикой — всюду сидели свои. На центральной трибуне среди хозяйственников сидели и те директора, чьи команды сегодня сражались. Они больше всех переживали матч. Окружающие подсмеивались над ними, поддразнивали.

Вечером в клубе демонстрировали фильм «Колыма», заснятый здесь. В зале сидели строители Колымы. История проходила перед ними. Они видели пустынный берег, безмолвие моря. Каждый, каждая в этом зале могли встать, протянуть свои руки и сказать: этими руками преображен край. Но они сидели молча. Скромность присуща героям. Когда-нибудь о них будут рассказывать легенды, петь песни. Сегодня они сидели молча. То, что проходило на экране, было вчерашним днем, буднями, бытом. Озабоченно думали о завтрашнем дне.

Над Магаданом тихо струилась ночь. Где-то далеко за морем готовился к выходу новый рабочий день.

На острове Врангеля — предпраздничное оживление, суета. В бухту Роджерса съезжаются охотники с мыса Блассом, из бухты Сомнительной. На море шторм, дует свирепый зюйд-вест, летят брызги, бурлит пена вокруг льдин и скал. Это не может, однако, остановить охотников. Едут на катерах, вельботах, легких байдарах из моржовой шкуры. Едут целыми семьями, забрав с собою стариков и грудных детей. Сейчас все население острова собралось в бухте Роджерса. Здесь те, кто десять лет назад вместе с Ушаковым высадился на пустынный берег незнакомого острова,— Таян, Паля, Кмо, Ниоко — охотники-эскимосы, чьи имена стали знакомыми людям Большой Земли во время суда над Семенчуком.

Десять лет назад они прибыли сюда и, боязливо озираясь, вышли на берег. Они покинули землю отцов, могилы предков. Они оторвались от Большой Земли, от родного чукотского побережья, где кочевали, охотились и умирали их отцы и деды, и пошли за русским большевиком неведомо куда искать счастья, удачи в новой жизни. Женщины плакали, прощаясь с пароходом. Жалобные гудки разбирали и мужчин. Охотники крепились и отворачивались, чтобы скрыть слезу. Только теперь, через десять лет, Таян, смеясь, признался в этом.

Русский большевик не обманул. Таян, Паля, Кмо, их семьи, их дети, их жены нашли здесь свое счастье. Они никуда не уедут отсюда. Разве только в Москву учиться,— Таян серьезно подумывает об этом.

Далекий остров Врангеля давно привлекал взоры исследователей, моряков и промышленников. Свыше ста лет назад русский мореплаватель Фердинанд Врангель услышал от кочующих чукчей, что далеко в море есть скалистая земля. Они видели в ясные солнечные дни с мыса Шелагского далекие, снегом покрытые горы.

Несколько лет подряд пытался Врангель достигнуть этой легендарной земли, но так и не достиг.

С тех пор многие исследователи и экспедиции пытались ступить на эту предсказанную Врангелем землю. Суда подходили к острову, но высадить людей не могли — льды прочно оберегали его тайну. Только в августе 1881 года корабли «Корвин» и «Роджерс» высадили здесь людей, которые осмотрели остров и составили первую карту — неточную и путаную.

Остров оставался необитаемым. На долгие годы было прекращено его исследование. В 1911 году русское ледокольное судно «Вайгач» высадило здесь группу научных сотрудников, сделавших съемку острова. Но тяжелые льды торопили,— «Вайгачу» пришлось уходить.

Слава о богатствах острова Врангеля — о моржах, песцах, медведях, в изобилии обитающих здесь, прошумела всюду. Канада, Англия, США протягивали руки, чтобы завладеть заманчивым островом, собственностью СССР.

В 1924 году ледокол «Красный Октябрь» прибыл на Врангель и поднял над островом красный государственный флаг Советского Союза.

В 1926 году, десять лет назад, на острове поселились советские люди — русские и эскимосы. Их было немного. Маленькие кучки людей на пустынном, необитаемом острове. Ушел пароход, прощально прогудели гудки. Люди остались одни — без радио, без всякой связи с внешним миром, стали строить на острове новую жизнь.

Через год, обеспокоенное судьбой первой советской зимовки, правительство послало на Врангель самолеты. В этом сказалась присущая нашей родине забота о своих сынах, как бы далеко они ни находились. На первом самолете, пробившемся в труднейших условиях на Врангель, летел летчик Кошелев и бортмеханик Побежимов. Тот самый Побежимов, который сегодня в качестве старшего бортмеханика самолета Молокова присутствует на празднике десятилетия советизации острова.

Ушаков и вся зимовка не ждали самолетов. Они озабоченно следили, как машина кружила над островом. Опознавательных знаков на ней не было. На всякий случай Ушаков запасся маузером. Первый самолет сел в бухте Роджерса, в которой сегодня стоит машина Молокова. Побежимов и Кошелев вышли из самолета. Ушаков молчал и в оба глядел на них.

— Ну, здравствуйте,— удивленно сказал Побежимов, пораженный холодным приемом.

Услышав родной язык, Ушаков улыбнулся.

За этот прекрасный полет Побежимов награжден орденом Красного Знамени. Сегодня он надел его на свою куртку по случаю праздника.

С тех пор остров перестал быть пустынным; самолеты, суда, ледоколы сделались его постоянными гостями.

Возникали дома, появились радиостанции, развернулись промыслы. Эскимосы учились у русских большевиков культурно жить, по-новому работать. Даже мрачная «эпоха Семенчука», о которой с ненавистью вспоминают на острове, не сумела разрушить построенного за десять лет.

— Десять лет я живу на острове. Я понял: жизнь зависит от самого себя. Плохо работаешь — живешь плохо, хорошо работаешь — живешь хорошо,— говорит лучший охотник острова Таян.— Моя жена учится работать радисткой. Сам я учусь на аэролога станции. Сестренка тоже будет радисткой. Очень многому научили большевики нас.

Этот рассказ напечатан в сборнике, который выходит здесь к юбилею. Сборник отпечатан на пишущей машинке и даже переплетен.

Десятилетию посвящена большая выставка, раскинутая в пустом складе и палатках. Выставка показывает геологию острова, образцы пород, топографические карты, климат острова Врангеля, его «розу ветров», ледовые карты. На выставке много фотоматериала, стенограммы, фотогазеты. Много уделено места промысловому хозяйству. Охота на моржа представлена образцами продукции — клыками, шкурами, орудиями лова. На белого медведя здесь охотятся совсем по-особому. Тут не ждут, покуда медведь придет к зимовке. Оружие — нож, винтовка. Среди экспонатов — двенадцать живых медвежат, весело кувыркающихся в клетке.

Тут же разбита охотничья палатка, показывающая быт охотника. Специальная палатка показывает, как живет передовой эскимос острова: его одежду, пищу (вяленое мясо моржа, называемое здесь «нузкорок»), современное убранство зажиточного охотника.

Транспорт острова представлен главным образом собаками. Отобраны лучшие собаки, гонщики медведя с кличками «Зик», «Шакал», «Острый», «Ивашка» и самки «Марья Ивановна», «Лариса», «Белка». Почетом окружен юбиляр по кличке «Дед» — собака, заведенная еще Ушаковым. «Дед» славился тем, что в любую погоду безошибочно находил дорогу. Сейчас он стар, дряхл — на покое.

В красном уголке полярной станции сегодня всю ночь работают зимовщики. Выходит специальный номер стенгазеты. Стучат швейные машины — это женщины

эскимоски шьют красные флаги. Геолог Громов, радист Кутузов склонились над стенгазетой. На кухне волнуется бородатый повар, почтеннейший Иван Семенович Кузякин, мучительно придумывая хитроумное меню. Все заняты, озабочены, шумны. То и дело уходят охотники, празднично одетые, торжественные. В красном уголке звучат голоса — смешался русский и эскимосский говор. А парторг зимовки говорит и на том и на другом.

С моря доносится шум шторма. Ветер свистит зло и порывисто. Где-то штормом качает ледокол «Красин». С острова беспокойно поглядывают на море. Очевидно, «Красин» попал в шторм. На нем едет новая смена. Праздник начнется в день прихода «Красина». Шторму следовало бы стихнуть.

На ледоколе «Красин» вместе с новой сменой зимовщиков прибыли две семьи эскимосов — одиннадцать человек. Они приехали сюда жить, охотиться и работать. Как и первые поселенцы острова, они происходят из охотничьих семей береговых эскимосов Чукотки и всю свою жизнь провели в бухте Провидения. На Врангеле жили их родичи и бывшие соседи — Таян, Паля. В письмах, которые изредка приходили с острова Врангеля на материк, Таян и Паля писали своим землякам, что здесь и зверя много и люди хорошие. Даже мрачные дни семенчуковщины не поколебали этого мнения. Таян писал землякам, что «худой человек Семенчук с острова увезен и большевиками наказан, а на смену ему приехали настоящие большевики».

Богатая охота на острове, культурная жизнь влекли береговых эскимосов. Многие семьи охотно вызывались переселяться сюда. И вот две из них — семья Напауна и семья Айнафана — подъезжают на катере к желанному острову. Мужчины курят трубки, нетерпеливо глядя на берег, женщины подымают на руки детей: «Здравствуй, новая земля, новая жизнь, счастье и удача!» Не увидишь ни слез, ни боязливых взглядов, как у первых переселенцев,— сейчас твердо знают: здесь, на далеком советском острове, как и всюду на нашей родине, обеспечена возможность работать и счастливо жить.

И вот они выходят на берег, ступают на землю Врангеля. Их встречают старожилы эскимосы. Жена Таяна обнимает жену Напауна и целует детей. Дети Таяна быстро дружатся с приехавшими ребятами.

К ним присоединяется и маленький Володя, сын нового начальника острова. Так начинается дружба.

Старожилы ведут приехавших в свои почетные места. Завтра гости станут гражданами одного из самых далеких селений нашей великой Родины.

8 сентября

Четвертого сентября летчик Боголепов и капитан ледокола «Садко» Хромцов на самолете «Ш-2» вылетели из бухты Диксон на север. Они хотели «опробовать» в воздухе самолет, недавно присланный из Красноярска, и «заодно посмотреть состояние льда». Самолет вылетел, но к вечеру в бухту Диксон не возвратился... На «Ш-2» не было ни радиостанции, ни продовольствия; горючего хватало только на два часа полета.

Исчезновение «Ш-2» вызвало большую тревогу на Диксоне. На поиски самолета немедленно вышел ледокол «Малыгин». Он плавал всю ночь, но самолета не обнаружил.

Утром 5 сентября на поиски вылетел Герой Советского Союза товарищ Молоков. Вместе с ним полетел ваш корреспондент.

Лишь после трехчасовых поисков мы обнаружили в бухточке маленького островка вблизи Диксона пропавший самолет и около него двух человек, машущих руками. Молоков сделал несколько кругов над островом, дав знать, что их увидели.

Через час с Диксона к островку вышел катер, на котором поехали начальник радиоцентра и ваш корреспондент. Там мы взяли самолет на буксир и доставили их на Диксон.

Боголепов и Хромцов рассказали:

— Увлекшись воздушным рейсом, мы полетели на север. У острова Свердрупа обнаружили, что бензиновый бак течет. Немедленно повернули. Но бензина все же не хватило, и пришлось садиться на воду. Так провели ночь. К утру ветер стал крепчать, пришлось сниматься с якоря, искать убежища. Поплыли по ветру. Ветер гнал на север. С трудом приблизились к маленькому островку и вылезли на берег. Зажгли костер, нашли на островке небольшой запас продовольствия, котелок, кружку, оставленные здесь «по закону тундры» гидрографами, и стали ждать...

Весь этот полет свидетельствует о большой недисциплинированности в воздухе. В Арктике по-прежнему продолжают летать без радиостанций, без продовольствия. На самолете «Ш-2», на котором по инструкции запрещается улетать из пределов видимости корабля, предпринимаются никому не нужные «ледовые разведки» тех мест, которые уже разведаны.

Слишком дорого стоят поиски, слишком дороги нам люди, чтобы предпринимать такие «полеты».

10 сентября

Ровно год назад мы простились с новыми зимовщиками Диксона. Они остались на подернутом туманом берегу. Наш пароход ушел, отплыли и остальные корабли, бухта затянулась льдом, началась новая зимовка.

Теперь мы снова на острове. Год здесь не прошел даром. Это видно на радиоцентре, в порту, в жилых домах. Вот тут, где в прошлом году была свалка навоза и копошились собаки, сейчас сквер. Да, сквер на семьдесят третьем градусе северной широты. Он обнесен кокетливым зеленым забором, в нем цветочные клумбы, молодежь сидит на скамейках, болтает, поет, хохочет.

Цветы стали обычным украшением быта зимовщика. Они в каждой комнате, на окнах, на столах. Петунья, анютины глазки, табак, маки выращены заботливой рукой в диксоновских теплицах.

Но теплица не только рассадник цветов — это своя овощная база. Как страдали прежде зимовщики из-за отсутствия овощей! Картошка, правда, еще не растет на Диксоне, но огурцы уже не редкость на столе зимовщиков. И редиска, и красные, как розы, помидоры, и даже цветная капуста живут, здравствуют, растут в теплицах.

Агрономы затевают неслыханное выращивание овощей в открытом грунте в короткие летние месяцы. И на Диксоне и в бухте Тикси мы видели расцвет огородничества. Сами зимовщики возле своих квартир разбивают грядки.

В домах зимовки стало чище, культурнее. Кают-компания приведена в порядок, стены покрашены масляной краской. Во всех комнатах поддерживается чистота.

Здесь теперь есть и водопровод. Его значение трудно переоценить. Столько времени, сил, энергии сохранил он зимовщикам! Авралов стало меньше.

На Диксоне, на далекой маленькой точке Советского Союза, как и везде в нашей стране, чувствуется: жить стало лучше, веселее! Отличное настроение у зимовщиков. Почти все они остаются еще на год. Ко многим приехали жены, дети. Детский смех звенит во всех углах станции,— придется детский сад открывать. Жилой дом для семейных уже выстроен.

На Диксоне появился универмаг — первый магазин на полярной станции. Для него выстроено специальное помещение. На полках —галантерея, трикотаж, вина, сласти, деликатесы, предметы гигиены. Магазин торгует бойко, весело.

Рядом с магазином — целый спортивный городок. Появились волейбольная площадка, турник, огромные качели, различные спортивные снаряды.

Открылась на Диксоне и собственная типография. Выходит печатная газета-многотиражка, популярная среди зимовщиков. Типография принимает заказы, изготовляет печатные бюллетени погоды, бланки, таблицы.

Люди работают самоотверженно, обслуживая Северный морской путь.

13 сентября

Знающие летчики о маршруте Диксон — Вайгач и Вайгач — Архангельск говорят, что здесь невозможно пролететь без того, чтобы не сесть по дороге из-за погоды. Здесь главная «кухня» погоды, здесь изготовляются циклоны, зреют антициклоны. Бывалые летчики даже имеют свои излюбленные места, где можно отсидеться в случае ненастья.

Никогда еще Молоков не летал от Вайгача до Архангельска. Это один из тех немногих арктических участков, над которыми ему не доводилось летать.

Из Вайгача мы вылетели при «средней» погоде, той, о которой Молоков говорит кратко:

— Лететь можно.

Пересекли Баренцево море, пролетели над ненецкой тундрой, затем снова над морем и, наконец, вышли на большой сухопутный участок. Тот из нас, кто заметил это первым, показал на свой нос. Все поняли: пересекаем полуостров Канин Нос. Лучше нельзя объясниться во время полета под шум моторов.

А неприятное все-таки чувство, когда на морской машине летишь над сушей, да еще в туман. Туман над Каниным Носом выдался густой, низкий. Мы привыкли уж за время полета ко всяким туманам, но это был особенно неприятный, какой-то липкий, густой, сырой. Арктика не хотела выпускать летчика. Она прижимала его к земле. Вот уж совсем низко, бреющим полетом идет машина. А что, если холм, гора встретятся на пути? Молоков подумал было о том, чтобы назад вернуться,— и не вернулся, продолжал бороться с туманом.

Сесть было негде. Рыжая голая тундра раскинулась на много миль окрест. Наконец тундра пройдена. Вылетели на море, но туман долго еще тащился за самолетом длинным лохматым хвостом. Это Арктика прощалась с нами.

Последний этап пройден. Летающая лодка Молокова пронеслась от Берингова пролива до Белого моря. Преодолевая сильный встречный ветер, Молоков триумфально летел к Большой Земле. Где-то у горла Белого моря, наконец, отвязался от нас туман. На побережье стали совершаться чудесные перемены. Исчезла унылая тундра, сменилась лесотундрой, а затем появился и лес,— чем дальше, тем гуще, прекраснее, великолепнее, лес, уже тронутый сентябрьским багрянцем. Начали появляться селения, лесопильные заводы, плоты на воде. Возникли и зашагали по побережью телеграфные столбы. Это был материк, магистраль, матерая земля, наша Родина.

Через девять часов полета мы были в Архангельске. Здравствуй, Большая Земля!

19 сентября

Из Архангельска мы вылетели, нагрузив доверху машину замечательным грузом. Даже Побежимов, который всегда протестует против загрузки машины посторонними вещами, тут ничего не мог возразить. Это были букеты цветов, которыми архангельцы забросали Молокова. Вся наша лодка сейчас полна цветами. Они всюду — и в корме и в носу. Не машина, а цветущий сад.

Горячо провожаемый жителями столицы Северного края, Василий Сергеевич Молоков в десять часов пятьдесят минут утра повел машину на старт. Через две минуты мы были уже в воздухе. В одиннадцать часов

пятьдесят минут пролетали село Медведевское. В тринадцать часов пятьдесят семь минут пронеслись над Котласом. Здесь попали в дождевые завесы. Полосы дождя и тумана висели на пути самолета. Молоков пробил туман и повел машину на Великий Устюг. Мы прошли его в четырнадцать часов двадцать две минуты.

Трудность выбора маршрута от Архангельска до Москвы заключалась в том, что на морской машине Молокову приходилось лететь над местами, где либо нет воды, либо мелкие, малопригодные для посадки реки. Нам приходилось лавировать. Это удлиняло и усложняло путь, и Молоков шутя говорил, что над морями Арктики летать легче, чем здесь.

На всем пути Молокову приходилось бороться с сильным встречным ветром. Машину кидало, швыряло из стороны в сторону. В семнадцать часов тридцать минут мы уже подходили к Кубинскому озеру, и Ритслянд прекратил связь с радиостанциями, с которыми все время работал. В восемнадцать часов Молоков повел машину на посадку на озеро. Это оказалось не таким простым делом. Озеро очень мелкое, даже катера здесь ходят не везде и с трудом. По озеру носились бревна, плоты, из воды торчали какие-то пни. Молоков сделал несколько кругов, прежде чем выбрал площадку для посадки. Невольно вспомнилась посадка среди льдин на Карском море.

В восемнадцать часов пять минут летающая лодка села на воду. Здесь, на воде, на лодке нас встретили представители партийных и советских организаций Вологодского и Кубино-Озерского районов. Молоков и все участники перелета отправились в город. Это тоже было не просто. Сначала мы плыли на катере, затем пересели на дощатые рыбацкие лодки, затем на лошадей, потом на паром и, наконец, на автомашины.

По всему пути Молокова восторженно встречали выстроившиеся по обе стороны дороги люди. Они забрасывали его цветами, кричали «ура» и аплодировали.

— Да здравствует Герой Советского Союза наш Молоков! — кричали они.

А он, взволнованный, растроганный этой горячей встречей, отвечал:

— Да здравствует наша прекрасная Родина!..

И это подхватывалось всеми, гремело, разносилось над вечерними полями.

Вот мы, обитатели самолета «СССР — Н-2», и простились с нашей голубой летающей лодкой. За два месяца перелета мы сроднились с ней, она стала нашим домом. Мы так и говорили между собой: «Ну, пошли домой!» Это означало: пошли в машину. Мы обжились тут, обросли даже некоторым комфортом. Это помогло нам сравнительно легко перенести тяжелый двухмесячный перелет со всеми его авралами, неудобствами, непогодой и бессонными ночами.

Мы полюбили нашу летающую лодку. Это старая, заслуженная машина, давно работающая на Севере. На ее поджарых боках отпечатались следы всех арктических бурь и приключений. Именно ее выбрал для перелета Молоков.

— «Старушка двойка» не подведет!

И она не подвела. Показательно, что такой гигантский перелет Молоков совершил на обычной морской машине, оснащенной рядовыми советскими моторами. «Старушка двойка» тянула нелегкий груз. Помимо запаса горючего на девять-десять часов полета, в ней находились восемь человек, запас продовольствия для них, грузы для полярных станций, запасные части для мотора, инструменты, личные вещи, да мало ли еще чего! Машина была так перегружена, что еле отрывалась от воды. Приходилось всем нам перебираться в хвост лодки, тесно прижиматься друг к другу и этим облегчать Молокову взлет.

Знаменательно, что Великий Северный воздушный путь был пройден впервые самолетом с такой большой деловой загрузкой. Это отлично соответствует духу освоения Арктики. Как Северный морской путь был освоен полярниками для того, чтобы грузовые корабли могли бороздить холодные воды Ледовитого океана, так и Молоков, прокладывая Северный воздушный путь, сразу придал своему перелету буднично-деловой, производственный характер.

В этом смысле перелет Молокова открывает замечательные возможности перед полярной авиацией. Важнейшие грузы могут быстро перевозиться по воздуху из конца в конец Арктики. Большие пассажирские перевозки могут осуществляться на Севере. Воздушные командировки руководящих партийных и хозяйственных работников Севера станут обычным фактом. Решив много

важнейших задач своим перелетом, Молоков, в частности, поднял на огромную высоту вопрос о возможностях транспортной авиации в Арктике.

Во всяком случае мы, жители летающей лодки, ее «освоили» вполне, превратили в настоящее и удобное жилье. Мы разместились так: в носу помещался штурман перелета Алексей Ритслянд. Мы шутя говорили, что он самый первый из нас приходит в порт. За Ритсляндом в пилотской кабине сидел Молоков. На самолете не было второго пилота, Молоков все время вел машину один. Часто ему приходилось по десять часов, а один раз и восемнадцать часов не покидать своего места. Рядом с ним сидел его верный друг и испытанный помощник Григорий Трофимович Побежимов. Баковое отделение — его царство. Здесь, в покрашенных желтой краской баках, сосредоточено горючее. Здесь пахнет бензином, машинным маслом, железом. Тут же помещался Володя Мишенков — помощник Побежимова. Он наблюдал за приборами, а в свободное время в полете читал книги. Володя — парень любознательный и до книг охочий.

Наконец, в кормовом отсеке помещались мы — «пассажиры». Здесь по дну лодки были разостланы спальные мешки и шкуры. Стоять в машине было нельзя. Можно было либо сидеть, либо лежать. Мы предпочитали последнее.

Каждый из нас имел свое спальное место. За время перелета всем нам не раз приходилось работать сутки напролет, не спать ночами, работать. В Анадыре мы совсем не спали, на Командорских островах двое суток никто из нас не сомкнул глаз. В таких случаях мы утешали себя: отоспимся в машине. И отсыпались! Ни сильная болтанка, когда машину швыряло из стороны в сторону, ни рев моторов — ничто не могло помешать сну утомленных людей, которым через несколько часов полета снова предстояла бессонная ночь, напряженная работа где-нибудь на маленькой фактории или далекой полярной станции.

В самом хвосте машины помещался нулевой отсек. Здесь было сложено наше хозяйство, инструменты и, между прочим, клиппер-бот — резиновая лодка, надувающаяся воздухом. Эта лодка не раз служила нам надежным средством связи с берегом. Но еще более важную роль сыграла бы она в случае катастрофы на

море. И в тяжелые минуты штормов, туманов или в полете над льдинами полярного моря кое-кто из нас, бывало, украдкой поглядывал в хвост: «А цел ли клиппербот?» — и, убедившись, что он цел, успокаивался.

Так мы разместились в машине. Каждый занимался в полете своим делом. Все отсеки машины сообщались между собой. Иногда вдруг открывалось окошечко из бакового отделения, и показывался Побежимов. Он протягивал бумажку. Это Ритслянд принял в воздухе по радио что-нибудь важное для нас: или срочную деловую депешу, или приветствие экипажу от трудящихся тех областей, над которыми мы пролетали, или еще что-нибудь.

Разговаривать между собой в полете было невозможно, зато можно было переписываться, и переписка кипела, деятельная, горячая. Писали на листках блокнотов, на папиросных коробках, на обрывках газет. Я достал где-то грифельные тетрадки, исписали и их. Это целая литература, и очень любопытная к тому же.

Иногда во время особо длительного рейса к нам в окошечко из бакового отделения вдруг просовывалась голова Мишенкова. Он вытягивал два или три пальца и прикладывал их к губам. Мы понимали его. Это значило, что он просит подать ему продовольствие на двух или трех проголодавшихся. Дежурный по рейсу — а у нас был такой, и он сменялся каждый рейс,— протягивал Мишенкову банки с консервами, галеты, шоколад, сгущенный кофе.

На самолете имелся свой продовольственный склад, и мы часто пользовались им, попадая на маленькую факторию или зимовку. У нас были даже примус и кастрюли. Какие замечательные борщи варились во время вынужденных посадок и на маленьких зимовках! Эти борщи стряпались из концентратов, изготовленных Московским институтом инженеров народного питания.

Концентраты — спрессованные лепешки, очень маленькие и удобные. Достаточно трех-четырех таких лепешек на котелок горячей воды — и готов ароматный, вкусный, замечательный борщ, сохраняющий все качества и даже запахи настоящего борща. У нас имелись концентраты супа, лапши, компота, киселя. Был сухой молочный порошок (поэтому чайник, в котором он находился, назывался коровой), яичный порошок, консервы и многое другое, очень удобное для такой экспедиции, как наша. Все это было изготовлено специально

для нашего полета, как пробное продовольствие, и заслужило самую высокую оценку.

Прилетев на зимовку, каждый сразу брался за свое дело. Молоков и Ритслянд погружались в карты и метеосводки. Побежимов и Мишенков занимались машиной. У Побежимова какая-то фанатическая любовь к машине. Он любит возиться там, ковыряться в своем, как он выражается, хозяйстве. Ни разу за весь перелет не было у нас задержек из-за материальной части. Моторы были безотказно готовы к полету, но зато каждую задержку из-за погоды Побежимов использовал для того, чтобы повозиться в своем хозяйстве, почистить, поправить, учинить маленький ремонтишко.

— Машина, как человек,— она вежливого обращения требует,— назидательно говорил Трофимыч. Под его руководством проходили все наши авралы. На маленьких зимовках, где людей мало, всем нам без исключения приходилось работать по заправке машины. Мы катали бочки с бензином, укрепляли якорь, возились около самолета. Здесь все были равны перед трудом.

Но и своего дела у участников полета было по горло. Тесная комнатка фактории превращалась в деловой кабинет. Люди приходили с насущнейшими, животрепещущими вопросами. И в то короткое время, что мы находились на месте, надо было решать их немедленно и точно.

Простой перечень покажет размах деловой работы в нашем перелете. Участники перелета ознакомились с якутским, чукотским и архангельским управлениями Главсевморпути, со всеми полярными станциями от Берингова пролива до Архангельска, рыбоконсервным комбинатом Анадыря, строительствами портов в бухте Тикси и на острове Диксон, с пушным хозяйством на Командорских островах (котики, песцы, бобры), с промыслом моржа на острове Врангеля, факториями, интегральной кооперацией, культбазами в заливе Лаврентия и на Хатанге,— словом, нельзя придумать такого вида деятельности на Севере, который не открылся бы перед нами во время перелета.

А на море в это время развертывалась полярная навигация. Десятки ледоколов, грузовых пароходов, всяких кораблей, зверобойных ботов встречались на пути. И участники перелета были не простыми зрителями всего, что происходило на суше и на море. Суда направля-

лись в новые пункты, продовольствие оттуда, где оно было в избытке, перебрасывалось туда, где его не хватало, переставлялась рабочая сила, снимались и назначались начальники, издавались приказы, собирались деловые собрания и совещания. И Молоков, сняв летный шлем, шел на собрание хозяйственников, коммунистов, рабочих, сидел, слушал, выступал по деловым вопросам. Он ведь был не только летчиком,— а был также работником Севера, и прежде всего большевиком.

Была еще одна работа, которую выполняла добрая половина экипажа — коммунисты. Среди наших грузов самым ценным, над которым все мы дрожали, берегли как зеницу ока, был один небольшой чемоданчик. В нем помещались чистые бланки партийных билетов. Все коммунисты экипажа были регистраторами. Работали и днем и ночью. Боялись испортить хотя бы один бланк. И в то же время торопились. Время поджимало нас. Приходили тревожные сводки. В Арктике стоял тяжелый ледовый год.

Так мы летели. Два месяца. Спали, где придется,— на полу вповалку, в тесной комнатушке одинокой фактории или в школе культбазы. Отдыхали мало. Торопились. Жили дружно, работали и отдыхали сообща.

И вот наш перелет закончен. Мы простились со «старушкой двойкой», нашим летающим домом. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать: это был во всех отношениях замечательный перелет!

Как много мы пролетели, как много увидели! Иногда, рассказывая о том или другом эпизоде, происшествии, случившемся в пути, рассказчик остановится и воскликнет:

— Позвольте, где же это было? В Охотском море, или в Тихом океане, или в море Лаптевых?

Потом выяснится, что произошло это на острове Врангеля или где-нибудь в тихой, далекой Хатанге.

Огромный путь пройден. Какая изумительная по ширине и масштабу картина развернулась перед нами. Быт народов Севера — эскимосов, чукчей, ненцев, алеутов, коряков, тунгусов, якутов, юкагиров, камчадалов — народов возрожденных и восходящих, распахнулся перед нами. Промысла, фактории, индустриальные стройки Арктики, порты, угольные базы, полярные станции — все это проходило как в чудесном калейдоскопе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Цель настоящего собрания сочинений — дать читателю по возможности полное представление о творчестве известного советского писателя Б. Л. Горбатова. При отборе текстов для данного издания принимались во внимание не только их художественные достоинства, но и их жанровое многообразие. Поэтому, помимо романов, повестей, рассказов и пьесы «Юность отцов», в собрание вошли очерки и корреспонденции, представляющие значительный интерес как яркие документы эпохи 30—40-х годов и позволяющие нам живо представить облик Горбатова-журналиста; они расположены по хронологически-тематическому принципу.

В основу настоящего собрания положено издание: Борис Горбатов. Собрание сочинений в пяти томах. ГИХЛ, М., 1955—1956.

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые опубликована в книге «Советские писатели. Автобиографии в двух томах». Составители Б. Я. Брайнина и Е. Ф. Никитина. Т. 1, ГИХЛ, М., 1959. В настоящем собрании печатается по этому изданию.

Часть «Автобиографии», начиная с абзаца «Мне хочется здесь подчеркнуть...» и кончая абзацем «Нас не раз учили наши большие мастера...», где Б. Горбатов делится своими размышлениями о специфике писательского труда, является сокращенной стенограммой выступления писателя на 2-м Всесоюзном совещании молодых писателей в 1951 году. Ее текст был впервые опубликован в «Литературной газете» от 25 марта 1951 года. В «Автобиографию» этот текст с незначительными изменениями включен самим автором.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Роман впервые опубликован в журнале «Октябрь» за 1933 год, №№ 8, 9, 10, 12. В 1934 году вышел отдельной книгой. Неоднократно переиздавался.

Продолжая работу над романом, автор внес в него существенные поправки: уточнил время действия; подчеркнул роль партии в руководстве комсомолом (на основе образа старого большевика Лукьянова создал образ секретаря горкома партии Марченко); устранил натуралистические детали в изображении комсомольской вечеринки.

ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1932—1936

Чугун. Впервые—газ. «Правда» от 18 февраля 1932 г. Очерк вошел в сборник: Б. Горбатов. Мастера. Изд. «Московское товарищество писателей», 1933.

Выковывается новый человек. Впервые — газ. «Правда» от 8 августа 1932 г.

Мастера. Впервые — газ. «Правда» от 23 сентября 1932 г. Очерк вошел в сборник: Б. Горбатов. Мастера. Изд. «Московское товарищество писателей», 1933.

Профессия Пантелея Мовлева. Впервые — газ. «Правда» от 14 ноября 1932 г. Очерк вошел в сборник: Б. Горбатов. Мастера. Изд. «Московское товарищество писателей», 1933.

Гребенка. Впервые — газ. «Правда» от 7 апреля 1932 г.

Риск. Впервые — газ. «Правда» от 27 февраля 1933 г. Очерк вошел в сборник: Б. Горбатов. Мастера. Изд. «Московское товарищество писателей», 1933.

Мужественная жизнь. Впервые — газ. «Правда» от 30 апреля 1935 г.

«Никанор-Восток». Впервые — газ. «Правда» от 9 декабря 1935 г.

Сын народа. Впервые — газ. «Правда» от 16 мая 1936 г.

[Зимовка на Диксоне. 1935 год]. Впервые корреспонденции писателя с Диксона, напечатанные в 1935 году в «Правде», объединены под общим редакционным заголовком «Зимовка на Диксоне. 1935 год» в издании: Борис Горбатов. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4, ГИХЛ. М., 1955—1956. В этом издании корреспонденции были расположены по датам публикации и, чтобы не нарушать цельности восприятия материала, их заголовки были сняты.

В газете «Правда» корреспонденции напечатаны под заголовками: «Край, над которым летит Молоков» (5 марта); «Молоков прилетел на Игарку» (7 марта); «Игарка» (8 марта); «Перелет Молокова» (9 марта); «Молоков в Гольчихе» (11 марта); «Пурга задерживает Молокова в Гольчихе» (13 марта); «У порога Диксона» (15 марта); «Молоков по-прежнему в Гольчихе» (17 марта); «Гость Диксона Миша Емельянов» (27 марта); «Диксон-порт» (30 марта); «Радиоцентр на острове Диксон» (6 апреля); «Будни Арктики» (13 мая); «Газета Арктики» (15 мая); «Ряж» (16 июня); «На тракторе по Енисейскому заливу» (22 июня); «Новорожденный на мысе Желание» (27 июня); «В тундре на охоте» (5 июля); «Полярное лето» (14 июля); «Бухта Диксон очистилась от льда» (18 июля); «Караваны в бухте Диксон» (1 августа); «Горячие дни на Диксоне» (24 августа); «Прощание с зимовкой» (13 сентября).

[Большой арктический перелет. 1936 год]. Впервые под этим редакционным заголовком в издании: Борис Горбатов. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4, ГИХЛ. М., 1955—1956, объединены корреспонденции, написанные Б. Горбатовым в 1936 году, когда он с группой работников Главсевморпути совершил перелет по трассе Северного морского пути. Корреспонденции расположены по датам публикации, их заголовки сняты, чтобы не нарушать цельности восприятия материала.

В газете «Правда» корреспонденции напечатаны под заголовками: «Молоков начинает большой арктический перелет» (22 июля); «Большой арктический перелет Молокова» (31 июля); «Большой арктический перелет Молокова» (2 августа); «Молоков на острове Врангеля» (25 августа); «День Магадана» (27 августа); «Праздник на острове Врангеля» (29 августа); «История ледовой разведки» (8 сентября); «Диксон сегодня» (10 сентября); «Здравствуй, Большая Земля!» (13 сентября); «На пути в столицу» (19 сентября); «Как мы летели» (20 сентября).

СОДЕРЖАНИЕ

А. В. Терновский. Творчество писателя-борца . . . 3
Автобиография 27
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ. *Роман.* 39

ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1932—1936

Чугун 375
Выковывается новый человек 384
Мастера 391
Профессия Пантелея Мовлева 400
Гребенка 410
Риск 417
Мужественная жизнь 427
Никанор-Восток 431
Сын народа 437
[Зимовка на Диксоне. *1935 год*] 444
[Большой арктический перелет. *1936 год*] . . 486
Примечания 510

Борис Леонтьевич
ГОРБАТОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том I

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
Н. Н. Каминского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1725

Сдано в набор 30.07.—12.08.87.
Подписано к печати 19.11.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,40. Уч.-изд. л. 28,34. Усл. кр.-отт. 28,77.
Тираж 1 700 000 экз. (4-й завод: 600 001 — 850 000).
Заказ № 9958. Цена 2 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП. Москва. А-137, ул. «Правды». 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Индекс 70658


2 р. 60 к.